

А. П. ПУШКИН

ПОВЕЩАНИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ

РАССКАЗЫ

(60-е годы)



*Александр Вампилов
Сергей Залыгин
Юрий Нагибин
Сергей Никитин
Михаил Рощин
Владимир Солоухин
Федор Абрамов
Андрей Битов
Николай Евдокимов
Юрий Казаков
Виктор Конецкий
Владимир Лидин
Майя Ганина
Георгий Семенов
Руслан Киреев
Андрей Скалон
Анатолий Ткаченко
Эдуард Шим
Глеб Горышин*

*Виктор Лихоносов
Ирина Стрелкова
Виктор Потанин
Александр Яшин
Константин Воробьев
Константин Паустовский
Юрий Трифонов
Виктор Астафьев
Сергей Воронин
Валентин Распутин
Василий Шукшин
Василий Белов
Даниил Гранин
Виктор Курочкин
Иван Соколов-Микитов
Дмитрий Голубков
Юрий Куранов
Евгений Носов*

**АНТОЛОГИЯ
РУССКОГО
СОВЕТСКОГО
РАССКАЗА
(60-е годы)**

Москва
«Современник»
1989

ББК 84Р7
А72

Составитель, автор вступительной статьи
и примечаний *А. П. Ланщиков*

А $\frac{4702010200-210}{M106(03)-89}$ 119—89

ББК84Р7

ISBN 5—270—00457—7

© Составление, вступительная статья, примечания,
Издательство «Современник» 1989

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

I

Литературный процесс шестидесятых как бы незаметно «вылился» из пятидесятых. Новые писательские имена, что появились и привлекли к себе читательское внимание и внимание критики в минувшем десятилетии, а точнее, во второй его половине, теперь стали постоянно фигурировать в литературно-критических статьях. Несколько припоздавшее «фронтовое поколение» — а большинство его представителей дебютировало спустя десять лет по окончании войны, уже перешагнув свой тридцатилетний рубеж, — стало заметно набирать силу. Однако в самом начале шестидесятых «фронтовому поколению» сразу же пришлось потесниться, нет, его не сменило, а именно потеснило (и притом весьма серьезно) более молодое, невоевавшее поколение, обремененное горькими впечатлениями своего военного детства. Сначала его, как и всякое входящее вновь в литературу поколение, в силу естественного восприятия называли — «молодым», а вскоре оно обрело и более отчетливое имя — «четвертое поколение». Тогда были названы и «первое», и «второе», и «третье» поколения, но эти обозначения как-то сразу отпали, не привились, а вот «четвертое поколение» вошло в широкий оборот литературно-критического языка. Термин же «исповедальная проза» выделил произведения ставших быстро популярными авторов этого поколения в особое направление.

В то время многие критики доказывали непричастность «исповедальной прозы» к общему литературному процессу прошлого и настоящего. «На какое-то время, — писал несколько позже критик А. Макаров, — как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая — юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская с а м о р о ж д е н н а я. И это будет литература спорная и спорящая» (разрядка моя. — А. Л.).

Попутно заметим: в начале шестидесятых годов складывалось мнение, будто новое писательское поколение представляется в нашей литературе исключительно «исповедальной прозой» и ему чужды какие-либо иные эстетические взгляды, иные жизненные идеалы. На самом же деле эстетика и этика «исповедальной прозы» (ее наиболее яркими представителями считались В. Аксенов, А. Кузнецов, А. Гладилин) находила опровержение

в литературной практике своего же поколения (Ю. Казаков, Г. Владимов, В. Белов), но это прояснилось несколько позже.

В середине шестидесятых годов критик И. Золотусский, анализируя «исповедальную прозу», приходит к печальному заключению: «Все искали в литературе «современного» — то есть «духа возмущения» по отношению к старому. Объективность, беспристрастность, художество вышли из интереса... Человеческие открытия были редки, человека отстранили дискуссии... Признавая временность «молодой литературы», ее переходность и неутешительную неизбежность ее итогов, мы все же видим в ней действительные черты действительного. О нашем времени будут судить не по ней. Но внимательный историк оценит и ее недолгую жизнь».

Тут, конечно, трудно ручаться за историков, но вот добросовестный литератор, уносясь памятью в ту далекую пору, не должен обойти вниманием и то явление в нашем литературном процессе, которое обозначалось термином «исповедальная проза». И хотя теперь, по прошествии двух с лишним десятилетий, и эта проза, и ее авторы, и их герои заслуженно забыты, мы все-таки не можем игнорировать «ее недолгую жизнь», так как влияние тех или иных литературных явлений отнюдь не всегда равнозначно их подлинному культурному значению.

К «четвертому поколению», которое, как мы уже говорили, и дало так называемую «исповедальную прозу», относили тех, чье детство пришлось на войну. «У нас было нелегкое военное детство, мы знали и голод, и тяжкий, недетский труд», — справедливо писал тогда критик Ф. Кузнецов. Действительно, эта характеристика универсальна для людей «четвертого поколения», однако пользоваться ею нужно было предельно осторожно, потому как трудности трудностям рознь.

Одни в годы войны потеряли отцов, матерей, родной дом и на долгие годы были отлучены от школы и навсегда от детства и юности, пережили страшные годы оккупации, угон на работу в Германию.

Другие, испытывая тяготы военного времени, все же не были выбиты из нормальной жизненной колеи, и жизненный путь этой части «четвертого поколения» оказался все-таки нормальным: школа — институт — работа. Оговоримся: утверждение, что нормальный путь развития («школа — институт — работа») не следует понимать буквально. Здесь имеется в виду не обязательность, а возможность такого пути для всех, поскольку и сейчас не каждый после школы непременно поступает в вуз, но возможность такую, по сути дела, имеет всякий.

После окончания школы или института, как правило, решается вопрос не одного лишь призвания, но и социального будущего. А главным героем «исповедальной прозы» всегда был школьник или студент, и основная его забота связывалась с проблемой получения высшего образования или его работой по окончании вуза.

И тут мы дадим слово одному из героев тогдашнего лидера «исповедальной прозы» В. Аксенова. Молодой выпускник медицинского инсти-

тута Максимов обращается к своим приятелям с такой патетической речью: «Я хочу жить взволнованно! Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза».

Нельзя не обратить внимания, как «нетрадиционно» стали интерпретироваться такие гуманитарные понятия, как правда и честность. Герой толкует о правде, чтобы прикрыть разговором о ней своекорыстную ложь. Предположим, что на селе «сплошная серость» и врач там уже не врач, а только лекарь. Однако героя, кажется, не столько волнует вопрос «кем быть», сколько вопрос «как жить», лекарем же с дипломом врача можно стать и в столице.

В том-то и дело, что интеллигент всегда излучал особый духовный свет, который растапливал серость окружающей жизни, интеллигент по своей природе был сеятелем (сеял «разумное, доброе, вечное...»). Если не он станет бороться с серостью окружающей жизни, то тогда, спрашивается, кто же?

Другое дело — интеллектуал, который так боится «серости», — он способен только поглощать свет, а по своим наклонностям он «жнец» с чисто потребительской психологией. И «волнующая» фраза Максимова «все выжимать из своей молодости» — всего лишь красивая формулировка бытовавшего в те времена мещанского девиза «бери от жизни все, что можешь».

В основе интеллигентности лежат глубокие знания (или стремления к ним) плюс высокое гражданское сознание и постоянный нравственный поиск; в основе интеллектуальности — разнообразие информации и сознание собственной исключительности. Интеллигентный человек — по преимуществу человек знающий и думающий, склонный к сомнению и неудовлетворенности собой; интеллектуальный человек — по преимуществу человек осведомленный и рассуждающий, склонный к самоуверенности и неудовлетворенности другими, поэтому, вероятно, он нигде не оставляет прочного положительного следа своей деятельности. Интеллигента всегда интересует суть вопроса, интеллектуала — новизна вопроса.

Русская интеллигенция никогда не добивалась лично для себя каких-то особых прав и привилегий. И еще: русский интеллигент никогда не подчеркивал своей образованности, порой даже стеснялся ее проявлять, дабы тем не обидеть своего малообразованного соотечественника. Разумеется, во все времена появлялись различного рода Ионычи, и беда не в том, что приумножились их ряды. Беда в другом: новоявленные Ионычи, усвоив с чужих слов модные убеждения, стали необычайно агрессивны и деятельны в области удовлетворения собственных запросов.

Так или иначе, но герой, которого в конце пятидесятых — начале шестидесятых дала «исповедальная проза», никак не мог претендовать на столь высокое общественное звание, каким всегда считалось звание интеллигента.

История литературы, даже ее негативные явления, которые, казалось бы, давно канули в Лету, могут многое нам объяснить в нашем сегодняшнем дне. Ведь раскрой социальное инкогнито «исповедального» героя, и перед нами предстанет психологический тип, лишенный социальных и духовных связей с трудовыми классами, демонстрировавший то приступы острого нигилизма, то не менее острые приступы бездумной веры, оставаясь при этом совершенно невосприимчивым к гражданским и патриотическим чувствам своих современников и своих предшественников. Явление «исповедального» героя в жизни было не так уж и безобидно, как это казалось многим в короткий период его триумфального шествия в литературе.

В эпоху «развитого застоя» у нас выросла грандиозная и разветвленная управленческая система, вовлекшая в себя около двадцати миллионов человек, и по большей части ее кадры укомплектованы дипломированными специалистами, вернее, людьми, которые в свое время получили дипломы и должны были стать специалистами, а стали чиновниками различных служб, ведомств и организаций.

Читая статьи об «исповедальной прозе» той давней поры, невольно вспоминаешь многочисленные произведения, в которых главной фигурой был так называемый «трудный» ученик, приковывавший к себе все педагогические усилия учителей и школьной общественности.

Нечто похожее произошло и с нашей «исповедальной прозой». Авторы «исповедальных» произведений оказались у нас в роли «трудных» учеников, а «исповедальная» критика — в роли педагогов-«новаторов». Авторы «исповедальной» литературы высказали ряд очень незрелых и неглубоких, но зато «своих» мыслей — и тут же они были зачислены в когорту мыслителей, а вся их продукция объявлена «своей», «саморожденной» литературой. Как когда-то «трудный» ученик списывал у соседа диктант, так наши тогдашние «молодые» «списали» у западного соседа его стиль и манеру. Это признавали даже сторонники «исповедальной прозы», говоря о стилистическом однообразии, напоминающем образцы стиля некоторых западных мастеров. Признавать-то они признавали, только зачем-то выставляли за списывание необычайно высокий балл.

Но беда даже не в том, что тогда кого-то незаслуженно обошли или даже обидели, а кого-то незаслуженно вознесли, в литературе подобное случается сплошь и рядом. Беда, что понизились эстетические и этические критерии. Беда, что соблазн легкого успеха сбил с толку многих действительно одаренных литераторов, отвратил их от настоящего литературного труда, толкнул на путь, не имеющий ничего общего с традициями отечественной литературы, социально совестливой и нравственно взыскательной. А главная беда состояла в том, что «исповедальная» литература, войдя в довольно широкую моду, отвлекла читателя от действительных проблем времени и во многом способствовала тому, что со школьной скамьи отбивала у молодежи всякий вкус к социальным

и политическим проблемам. «Я хочу жить взволнованно!» Это жизненное кредо соблазнило тогда многих. Язык наш чутко среагировал и на это явление: в широкий оборот речи вошло слово «элита» и производные от него. Тревожный сигнал прозвучал своевременно.

«Исповедальная проза» не только потеснила зрелую прозу «фронтowego поколения», но и помогла сгладить острые углы, начавшие было прорывать плотное покрывало, которым так надежно маскировались различного рода социальные, политические и прочие противоречия. Опубликованные во второй половине пятидесятых годов роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» и рассказ А. Яшина «Рычаги» подверглись жестокому разному, авторы попали в опалу и даже главного редактора «Нового мира» К. Симонова, напечатавшего роман В. Дудинцева, несмотря на публичное признание своей «ошибки», отстранили от занимаемой должности.

Правда, дальнейшее развитие общественной жизни довольно быстро вытеснило из литературного процесса «исповедального» героя с его суетными устремлениями, из литературы-то вытеснило, а вот из жизни — нет. Примерно в середине шестидесятых годов в литературе произошел тот перелом, когда острый поиск духовных и нравственных ценностей заступил место былого нигилистического возбуждения. И тут важнейшую роль сыграло обращение писателей к истокам народной жизни. Литература стала в оппозицию к различного рода явлениям, которые мы теперь называем явлениями застойного порядка.

II

Термин «лирическая проза» — так поначалу называлась проза о деревне — стал входить в оборот с середины шестидесятых годов, когда «исповедальная проза» явно пошла на убыль. «Лирическую прозу» тогда справедливо связывали с именами Федора Абрамова, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Евгения Носова, Василия Шукшина, Александра Яшина и других. Правда, сам термин «лирическая проза» оказался недолговечным и уступил место столь же условному термину — «деревенская проза».

Следует сказать, что и «лирической прозе» иногда было свойственно обращаться к повествованию от первого лица, но если «исповедальный» герой противопоставлял свои личные интересы интересам остального общества и тем самым привлекал к своей персоне внимание, в основе которого лежало читательское удивление, то герой «лирической прозы» как бы сместился в сторону, ушел в тень, и в центре читательского внимания оказался не он сам, а окружающий его мир с истинными конфликтами и жизненными противоречиями. Эгоцентризму и элитарным наклонностям «исповедального» героя он противопоставил истинный демократизм.

Более ста лет назад Достоевский сделал такой вывод: «Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за дейст-

вительно прекрасные». Нечто подобное повторилось и в наши шестидесятые, когда писатели «в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции» преклонились «перед правдой народной». Потребовались долгие годы, трудные испытания и тяжелые жертвы, чтобы общественная мысль отозвалась на тревожное писательское Слово.

Со второй половины шестидесятых годов писатели «фронтового поколения» все реже и реже стали обращаться к жанру рассказа, и тому были свои причины. Война никоим образом не поставила под сомнение идеи гражданственности и патриотизма, напротив, она их упрочила и наполнила истинным содержанием, а вот что касается нравственных проблем, то они, естественно, в период войны в значительной мере осложнились, и, чем дальше уходили в историю суровые испытания военных лет, тем глубже и интенсивнее шло постижение их нравственного смысла. Великая Отечественная война самым непосредственным образом повлияла на судьбу нескольких поколений и тем самым во многом предопределила последующую жизнь этих поколений, повлияла на всю нашу духовную жизнь, обозначила главное направление нравственного поиска народа, а все это в совокупности и обусловило пути развития литературного процесса. В шестидесятые годы писатели «фронтового поколения» уже прекрасно освоили жанр повести (Василь Быков, Константин Воробьев, Виктор Курочкин, Виктор Астафьев и другие), а в конце десятилетия увидели свет роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и первая книга романа Ивана Акулова «Крещение».

«Лирическая проза», или, как ее стали называть к концу шестидесятых годов, «деревенская проза», шире всего в тот период была представлена в жанре рассказа, но вот в 1966 году журнал «Север» публикует повесть Василия Белова «Привычное дело», а «Новый мир» — повесть Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина» — и стало ясно, что «деревенская проза» не является в нашем литературном процессе каким-то попутным или боковым течением. О ней в конце шестидесятых начались бурные дискуссии, которые, в общем-то, не утихли и до нынешних дней.

С середины шестидесятых годов «военная проза» и «деревенская проза» становятся главными направлениями в отечественной литературе, и между этими направлениями существует нерасторжимая связь. И дело не только в том, что такие писатели, как Виктор Астафьев и Михаил Алексеев, Евгений Носов и Константин Воробьев, Иван Акулов и Виктор Курочкин, Сергей Крутилин и Василь Быков, обращались и к военной теме, и к деревенской, но и в том, что эти «темы» неразделимы в своей исторической судьбе.

Литература обратилась к периоду Великой Отечественной войны потому, что этот период был одним из важнейших этапов в развитии нашего национального характера и без глубокого философского осмысления Великой Отечественной войны вряд ли возможно было проникнуть в подлин-

ную сущность последующих непростых событий и жизненных явлений, не растеряться под напором разрозненных фактов современной действительности. И тут уместно вспомнить стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», написанное им в первые же месяцы войны. Представьте себе: молодой, до мозга костей городской человек, и вдруг:

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждую русской околицей
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Откуда это? Война! Война дала то прозрение, к которому можно идти долгие годы, всю жизнь, но так к нему и не прийти. И биография этого прозрения уложена здесь же, в строках стихотворения: «Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорожной тоской от села до села, со вдовой слезою и песнею женскою впервые война на проселках свела». Вот тот маршрут по родной земле, который позволил поэту без тени фальши и без какого-либо верноподданничества сказать о Родине высокие и пронзительно-искренние слова.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Удивительные стихи! Их можно читать хоть тысячу раз, но все равно в них не исчезнет звучание пронзительного драматизма, которое невозможно придумать, которое можно только исторгнуть из самых сокровенных и заповедных мест души. И если такие стихи «пришли», их невозможно не написать. И главное тут вовсе не то, что вот, дескать, городской человек наконец-то додумался, что родина — это не городской дом... Нет, и «дом городской» — это родина, и никакая не вторичная, а самая настоящая, самая первичная.

Читая современную прозу о деревне, невольно вспоминаешь стихи:

«Ты знаешь, наверное, все-таки родина...» Тут важно то, что в душе городского человека, который *празднично жил*, произошел сдвиг в сторону подлинной демократизации чувств и мыслей, сдвиг бескорыстный, хотя, разумеется, не столь очевидный, как нам это представляется теперь, спустя десятилетия. И позднейший интерес наших писателей к деревне, к ее судьбе, объясняется прежде всего тем, что талантливые писатели, естественно, наиболее чуткие к важнейшим жизненным событиям и процессам современности, увидели здесь узел таких противоречий и конфликтов, которые нельзя не назвать историческими, что в первую очередь связано с ломкой старого (в чем-то еще патриархального) уклада жизни, ломкой, вызванной интенсивной индустриализацией деревни и одновременной ее разрухой. Конечно, прогресс дело хорошее, однако не дай бог забыть нам уроки минувшей войны, которая многим открыла истину, что Родина — это не только «дом городской»

Нет то чувство не погибло, оно глубоко ушло в почву народного сознания и через два десятилетия, то есть в шестидесятые годы, окончательно созрев, отозвалось многими совершенными произведениями художественной литературы. В продолжение этих двух десятилетий растущий ствол давал боковые побеги (как сильные, так и слабые), однако сезон плодоношения был еще впереди, и пришелся он на середину шестидесятых годов, совпав с началом окончательной ломки самого деревенского уклада. И город тут не был сторонним наблюдателем. Поэтому-то мы и не можем считать ни Федора Абрамова, ни Михаила Алексеева, ни Виктора Астафьева, ни Василия Белова, ни Виктора Лихоносова, ни Бориса Можаева, ни Валентина Распутина, ни Владимира Солоухина, ни Василия Шукшина, ни Александра Яшина «деревенскими» писателями, если они даже своим происхождением или своими нынешними интересами были связаны с деревней, они в не меньшей степени интеллигенты, нежели писатели, пишущие на темы «недеревенской» жизни, и, в общем-то, не деревню они показывают, а выражают отношение современного городского человека к укладу деревенской жизни и к истории крестьянского мирозерцания. А то, что они во всех подробностях знают деревню, не может быть поставлено им в упрек, как не может им быть поставлена в упрек их искренняя любовь к трудовому человеку земли.

Радикально мыслящий критик Д. Писарев еще в прошлом веке заметил: «Писатели с посредственным талантом и с ограниченным даром наблюдательности не умеют воссоздавать народное мирозерцание и часто вовсе не подозревают его существования. Они подмечают только внешние угловатости и резкости, и поэтому их сцены из народной жизни, при бедности и бесцветности внутреннего содержания, отличаются аффектацией и подделкой народного разговорного языка...»

Если могут существовать в природе такие писатели, то вполне оправданно предположить, что существуют также и читатели (и критики), даже не подозревающие о существовании народного мирозерцания и о

его многовековой эволюции. А если говорить об интеллигентности, то степень ее всегда определяет не предмет изображения, а отношение к предмету изображения.

И мы с удовлетворением можем отметить, что уже в шестидесятые годы литература о деревне поднялась над тем, чтобы замечать лишь «угловатости и резкости» деревенской жизни. Не обходя их стороной, она в центр своего внимания взяла человека, мирозерцание которого формировали суровые исторические события (в частности, ее герой, как правило, — вчерашний солдат Великой Отечественной войны). И уж литература о деревне никак не противостоит ни городу, ни его подлинным интересам.

III

Объективные противники «деревенской прозы» с непадающим упорством пытались хоть как-то принизить ее значение в современном литературном процессе. И термин-то какой придумали — «деревенская проза». Одним этим термином можно было убить всякий к ней интерес. Однако не убили. И дискуссии следовали одна за другой. Но все попытки отодвинуть «деревенскую прозу» на периферию литературного процесса желаемого результата не дали.

Между прочим, ошибка многих как раз и состояла в том, что увиденные в деревне проблемы они считали чисто деревенскими, а увиденные в городе — чисто городскими, не подозревая, что большинство проблем, как правило, давно уже носит общий характер.

«Никогда русская деревня и даже «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вниманием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившись в бесплодии своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут или, вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил... Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно новое, небывалое, спасительное чуть ли не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования... Но, вообще, для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно просвещенному...»

Эти слова были сказаны Г. Успенским еще сто лет назад. И если уж

тогда «деревенские» вопросы вовсе не были сугубо деревенскими, то теперь, спустя целый век, тем более. И современные острые вопросы деревни — это наши общенародные вопросы, от правильного решения которых зависит судьба всего народа, а не только одного крестьянина.

Безусловно, некоторые понятия, вкусы и отдельные стороны крестьянского быта не во всем совпадают с нашими, городскими, что обусловлено самой формой крестьянского труда, но вот чтобы попытаться на них, в первую очередь следует их знать во всех подробностях и общей взаимосвязи. И не только знать, но и уважать. Современная литература о деревне — это наша общенациональная литература, и достижения ее способствовали и продолжают способствовать расцвету всей отечественной литературы, в том числе и литературы о городе. И в этой связи уместно вспомнить слова, сказанные покойным Федором Абрамовым еще на VI писательском съезде: «Старая деревня с ее тысячелетней историей уходит сегодня в небытие. А это значит — рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура. Ибо, перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни».

В нашей литературе немало говорилось о миграции из деревни и о людях, покинувших деревню. Эти люди давно уже живут в городах, но с годами их все больше и больше тянет думами в оставленные когда-то родные места. Собственно говоря, и сам термин «малая родина» возник в связи с проблемой «человека из деревни», приобретя затем универсальное содержание. Ведь все мы в определенном смысле эмигранты, так как все мы покидаем страну своего детства, покидаем ее навсегда, и потом, идеализируя детство, невольно переносим эту идеализацию на дорогу нашему сердцу «малую родину», будь то Тимониха или Овсянка, Красная Пресня, Замоскворечье, Арбат или Чистые пруды. Для городского и даже столичного жителя столь же дорога его «малая родина».

А нравственно-философский мотив «малой родины» зародился еще в лучших произведениях «военной прозы», ибо на фронте человек, постоянно ощущая непрочность личного бытия, стал уноситься памятью на свою «малую родину», которая и дала ему первичное ощущение личного бытия; выкристаллизовался в самостоятельную нравственно-философскую категорию в произведениях «деревенской прозы», когда в небытие начала уходить сама «малая родина»; и стал наполнять новым нравственным содержанием и новыми нравственными конфликтами литературу о современном городе.

* * *

Ни один писатель не в силах выразить всю правду своего времени, тем более ни одна концепция не может претендовать на исчерпывающее воспроизведение живой действительности. Духовный портрет эпохи создает-

ся усилиями многих и многих художников, работающих в разных жанрах, и жанр рассказа играет здесь далеко не последнюю роль. Конечно, в коротком эпическом жанре невозможно дать широкую панораму жизни, однако и в частных проявлениях живой действительности, пусть неполно, но при талантливом изображении всегда достоверно отразятся существенные признаки своего времени. Да, эпические времена давно и безвозвратно прошли, и способ создания художественных произведений действительно стал сугубо индивидуализированным, однако это вовсе не означает, что природа самого творчества утратила свои эпические, коллективистские начала.

В настоящий сборник включены рассказы писателей разных поколений, то есть отражены мысли и чувства современников, имеющих неодинаковый духовный и жизненный опыт, однако при всем своем разнообразии рассказы имеют достаточно точную временную прописку — шестидесятые годы.

Суждения о жизни не могут заменить живую жизнь, но и без общих суждений о ней ее частные проявления могут показаться всего лишь отдельными житейскими случайностями.

Думается, при внимательном чтении рассказов шестидесятых годов нельзя не увидеть, как чувства и мысли лучших писателей развивались в сторону их демократизации и поиска универсальных духовных ценностей. И это касается не только тех писателей, что писали об уходящей деревне, но и тех, чье внимание было приковано к городу, и в этом общем устремлении — главный итог литературного процесса шестидесятых годов.

Анатолий ЛАНЩИКОВ

СУГРОБЫ

Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, — мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла. Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепуха...

У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом... Зачем ему куда-то ездить...» Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, договоры, — все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма...

Где-то в стороне слышались собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.

Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице

пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно радостный, женский: «...Парней так много халастых...» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.

От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, ярко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу:

— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы... Это, можно сказать, судьба. Зайдите, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.

Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Федя. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.

— Зайдемте, честное слово, — пристаёт Федя.

— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.

— Дружки мои все уже напились, а я вот... весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?

— Ходила на свидание. Прощай, Федя.

Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.

В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где... Город большой... а я маленькая... Позвать кого-нибудь... Зарипыча позвать?»

Верочка сбегала и пригласила сторожа.

— Вы один, и я одна, — сказала она, — встретим Новый год вместе.

— Кому новый, а кому, может, последний, — сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.

— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Ве-

рочкой ласковым внимательным взглядом.— В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.

— При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.

— Как же так?

— Да так...

Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.

— Так ведь нельзя, может, было приехать,— сказал он.

— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.

Верочка отвернулась от стола, положила руку на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало ее жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам он нуждался в утешении.

— Чего убиваться?— начал он строго — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди... свидитесь... А куды вы денетесь? Звезды, к примеру взять, над вами одни и те же... Куды денетесь.— Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь. Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.

— Андреевна!— позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.

— Вот тебе раз! Спит девка-то... Господи, чокнуться будет не с кем!

Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке,— она улыбалась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.

— Ишь ты какая...— пробормотал он,— намаялась... Пушай спит, что уж...

Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.

Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.

— А, лунатик! Все крутишь тут... Ну-ну. Ишь, вырядился... А не мерзнешь ты в этом колпаке, а? Не холодно тебе?..

— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое... Ни один

инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого... Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?

— Дурак ты, Федька. Спит она.

— Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.

— Спит, говорю... Спит, и только.

Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.

Сергей Залыгин

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Что случилось у нас в Сибири: как ни осень, так ненастье?! И еще — как ненастье, так хороший урожай!

Утром просыпаешься, в окне — кусочки синего неба и крыша пятиэтажного дома. А еще — тучи торопятся с запада на восток, какие-то разорванные, пестрые, фиолетовые и даже коричневые. Это они уходят прочь, и думаешь, что, наверное, день будет без осадка.

Как бы не так: часа два-три — и небо уже серое, неподвижное, тусклое, и во второй половине дня — дождь.

А сегодня не пришлось даже помечтать о ясном и безоблачном дне, о теплом и тихом вечере.

Еще не проснулся, звонят:

— Карпенок, спишь, поди-ка?

Это шеф, завсельхозотделом нашей газеты Павел Исидорович Шебалин.

Он, во-первых, звонил мне вчера вечером, расспрашивал о положении дел в Суетинском районе. Что ему снова понадобилось в такую рань? Во-вторых, почему «Карпенок»? Не в бабки играем, областную газету делаем! Поедешь в район — для всех ты корреспондент, товарищ Карпекин Федор Семенович, все читали твои материалы на газетных полосах. В редакции же только и слышно: «Карпенка в набор сдали?», «Карпенку правку сделали!», «Карпенок идет ящиком!». В-третьих, я только вчера вернулся из Суетинского района...

— Ты что же, Карпенок, спишь?

— Точно!!

Что значит новая комната! С телефоном. Жил в частной комнатухе, не знал забот, никто не тревожил.

— Федор Семенович, а комбайны из совхозов Суетинского района перебрасывают в Черемисино... Да? Тебе известно?

— Известно. Ночью эшелон должен быть на месте. Соображаю: «О Суетке кто-то запрашивает шефа. Вот и все. Сейчас успокоится. Восьмой ряд, одиннадцатое и двенадцатое места... Два билета на «Барабанщицу».

Так вот, через полтора часа я ходил по путям хорошо знакомой мне пригородной станции Первомайка, откуда я совсем недавно переехал в город, в новый дом, и разыскивал эшелон с техникой из Суетинского района. Нашел на восьмом пути. Билеты на «Барабанщицу» тоже были в восьмой ряд. Я отсчитал от головы одиннадцатую платформу, почему-то подумал и решил взобраться на двенадцатую.

Здесь стоял комбайн-«ростовец» и трактор-«алтаец». В кабине трактора были люди.

Кабина открылась, и кто-то изнутри сказал совершенно спокойно, ничуть не сомневаясь в том, что я должен ехать с эшеленом:

— Товарищ Карпекин, давай сюда! Вот сюда! Скоро ли тронемся?

Наружу торчал довольно крупный нос, выше — козырек синей фуражки, а ниже — губы и часть подбородка с рыжеватой шерсткой. Все остальное было плотно упаковано в кабине.

Я ответил, что и сам бы не прочь узнать, когда тронется экспресс Суетка — Черемисино, поскольку он должен быть на станции назначения двенадцать часов назад.

Никто в кабине не обиделся, синий козырек чуть приподнялся, должно быть, его владелец провел рукой по затылку сверху вниз. Тот же голос ответил:

— Семафор открыт... Вроде и гудок был. Только вы заходите с левой стороны и сзади. Удобнее.

В кабине трактора было трое, но один, должно быть штурвальный, вылез наружу и уступил мне место. Облокотившись на траки, он приготовился слушать, о чем пойдет разговор с новым человеком.

Все тот же голос обратился ко мне:

— Значит, помогать суетинцам! Порядок! Пресса, скажу вам, — сила!

Я же принялся ругать погоду, а тем временем мысленно ругал еще и своего шефа и поглядывал влево: что это за человек сидит в углу кабины и откуда-то знает меня?

Но между этим человеком и мною сидел еще один — полный, с опущенной на плечо головой. Я почему-то сразу решил, что он водитель того самого трактора, в котором мы сидели. Он дремал, заслонив собою большую часть кабины, и

я снова видел только крупный нос, синий козырек и невыбранный подбородок человека, разговаривавшего со мной, как со старым знакомым.

Накрапывало. Тучами было затянуто все небо, и все оно медленно-медленно вращалось в ту сторону, куда должен был тронуться наш эшелон.

Я стал смотреть, как вращается небо, снова думать о Шебалине, о «Барабанщице», но вдруг толстяк тракторист вскинул голову:

— Это что ж такое? А? Это как же называется? Каким образом?

Я не знал, каким образом это хотел назвать тракторист, но тоже сразу понял, в чем дело: вместо нашего состава с десятого или одиннадцатого пути тронулся другой. Влажные крыши пульманов и теплушек все быстрее ускользали мимо нас на зеленый огонек семафора, нам хорошо их было видно сверху, из кабины.

— Пошли, товарищ Карпекин! Пошли, пошли! — тревожно позвал все тот же голос.

Я не понял еще, куда и зачем должен идти, как перепрыгивал уже через рельсы и подлезал под вагоны, стараясь не отставать от человека в брезентовом плаще и в синей фуражке. Мы бежали все быстрее, и вслед за ним я ворвался в дверь железнодорожной станции, на которой было написано: «Вход посторонним строго воспрещен», и только тут увидел этого человека — он стоял посреди небольшой сумрачной комнаты и обеими руками держал спинку стула. На стуле сидел железнодорожник в новенькой форме и говорил:

— Выйдите, я вам говорю, гражданин! Я вам как человеку говорю: выйдите! Я вам как человеку объясняю: сейчас все составы срочные и сверхсрочные. Выйдите! Вы без расписания, и никто из-за вас график нарушать не будет. Выйдите!

Мой знакомый незнакомец поглядел влево, потом вправо, я подумал, что сейчас железнодорожник со стулом окажется либо в палисаднике с чахлой и мокрой травкой, либо в темном коридоре с обшарпанными стенами.

Но мой незнакомец только нагнулся резко к столу и спросил:

— Это что такое?

Железнодорожник почувствовал, что останется на своем стуле, и сказал, не поворачиваясь:

— Вам какое дело? Выйдите! Это селектор! Выйдите!

— Пишите, товарищ корреспондент областной газеты, товарищ Карпекин,— вдруг как-то неожиданно спокойно сказал этот человек: — «Сидящий около селектора дежурный станции Первомайка...» Как ваша фамилия?

— Выйдите, гражданин, как человеку говорю,— ответил дежурный, но теперь он уже сам привстал со своего стула...

— «...сидящий около селектора бюрократически ответил представителю Суетинского района...»

Я вынул записную книжку с позолоченным штампом газеты и самопишущую ручку.

— Литературно это мы позже обработаем,— сказал я.— Пока что запишем факты как таковые: «...сидящий около селектора...»

— Само собой,— подтвердил мой товарищ,— само собой, литературу отложим на после. Вы какой институт кончали?

— Ленинградский государственный университет имени Жданова. Факультет журналистики!.. «...дежурный... бюрократически ответил...»

— Порядок! А мне копию этой заметочки для транспортного отдела обкома. Можно будет?

— Конечно... «...тически ответил представителю Суетинского района». Как ваша фамилия, товарищ дежурный?

Спустя минут двадцать мы снова сидели в кабине трактора. Под нами потряхивалось сиденье, трактор трясло на платформе, платформу — на стыках железнодорожного пути.

— Вечером будет Черемисино — никак не раньше! — вздыхал представитель Суетинского района.

Я сидел теперь с ним рядом и хорошо видел лицо — смуглое, с неровной кожей на щеках. Нос оказался не таким большим, как я увидел его в первый раз, сбоку, а глаза были чуть раскосые, серые и встревоженные.

Тракторист называл его Николаем Петровичем, но это ничего мне не подсказало — я никак не мог вспомнить человека.

Между тем Николай Петрович нагнулся к моему уху и сказал:

— Пресса! Никому нет охоты под общественное мнение попадать! Помните, вы меня пропечатали за строительство? Я тоже переживал! Струнков тот раз говорит: «Брось! Через две недели быльем зарастет!» Может, для кого заросло, только я лично до сих пор помню!

Знаю, была у меня корреспонденция о неудовлетворительном ходе строительства больничных учреждений в Суетин-

ском районе. В связи с месячником здравоохранения. Знаю, что разговаривал с председателем райисполкома Струнковым — брал материал. А кто в корреспонденции еще упоминался? Под какой фамилией назван там вот этот нос? Не знаю, не помню!

И спросить совершенно невозможно. Уже поздно. Надо было позаботиться, когда он меня в первый раз окликнул в Первомайке, когда я садился в эту кабину.

— Вы когда весной тот раз в Суетку приехали, — продолжал Николай Петрович, который теперь, когда я узнал это имя-отчество, стал еще больше мне незнаком, — мы сидели у Стрункова. Струнков мне говорит: «А ну-ка, дай интервью о ходе строительства!» Я говорю: «Больнице центральное отопление дадим, тогда уже». И Струнков сам все положение обсказал. Он интервью умеет давать, очень приспособлен, мы оба после нисколько не сомневались, что все будет хорошо. И вдруг — отрицательный материал в газете! И прямо обо мне — как об ответственном за здравоохранение. Струнков после долго удивлялся.

Николай Петрович и еще говорил о больницах, о школах, об РСТ, еще вспомнил, как я его пропечатал. Из-за грохота слышалось или он на самом деле неправильно произносил это слово — у него получалось: «припечатал».

Неубранные хлеба надвигались с востока... Кое-где зеленые пятна березовых колков, а вот чем дальше, тем больше хлеб был полеглый. И везде густой, перестоявший и матово блестящий от влаги. Разговор наш прервался, мы молчали.

Состав прибыл на станцию Черемисино под вечер, остановился около платформы, такой короткой и неудобной, что разгружаться мы стали бы здесь до утра.

И опять мы с Николаем Петровичем ходили к начальнику станции, звонили в райком, и только тогда нас расцепили на две части, расставили к двум разгрузкам.

Но все равно очень трудно, медленно двигалось дело, особенно с самоходными комбайнами.

Николай Петрович бегал от одной платформы к другой, кричал: «Эх, взяли!» — налаживал вместе с комбайнерами и трактористами козлы, а когда порожние платформы отходили в сторону, обязательно осматривал каждую: не забыли ли там чего-нибудь.

Сгруженные машины Николай Петрович расставлял в

колонны, которыми они должны были двинуться по совхозам Черемисинского района.

Я и сам не заметил, как тоже стал бегать от платформы к платформе, кричать: «Эх, взяли!», таскать какие-то бревна, и только однажды подумал, что время — семь тридцать вечера и сейчас открывается занавес в областном театре, а в восьмом ряду — два свободных места.

Тут вскоре подошел пассажирский поезд, и с подножки вагона соскочил высокий человек в кожаном пальто, в фетровой шляпе. Он торопливо направился к нам. Его-то я узнал сразу: председатель Суетинского райисполкома товарищ Струнков.

Струнков тоже сказал:

— Какой судьбой, товарищ корреспондент? Приветствую, приветствую! Значит, так: мы помогаем отстающим, а вы уже помогаете нам — помогающим! Дело! Мы-то взяли на себя сообязательство, а вы, пресса, взяли или нет? — Тут же, не дожидаясь ответа, протянул руку Николаю Петровичу: — Докладывай. Как дела? Почему на день опоздали? Нехорошо получилось, нехорошо! Я-то в уверенности, что наша техника сегодня уже на полную катушку работает!

И Струнков двинулся вдоль платформы, а Николай Петрович пошел рядом и все время чего-то докладывал.

Они сделали круг, вернулись на прежнее место. Струнков сказал:

— Пойду в райком. Утрясать. Ты мне потом позвонишь.

Николай Петрович кивнул: «Позвоню, обязательно», — и тут же позвал меня:

— Пойдемте на связь.. Снова слишком ответственное дело начинается! Слишком!

Мы оккупировали кабинет, а точнее — маленькую комнатушку конторы «Заготзерно», которая находилась тут же, на станции. Николай Петрович положил перед собой отпечатанный на машинке листок; в листке указывалось, в какие совхозы и сколько направляется суетинских комбайнов и тракторов. Первым в этом списке был совхоз под названием «Боевой». Николай Петрович и соединился с «Боевым», но телефонистка ответила, что в конторе никого нет.

— Ищи! — ответил Николай Петрович сердито. — Я у тебя контору и не спрашиваю, мне люди нужны: директор, главный агроном, главный инженер. Ищи! Не найдешь, имей в виду: в совхоз не придет техника по причине отсутствия связи! Ясно?

Спустя минут десять уже шел разговор с директором «Боевого».

— Автомашин под наши комбайны сколько дадите? — спрашивал Николай Петрович. — Людей? Горючего? Бочкотары? Имейте в виду — запчастей у нас нет.

Солидный бас на другом конце провода возмутился:

— Собственно, о чем разговор? Есть разнарядка на технику — выполняйте! И так запоздали, вчера должны были приступить к работе! Для вас что — решение обкома не обязательно, да? Я вот доведу до сведения...

Николай Петрович закрыл рукой трубку:

— Вот, пресса, тот самый случай.

— Какой? — не понял я.

— Опасный. Ну, ничего, он сейчас по-другому заговорит. — И снова в трубку: — Значит, «Боевой» не готов нашу технику и людей принять? А когда так... — Николай Петрович скосил глаз на список, — когда так, то совхоз «Белоярский» просит дать ему комбайнов вдвое больше, чем первоначально записано. Дадим! Нам что — мы дадим, нам обком разнарядку по хозяйствам не утверждал, а в целом мы цифру выполним, будь здоров! «Белоярский» — тот, будь здоров, твердо обещает и людей и автомашины! И даже запчастей подбросить!

Когда же Николай Петрович звонил главному агроному Белоярского совхоза, он подробно перечислил все то, что обещал ему «Боевой». Оказывается, много обещал.

Так он вел переговоры со всеми совхозами Черемисинского района, иногда говорил: «Вот здесь присутствует представитель областной газеты, он записывает ваши обязательства перед нами», а еще он выскакивал к платформе и напутствовал комбайнеров и трактористов:

— Прибудете к месту — требуйте и требуйте! А когда они будут там вилять, хозяева, — ту же минуту сообщайте мне. Требуйте!

Усталые и сердитые, механизаторы отваливали на своих агрегатах от платформы, Николая Петровича будто и не слышали, только отрывисто перекликались между собой, с грохотом выезжая на дорогу, уже всю разбитую колесами и гусеницами, а тот тяжело ступал по грязи и все напутствовал:

— Требуйте! Требуйте!

Я спросил:

— Да что вы так беспокоитесь, Николай Петрович?

«Боевой», «Белоярский» — все совхозы заинтересованы, чтобы им оказали помощь, все они...

— Знаю я ихнюю заинтересованность, товарищ корреспондент, — неожиданно прервал меня голос, который я не сразу даже как будто и узнал, — сердитый, точь-в-точь комбайнерский, как будто даже пропитанный горючим и солярой. — Знаю! — повторил еще раз Николай Петрович. — И не уговаривайте меня, не внушайте, я не в первый раз сталкиваюсь. Черемисинские совхозы заинтересованы — как? Свою технику побережь, а нашу побить — вот как.

— Ну, а ваши комбайнеры, трактористы? Они-то этого не допустят!

— Это почему же?

— Естественно, заинтересованы в сохранении своих машин!

— Опять у вас не та естественность. А они вот как сделают: у кого трактор либо комбайн старый, разбитый, — он его здесь до конца постарается разбить. Покуда нету над ним глаза.

— Ну, для чего же это?

— Или вы молодой еще совсем? Старую машину добьет, значит, давай ему новую. Он тебя же и укорит: «Говорил — нельзя посылать в чужой район. Не послушал, послал — получай металлолом вместо самоходки!»

И Николай Петрович продолжал звонить по совхозам, а своим механизаторам неустанно твердил:

— Требуйте! Требуйте! Требуйте!

Из одного совхоза ему ответили:

— Что вы от меня требуете? Я — заместитель! Спрашивайте с начальства!

Тут в первый раз Николай Петрович засмеялся:

— Так я тоже заместитель. Так вот на нас-то, на заместителей, все и дёржится! Все и дёржится! — повторил он, громко и звучно, по-сибирски растягивая «ё».

Из трубки еще что-то сказали, теперь — неразборчиво, а Николай Петрович еще веселее ответил:

— Вы что же — завтра доложите своему начальнику, что побоялись взять на себя ответственность, оставили совхоз без нашей техники? Так? Не-ет, вы так не доложите! Совсем наоборот. Вот и действуйте, а нет — я тоже начну действовать и уже — против вас! Все на заместителях дёржится!

И как раз тут позвонил Струнков, спросил:

— Идет дело?

— Идет! Идет, идет, Василий Степанович, — ответил Николай Петрович. — Идет, как надо, не беспокойтесь!

Потом он положил трубку, потянулся, разбросав руки в стороны и вглядываясь в неяркую тень, которая появилась при этом его движении на желтоватой стене комнаты.

— Верно, что на сегодня конец уже виден, — сказал он. — Спасибо за помощь, пресса.

— А что, Струнков — сильный работник? — спросил я между прочим, когда мы вышли из конторы «Заготзерно» и направились в районную гостиницу.

Николай Петрович остановился и отчетливо сказал мне:

— Хороший товарищ! Оч-чень хороший товарищ! — Вздыхнул. — Единственно — на продвижение ему не сильно везет. Надо бы уже, давно надо продвинуться, но — обходят его. А надо. Ох, как надо бы!

ЖЕНЯ РУМЯНЦЕВА

Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни! Впереди еще долгие и трудные экзамены, но уроков у нас больше никогда не будет. Будут лекции, семинары, коллоквиумы — все такие взрослые слова! — будут вузовские аудитории и лаборатории, но не будет ни классов, ни парт. Десять школьных лет завершились по знакомой хрипловатой трели звонка, что возникает внизу, в недрах учительской, и, наливаясь звуком, подымается с некоторым опозданием к нам на шестой этаж, где расположены десятые классы.

Все мы, растроганные, взволнованные, радостные и о чем-то жалеющие, растерянные и смущенные своим мгновенным превращением из школяров во взрослых людей, которым даже можно жениться, слонялись по классам и коридору, словно страшась выйти из школьных стен в мир, ставший бесконечным. И было такое чувство, будто что-то не договорено, не дожито, не исчерпано за прошедшие десять лет, будто этот день застал нас врасплох.

В распахнутые окна изливалась густая небесная синь, грубыми от страсти голосами ворковали голуби на подоконниках, крепко пахло распустившимися деревьями и политым асфальтом.

В класс заглянула Женя Румянцева:

— Сережа, можно тебя на минутку?

Я вышел в коридор. В этот необычный день и Женя показалась мне не совсем обычной. Одета она была, как всегда, несуразно: короткое, выше колен, платье, из которого она выросла еще в прошлом году, шерстяная кофточка, не сходящаяся на груди, а под ней белая, с просинью от бесконечных стирок шелковая блузка, тупоносые детские туфли без каблучков. Казалось, Женя носит вещи младшей сестры. Огромные пепельные волосы Жени были кое-как собра-

ны заколками, шпильками, гребенками вокруг маленького лица и все-таки закрывали ей лоб и щеки, и она раздраженно отмахивала их прочь. Новым в ней был ровный, тонкий румянец, окрасивший ее лицо, да живой, близкий блеск больших серых глаз, то серьезно-деловитых, то рассеянно-невидящих.

— Сережа, я хотела тебе сказать: давай встретимся через десять лет.

Шутливость совсем не была свойственна Жене, и я спросил серьезно:

— Зачем?

— Мне интересно, каким ты станешь, — Женя отбросила назойливую прядь. — Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова, ни эти чувства. Вся ее жизнь протекала в двух сферах: в напряженной комсомольской работе — она была нашим комсоргом — и в мечтаниях о звездных мирах. Я никогда не слышал, чтобы в свободное от деловых забот время Женя говорила о чем-нибудь другом, кроме звезд, планет, орбит, протуберанцев, космических полетов. Не многие из нас твердо определили свой дальнейший жизненный путь, а Женя с шестого класса знала, что будет астрономом и никем другим.

Между нами никогда не было дружеской близости, учились мы в параллельных классах и сталкивались лишь по комсомольской работе. Несколько лет назад меня за один проступок чуть не выгнали из пионерского отряда. Ребята встали за меня горой, и я сохранил красный галстук. Лишь одна Женя, новенькая в нашей школе, до конца настаивала на моем исключении. Это наложило отпечаток на все мое отношение к ней. Позднее я понял, что Женина беспощадность шла от повышенной требовательности к себе и к людям, а вовсе не от злого сердца. Человек до дна прозрачный, стойкий и верный, она хотела, чтобы и все вокруг были такими. Я не был «рыцарем без страха и упрека», и сейчас неожиданное ее признание удивило и смутило меня. В поисках разгадки я мысленно пробежал прошлое, но ничего не нашел в нем, кроме одной встречи на Чистых прудах...

Однажды мы собрались в выходной день на Химкинское водохранилище — покататься на лодках. Сбор назначили на Чистых прудах, у большой беседки. Но с утра заморосил дождь, и на сборный пункт пришли только мы с Павликом Аршанским, Нина Барышева и Женя Румян-

цева. Нина пришла потому, что в выходной день не могла усидеть дома, я пришел из-за Нины, Павлик — из-за меня, а почему пришла Женя, было нам непонятно.

Женя никогда не появлялась на скромных наших пирушках, не ходила с нами в кино, в парк культуры, в «Эрмитаж». Никто не подозревал Женю в ханжестве, просто у нее не хватало времени: она занималась в астрономическом кружке при МГУ и еще что-то делала в Планетарии. Мы уважали эту Женину устремленность и не хотели ей мешать.

И вот мы сошлись в большом сквозном павильоне, под этим гигантским деревянным зонтиком посреди бульвара. Дождь то крупно и шумно остегивал землю, то утончался в почти невидимые и неслышные нити, но не переставал ни на минуту. Серые обложные тучи без единого просвета уходили за крыши домов. Нечего было и думать о Химках. Но Женя настойчиво уговаривала нас ехать. Впервые позволила она себе маленькое отступление от обычного строгого распорядка, и надо же, чтобы так не повезло! На пуговице плюшевой жакетки висел у нее сверточек с бутербродами. Было что-то очень трогательное в этом сверточке. Жене, видимо, и в голову не приходило, что можно позавтракать в закусочной, в кафе или даже в ресторане, как мы это делали во время наших походов. Из жалости к этому сверточку я предложил:

— Давайте покатаемся на пруду. — Я показал на старую, рассохшуюся плоскодонку, торчащую носом из-под свай теплушки. — И будем воображать, что мы в Химках.

— Или в Средиземном море, — вставил Павлик.

— Или в Индийском океане! — восторженно подхватила Женя. — Или у берегов Гренландии!..

— А мы не потонем? — спросила Нина. — Это было бы обидно: я приглашена на премьеру во МХАТ.

Весел не было, мы подобрали на берегу две дощечки, вычерпали из лодки воду и отправились в кругосветное плавание. Едва ли кому-нибудь из нас, кроме Жени, это доставляло удовольствие. Пока мы с Павликом вяло шлепали дощечками по воде, Женя придумывала трассу нашего путешествия. Вот мы проходим Босфор, через Суэцкий канал попадаем в Красное море, оттуда в Аравийское, оплываем Большие Зондские острова, Филиппины и входим в Тихий океан.

Запоздалая ребячливость Жени была мила и трогательна, но было в ней вместе и что-то жалкое.

— Смотрите! — говорила Женя, указывая туда, где за глянцевыми от дождя ветвями деревьев уныло темнели мокрые колонны кинотеатра «Колизей». — Вон пальмы, лианы, слоны: нас отнесло к берегам Индии!..

Мы переглядывались. Как это бывает в семнадцать лет, мы защищали свою внутреннюю жизнь, еще хрупкую, легко ранимую, броней нарочитой насмешливости, легкого цинизма, и нам непонятно было, как можно так наивно обнаруживать себя.

— Мы приближаемся к страшным Соломоновым островам! — зловещим голосом объявила Женя.

— Правильно! — подтвердил Павлик, самый добрый из нас. — А вон и туземцы-людоеды, — он указал на группу чистопрудных ребят, остановившихся прикурить у ограды водоема.

— Пушки на борт! — скомандовала Женя. — Приготовить ядра!..

— Женя, очнись, это же колониализм! — сказал я.

— Верно! — улыбнулась Женя, обрадованная, что ее выдумки нашли у нас отклик, и в простоте не замечая иронии. — Мы должны прийти к ним как добрые друзья, мы принесем им орудия труда, инструменты, лекарства...

— А вместо Библии — учебник Абрамовича и Головенченко, — добавил Павлик.

Наше скучное плавание сквозь дождь продолжалось. Женя неумоимо командовала «Право руля!», «Лево руля!», «Поднять паруса!», «Убрать паруса!», отыскивала путь по звездам — наш компас разбился во время бури. Это дало ей возможность угостить нас лекцией по астрономии, из которой я запомнил лишь, что за экватором звездное небо как бы перевернуто. Потом мы потерпели бедствие, и Женя раздала нам «последние галеты» — свои намокшие бутерброды. Мы понуро жевали их, а Женя говорила о том, как ей нравится жизнь Робинзона.

Я промок, устал, занозил руку о щепку-весло, это сделало меня безжалостным, и я сказал, что не знаю более обывательской книги, чем «Робинзон Крузо».

— Вся книга наполнена мелочной заботой о жратве, одежде и утвари. Бесконечные преysкуранты харчей и барахла. Гимн торжествующему быту!..

— А я не знаю ничего более волнующего, чем эти, как ты их назвал, преysкуранты! — говорила Женя со слезами на глазах. — И сколько в книге простора, стихий, мечты...

Наш спор прекратила Нина Барышева. Она вдруг закричала:

— Ура! Впереди берег!..

— Где? Где? — всполошилась Женя.

— Да вон, у теплушки, — будничным голосом сказала Нина. — Все, приехали! Мальчики, я замерзла, без чашки кофе не обойтись.

Женя оторопело поглядела на нас, щеки ее порозовели.

— А что? — мужественно сказала она. — Кутить так кутить!..

Мы загнали лодку под сваи, выбрались на берег и тут сразу столкнулись со старым моим знакомцем и недругом Ляликом. За последние годы хулиганствующий подросток побывал в тюрьме и в исправительно-трудовой колонии. Он очень окреп, раздался в плечах, глядел исподлобья и строил из себя матерого бандита. Поравнявшись с нами, Лялик одним плечом толкнул меня, другим — Павлика и грязно выругался. Сейчас, в ореоле своей уголовной славы, он знал, что ничем не рискует. Страх нам внушал не он сам, а его репутация. Он подавлял нас мрачным величием своей судьбы, мы чувствовали себя рядом с ним жалкими чистоплюями, маменькиными сынками. Куда нам было тягаться с этим отчаянным человеком!..

— Не смей ругаться, хулиган! — крикнула Женя: она не знала, кто такой Лялик.

Лялик молча повернулся и пошел на нас. Но Женя перехватила его на полдороге. Она нахлобучила ему на нос его старую кепку со сломанным козырьком и сильно толкнула в грудь. Лялик отлетел к огороженному проволокой газону и через проволоку кувыркнулся в траву.

И тут выяснилось, что Лялик просто мальчишка, такой же, как и мы с Павликом, и всему его зловещему виду грош цена.

— Ты чего толкаешься? — пробормотал он жалобно, пытаясь стянуть кепку, налезшую ему на глаза.

А потом мы сидели в летнем кафе под мокрым полосатым тентом, пили горячий черный кофе и холодное пиво. Женя выпила бокал пива, заколки и шпильки как-то разом выпали из ее огромных, густых волос, она покраснелась и стала громко обзывать себя кутилой и пропащей душой. Нам было немного стыдно за нее, мы боялись, что подавальщица не даст нам больше пива, потому что Женя никогда еще не напоминала так девочку-переростка, как в этом кафе, со своими растрепанными волосами, в платье, все время

задиравшемся на ее круглых коленях. И еще Женя говорила, что ей хотелось бы погибнуть в первом космическом полете, потому что космосом нельзя овладеть без жертв и лучше погибнуть ей, чем другим, более достойным.

Мы знали, что она говорит искренне, не подозревая о своем душевном превосходстве, и это унижало нас. Мы не были такими даже под воздействием пива, нам нужен был хоть какой-то шанс уцелеть...

Больше Женя не бывала с нами. Мы не раз приглашали ее на наши сборища, но она отказывалась за недосугом. Может, у нее и действительно не хватало времени, ей столько нужно было успеть! А что, если в тот единственный раз она пришла из-за меня и из-за меня отступилась, сказав себе с гордой честностью: «Не вышло»...

— Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

— К чему было говорить? Тебе так нравилась Нина!

С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

— Через десять лет, двадцать девятого мая, в восемь часов вечера, в среднем пролете между колонн Большого театра.

— А если там нечетное число колонн?

— Там восемь колонн, Сережа... К тому времени я буду знаменитым астрономом, — добавила она важно, мечтательно и убежденно. — Если я очень изменюсь, ты узнаешь меня по портретам.

— Что же, к тому времени и я буду знаменитым, — сказал я и осекся: я совсем не представлял себе, в какой области суждено мне прославиться, и еще не решил даже, на какой факультет подавать документы. — Во всяком случае, я приеду на собственной машине...

Это было глупо, но я не нашелся что сказать.

— Вот и хорошо, — засмеялась Женя, — ты покатаешь меня по городу...

Минули годы. Женя училась в Ленинграде, я ничего не слышал о ней. Зимой 1941 года, жадно ловя известия о судьбе моих друзей, я узнал, что Женя в первый же день войны бросила институт и пошла в летную школу. Летом 1944 года, находясь в госпитале, я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. Когда я вернулся с войны, то узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

Жизнь шла дальше, порой я вдруг вспоминал о нашем

уговоре, а за несколько дней до срока почувствовал такое острое, щемящее беспокойство, будто все прошедшие годы только и готовился к этой встрече.

Я не стал знаменитым, как обещал Жене, но в одном не обманул ее: у меня был старенький «оппель», купленный за бесценок на свалке трофейных машин. Я надел новый костюм, оседлал своего бензинового конька и поехал к Большому театру. Если бы я встретил там Женю, я бы сказал ей, что после всех шатаний нашел все же свой путь: у меня вышла книга рассказов, сейчас я пишу другую. Это не те книги, которые мне хотелось бы написать, но я верю, что еще напишу их.

Я поставил машину возле сквера, купил у цветочницы ландыши и пошел к среднему пролету между колонн Большого театра. Их в самом деле было восемь. Я постоял там немного, затем отдал ландыши худенькой сероглазой девушке в спортивных тапочках и поехал домой...

Мне хотелось на миг остановить время, оглянуться на себя, на прожитые годы, вспомнить девочку в коротком платье и узкой кофточке, тяжелую, неповоротливую плоскодонку, дождик, усеявший желтоватую поверхность пруда колючими отростками, взволнованный крик: «Нас отнесло к Индии!», вспомнить слепоту своей юношеской души, так легко прошедшей мимо того, что могло бы стать судьбой.

ОБРОК

Кузнец умер внезапно. И всех сначала поразила не сама смерть, а ее несовместимость с кузнецом. Был он в свои сорок лет на загляденье хорош собой: серебрилась в крупных кудрях паутина, по углам рта лежали матерые складки, широкие ноздри всегда чуть подрагивали, в глазах горели такие угли, что даже у многих молодых девчонок становилось горячо под сердцем от их взгляда. Играючи махал он из печи под молот пудовые коленчатые валы, и казалось, износа ему не будет. На заводе про его силу рассказывали такой случай. Вышел он как-то из цеха и увидел, что по заводской ветке мчится вагонная ось с двумя колесами. Кузнец сорвал с пожарного щита лом, загнал его в песок под шпалу, а другой конец принял на свое плечо. Лом согнуло осью, точно ивовый прут, а кузнец выпрямил его о коленку и опять повесил на щит, на место... Вековая держалась сила: дед его был кузнец, и отец его был кузнец, и сам он был кузнец, и фамилия им всем была Кузнецовы.

И вот умчали кузнеца санитары в фуражках с кокардами — только пыль завилась за машиной.

А начался этот воскресный день с того, что грузовик привез дрова. Шофер грохнул кулаком в раму, закричал: «Эй, хозяин! Покажи, где сваливать!» — и стал ждать, насвистывая что-то веселое.

Пока кузнец путался спросонок в штанах, дочь его Маша набросила халатик, вышла босиком на крыльцо.

— Ух! — сказал шофер. (Озорник был ужасный). — Ух! На вас глядеть, как на солнце, — глазам больно.

В это время вышел и кузнец.

— На солнце могут глядеть только орлы, — сказала Маша.

И пошла через двор к сараю — тоненькая, легкая, длинноногая.

Шофер сдвинул на лоб засаленный берет, сел в кабину и, подгоняя задним ходом грузовик к сараю, подмигнул кузнецу:

— Значит, во всех смыслах задний ход, дядя?

— А ты думал! — самодовольно сказал кузнец.

Дрова с гулким раскатом осыпались с самосвала; вино пахло кислым березовым соком, на торцы, к сладкому, сразу налипли большие синие мухи.

— Целая роща под топор пошла, — покачал головой кузнец.

Шофер опять созорничал:

— А это, дядя, чтобы мораль соблюсти.

— Как так?

— Чтобы, значит, молодежь по рощам не норила.

— Ну, понес! — рассердился кузнец. — У тебя, видно, одно на уме, оболтус.

Когда он уехал, кузнец закрыл ворота, походил по вытоптанному пыльному дворику. Жил он на новой улице из маленьких коттеджей, которые здесь называли финскими домиками. Улица была окраинная. За канавкой, за пересыхающим ручьем и бревенчатым мосточком, уже начинались колхозные поля, по косогору блестели рамы парников, а дальше, на самом перевале, щеткой торчал мелкий ельник, и было здесь по-деревенски тихо, привольно, ясно небо, хотя и головато, как всегда на новом месте после стройки.

— Деревья надо сажать, — сказал кузнец. — Обязательно, чтобы яблони, вишенье, терн...

Маша в это время ломала у забора полынный веник.

— Буди Василия, — сказал ей кузнец.

— Василий, папа, на рыбалку ушел, — ответила Маша.

— А, дьявол его задави! Ведь было говорено наперед, что дрова привезут. — Кузнец пнул ногой откатившийся кругляк. — Перепилить бы их сразу, убрать — за лето до звона высохнут.

— Ладно, папа, — сказала Маша. — Пусть уж.

Василий догуливал последнее перед армией лето, и ему было все позволено — гуляй напропалую.

— Потатчицы... — проворчал кузнец.

На крыльцо вышла жена с большой корзиной в руках.

— Ну, что развоевался? — ласково спросила она. — Пойдем со мной.

И в то утро, как обычно по воскресеньям, кузнец ходил с женой на рынок.

Было жарко. Утро, по-августовски медленное, долго выстаивалось в сиреневом тумане и казалось пасмурным, волглым, но, когда туман поднялся и растаял, обрушилось на город каленым зноем, сушью, запахами уже подсыхающей листвы тополей и базарной площади.

Пока жена делала покупки, кузнец по обычаю выпил в закуской кружку пива. Здесь у него нашлось много знакомых, рабочих с завода. Одного — усатенького, юркого, норовившего пролезть к буфетной стойке без очереди — он хлопнул по плечу и спросил:

— Ну, как теперь живешь-можешь, Иван Власыч?

На что тот, хитренько посмеиваясь одними глазами, ответил:

— Нет, я теперь уж не Иван Власыч, а «тыбы». Как вышел на пенсию, только и слышу дома «Ты бы сходил на базар», «ты бы принес дров», «ты бы вылил помой»...

— А «ты бы выпил кружечку» небось не говорят? — под общий смех всей очереди спросил кузнец.

С базара он нес тяжелую корзину, а жена шла по другую руку и держала его за локоть.

Недалеко от дома им встретилась и надменно поклонилась «каменная красавица» Люська Набойкова — толстая блондинка с белым неподвижным лицом. Она никогда не улыбалась, чтобы уберечь лицо от морщин, и за это на улице ее прозвали «каменной красавицей».

— Ишь ты! — сказала жена кузнецу. — Так и ведешь за ней блудливым глазом.

— Ну, полно, мать! — засмеялся кузнец, обнимая свободной рукой жену за плечи. — Мне бабу нужно, как ты, резвую, чтобы платье на ней шуршало, когда она по квартире бегают.

И, зная, что это говорится не в пустое утешение, а воистину, она, вся такая ладненькая, крепенькая и ловкая, расцвела от его грубоватой ласки.

Дома в ожидании завтрака кузнец возился с младшим сыном, которого звали редким теперь именем Аксен.

— И ты его видел? — спрашивал мальчик.

— Ну конечно! Доктор отхватил его блестящим ножичком и бросил в таз, а потом его закопали в госпитальном дворе, у помойки.

— Бррр... — сказал мальчик.

Он сидел у отца на животе и осторожно держал его большую темную руку с выпуклыми венами и несмываемой грязью в складках кожи. Мальчика давно занимала

эта история с рукой, которую сначала ранили на войне, потом долго лечили в госпитале и все-таки отрезали ей палец. Он был вот здесь, на этом самом месте, шевелился, сгибался, сжимался вместе со всеми в кулак, и мальчик, силясь вообразить продолжение маленького гладкого бугорка, все настойчивей донимал кузнеца вопросами.

— А он был такой же, как этот?

— Точно такой же.

— Тебе его жалко?

— Еще бы!

— А почему не вырастет новый? Почему зуб вырастает, палец — нет.

— Ну, уж этого я не знаю, отстань.

Аксютка опять долго рассматривал изуродованную кисть его руки, потом спросил:

— А волоски на нем тоже были?

Они лежали на тощем островке травы у забора, из-под которого лезла седая вонючая полынь, но оба привыкли к ее запаху и даже любили его. В нем жил сухой летний зной, звон кузнечиков, полуденная сонь — и без него лето было бы не летом. В этом запахе для них было даже что-то праздничное, потому что хозяйка дома — жена, мать — каждое воскресенье мела вспрыснутый пол свежим полынным веником, потом вся семья садилась за стол, ела огромную кулебяку с капустой, а кузнец удостаивался к тому же стакана или даже двух водки.

— Ну-ка, Аксен Федорыч, узнай, как там у матери дела, — сказал кузнец и поднял сына, чтобы снять его с себя, но вдруг охнул, сел и удивленно оглянулся по сторонам.

— Ух, как старую царапину засадило! — сказал он.

Потом встал и пошел к дому, держась за грудь, но на крыльце остановился, подождал Аксютку, и в кухню они вошли рядом — большой, сутуловатый, с густым серебром в волосах, и маленький, босой, в полинявшей майке, заправленной в синие штанишки.

Кузнец шел и морщился.

— Что-то старую царапину засадило, — опять сказал он.

В спальне он лег на ковер, на пол, где всегда любил лежать в прохладе и просторе, и уж не сказал ничего, кроме самого обычного, что говорил много раз:

— Окно откройте...

Маша бросилась к окну, толкнула плотно пригнанные створки, и сухой, горячий, пахнувший полем и ельником сквозняк пронесся по комнате, подхватив со столика пач-

ку Аксюткиных конфетных оберток. Желтые, красные, синие, они, кувыркаясь и трепеща, носились в воздухе и падали кузнецу на лицо, а он лежал с открытыми глазами, и веки его не дрогнули...

За день в доме на окраинной улице перебивало много людей. И все, кто видел в это утро кузнеца, теперь с недоумением припоминали и в подробностях пересказывали друг другу каждый его шаг, каждое слово: вот привезли дрова, вот был на рынке, вот шутил с Иваном Власычем, вот возился с Аксюткой.

У низенького забора, разинув рот, стояла и грустными коровьими глазами смотрела на пыльный дворик соседка — «каменная красавица» Люська Набойкова.

Иван Власыч, слизывая с усов слезы, сказал:

— Ведь она, наверно, в меня, старика, подлая, метила, да промахнулась...

А озорник шофер, успевший сменить свой засаленный берет на выходную кепочку, мрачно произнес:

— Все мы на земле, как в гостях.

Было ему на вид лет девятнадцать.

Жена, Маша и Аксютка не говорили — они плакали.

Вечером, вернувшись с рыбалки, узнал о смерти отца Василий. Ударом ладони распахнув дверь, он выбежал из дома и зашагал в поле, подвывая сквозь сцепленные губы.

Темно и тихо было в поле. Ни свет звезд, ни сияние Млечного Пути, как это бывает в августе, не достигали земли; и только в стороне, где пролегала шоссейная дорога, в воздухе шатались столбы света от автомобильных фар.

Под ногами у Василия сухо шуршала ржаная стерня, потом он оступился в глубокую межу, упал, поднялся и снова зашагал, но теперь уже по неровному, комкастому картофельнику, путаясь ногами в ботве.

Очнулся он около леса. Мелкий ельник дохнул на него горячей, устоявшейся за день духотой; жесткая трава, росшая на закрайке, со свистом стегнула по сапогам. Над головой бесшумной тенью — ни вскрика, ни посвиста крыльев — метнулась маленькая совка.

«Зачем я тут? — подумал Василий. — Вот пенек торчит... Вот паутина на лицо налипла... Если воткнуть с приговором в гладкий пенек нож и перекувыркнуться через него — станешь волком, а когда набегаяешься, надо перекувыркнуться с обратной стороны. Унесет кто-нибудь нож — так и останешься волком...»

Он сел в траву, припал к теплему пню и заплакал...

И еще. Утром патологоанатом, сделав свое дело, вышел в коридор покурить. Это был высокий, сухой, всегда басовито покашливающий старик, насупленный и молчаливый. В смерти, с которой его профессия сняла мистические покровы, для него не было тайн, и о кузнеце он знал все и теперь, затягиваясь и глядя в окно, думал:

«Война, война... Все еще собирает она среди нас свой гнусный оброк...»

В памяти докучно звучали слова поэта, имени которого он никак не мог вспомнить:

Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем...

И когда, поступая против собственных правил, он закурил вторую папироску подряд, руки у него слегка дрожали.

Михаил Роцин

У НАС НА ТАГАНКЕ

Мы вышли в первом часу ночи из метро у себя на Таганке, а она стояла на уголке возле почты и прощалась с подругой. Обе с непокрытыми головами, в модных коротеньких пальто и светлых узеньких туфельках. Подруга повыше, Сюш пониже. Было слякотно, туманно — начало весны. В трамвайных колеях, поблескивая, струилась вода. Настроение у нас было веселое, мы взяли да и заговорили с ними. Подруга — она была, видно, большая воображала, эта красивая подруга, — только молча усмехнулась, а Сюш ответила нам, залилась хохотком; оглядев нас, сказала, что мы, кажется, вполне приличные мальчики и она, так и быть, разрешает нам проводить ее. Она держалась просто, словно мы сто лет знакомы, и мы все удивлялись, как это никогда раньше не встречали ее: рядом почти живем и всех, кажется, знаем?

Наша Таганка ведь особенная, и тут, как в деревне, все друг друга знают. У нас небольшие, утонувшие в пышных липах и тополях улочки. Кое-где еще булыжник. Много и больших, новых домов, но все-таки больше старых, двухэтажных, с тесными двориками. Старая Москва, одним словом. Торчит над таким домишком телевизионный шест, и дом от этого кажется еще меньше. У нас начинаются маршруты пригородных автобусов; до крыш заляпанные светлой весенней грязью, тяжелые, они идут отсюда в свой путь — через черные, мокрые поля и прозрачные рощи в Каширу, Бронницу, Ногинск. Железная дорога тоже неподалеку, и совсем рядом — завод. Грохочут, гудят, беспрестанно движутся трамваи, грузовики, автобусы, легковые машины, люди, люди, а между ними, как остров, — наши улочки. И тут тихо. Мальчишки пускают в мутных ручьях кораблики. Женщины в галошах на босу ногу развешивают по дворам белье и, заслонясь рукой от яркого солнца, следят за полетом голу-

бей и высоко идущих реактивных в чистом, холодной голубизны небе.

А в начале лета, по ночам, когда стихает гул города и дома спят, распахнув окна, в липах поют соловьи. Самые настоящие соловьи! Кто-нибудь, может быть, и не поверит: ну, откуда это соловьи в Москве? Но, честное слово, они есть и поют не хуже, чем где-нибудь под Курском. Особенно много их в садике поликлиники, и мы не раз останавливались у чугунной решетки и подолгу слушали странное, околдовывающее пение невидимых птиц — редкое пощелкивание и долгую, напряженную трель... Уже рассвет, уже голубыми стали окна верхних этажей в большом доме напротив; на улице — чистая тишина утреннего сна. Мы стоим молча, а в тихой, сонной, густой листве заливаются соловей...

Или сидим на каменной, всегда холодно-ледяной скамье у дома восемь, которую кто-то из нас назвал когда-то глетчером, и дымок нашей последней, раскуренной на всех сигаретки медленно поднимается вверх в чистом воздухе.

Сколько же было всего сказано, о чем только не говорили и не молчали мы тут! И так странно, что теперь все реже приходим мы сюда, а если и приходим, то поодиночке или вдвоем...

Сюш виновата? Может быть, и Сюш...

Вообще ее звали Сюзанной, но вот уж кому не шло имя, так это ей. Была она маленькая, ниже всех нас на голову, а ниже Вити так и на две, плотненькая, быстрая. То ли шутя, то ли по привычке говорила то и дело: «Чоты!», «Порядок!» Голос у нее был громкий, чуть грубоватый, и если она смеялась, то на весь автобус или на весь зал в кино, и люди оглядывались. От нее пахло то духами, то жареными семечками. «Ксюша ты, а не Сюш, ты меня извини, конечно...» — сказал ей как-то Витя. Одевалась она модно, со вкусом, но иногда вдруг мы видели на ней какие-нибудь невозможные клипсы или кольцо, купленное рублей за девять на старые деньги в снесенном уже теперь ювелирном магазинчике на Таганке. Она умела быть и молчаливой и значительной, и улыбаться снисходительно, и изящно снимать перчатку, и, лукаво усмехаясь, говорила, что рядом с нами, студентами, ей хочется «соответствовать»... Походка у нее была легкая и быстрая, стриглась она коротко, ей это шло. Глаза были синие, веселые. Когда она глядела Вовке в лицо, поправляя ему шарф или застегивая пуговицу ковбойки, когда она глядела на него так,

снизу вверх, глаза ее занимали пол-лица и появлялось в них что-то такое, отчего нам с Витькой хотелось отвернуться, а Вовка басил:

— Ну, Сюш, что уж ты, спасибо...

Она изумляла нас своей непосредственностью: честное слово, никто из наших девчонок не мог бы так неожиданно зареветь среди какого-нибудь дурацкого фильма или одним словом — простым и верным — оценить книжку, человека, событие. То она казалась нам — да простит меня Вовка! — глупой, а то вдруг все понимала с полуслова и умела слушать; или вдруг говорила что-нибудь этакое, чего и парень не скажет. Поглядишь на нее при этом и думаешь: «Ты понимаешь ли вообще, что говоришь, тетя?»

Однажды часов в двенадцать ночи мы все вместе вышли из метро — ехали из Лужников. Хлестал сумасшедший майский ливень. Мы бы пошли, конечно, не будь Сюш, под дождь, но ей не хотелось портить новую, торчащую во все стороны юбку. Решили переждать. Вокруг было полно людей.

— Господи, до чего жрать хочется! — во весь голос сказала Сюш. — Жизнь отдала бы за бутерброд с колбасой. С копченой, конечно...

Вовка ласково посмотрел на нее, потом на нас, потом на часы. Напротив еще светились окна «Камы» — нашего местного ресторанчика. Тогда Вовка поддернул штанины и ринулся через дорогу по лужам. Мы видели, как он стучал в дверь, умоляя через стекло швейцара, совал палец в рот, показывая, что ему, мол, нужно только курево, но все было без толку. Даже когда дверь отворилась, выпуская каких-то людей, Вовке не удалось в нее протиснуться. Тогда Вовка остановил такси и, не обращая внимания на ринувшуюся было задержать его Сюш, укатил бог знает куда.

— Рассказ О'Генри «Персик», — сказал я, ни к кому не обращаясь. — Героиня просит персик, герой уходит в ночь, чтобы найти его, едва не погибает, предает друзей...

— Это я что-то не читала, — сказала Сюш.

Витя печально поглядел на меня: мол, нашел кому рассказывать...

— ...Да, так вот. Персик найти он не может — всюду одни апельсины. А когда он наконец все-таки приносит ей персик, героиня говорит, что в общем-то хотела апельсин...

— Нет, апельсин я не хочу, — сказала Сюш, — от него еще больше есть захочешь. А вот бутерброд бы... Но куда же его понесло? Вот сумасшедший-то! — помолчав, проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Мы не отвечали.

— А вообще приятно, когда ты скажешь, а человек вот так, дождь не дождь... — произнесла она затем как бы мечтательно.

— Да?

Это я сказал «да?», и вышло оно у меня как-то очень насмешливо и обидно.

Без Вовки нам с нею было как-то неловко, мы не знали, что говорить, и нам казалось, что между нами катастрофически расширялась неприятная пустота. Сюш даже отошла от нас. Она стояла поодаль, какая-то обиженная и одинокая. Она глядела вдоль улицы, по которой уехал Вовка, и огромная, разноцветная от реклам, мокрая площадь, словно черная вода, плескалась у ее ног.

Прошло полчаса. Дождь утих, и люди разошлись. Никого, кроме нас, возле станции не осталось, двери закрылись, свет потух. Витька громко зевал, ежился, вздыхал и все говорил:

— Вы меня извините, конечно, но я-то не хочу бутерброда с колбасой...

— Витя, стыдись! — говорил я. — Разве ты не рыцарь, Витя? Ты погляди только, Витя, какие есть еще рыцари на Украине: стоит ихней даме пожелать чего-нибудь...

— Да идите вы! Идите к черту! — сказала вдруг Сюш. — Нечего меня охранять, не маленькая... Подумаешь, умные больно!

Мы обиделись.

— Ну что ж ты злишься? Ты уж и шуток не понимаешь...

— Не понимаю, конечно! Ничего я не понимаю, где уж мне!

— Ну, это ты зря, мы же так просто...

Она отошла еще дальше, встала и начала растирать ладонями плечи. Увидев это, мы разом сняли пиджаки.

— Не надо! — сказала она сердито, но я все-таки оставил свой пиджак на ее плечах.

Наконец явился на такси мятый, мокрый Вовка. Невозмутимо, будто уходил на минуту, подал Сюш бутерброды, завернутые в бумажные салфетки. С копченой колбасой.

Когда Сюш, приподнявшись, чмокнула Вовку в щеку, мой светлый пиджак упал на мокрую мостовую. Витя доплатил за такси.

— Ну, вы уж идите, братцы, — сказал Вовка, — а то поздно, я сам провожу.

Сюш помахала нам надкушенным бутербродом; одна белая салфетка отлетела и запорхала в темноте...

Молча постояли мы у дома восемь. В тишине слышно было, как шлепаются с деревьев капли на мокрую землю. Липы стояли тихие, умытые.

— Вот так, значит, в таком разрезе, — сказал Витя, подавая мне руку.

Скоро началась сессия, виделись мы мало.

Потом сессия кончилась, и Вовка уехал на практику на Северный Урал — он ведь геолог.

— Ну что же вам сказать? — говорил он на прощание. — Сюш — отличная девчонка, честное слово...

Он рассматривал в эту минуту подметки своих здоровенных, заново подбитых сапог. Он был небрит — уже отпустил бороду, рюкзак его стоял на столе, а вокруг стопочкой лежали ковбойки, трусы, чистые портянки.

— Но это же не всерьез, это так ведь просто, тру-ля-ля? — спросил кто-то из нас.

— Да нет, это не тру-ля-ля, — ответил Вовка печально, огорчившись такими словами. — Я ведь ее не тронул, хотя мог бы, наверное...

— Мог бы, мог бы! Вполне! — ехидно сказал Витя и, увидев, как Вовка нахмурился, добавил: — Ты меня извини, конечно...

— Вы какие-то пошлые дураки, — сказал Вовка задумчиво.

Тогда мы заговорили всерьез. Мы припомнили ему всех девчонок, о которых он, бывало, говорил с такою же задумчивой нежностью. Вспомнили, как он был влюблен в одну аспирантку Милочку, которая, кажется, знала все на свете, ужас какая была образованная и писала диссертацию на тему «Обучение плаванию детей в детском саду». Мы говорили, что нечего зря морочить Сюш голову, что он всегда был эгоистом с недоразвитым чувством ответственности. И еще много чего мы говорили и ехидничали по поводу Сюш.

— Вы что же, правда, не верите? — удивленно спрашивал Вовка.

— А ты сам-то веришь? Ты сам-то не накручиваешь того, чего нет? Ну, гуляли, ну, целовались, ну, смешная она, забавная, — так что? Мало ли девчонок! Что за привычка — сразу душу нараспашку и мечтать уж бог знает о чем! А потом пальцы кусать... Ты, может, еще и женишься?

— Просто прелесть, что за друзья у меня! До того чуткие, заботливые ребята — страшное дело...

— Ты не хохми, Володя. Это же серьезно все...

— Да что вы привязались-то, в конце концов?! Нравится она мне. Нравится — и все. А что из этого выйдет, посмотрим... Вас это удивляет? Или, может быть, она вас шокирует, а?

— Может быть, — сказали мы.

Тогда он обругал нас, и разговор кончился.

На вокзале он сказал нам (Сюш стояла рядом, но он сказал так, будто ее нет):

— Ну вот, мне теперь есть к кому возвращаться.

Как будто до сих пор ему не к кому было возвращаться... А Сюш, когда двинулся поезд, побежала по залитому солнцем перрону, пробиваясь сквозь толпу, чтобы еще несколько секунд, пока вагоны не слились в одну линию, видеть Вовкину руку, и махала тоже, и ладонью, по-женски, торопливо обирала слезы с лица, и нос вытирала рукой, и спотыкалась на ровном, а остановившись, повесила голову, опустила руки и стояла так несколько мгновений, не шевелясь.

— Доигрался, — сказали мы про Вовку.

Мы подождали Сюш и молча проводили ее до метро.

На наши улочки пришло лето. Зацвели и осыпались липы. Дни были жаркие, душные, ночами пахло нагретым камнем, пылью, политой мостовой и близкой железной дорогой. Мы шли однажды с Витей мимо дома восемь и на нашем глетчере увидели парочку; они сидели обнявшись, и, когда мы проходили, девушка спрятала лицо на груди у парня. На углу площади стояла желтая цистерна — прицеп с квасом, и знакомый нам милиционер Никишкин, молодой и веселый парень, опершись о цистерну спиной, мурлыкал песню: «Что-то мне, подружки, дома не сидится...» Он спросил у нас про Вовку, мы ничего не могли сказать: писем еще не было. Мы направились дальше, потом повернули обратно и снова прошли мимо Никишкина и мимо глетчера.

— Ты меня извини, конечно, — сказал Витя, — но я все думаю: не зайти ли нам к ней?

Она жила неподалеку от набережной, в старом двухэтажном доме с террасой на втором этаже. Дом уже спал. На террасу выходило окно кухни, и там был свет. Когда мы поднялись наверх по рассохшейся деревянной лестнице, то сразу увидели в окне Сюш. Она стояла в темной от копоти, тесной, старенькой кухне с желтой лампочкой, сти-

рала под краном и развешивала на синей проволоке, протянутой вместо веревки, тонкие чулки. На голове ее торчали бигуди, короткий халатик был застегнут у горла булавкой. Она словно бы похудела с тех пор, как мы видели ее в последний раз на вокзале, и показалась нам совсем маленькой и грустной.

Она повесила чулки, подошла к плите и, наклонившись над черной большой сковородкой, лизнула, прилепив к языку, семечко. Мы забарабанили в стекло...

Вот уж она нам обрадовалась! Выбежала на темную террасу, где едва можно было повернуться, — столько тут было навалено старых стульев, детских колясок, лыж и корыт, — и тормошила нас, смеялась, подпрыгивая на цыпочках, целовала в щеки, обдавая запахом семечек и поблескивая бигуди.

— Мальчики, милые! Я так рада! Где вы были? Куда вы ездили? Жуть, до чего я рада!

А мы нигде не были и никуда не ездили...

Она села на старую детскую коляску, сведя вперед плечи, зажав ладони между колен, и счастливыми, праздничными глазами глядела на нас снизу вверх.

— Ты нас извини... — сказал Витя.

— Что вы, что вы! — отвечала она, не поняв, наверное, за что Витька просит извинить нас.

С тех пор мы стали приглашать ее с собой, когда шли в кино, ездили в Химки или на стадион. Или приходили к ней — сидели у телевизора и пили чай, и потом она провожала нас. Мы спускались на набережную и подолгу стояли у теплого, нагретого за день гранитного парапета. Еще она любила кататься на речном трамвайчике — запахивала на груди, держала кулачками у горла кофту и неотрывно, пока не закружится голова, глядела на рябую от огней муаровую воду. Или весело, потешно рассказывала, что случилось у нее за день, — она работала копировщицей на автозаводе. Раньше она говорила, что снимается на «Мосфильме». Оказывается, это было только раз: они отправились туда с той самой подругой, их приняли и сняли бы в массовке, но пришлось бы сидеть и ждать всю ночь, утром надо было на работу, так что ничего не вышло.

Когда мы вспоминали что-нибудь — а в воспоминаниях наших непременно упоминался Вовка, — Сюзанна слушала со светлым, тихим лицом, раскрыв глаза, — так дети слушают сказку. А вообще о Вовке мы говорили мало.

Вовка писал и ей и нам. Письма были редкие, веселые,

восторженные, очень короткие. Одно письмо целиком было посвящено какой-то «геологине» Людмиле, и мы только покачали головами, читая его. Потом писем не стало. Мы послали телеграмму, он ответил, что жив, здоров, работает, а писать некогда.

Осень была дождлива и тепла. По утрам шли через наши улочки грузовики с бело-зеленой капустой, на углу площади в зеленой загородке, запертой на замок, мокро блестели арбузы. Мальчишки в сизых мундирах, размахивая портфелями, прыгали через пузырчатые от дождя лужи. В лужах плавали и тонули желтые, светлые, яркие листья. В палисадниках отцветали пышные, вымытые георгины. Сюш в сереньком плаще с капюшоном, из которого глядело ее похудевшее, невеселое лицо, ходила с нами по мокрым улицам, молчаливая, тихая, и, когда мы звали ее в кино, в театр, в кафе, предлагали бутерброды с копченой колбасой, ласково отвечала: «Нет, что-то не хочется». Она все просила меня читать стихи. «Осенняя пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса...» — начинал я. Она благодарно брала меня под руку, и я чувствовал, с каким волнением и значением она слушает.

Мы виделись почти каждый вечер, и, странно, — нас не тяготили эти встречи, не надоедали, нам было просто и хорошо с нею. Мы как-то решили больше не ходить к Сюш, оставить ее одну («Вдруг Вовка и думать о ней забыл, и мы зря напоминаем ей о нем?»), но не смогли: привыкли, что ли... Мы были почти уверены, что Вовка не пишет неспроста, и думать об этом было тяжело.

Он вернулся в ноябре. Уже лег снег. Синие зимние московские сумерки, запах морозца, звук дворничьих скребков, далеко слышный по улице, желтый, теплый, уютный свет окон за снежными ветками лип, весело спешащие прохожие, залепленные снежками афиши, машины...

— Ах, Москва, Москва! — упоенно стонал Вовка, идя с вокзала (мы нарочно пошли пешком). — Что за город! Всю землю пройдешь — лучше нету!

Он приехал чернобородый, в меховой куртке, какие носят летчики, в пыжиковой шапке и сапогах, уверенный, счастливый, громкоголосый. И черт возьми, как мы ни были насторожены и сердиты, мы с нежностью и восхищением глядели на него и были рады ему! Но все-таки весь вечер среди чоканья, смеха, радости, сбивчивых, обрывающихся его и наших рассказов и расспросов мы все ждали, спросит ли он о Сюш. Он не спрашивал.

Что ж, думал я, этого и следовало ожидать, это и предсказывали. Вовка — человек увлекающийся, и, кто знает, не ходил ли он там через тайгу, километров за сорок, за бутербродом для кого-нибудь, причем так же искренне и охотно, как делал это для Сюш. Всякое бывает, и время есть время. Все же прошло несколько месяцев и он жил совсем иной жизнью: вокруг были другие люди, и, скорее всего, замечательные люди. Не надо было только говорить всякие высокие слова и морочить девчонке голову. Что вот делать теперь? И, вспомнив Сюш, я даже похолодел при мысли о том, как она узнает обо всем этом.

Мы просидели часов до одиннадцати, и вдруг Вовка поднялся.

— Братцы, — сказал он, — а что, если я на часок убегу, вы как, не обидитесь?

Я почувствовал, как сердце у меня заколотилось. Мы переглянулись с Витей.

— Ты меня извини, конечно, — сказал он Вовке, — но нельзя ли узнать, куда это ты?

Вовка замялся.

— Геологиня какая-нибудь? — спросил я.

— А может, к этой, как там ее? — Витя делал вид, что мучительно вспоминает имя. — Ну, что у метро-то познакомились... Ксюша, что ли?..

Вовка нахмурился, но ничего не сказал.

— Нет, может, ты действительно к ней? — спросил я с самым изумленным и насмешливым видом.

— Знаете что, — сказал Вовка, — мне бы не хотелось с вами сегодня ссориться.

Мы вышли вместе и нарочито холодно расстались с ним на углу площади. Вовка пошел строго, обиженно держа голову. Мы улыбались ему вслед, мы не могли скрыть свою радость. Нам было чертовски весело.

Мы подошли к нашему глетчеру. На нем белой подушкой лежал снег. Но мы все-таки уселись.

Улочки наши спали. Мелкий блеск вился вокруг фонарей. Несколько самосвалов один за другим тяжело прошли мимо нас. Вовка был в Москве, рядом, а мы сидели на глетчере вдвоем. Но что поделаешь... Мы закурили и сидели тихо, пока не озябли и не захотели спать...

КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек, — такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла». Понимаете теперь, как мы дорожили каждой крупницей этого драгоценного, этого чудесного «нечто», которое называется теплом!

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась с угла на угол, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Операция была проста и изящна. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густо окрашенные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы зябли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой дровяного тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще

росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей, это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло — шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека, как некое волшебное вещество, недостижимое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, варенные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой ломоть запеченной в тесте баранины. Все это помещалось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не отличалась от четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку (пусть и бесприютно показалось бы ему там!), а на Мишкиной висел замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность же любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли очистительных революций.

Мишка был родом из деревни неподалеку от города. Каждое воскресенье он ходил домой и приносил свежую обильную еду. Его красная, круглая харя с маленькими голубыми глазками, запрятыми глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку

сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

— Ну, ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных оргиях. На тумбочке бесстрастно поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду тоже к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли принести мне ветчины или сметаны, но черный хлеб — гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа, и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречь ветру. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь, и думаешь о том, какой ты сильный, стойкий, и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девчонка Оксана, по взгляду которой ты привык мерить, однако, все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на поднятые руки не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному, темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как та же самая поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку — человеческий ли, лошади-

ный ли след — давно уже с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться — такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависала над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что, хотя бы и за плотными тучами, должны были брезжить последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, силы тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек — высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и чувствовал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я из-за этого могу обессилеть раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет всего лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне после него еще идти двадцать километров. Да... наверное, самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если есть звездочки и если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще помнится — я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда во время еды с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Также продавали до войны сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль, что надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, — может, даст. Если есть дом, значит есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-

нибудь. Но когда голоден, когда на этот кусок вся надежда...

Значит, что же, вроде милостыни получится? Как, бывало, дурачок Костя просил: «Подайте Христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт. Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте уж теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уж уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...

— Война, брат, переживать надо! — говорил между тем спутник, не сбавляя хода.

Наверное, мой вид, мои подшитые валенки, мое демисезонное пальтишко, моя усталость, мой голод — наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

— Теперь все переживают. На фронте переживают — смерти ждут каждый момент, здесь матерям да женам за своих страшно — опять переживания. А у кого уже убили, кому похоронные пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем к себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим. Значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» — зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время разобрался: сердиться мне на него за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, думал я, как будто я уж попросил хлеба, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст и ночевать пустит — ничего не известно.

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы мужчина к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

— Ну, бывай здоров, не падай духом, ничего...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает... Так или иначе, мужик пошел к своему самовару и к своим

щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами дорогу перемело так, что шагов десять приходилось идти по переметенному, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую дорогу. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело.

Впрочем, дорога была не узка в этом месте. Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна военных машин, и, хоть колею давно уж замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны, смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое — мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверное, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, начинаю потеть. Неприятная, липкая испарина выступила по всему телу, и словно бы вместе с ней ушли, испарились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, сразу бы заснул; раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и ноги мои механически переступали с места на место, приминая рыхлый снежок и почти не подвигая меня вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну. Не может быть, ну, не может быть,

что я здесь погибну! Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь случится, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно ведь только дойти — и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай пачка папирос. Но что же все-таки случится такое волшебное, чудесное, что поможет мне дойти? Что? Что?

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасывают некую тень, да и от самого меня простерлась вперед некая темная полоса. Я оглянулся.

Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное. По застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет от фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирався настоящий автомобиль. Я еще не знал, какой он — легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично; главное — автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой нелепой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня — как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я вежливо отошел в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого — не поднял руки, — настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что, если я, подобрав последние крохи сил, побегу, а потом буду карабкаться, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И не удиви-

тельно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда начало там мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Воображение подсказало, как люди вышли из кабины и теперь осматривают колеса и ту яму, в которую эти колеса провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина стронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы... Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темный; чем сама ночь.

Когда я подбрел к задку автомобиля, людей около него уж не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня — так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь зацепочку, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся вдаль от моих рук задок автомобиля, только бы не дернулся теперь, когда я уж почти ухватился за него!

Идти лишних три метра к кабине и спрашивать разрешения мне было невозможно. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то там, на дороге, подпрыгнул и сдернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше переступать ногами и вообще двигаться, так и задремал.

Сколько я дремал — неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова и от которого до нашего села четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине его так и не знают, что

подвезли случайного попутчика, и мало того, что подвезли, — вероятно, спасли от замерзания.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне было нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня другого выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но все же зачем-то я брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб этакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Чаще всего, конечно, печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ногой по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра избяного тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными там метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца и вскоре достиг успеха. Что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня, за дверью, спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель...

— Эк чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

— Да не мужик я, ну вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?

— Из Владимира.

— Чай, не из самого Владимира пешком?

— То-то что из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, ерзает им из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, разморило окончательно. Я сидел на

лавке без желания пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят — пятьдесят пять, значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, небольшой чугунок.

— Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Ну то есть сбывалось все точь-в-точь, как представлялось мне, когда я шел рядом с незнакомым мужиком. И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша — так звали женщину — смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

— Сколько исполнилось-то? — наконец спросила она.

— Семнадцать.

— Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закулив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала), и шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь, и проходила тут жизнь русской женщины тети Маши, пустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда, единственное, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а

теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть, и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она, конечно, прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Так что как тетя Маша на него взглянула, так будто бы и поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние.

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по кринке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника кружку молока. «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или по крайней мере часто ронял.

Уж если женщина сумела добраться до Москвы и даже пройти в саму Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о всех дорожных приключениях — и когда ехала из Москвы в деревню и когда везла Мите бидон самого лучшего коровьего молока.

— Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?

Тетя Маша замолчала надолго, и я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

— Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?

— Успел, — ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку — старый тулуп и байковое одеялишко поверх него — стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось там, в них за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, — неизвестно. Но приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у ней мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то,

что особенно вспоминать будет некогда, — надо ведь работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне уж не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было по своему такому же горю. Это было бы точно так же, если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет соломом.

Ночевав дома одну ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир, к своим друзьям по студеному, голодному общежитию.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги — не легкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне оставалось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспоминалось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое; безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я уж давно заметил за собой, что, если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно даже сказать — редчайшим, грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я приобрел еще три километра).

— Ну куда тебе? — грозно спросил шофер, выйдя из кабины. — Спирт есть?

— Нету, какой может быть спирт?

— Табак, папиросы?

— Нету.

— Сало?.. Э, да что с тобой разговаривать! — Он пошел в кабину, и уже угрожающе зарычал мотор.

— Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

— Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что может быть, шофер соблазнится, отрежет от него часть и за это довезет меня до Владимира.

— Это другое дело. Полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая... Но видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли из титана кипятку.

— Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

— А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарев.

— Был, — удивился я, вспоминая круглую, красную харю шофера с маленькими синими глазками. — А ты как узнал?

— Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

— Так ты что же, так ничего и не ел целый день? — вдруг догадался Генка Перов. — Хоть бы краюху отломил от того каравая.

— Каравай-то я вам нес, думал — обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски... С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

— Слушай, — обратились к нему ребята, — видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом. Он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

— А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже, как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается!

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая и бесстыдная ложь — все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной, непонятной волной.

— А вот я и проверю! — твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку с угла на угол (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О сладость бунта! О треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия, мой Зимний

дворец и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатила стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне, под свертками, показался хлеб.

— Приказываю все это съесть, а тумбочку сжечь в печке,— будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

1961

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

1

Ну, слава богу, он дома...

Матвей кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и натужно, с передыхом, хватаясь руками за перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья — под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

— Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол — черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, — поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо — темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

— Давно он пришел? — кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

— Да уж боле часу — я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улитка, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без усталости гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах — и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу.

Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишком по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся,— сказал завконторой Сысоев.— А то срам — скоро в космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время — гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей,— нажгут, бывало, люди,— на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать — и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик — через суземы, через холмы, через болота. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, снова пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек. Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суземам колесить...

— Есть будешь але в баню сперва? — спросила Марья.

— Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились,— на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками.

Матвей положил руки — большие, обветренные руки рабочего человека — на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

— И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

— Опять за свое? — Матвей исподлобья взглянул на жену.

— Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

— Матюша, — вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы, — а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

— Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

— Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! — неожиданно взорвалась Марья. — Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

— Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить!

— А ты на что надеешься? — У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносках. — С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь...

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

— Венька где? — спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

— Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолом, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

— Потише ты — развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном бруске банку с махоркой, свернул сигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота — давно надо смазать медвежьим жиром, — и в избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

— Папа, мы волка видели!

— Волка? — Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа. — Может, хоть собаку?

— Ну вот еще, что я, не знаю! Полено тянет... Такой дедко — как жеребенок, качается...

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

— Мы это катаемся с ребятами с горы, — продолжал рас-

сказывать, размахивая красными руками, Венька, — а он как выскочит из кустов да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я...

— Будет вам! — оборвала сына Марья. — Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал — все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

— Венька, живо заправляй мотоцикл!

— Матвей, Матвей, не сходи с ума! — закричала Марья. — Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день...

Матвей круто повернул голову к жене — и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник, то есть обставленный с обеих сторон елочками. Скосив слезащиеся, в заиндевелых ресницах глаза — ветер резал лицо, — он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань — берегом — вела в райцентр, другая — направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена, — в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю — не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань — несчастные женки, которые возят по ней сено! — приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах — и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела — хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, заоченевшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись первые звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги — хоть на табак не придется кланчить у женки.

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк — серебряными искрами играла заиндевелая шерсть.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Он упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну — и тут он опять увидел волка. Он резко затормозил. В морозной тишине громом прогрехотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся, или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастья ему? Зимняя дорога запылала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу...

Это был большой, на редкость большой зверина — прав Венька! — пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно с минуту, качался обвислый зад с прямым, сверкающим изморозью хвостом, который охотники называют поленом,

потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром...

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола...

Внезапно дорога выгнулась дугой. Слепящие лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка... Пстой, пстой, да ведь тут где-то взвоз — крутой спуск к реке... Он изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз...

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо, ладно. Волк был уже, можно сказать, в руках — и надо же было ему, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл...

В затылке тупо болело и даже подташнивало — наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога — и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Он повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань — по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее не шел, а плыл, как темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке...

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег — давно не ездили по росстани, — и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг — он уже чуял запах псины — черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться? Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок — и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Он

отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей — все напрасно.

Пятнадцать — двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, волчья кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, он двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег, — но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен — это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег — росстань тут начисто замело — он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем — все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас — выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к зароду сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом...

А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут, тут тебе и решка. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань...

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновение в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами...

Он жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, и затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа — на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг — или это померещилось ему — на светлой, лунной полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу... Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у зарода не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла...

Навалившись грудью на изгородь — ноги, как подкошен-

ные, тянули вниз, — он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно — ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища — двухпудовкой крестился и справа, и слева, — вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг — там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. На завтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу — все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь — надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный...

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна — ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подыхать ему? Неужели это капкан, в который его заманил волк? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к зароду.

3

Отшумела полая весенняя вода, оттрубили журавли и откричали чайки — районная больница была на окраине селенья, подле озера, в долине которого всю весну, до самого отлета на гнездовья, жирует перелетная птица, потом пришла благодатная тишина зеленого лета с белыми прохладными ночами, с хмельным запахом цветущей черемухи... И вот настал наконец день, когда Матвея выписали из больницы.

Марья, завидев его с березовой деревягой, закусил губу, и это отравило ему всю радость выхода на волю. А затем еще

камнем на душу лег деревенский праздник по случаю окончания сева. Весь деревенский люд, от мала до велика, высыпал на улицу, и как же ему не хотелось сейчас показываться на глаза землякам! Но тут, спасибо, догадалась Марья — свернула на задворки. Так, тихо, крадучись, как воры, и подъехали к дому.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке — давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, — лежал Идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву — грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

— Идол, Идол, — с укором позвала Марья. — Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся.

Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки — мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца — большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны...

Марья хотела было взять мужа на руки — она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжели он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? — но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи — так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном бруске раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Можно на такую положиться.

Тем временем с другой половины — из летней избы —

Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

— А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая сигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

— Ну еще,— рассердилась Марья.— Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

— Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное),— и у тебя пенсия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

— Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте,— он кивнул на бутылку,— воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать — так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку — это не трудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблентив по затвердевшему дереву, распорол опорок...

Марья, увидав кровь, перепугалась насмерть и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую — все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи — не докричишься. Глушь. Безлюдье. Все на дальних сенокосах. И кажется, один-единственный звук на всю деревню — это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес,

обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

— Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему!

Но страда — это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиного крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи — стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев — в черной скрипучей коже, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, — одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо поглядывая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отощавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся...

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и он, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетал на нее, — вот гдегодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культи!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, дак что такое коровешка и овца!

По деревне — всех удивило, как это зверь и в тот, и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, — пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил».

Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк — по повадке вижу. И ничего

тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз — моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. А что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня он не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ошетиненная голова, как солью, осыпана сединой...

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватив валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

4

Охотничьи угодья — глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники — с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец, промышляет его сын. И упаси бог ступить на чужую тропу, на чужой путик! Знахари нашлют нечистую силу — так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже — посадят провинившегося на муравейник.

Последняя война поломала этот неписанный закон. Многие угодья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки — они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся Верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то, к этим друзьям-приятелям, и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. И перво-наперво, конечно, в Усолье — к своим спасителям. Тогда, зимой, когда случилась с ним беда, именно в Усолье заметили столб пламени, поднявшийся среди ночи у взвоза. И вот, благодаря усольцам, наткнувшимся на него возле догорающего зарода — он был уже без памяти, — Матвей и остался в живых.

Бесшабашно, хмельным угаром задымилась Матвеева жизнь — пропадать, так уж пропадать с треском! Сегодня с

одним, завтра с другим, охотничьи разговоры, охотничьи воспоминания — худо-бедно можно дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вокруг начинает лютовать зверь. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Иные мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Труссы! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт-те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трепала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати — медяк не звякнет. Зотька Постников, бывший агент заготконторы, выгнанный оттуда за пьянку — шакальной породы человек, — не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой воззрился на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время — кто в Заозерье не пил за его счет!

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово — и у них разговор про волков.

— Надо быть, к войне, — глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. — Мы с тятей-покойничком, бывало, месяц на Усть-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманьскую войну...

— Матюги Лысцева не стало — вот что, — возразил Мина.

— Ну, это так, — согласился Фотей. — Был бы Матюшка — он бы, зверь-то, чувствовал... Гроза есть...

Так, похоронили, значит. Был Матюга и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное — голова, глаза,

сердце — все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы — человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит.

Он с силой стукнул культиями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег — сразу на четверть — по зимнему закрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке — дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон — мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона — надо же дураку дубоголовому забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали — в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой...

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый...

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледям... А когда он поднялся, вокруг было уже пусто...

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему, что ли? Неужто хмелевик начался?

Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой, брошенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пенек, на выветленной месяцем дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не ввали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве

мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он, тут, безоружный калека, рядом с ним был.

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить им вдвоем на земле нельзя.

5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндевевшую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей — в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним дустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлебом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей было много — безлошадники в северной деревне были наперечет, — где ж и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от бывлой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот — одни на дорогу, другие на поле — давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушить и стены — то тут, то там вгрызался в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя на собственный риск, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье — и там где-то сейчас отлеживался зверь...

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

— Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, — вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок,

прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

— Н-да,— покачал головой Никон,— охота...

— Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками,— снег разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо,— подумал Матвей.— Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов — обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленье рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полупшепотом, зябко прикрывая рукой рот:

— Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь...

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухне тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале — смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана: и то не так, и это не так.

Мужики советовали:

— Задай ты ей хоть раз сабантуй — небось сразу придет в чувство.

— А-а, ладно,— отмахивался Никон.— И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

— А-а, отстань, ржавчина...

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.

— Никон, Никон! — ворвалась она с криком в избу.— Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке — верный признак того, что Никон думает.

— Чего лежишь, боров? Кому говорю? — взбеленилась Ульяна.— Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровати, почесал за воротом.

— Ты того... может, в углу где недосмотрела...

— Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница...

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

— Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смущали его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

— Вот как, тепла захотелось! — съязвила Ульяна.— А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница — засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала готовить пойло.

— Неси,— сказала она мужу.— Баран-то ревом ревет — пить хочет.

— Эка ты, баба... — развел руками Никон. — Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

— Чуял, чуял! Сигнал бы со всей деревни собак — еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадетсЯ?

Ульяна взялась за шайку сама — разве сдвинешь с места этого дьявола? — но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина — первый раз в жизни! — не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать — глаза в потолок — и не пошевелился до вечера.

— Может, и жрать разучился? — спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох...

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило зачоченевшую землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные — в мгlistом сиянии — развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею — ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь — глаза человека, приговорившего себя к смерти...

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнувшийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и птясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

— У-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

— Где моя телушечка? Где?

— А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

— Давай, давай! — подзадоривали женок мужики. — Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

— Проснулся?

— Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол — страсть!

— Как ты и додумался-то? Герой, герой!

— Талан. От бога, — философски заключил Фотей. — Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу...

— Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Пере-

ночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменилось? Ну, убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Странные, самому еще не вполне понятные мысли воро-
чались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым,
обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те
две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, зна-
комым и в то же время незнакомым лицам...

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зоть-
ка Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми моро-
зом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и
высоко помахал ею над головами людей.

— Эй, хозяйева! Посудину!

— Надо, надо,— раздались одобрителные голоса.—
Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотка, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с края-
ми налитый стакан.

— Уйди, червяк! — спокойно сказал Матвей и повер-
нулся на другой бок.

Зотка остолбенело разинул рот, посмотрел с недоуме-
нием на примолкшую толпу и, безнадежно махнув рукой,
сказал:

— Э-эх! Пропал человек...

ПЕНЕЛОПА

Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Лобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрой мины: да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план... или, наоборот, если начальство насядет, жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.

Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно: все-таки день получки. Наверно, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он чего-нибудь не знает, и тогда из дверей, каких-нибудь из многих этих черных дверей, выходит начальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: а вы почему тут? Не знали? Лобышев прошел мимо большого дивана, дальше были две самые опасные двери друг против друга: из любой могло выскочить по начальнику, — но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору, мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных, — но как будто бы никого не было, — мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов «М» и «Ж», мимо... но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал тоже потому, что вдруг на изломе марша, на площадке, — начальник: здравствуйте, товарищ Лобышев; пожмет руку; а вы куда?.. Покурить, только лишь покурить, вот видите: и не бежал вовсе, а шел не спеша, — люблю, знаете ли, покурить на воздухе, когда время терпит. Но он уже был на улице, и тут — только бы этот узкий закоулок пройти; там уже вряд ли кого встретишь...

И он не встретил.

Он шел по Невскому, и совсем было хорошо. Было солнце. И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский, хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было — но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что он дожидается вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке, но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это несколько не задело, и подумал-то так же: что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем.

Тут конечно же ходили женщины и девушки, на них можно было посмотреть. Это смотрение тоже было моторным до странности. То есть не как в семнадцать, когда каждая — тайна и каждая может быть твоей. Тут уж, к черту, знаешь ведь, что, может, и каждая... да ведь это невозможно хотя бы потому, что ты один и тебе не семнадцать. Да ведь если не миллион, то не все ли равно одна или десять. Тогда уж одна. Об этом он тоже подумал вскользь, вроде бы и не подумал. Так себе, шел и смотрел на женщин и девушек, как привык смотреть: просто так. Да их и было не так уж много: все-таки будний день и время рабочее.

В общем-то, он очень здорово себя ощущал, когда шел вот так по Невскому, по любимому осеннему Невскому, и смотрел по сторонам — воздух-то какой! Свободно и просторно было ему, когда он так шел. Он было подумал, что непонятно, с чего бы это у него такое прекрасное самоощущение, вроде бы никаких оснований: все равно через три часа надо возвращаться в контору, а после этого ехать опять в свою тьмутаракань, в свой отряд, раздавать рабочим деньги и волноваться из-за отсутствия, к примеру, ключа на девятнадцать, из-за которого — тьфу, гадость-то какая! — не отвернуть каких-то там форсунок, без отворачивания которых, в свою очередь... — но думать об этом было противоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал, он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь: и воспоминания, и мысль,

и мысль о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо, — он вроде бы вовсе и не подумал об этом. А думал он теперь о том, что вот, хотя никакого возбуждения или тяги знакомиться с кем-нибудь у него сейчас нет, но одетым стоило бы быть получше, потому что он, как приехал из деревни, в куртке и сапогах, домой не заезжал, и теперь на него и не смотрят — только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться; домой же тем не менее заезжать не хотелось, потому что — все-таки взрослый человек — глуповато заезжать переодеваться и через три часа снова заезжать переодеваться, чтобы возвращаться в деревню, — и все это только из-за того, чтобы на тебя кое-кто просто так посмотрел. Во всяком случае, провинциалом он не выглядит, а что незаметен, то, господи, ерунда какая! Об этом обо всем тоже можно было подумать, но, перейдя Фонтанку, и эти мысли оказались слишком критическими, чтобы задержаться, и потом эти-то, об одежде, были действительно малыми, чтобы на них еще и задерживаться.

Во всяком случае, и здесь я буду точен, перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал, хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких «вроде», — он не думал, не вспоминал, и его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский, и шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало.

Но так тоже долго не проходишь. Полчаса от силы. Что-нибудь да зашевелится, суeta какая-нибудь. Надо понимать... Все-таки времени как-никак почти три часа куда-то деть надо. При том, что идти, в общем, некуда. И домой тоже — не к кому и незачем. Да и что там делать, дома? И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска — «Колизей», что ли, широкоэкранное кино. А в нем «Одиссей», странствия, что ли, этого Одиссея. Гомер там, Илиада. Никогда не читал. Софокл. Эврипид. Гераклит. Геродот. Демосфен. Бочка. Спартак Джованьоли. Ромул и Рем. Гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали, а имя всякий знает. А то еще: читали, а имени можем и не знать. Негениальные люди. А гениальных мы не читаем. Об этом обо всем тоже можно подумать — вскользь.

И к этому времени Лобышев уже взял билет. Один. Это же чертовское удовольствие — взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время.

Позвонил домой: мама? Да вот, приходится тут в конторе ждать... вряд ли сегодня удастся... да, придется ехать сразу... ну конечно... буду, буду... да нет, не холодно, здоров...

Когда Лобышев вышел из темных касс снова на Невский — даже зажмурился: такой свет и воздух. Глуповато, подумал, идти в кино в такую погоду, куда лучше пойти в сад какой-нибудь, в тот же Летний хотя бы или Михайловский. Но тут опять, где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает, что в саду сидеть и думать хорошие, быть может, вещи, но потом — вставать и идти и забывать хорошие вещи. Бесцельно это как-то и все-таки нагрузочка — сидеть и размышлять какие бы то ни было прекрасные вещи, само собой, без удовлетворения в конце концов размышлять. Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Лобышева, как змея, не оставив следа, бесшумно. И Лобышев покидает Невский, такой солнечный и осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит в темную подворотню кинотеатра, широкоэкранного. «Колизей», что ли?

Да, еще он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Сначала он надеялся, что это так себе, название такое про Одиссея, а на самом деле это вовсе какой-нибудь итальянский крестьянин, или американский коммивояжер, или французский бедный мальчик, и это именно он, крестьянин, комми, мальчик, странствует и вроде как бы Одиссей, а на самом деле наше время, машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков, но только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике, — все стало ясно, что это не словно бы Одиссей, а и на самом деле Одиссей, во всей, так сказать, своей древней полуодежде, цветной к тому же фильм, — и у него даже во рту кисло стало от того, какая это будет лажа. Но, в конце концов, все равно бы он пошел в кино. И все равно он получит удовольствие, как бы ни плевался потом. Потому что эти гады умеют как-то что-то такое в тебе задеть так, что ты только с виду, чтобы поддержать свой вкус, будешь плеваться, а на самом деле получишь удовольствие. Потому, что есть же и это пошленькое, на что они, гады, и бьют. Есть у каждого. Об этом-то как раз он думал четче всего. Он и до этого не раз так же думал, и, если бы был кто-нибудь рядом, кто мог понять, то он бы сейчас об этом ему и говорил. Об этом он думал как раз,

когда проползала та неуловимая мысль о саде, что не стоит все-таки в нем, в этом саду, сидеть. Та самая змея, что изложена выше.

И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, который я собираюсь писать. И теперь наконец я начинаю с нее ради еще одной, единственной, которую я знаю и которая должна быть чуть ли не в самом конце. Так вот я приступаю к началу рассказа, и если мне до того уж не стыдно, то меня охватывает дрожь, потому что я приступаю. Он проходит и не думает ни о чем, потому что о саде он вроде бы и не думал, а о картине уже все передумал до этого.

Лобышев прошел в подворотню кинотеатра вместе с кое-какой толпой. Потому что оставалось пять или десять минут, уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз перешагивал линию раздела, а тело его уже было в тени, как услышал — и за это я могу поручиться, что он услышал именно это, — он услышал, как за его спиной, за его левым, то есть правым его плечом, кто-то сказал, чей-то голос сказал:

— Скоты! Ах, скоты!

Лобышев не обернулся и, собственно даже, не расслышал, только понял, что справа сзади женский голос, молодой.

Этот голос повторил:

— Ах, скоты! Скоты!..

Лобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светлокрашеную прическу и молодое, ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним, и он, слегка обернувшись, сказал совершенно моторно, не задумываясь:

— Это вы мне?

Получилось почему-то не про себя, а вслух, и так громко, что девушка слышала, непроизвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось, как это у него получилось. Такие штуки редко у него получались. Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда они у него не получались, такие штуки.

Девушка взглянула на него. Тут не было ни возмущения, ни желания пройти мимо в этом взгляде, что тоже не могло его не удивить. Девушка сказала:

— Нет, что вы!

Лобышев приотстал на шаг и очутился рядом с нею. Особенно разглядывать ее он не мог; впрочем, ничего непри-

ятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать потому, что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора, что с его, лобышевской, грацией было сделать не трудно. И он сказал:

— А то я думал, это вы мне...

И засмеялся непринужденно. Засмеялся не то слово — так, полухмыкнул.

— Ну, что вы!.. — ласково сказала девушка. И он был бы вынужден повторить: «А я-то подумал, что вы мне!..» — потому что совершенно ничего другого не было в его голове, и так бы он и сказал, если бы девушка не прибавила:

— Что вы?.. Такому симпатичному...

Тут уже все поворачивалось по-новому. Этого он не ожидал. И это же его окрылило, и он сказал:

— Бывает, и симпатичный — а скот.

И вот он, такой высокий и широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову, такой маленькой и ладной, и улыбнувшись широко, но светски, добавил с легкой иронией в голосе, которая должна была означать, что он-то знает, и еще должна была означать некую посвященность обеих сторон: мол, они оба знают, — и вот, со всем этим в голосе, он добавил:

— Или так не бывает?

Но надо сказать, что в это самое время, когда он уже сказал «бывает, и симпатичный — а скот» и у него уже было готово продолжение и интонация этого продолжения, разве что он еще не успел продолжить, — они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Лобышеву непривычным или неприличным, но он еще не мог сказать четко что. Но он уже не мог не сказать: «Или так не бывает?» — он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его.

Словно почувствовав это, девушка сказала:

— Разве может быть, — тут она сделала паузу, — с такими-то глазами?.. — и заглянула на него и преданно и восхищенно, можно сказать любовно или призывно... черт знает как она на него взглянула.

Тут уже Лобышева стало раздирать на две половины: одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел, а другая уже упиралась и отставала, на эту другую смотрели во все глаза люди, много людей, они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали, этой второй половине было стыдно и неловко, она хотела стушеваться, исчезнуть.

Но они уже проходили контроль. Он, как и положено, впрочем, пропустил ее вперед — даме, так сказать, честь и проход, — девушка сунула свой билет билетерше, а он, как бы пропустив ее вперед, уже готов был удрать с билетом — ну ее к черту, эту картину, — а пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад, и он даже остановился у дверей контроля в неуверенности, но сзади его подтолкнули, потому что всем надо в кинотеатр, а девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что в фойе прошла вообще уж спиной — деться тут было некуда, вышло так, что он только замешкался почему-то, ну как вроде ища билет, который сунул неизвестно куда, — он был в кулаке, этот билет, — и вот ему оторвали корешок, и вот он стоит в фойе рядом с девушкой, ярко освещенный и у всех на виду.

Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов. Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, а оказывается, что ты без штанов. В ватнике, к примеру, а без штанов. Тут наверняка было что-то от этого, тем более что есть же что-то и сладостное в этом сне. И тут тоже было: почему-то ведь он все-таки и не удрал от девушки и вот стоит с ней рядом, разглядел теперь все — а не уходит. А идет себе без штанов по автобусу. А разглядел он, что короткая ее прическа — и не прическа вроде, а недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что задрипанный, в обтяжку, вроде бы мужской пиджак с загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, а под пиджаком ковбойка, тоже вроде бы мужская и давно не стиранная, ну юбка-то, конечно, юбка, но на ногах что-то невозможное: стоптанное, бесформенное, и чулок нет. Это ведь, конечно, кто же скажет... И он стоит с ней рядом, и никто не поймет в том смысле, что случайно он тут оказался и просто так себе стоит, — так она на него смотрит. Да ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит:

— Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?

— А как же их еще назвать! Скоты и есть. Совсем бедная женщина, старушка, в очереди, а у нее деньги украли, двадцать рублей. Хоть бы знали, у кого крадут... А то старушка, бедная, в очереди...

— Ну да, — сказал он, — понимаю. Действительно. В очереди...

Ну что это я? Господи! — мучительно подумал он. Что-то извивалось внутри от неудобства. — Старушка... Кретин. Откуда ни глянь — кретин.

Девушка же испытывала другое неудобство. Как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой, и сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак и, придерживая то, во что вцепилась, перекручивалась всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места. До следующего раза. От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Лобышев. Так оно, конечно, и было. И надо было в конце концов уж если не расходиться вовсе, то куда-либо скрыться с глаз, а там, в кино, когда уже погасят свет, думал Лобышев, все будет уже ничего.

Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку. Крепенько так взяла, ощутимо. Показался буфет. Там уже сидели и пили свой лимонад и пиво разные люди. Зрители. И это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Лобышев. «Зрители...» — подумал он ядовито. Но девушка уже сказала следующее:

— Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала.

Но тут уж, слава богу, были и обстоятельства: у Лобышева действительно был только рубль. Тут уж он мог такое сказать — были бы деньги, то и не смог, — но тут он сказал с облегчением:

— У меня, как назло, денег нет.

— У меня есть, — сказала она. — На бутерброд.

И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать. Потому что все мог сейчас проделать Лобышев — одного он не мог: показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему, бесконечно долго. И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы, были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что, по крайней мере, не приходилось уже сомневаться в их существовании: были они или не были. Были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет, и как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем себя перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Лобышев. Это-то ладно, но то, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило его еще сильнее.

— Надо же, как неудачно, — сказал он. — Как раз сегодня

у меня получка. Но вот получка через два часа, и много будет денег, а сейчас — нет.

«Зачем это я?» — мелькнуло у него. А девушка спросила:

— А кем вы работаете?

Лобышев запнулся, ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал.

— Я начальник отряда... в экспедиции, — сказал он, понимая, что хвастается, и добавил: — Денег хватает, — хотел еще что-то добавить, но тут уж смог остановиться и только повторил: — А вот сегодня нет. Вы уж меня извините.

— Мы съедим пополам, — сказала девушка.

— Да нет, — сказал он, — рубль-то у меня найдется.

— Тогда-то что, — сказала девушка.

А уж если так, вдруг уничижающе подумал он, то тем более — сволочь... Ведь вот для нее рубль, может, целый день житья. На эту свою мысль он совсем уж рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовав хамство такой мысли, несовременное причем хамство.

Они сидели за столиком. Девушке вышло даже два бутерброда. И еще по бутылке пива. Пока девушка ела и молчала, Лобышеву становилось вовсе не по себе — уж лучше бы они говорили, — а так было совершенно непонятно, почему он сидит вот тут с ней и чем-то уже связан: уйти не может, — неотвязность сна. Теперь он подумал: раз уж он сидит с ней, то должен быть в этом человек. Человека же он в себе сейчас не находил. И тогда его бесило: от кого же и от чего же он сейчас зависит, что так скован? Неужели из-за этих, за столиками? А почему, собственно? Тогда он начинал понимать, насколько же он не властен в каждом шаге, движении и слове, хотя вот ведь день за днем живет в уверенности, что все-таки передвигается, говорит и делает сам — а нет, не сам. И тогда становилось понятно, что это, по-видимому, целая жизнь у него такая, что он сегодня так не властен. И где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново, чтобы иметь сейчас свободу. Эта мысль кружила над ним, но девушка все съела, засмеялась и, потягивая пиво, сказала:

— Вот вы меня и устройте на работу. Ведь вы можете?

Лобышев охотно отпустил мысль, отвлекся, так сказать, и с какой-то даже серьезностью и убедительностью, которых бы не смог объяснить, если бы их осознал, сказал:

— Отчего же, могу. Но только стряпухой. Стряпуха нам нужна.

— Так мне хоть кем,— сказала девушка,— лишь бы на работу.

Что это я? Так же нельзя...— спохватился Лобышев.

— Тридцать рублей всего,— сказал он, отступая.

— Это все равно,— сказала девушка.— Мне лишь бы на работу.— Она положила руку ему на колено и, так опираясь, наклонилась к нему:

— Устроишь?

— Отчего же,— замялся Лобышев.— А какая у тебя вообще-то специальность? — Даже с ней переход на «ты» был для Лобышева, как на американских горах: перехватило дух.

— У,— сказала она,— специальностей у меня хватит! Я могу быть токарем, маляром, поварихой и,— она все не снимала руку с лобышевского колена,— женщиной...— Она засмеялась.

Лобышев тоже засмеялся. Уж теперь-то точно встал в автобусе, оказался без штанов и идет по проходу. Так и замерло. И почему-то стало легче. Девушка смотрела на него и не снимала руку с его колена. А какой-то чертик все раскисал в Лобышеве. Он вроде бы ничего и не видел. А только приговаривал:

— Это сначала надо проверить...— и смеялся гаденько, так гаденько, что уже не мог бы заметить этого, потому что заметить это было бы слишком для него тяжело.— Это сначала надо проверить,— говорил он.

— Так возьмешь? — сказала девушка.

— Это можно,— сказал он и хотел что-то спросить, или добавить, или подумать,— но тут прозвенел звонок. Девушка встала, взяла его за руку, вытянула, смеясь, со стула, и они направились в зал.

Места у них были разные. Они стояли в проходе, выжидая, когда все рассядутся. Она держала его за руку и не выпускала. А ему опять стало несносно. Он, как ему казалось, изрешеченный взглядами всего зала, все порывался сесть на свое место: все равно, мол, свободных мест не будет,— а представить, что ему придется кого-то просить пересест и при этом все станут разглядывать друг друга, было страшно. Но она удерживала его, люди рассаживались, а они стояли в проходе.

Им удалось сесть вместе, когда погас свет. Вернее, ей. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы. Очень много китайских ваз. Он чувствовал себя наконец спокойно, почти хорошо. Потому что они не стояли больше в проходе, было темно и никто не мог

его, Лобышева, видеть. Ему, в общем, было приятно, как она обращалась с ним в темноте. И вазы ему нравились.

— Правда, красивая,— сказала она.

— Правда.

— Ты бы хотел иметь такую дома,— сказала она.

— За такую вазу можно жизнь не работать...— сказал он внезапно для себя и, пока говорил, уже испытывал противность, но выговорил до конца. Такого он за собой не любил: говорить чужие слова, в тон. Но тут и она сказала кое-что для равновесия:

— А как ты относишься к абстрактной живописи?

Он несколько обалдел. Посмотрел искоса.

— Ничего отношусь,— сказал он. Боже, подумал он, ведь до чего дошли... Что же это за жуткий опыт такой она приобрела, что со мной про абстрактную живопись заговаривает?..

— У меня был один знакомый...— сказала она и пожала ему руку.

Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с мест, и опять начнется то же, и они будут торчать в проходе. Только бы без перерыва, думал он. Тогда не сгонят. Только бы не зажигали свет. Иногда не зажигают.

Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали.

— Придется идти на свои места,— сказал он.

— Пойдем,— сказала она. И повела его за руку к своему месту.

Все места рядом были заняты.

— Ну вот, видишь, только одно,— сказал он.

— Мы сядем на одно,— сказала девушка. И она действительно села и подвинулась, освобождая часть стула. Она тянула его за руку, а у нее были соседи слева и справа. Они смотрели, и хуже Лобышеву не бывало.

— Нет,— сказал он,— так я не сяду.

— Ты хорошо поместишься,— сказала она.

— Нет,— сказал он,— так нельзя.

Свет погас.

— Садись же...— громко прошептала девушка.

Парень рядом встал. «Скандал начинается»,— уже равнодушно подумал Лобышев.

— Садитесь на мое,— сказал парень.— А я сяду на ваше.

Они обменялись билетами, и хороший парень ушел.

Лобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую и следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж, она ждала Одиссея. Девушка положила ру-

ку Лобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя неприлично, не совсем, впрочем, понятно почему. Они обижали сына Одиссея и Пенелопы, скромного мальчика. Появлялся утконосый Антиной и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть. Душка. Сильная такая душка. Символизировал собою соблазн. Девушка гладила себя рукой Лобышева. Наконец появлялся и сам Одиссей, рыжий супермен, жидковатый, впрочем, для супермена. Но мужчина.

Картина между тем начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Лобышева переставало интересовать колено девушки. Хотя Пенелопа и не была уж так поразительно хороша. Но это ведь только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Для жизни Пенелопа была очень даже ничего. А когда она изменила цвет волос и стала Цирцеей, так просто, можно сказать, похорошела необычайно. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Они с Лобышевым как-то согласно отпустили, освободили друг друга.

И Лобышев смотрел и думал о разных вещах. Как ни бездарно, по-школьному старательно, делали этот боевик, все-таки Гомер, наверно, недаром прославился. Взять хотя бы сюжет: за ним вставало многое. Хотя никак не отделаться от безобразности всего этого с точки зрения чисто человеческой. И до странности кое-что схоже. Недаром же мы живем в эпическое время. Только не помпезность мера эпичности. А вот это хамство и предательство хитроумного Одиссея. Совершенно ведь игровой современный парень. Максимум самоотверженности — привязать себя к мачте, чтобы послушать сирен. Самоотверженность эта — не больше жажды острых ощущений: наслаждение то есть. Привязать-то себя попросил... Так что в конечном счете выиграл. Ну и сирен, конечно, бездарно сделали: ясно, что дальше электрогитары пойти не могли. И вот Одиссей совсем уж нечеловеком становится, когда говорит этой молоденькой девочке, дочке какого-то царя: я все вспомнил, я ухожу и унесу эти ваши слезы. Кетч в Древней Греции — это еще ничего. Вино для этого одноглазого черта Полифема тоже месит неплохо. Только жалко его, беднягу, что глаз ему выжгли и он не передавил героев. Но вот это уж вовсе бездарно, как они сделали представителей из царства мертвых. Гениальное же дело, когда выходит вот такой мертвяк и говорит, что там хуже плохого, в этом царстве. Больше ничего не говорит, говорит только, что там очень плохо. Эта-то вот вроде бы беспомощность средств, никаких там устрашающих описаний — это

же действительно страшно. Это-то, наверно, Гомер придумал. А тут — напустили какого-то холодного пару, подзеленили лица... Но, в общем-то, скотское время эта Эллада. Сильные людишки. Человеков нет. У нас хоть, от нашего-то эпоса, какая-то человечность очевидной стать может. Чаплин, к примеру. А тут — словно так и надо, будто это-то и есть что-то лучшее в людях — их сила. Слабаки, в сущности, они чрезвычайные.

А потом пошло уж вовсе безобразие. С этим луком. Вроде бы Одиссей что-то понять должен, когда он нищий и в него вином женихи плескаются. Нет, оказывается. Просто он дожидается момента, чтобы с ними получше расправиться, чтобы вроде оправдание иметь своей жестокости через их свинство, не больше. А сам был хамом — хамом и остался. Только Одиссей — хам-герой, он — наверху, оправдан, ему симпатизирует гениальный слепой Гомер. Вот как.

А в общем, и не так. Смотришь. И чувствуешь себя Одиссеем. Таким же сильным, и храбрым, и красивым. Он не тонет и не гибнет. Его любят бабы. Они любят тебя в образе Одиссея. И все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая обкрай не наставила тебе рогов. И зажигается свет. И надо выходить из кинотеатра. В твою обыденно-эпическую действительность.

Лобышев очень удивился, когда обнаружил девушку рядом с собой. Странными тенями замелькало в его мозгу воспоминание о ней. Казалось далеким. И когда он выходил на свет и затягивался сигаретой, и выходили прочие люди — они шли рядом, но это дурной сон, — он боялся взглянуть на нее, чтобы она не стала явью. Не Пенелопа. Ты-то все-таки немножко Одиссей, выходя из кинотеатра.

На этом мучительном свете он не знал, что же теперь делать. Но идти с девушкой рядом и выходить вот сейчас на солнечный Невский он не мог. Господи, кто же это тянул его за язык!

Девушка посмотрела на Лобышева, как-то просто она это сделала, без вызова, и под руку его не взяла. Они прошли в тот же туннель подворотни, где впервые увидели друг друга. Девушка шла сбоку и заглядывала сбоку. Она словно поняла, что Лобышев отдаляется совсем, но еще надеялась... Лобышев шел рядом, каменный.

— Ну как тебе понравилась картина? — сказала она, заглянув сбоку.

— Ничего, — процедил он.

— А женщина?

— Какая женщина?..

— Пенелопа?

— ...Н-ничего...

— А ты бы хотел иметь такую женщину, как Пенелопа?

Лобышеву стало плохо и жалостливо, он даже неуверенно тронул ее за руку. Но движение так и осталось непонятным, смазанным, незавершенным. Девушка заглядывала сбоку, чего-то ждущая...

Но солнечный свет ударил в глаза.

Они вышли на Невский. Шли нарядные люди. Женщины среди прочих. Девочки. Лобышев остановился. И она рядом, маленькая и задрипанная. Кто-то на них посмотрел. Кто-то, наверно, что-то сказал. Он сам-то не расслышал. Но наверняка кто-то что-то сказал.

— Что? — сказал он машинально, все еще не понимая, что же ему делать, и как-то остро взглянул на девушку.

Она озиралась, словно бы не понимая, куда попала. Что-то детское было сейчас в ее лице, растерянное и пронзительное. Казалось, она стыдилась себя и чувствовала виноватой — такое было лицо. Все эти люди, прохожие, и он, Лобышев, были правы, а она — нет. И мир выталкивал ее из себя — такое было лицо. И если бы не он, Лобышев, — такого бы не было у нее лица. Все это, только в едином ощущении, увидел сейчас Лобышев. Но это было слишком грандиозно для лобышевского сознания — врывалось и опрокидывало. И главным все-таки оставалось то, что ему стыдно стоять с ней сейчас на Невском. И, когда и то и это смешалось вместе, Лобышеву стало страшно.

Он увидел тогда в ее руке что-то, чего раньше не видел. Зеленую тряпицу. Откуда бы она ее достала, подумал он. Тряпица была вязаной шапочкой. В шапке были бигуди. Девушка доставала бигуди из шапки и рассовывала их по карманам. Пиджак был в обтяжку, и карманы уродливо оттопыривались. Когда шапочка опустела, девушка натянула ее себе на голову и старательно спрятала под нее короткие свои волосы. Трудно было представить, где она это сокровище откопала. Страшно было смотреть. Лобышев не знал, куда деться. Рядом, в парадной, он увидел телефон-автомат и, промычав что-то неясное, юркнул туда.

Девушки отсюда видно не было. Задыхаясь, он опустил монетку. Монетка провалилась. Снова опустил. Искоса поглядывал в дверь: девушки видно не было. Монетка снова провалилась. Сзади остановились две совсем юные девочки, одна хорошенькая. Стояли ждали, когда он позвонит. Девуш-

ки видно не было. Лобышев отошел от автомата. Девочки заняли его место, щебеча. Выходить на Невский не было сил. Он отошел в глубь парадной. Обернулся — в дверях был солнечный прямоугольник Невского. Шли люди. Стоял напротив дом. И проезжали машины. И вдруг посередине прямоугольника, как в раме, как в кадре, появилась девушка. Она-то была очень хорошо видна, освещенная. Он был в тени. Она меня не видит, подумал Лобышев. Но это было ясно, что она его тоже видела. Иначе бы она так не смотрела. Как-то очень спокойно, очень понимающе и без вызова смотрела она. Выйти на Невский он был не в силах. Он поманил ее в парадную. Пальцем. Судорожно как-то, тайком — словно бы и не поманил: просто почему-то непонятно двинул рукой. Девочки все еще звонили по автомату. А она стояла в своей раме и не двигалась. Лобышев покосился на девочек и отступил еще вглубь. Она не двигалась — смотрела. «В чем дело? В чем дело?..» — подумал Лобышев и еще раз поманил четче. Девочки выпорхнули на Невский. Она словно бы помедлила и прошла.

— Ну что? — сказала она. Что-то скованное и опущенное стало в ее фигуре.

Он молчал словно бы в сосредоточенности.

— Как же нам с тобой быть? — сказал он.

— Ну, это вам виднее, — сказала она равнодушно.

— Как же нам все-таки с тобой быть?.. — говорил он, словно бы в раздумье растирая лоб. Господи, думал он, неужто это никогда не кончится?.. Ведь она же ни о чем не заикалась уже, почему же я снова взялся за это? Как же мне теперь-то быть... Ведь я же ничего, ничего не стану делать для нее, даже если бы мог!

— Что же нам с тобой делать?

Надо это как-то кончать. Сказать просто: извини, это свинство, конечно, но это все был треп. Я ничем не могу тебе помочь.

— Я попытаюсь, — сказал он. — Без паспорта это, конечно, очень трудно, но я попытаюсь.

Какой же я стал свиньей! — безнадежно подумал он.

— А как же я вас найду? — спросила она в той же грустной деревянности и чуждости.

Господи, черт! помоги мне, подумал он и сказал:

— Я сегодня выезжаю на место работ. Меня тут не будет. Вот что, ты приезжай прямо к нам. Это пятьдесят третий километр. Станция так и называется. Там спросишь нашу базу. Всякий скажет.

— ...Когда же? Когда же тебе приехать? — Он тер себе подбородок. — Надо в течение рабочего дня. До пяти. Приезжай в четверг. Я буду на базе.

Девушка словно что-то поняла. Лоб ее разгладился.

— А ведь я приеду, — сказала она.

— Приезжай, — уже с трудом и тихо, глотая концы слов, говорил. — Я не ручаюсь, но попробовать можно. Ну, ты иди, иди. Мне еще надо позвонить. — И он стал рассматривать половицу. По-прежнему тер подбородок.

Девушка взглянула на него удивленно.

— До свиданья, — как-то странно, полувопросительно и словно уже издалека прозвучал ее голос.

Лобышев поднял глаза — она удалялась. Тысячу лет она удалялась. Коротенькая, в пиджачке и шапочке, она чернела, подходя к дверям. Она все время была в этой солнечной раме, пока уходила, — там был Невский, шли люди, стоял напротив дом и проезжали машины. Девушка уходила и не оборачивалась. Вроде она должна была бы обернуться. Она не оборачивалась. Надо было крикнуть, остановить — но такого Лобышев даже представить был не в состоянии. Как же... как же я буду с этим жить? — мучительно думал он и в то же время ждал — скорее, скорее бы она наконец ушла из этой парадной. И все бы кончилось. А она все шла в этом прямоугольнике, чернела, подходя к дверям, и вдруг исчезла, ушла.

Лобышев еще постоял в парадной. Выждал. Вышел на Невский. Солнце. Девушки не было. Ему вдруг стало так пусто и легко, словно он взлетит сейчас в воздух, как отпущенный шарик. Он почти подавился — так сильно, со свистом, глотнул этот прекрасный осенний воздух. Страх прошел. Это он понял вдруг, что его нету, и тогда же он понял, что только что этот страх был. Волнами все стало возвращаться к нему. И тогда ему стало тошно. Ничему и ничем уже нельзя было помочь. Где она, эта платформа 53-го километра, на которой он и не был ни разу?.. Поняла она или не поняла? Он вспомнил ее последнее лицо и подумал, что поняла. Это его не успокаивало. Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано.

...Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но каждый день, думал Лобышев.

И как давно забытое ощущение было, что думал не вскользь, не как бы, не вроде, не забывая, не в полусне.

Николай Евдокимов

СТЕПКА, МОЙ СЫН

Это бывает не часто, но с годами все чаще и чаще. Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам.

Уже светло, но еще горят уставшие за ночь фонари. На рассвете Москва пахнет росой. Роса лежит на стенах домов, на чугунных оградах парков, на бронзовых плечах памятников.

Птицы — хозяйева утренней Москвы. Их голоса звенят, как в лесу. По Красной площади, урча, ходит голубь. На рассвете мостовая перед храмом Василия Блаженного как луг — из-под булыжников торчит облитая росой трава. Днем ее примнут колеса автомобилей, но сейчас по мокрой траве ходит голубь и урчит. Ветер раздувает перья на его крыльях. Ветер несет запах цветов, и в тишине уже слышно жужжание пчел.

А потом выползают на улицы трамваи и троллейбусы. Еще сонные, они идут усталой, мягкой походкой.

Но вот первый солнечный луч вонзился в купол Василия Блаженного, и купол зазвенел тихим и оглушающим звоном и разбудил реку. Река проснулась, она заворочалась, подставляя солнцу сыю остывшую за ночь чешую. В воде отразилось далекое облако, вниз упала тяжелая тень моста.

Я иду вдоль реки. Роса высыхает на асфальте, дымятся деревья.

Строится дом. Высоко у края стены стоит парень.

Это Степка, мой сын.

Он кладет кирпич, он осторожно ударяет по нему своим мастерком. И сразу же в ответ ему со всех сторон несутся другие такие же звуки. Они, как голуби, плывут над рабочей Москвой.

Это Степка, мой сын, разбудил Москву.

Вечером я стою у окна, жду Степку. В доме напротив сидит на подоконнике девушка, грустно глядит вниз, на улицу. Я знаю о ней многое и ничего не знаю. Я знаю, что она любит смеяться, и смех ее так знаком мне, так похож на смех Степкиной матери. Но почему каждый вечер она садится на подоконник и глядит вниз, будто ждет кого-то, а веселое, доброе ее лицо становится таким печальным? Я знаю, она ждет его, но он не идет и не идет...

Она ждет Степку. И я жду. Но я знаю, как сделать, чтобы Степка скорее пришел, а она не знает.

Я закрываю глаза — и вот через мгновение слышу его твердые шаги на пустой улице, слышу, как говорит он своим баском: «Привет!» — это ей он говорит, и вот уже слышу стук ее каблуков по асфальту.

Она бежит к нему и смеется так, как умеет смеяться только она одна. Она и та, другая...

Степке скоро двадцать лет. И мне было двадцать, когда я встретил ту, которую зову его матерью...

У озера Селигер есть деревня. Там много деревень, но их названия я стараюсь не вспоминать, потому что боюсь забыть одно: Пустошка. Когда мы пришли туда, там стояли только дома: люди ушли далеко к Осташкову, увезя свой скarb. А потом и домов не стало — одни пепелища. Но и за эти пепелища день и ночь шли бои. День... два... месяц... А потом наступило долгое затишье.

Мы выросли в землю, мы стали как духи земли, узнали ее запах и вкус, ее тепло и ее доброту.

Вокруг блиндажа росла трава, и мы не топтали ее, мы ходили к своему дому по узкой тропинке, боясь поломать живой стебель. Кто научил нас понимать язык трав, я и не помню уже, но все мы умели говорить со стареющими осенними листьями, с кустами, облитыми росой, с цветами, пахнущими огнем.

Блиндаж мы вырыли в лесу за деревней. Но лес скоро поредел, вершины сосен, срезанные снарядами, упали вниз. И трава поредела: утром и вечером каждый день в один и тот же час вражеские минометы били и били терпеливую землю вокруг наших блиндажей. Они вспахали ее, и тем осторожнее обходили мы уцелевшие травинки и обглоданные осколками кусты.

С нами в тесном блиндаже жила мышь: ей тоже дала приют земля. Мышь была отважная, но скромная. Она не воровала хлеб, не залезала в консервы, она научилась сидеть

в углу и ждать, как умная собака, подачки. Ночью она любила спать на портянках.

Враг был рядом и был далеко. Узкая полоса земли, на долгие месяцы разделившая наши окопы, была начинена смертью.

В нашем блиндаже жило семь человек. Каждую ночь мы ходили через эту натыканную минами полосу земли к окопам врага. Мы были разведчиками, мы получали на пятьдесят граммов водки больше, чем остальные солдаты, а изредка нам выдавали даже шоколад. Каждую ночь мы ползли к немецким окопам в надежде поймать «языка». Нам бы не надо шоколада и лишних граммов водки, нам бы паршивенький миноискатель, мы часто приводили бы «языков».

Но не «языков» мы приводили, мы возвращались, таща на окровавленной шинели одного из наших товарищей. А на следующую ночь снова шли туда.

Если бы у нас был миноискатель!

Но у нас его не было — ведь шел тяжелый сорок первый год. Мы срубили деревце, обтесали его, и получился шест. Этот длинный скользкий шест заменил нам миноискатель. Мы шарили им перед собой, надеясь задеть мину и обмануть смерть.

Шест елозил по земле, он скрежетал, как гусеницы танка, он гремел в ночной тишине, как сто тысяч пушек, и враг перепуганно бросал в небо желтые ракеты. И тогда не мы, а наши тени достигали его окопов. И вот начинал лаять пулемет, красные точки трассирующих пуль суетливо носились в разные стороны, а мы ползли, ползли вперед, закусив окаменевшие губы.

Красные пули летели прямо на нас, а мы ползли...

Мы и мертвые ползли бы вперед, но сержант командовал возвращаться. И снова тащили мы одного из нас на мокрой от крови шинели. Уже не семь было нас в блиндаже, а шесть, но скоро приходил новенький, и снова нас было семь. Мы возвращались, и там, где начиналась нейтральная полоса, возле наших окопов, нас ждала Анка, санинструктор.

У нее были мягкие руки, нежные, как трава. Она знала много добрых слов, и, конечно, это она изобрела те простые, но загадочные своей исцеляющей силой слова: «Потерпи, миленький», — которые потом, как песня, облетели все фронты, все госпитали.

Мне было двадцать лет, и я не знал других женских

рук, кроме старых, натруженных рук моей матери. Но удивительно, руки Анки пахли, как руки матери. Она же была девчонка — ей девятнадцать было, но руки ее, знавшие столько страданий и смертей, были старше, были мудрее ее самой.

Время на войне летит стремительно, как пуля, и одновременно тащится медленно, как ротный повар на своей кляче. Мы любили друг друга — я и наш санинструктор.

Любовь наша была короткой и долгой, бесконечной — годы прошли, а мы вместе, всегда вместе.

Мне было двадцать, и поэтому я верил в свою неуязвимость. Гибли мои друзья, но я знал: меня нельзя убить, нельзя потому, что мне двадцать лет, потому что там, у наших окопов, ждет меня Анка.

И я возвращался к ней. Я не шел в блиндаж спать: мы бродили с Анкой в синей мгле, уходили далеко к Пустошке, где ночь и день трещали, вспыхивая кладбищенскими огоньками, сотни раз перегоревшие пепелища.

Горизонт горел зловещим и прекрасным огнем, а за ним глухо и размеренно ухали, ворчали, мололи человеческие жизни жернова войны. Над головой, где-то выше темных облаков, летели дальнобойные снаряды, мы слышали их шелестящий свист.

Здесь, в Пустошке, при свете пепелищ, я первый раз поцеловал Анку. Щеки Анки, ее губы были как мох, как пух. И я удивился. И Анка поцеловала меня и тоже удивилась чему-то.

Дни шли, недели шли... Все теперь знали о нашей любви и берегли нас, как остатки травы вокруг блиндажа.

Что сделалось с Анкой, я понять не мог. Глаза ее светились даже в темноте, и ребята шутили, что надо на них вешать маскировочные шторы, иначе прилетят на огонь вражеские самолеты. Анка теперь ходила по земле осторожно, будто по камешкам шла через ручей, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то.

Однажды днем мы забрели с ней в Пустошку. Мы шли держась за руки и молчали, и оба улыбались неизвестно чему, просто оттого, что были счастливы.

За Пустошкой упала мина — в неурочный час начали немцы обстрел деревни: что они хотели от этого выгоревшего клочка земли, мне и сейчас непонятно, будто там был невесть какой важности стратегический объект, а не перегоревшие угли.

Мы с Анкой побежали в лесок и легли за холмиком, пережидая обстрел.

Были мины, вздымая пепел, грязную землю. Анка лежала, опираясь на локти.

— Дай сахару,— сказала она.

Утром нам выдали по куску сахара, свой она давно сгрызла, но знала: я не съел, я берегу для нее.

— А чай с чем будем пить? — спросил я.

— Дай!

Но я не дал ей сахар. Не от жадности: я же берегу для нее. И она не обиделась.

А мины выли и выли, они ложились все ближе. Уже было слышно, как жужжат, будто рой пчел, осколки...

— У нас будет сын,— сказала Анка,— слышишь, у нас будет сын! Он будет похож на тебя... А назовем мы его Степкой...

Все это было так давно...

Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам. На рассвете Москва пахнет бензином и бетоном.

Степка строит дом. Он стоит на краю стены и осторожно ударяет по кирпичу своим мастерком.

Степка строит дом. Скоро стены его запахнут краской. Осталось совсем немного — скоро, скоро построит дом Степка. Дом, пахнувший краской и хлебом...

...Ничего не построит Степка! И ты его не жди, девочка на подоконнике. Он не придет никогда...

— А назовем мы его Степкой...— проговорила Анка, и оба мы слышали жужжание осколка.

— Ой! — печально и удивленно сказала Анка и опустила на траву голову.

— Не шути! — кричал я и, плача, совал и совал в ее холодеющие губы сахар.

Роса блестела на траве. А из травы у самой Анкиной головы торчала черная шляпка гриба.

Тогда я почти не заметил его, этот гриб, но с годами он словно рос и рос в моей памяти. Он разросся до гигантских размеров, готовый прикрыть своей смертоносной шляпкой весь мир,— не из доброй земли он берет соки...

Юрий Казаков

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо и что зима хороша — декабрь, а по виду настоящий март, с солнцем и блеском снега, и что, главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она, наконец, пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться — так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на

нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива, и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только повел ртом. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь показалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, по площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти дни, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь, среди молодых и красивых, она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинные.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно, какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить! Что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд. О, как это здорово, уж он-то знает, сколько вечеров он провел дома один, когда у него не

было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно! Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у того тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист, и уж тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что нет у него никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога — прощай тогда Москва, и асфальт, и всякие процессы, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам и запомнил, а потом поехал с ней. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился, как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и, хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, там было чисто и светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь, и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там по

подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый эстонский рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы — дешевизна была баснословная. И этот запах из пекарни, непрерывное воркованье и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время уже любимая, близкая. Какое было счастье и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны.

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко закрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой по другой железной дороге.

У его отца был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти побыстрей, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи,

и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фыркание. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То неровно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам все эти зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубокий и сухой, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!»

Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще, леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать сзади шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли — в комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагладелась она за день.

Он доставал из-под террасы, носил дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе, довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое на веранде, когда он вышел, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был! А?

— Так... Устала я страшно сегодня. — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает: как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, не знакома, — что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу, и печку, и даже почему-то за мороз, и солнце, и за свой покой — зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал, она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся, дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое, и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила «нет», и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним: все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, — но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснулась она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растапливал остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой и она хороша и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации, писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Но когда они вышли на вокзальную площадь и горели фонари, шумел город, а снег уж успели убрать, увезти, — они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.

Виктор Конецкий

ЕЩЕ О ВОЙНЕ

Возле этого городка река текла особенно медленно.

Из окон госпиталя, стоявшего на высоком берегу среди старинного парка, вода в реке казалась совсем неподвижной.

Была весна сорок четвертого года, наши наступали, и, как всегда при наступлении, было особенно много раненых.

Предчувствие уже близкой победы; впечатления недавнего бурного половодья на реке; нервное отупление от людских страданий, обезображенных лиц; редкие просветления, радость от русской весны, ее тихой красоты, нежности первых листьев; странное впечатление от усадьбы, в которой разместился госпиталь, от столетних дубов, замшелых статуй; беспрерывная, вьевшаяся в душу тревога за мужа, сны о нем — то довоенные, безмятежные, солнечные, когда она видела мужа смеющимся возле ее кровати и просыпалась от нестерпимого желания близости с ним; то ужасные сны: Володя падал навзничь с проникающим ранением черепа, и вокруг ни одного санитаря, и до медсанбата бесконечно далеко, и он лежал, дергаясь лицом и серея, совершенно полунному одинокий, — все это смешалось в сознании медицинской сестры Марии Степановны.

Ее муж — школьный учитель математики — ушел рядовым в ополчение из Ленинграда еще в самом начале войны. Теперь командовал саперным взводом. Дважды он был легко ранен: под Гатчиной и при освобождении Пинска.

Письма Володи удивляли Марию Степановну отсутствием примет фронта, войны в них не было. Володя писал о прошлом, об их первых встречах, обыкновенных мелочах мирной жизни. Но каждая мелочь давала повод для глубокой, неожиданной мысли, причем очень простой, казалось бы, давно известной. И потому, что Володя никого не учил, и потому, что писал письма где-то в окопе перед боем или после боя, сидя на разряженных противотанковых минах,

его мысли приобретали силу непреложной истины. Володя писал: «Маша, я понял теперь, что все и всегда надо приводить к коэффициенту бесконечности, потому что сам мир бесконечен, и тогда сложности сокращаются и видишь главное. И это главное надо делать во что бы то ни стало. И уже не думать обо всем другом».

Марии Степановне казалось, что ее Володя совершенно перестал бояться смерти.

Она жила вместе с другой медсестрой, Юлей, в маленьком деревенском домике. Дом стоял на отшибе возле самого берегового обрыва, из окон видны были вершины спускающихся по обрыву деревьев, а за ними, сквозь них распахивался заречный простор, заливные луга, сейчас, весной, какого-то неопределенного горчичного цвета. Из этого простора лилось много света, и днем комната была веселой даже в дождливые, осенние времена.

Мария Степановна и Юля дружили, хотя были совсем разными. Жениха Юли убили еще на границе, родители ее погибли в оккупации, сама она была тяжело ранена в грудь. Свое горе она залечивала дурным, но старинным русским способом: бесшабашием и разгулом. В своих глазах она потеряла всякую ценность и потому не щадила и не берегла себя. Ей не для кого было беречь себя. Редкий из выздоравливающих молодых офицеров не путался с ней.

Но работала Юля хорошо, умело, часто до одури. Умиравшие просили ее к себе, рядом с ней, наверное, было легче умирать, потому что в Юле много было плотской, чувственной жизни, а за этой жизнью пряталась чуткая душа, которую, правда, можно было только ощущать, так как внешнее поведение Юли было грубым. Застилая после умершего койку, она могла напевать: «Когда бы знала киска Мурочка, какой проказник Васька кот...»

В свободный вечер Юля выпивала медицинского спирта и уходила на Пристанскую улицу — единственную улицу городка. Она громко смеялась, громко заговаривала с незнакомыми мужчинами и была довольна, если местные, тыловые женщины возмущались ею. Какое-то мстительное, нехорошее чувство испытывала Юля к людям, не познавшим войны воочию, не видевшим горящего Смоленска, не знающим затемнения.

По вечерам у пристани гуляли все, ждали, когда придет рейсовый теплоход, привезет почту и газеты; смотрели на

приезжающих, гадали о них, лущили семечки. Потом в бывшей церкви, приспособленной под клуб, начиналось кино. Старые ленты часто рвались, тогда в церкви зажигался тусклый свет, в нем странно живыми и скорбными казались лики святых на стенах.

Мария Степановна вышла замуж незадолго до войны. И у нее и у Володи это было первое серьезное чувство; для обоих оно пришло сравнительно поздно: для Володи в тридцать, а для нее в двадцать шесть лет; оба терпеливо ждали прихода этого чувства и берегли себя для него. И, может быть, поэтому Марии Степановне легко давалась верность мужу все длинные годы войны. А три года — большой срок. И только недавно появился один раненый майор, отношения с которым быстро стали трудными.

Суббота в госпитале бывала особенно утомительным днем: меняли белье, сдавали в стирку, оформляли заказ на медикаменты. На субботу почему-то чаще всего назначались повторные операции. От суеты и задерганности сестер раненые начинали волноваться. Наркотиков не хватало, из-за них вспыхивали в палатах скандалы, стоны и ругань не утихали до поздней ночи...

В первую субботу апреля Мария Степановна пришла домой раньше обычного: ей надо было дежурить под воскресенье. Около четырех часов она прилегла вздремнуть, но почти сразу ее разбудила Дарья Саввишна, сторожиха при покойницкой, принесла молока, а чуть позже пришла Юля, громко хлопнула дверью, стащила сапоги, сказала:

— Машка, не притворяйся, не спишь! Говорят, Ко-нев к Пруту вышел, вечером приказ передадут: «...столица нашей Родины, от имени Родины...» Машка, ты слышишь?

Мария Степановна засунула голову под подушку и не ответила.

— У Максимовых баню топили,— сказала Юля.— А майор грозился в гости сегодня, портвейна у них бутылка есть, честное слово!

— Отстань,— сказала Мария Степановна, уже понимая, что Юля не отстанет. И действительно, Юля стащила с ее головы подушку, села на кровать, тяжело придавив Марии Степановне ногу, и зашептала в самое ухо:

— Он уезжает послезавтра, Машка! Ей-богу, он в тебя серьезно!..

— Скажи, чтобы и думать не смел приходить,— строго сказала Мария Степановна.— Глупости все это.

— Ну и правильно,— вдруг согласилась Юля, слезая с кровати.— Он просто баран с завитками, точно говорю... Может, и герой, но только баран с завитками. Знала я таких батальон цельный...

— Глупая ты моя! — сказала Мария Степановна.

Они были почти погодки, но Мария Степановна казалась себе старше, мудрее Юли. И Юля, как ни странно, не противилась этому. И послушно играла дочку и слушалась Марию Степановну, как маму, которую можно сколько угодно обманывать, но которой нельзя сделать больно.

— Хочешь, спою? — спросила Юля.

Она скинула с себя гимнастерку, осталась в майке, взяла гитару, отошла к двери, прислонилась к ней и заглянула в гитару с той неожиданной и милой улыбкой, за которую Мария Степановна могла простить ей многое. На левом плече Юли явственно виднелся шрам. Она прижала подбородок к этому шраму, улыбка загасла на ее лице, скулы напряглись, она скрипнула зубами неприятно, по-ночному жутко и взяла первый аккорд. Она пела о белой немецкой ракете, о холоде замерзшей сирени, о рассыпанной на бруствере окопа махорке, которую вдруг увидел солдат перед самой атакой. Всё смешалось в этой самодеятельной песне — грусть, мужество, безвкусие, знание войны, и вечная тоска по истине, и то настоящее искусство, которое может родиться только в тепле человеческой груди. Любовь к людям — не только к Володе, маме, Юле, но ко всему народу, к самому трусливому солдату, молодому и глупому; к чужим совсем женщинам и их голодным детям, к обесплодевшей земле и первой черемухе, роняющей цвет в медлительную воду тыловой реки, к тем терпким черным ягодам, которые завяжутся на гибких ветках, и к старухе Саввишне, сторожихе покойницкой,— любовь ко всему и всем всколыхнулась в Марии Степановне от этой песни.

— Ишь, как глаза затуманила, киса Мурочка,— с торжеством сказала Юля, отшвыривая гитару на кровать.— Пойдем в баню, а? Потом на пристань спустимся, платье мое коричневое наденешь, майор придет, вечер будет, потом спою вам, а?

— Открой окно, пожалуйста,— попросила Мария Степановна.

— Пожалуйста,— сказала Юля и пошла через комнату, озорничая, ступая вдоль одной половицы, кидая распутившиеся волосы с одного плеча на другое.— Нас просят — мы делаем... Просят окно открыть — пожалуйста, открываем!..

Она распахнула окно, высунулась в него и замерла. Тихий шум деревьев на обрыве отдался в гитаре. Ранний весенний вечер начинался в просторах за рекой.

— Как Новиков из пятой? — спросила Мария Степановна.

— Помер.

— Когда?

— Около полдня.

— Тебя звал?

— Звал... Тошнило его, все белье замарал... К Дарье Саввишне Новиков поехал, лежит теперь там у нее за стенкой и ни о чем не думает... От Володьки твоего ничего не было?

— По мне не видишь?

— Вижу, потому и треплюсь... В баню хочу, а потом квасу хочу, а в бане веника, настоящего, березового... На полочку полезем, я тебе спину тереть буду, честное слово... Потом чистые будем, тихие, а?

— Дежурить мне,— сказала Мария Степановна.

— Он все одно придет. И на дежурство к тебе придет. Он совсем бешеный стал, как узнал, что уезжает послезавтра, майор твой,— сказала Юля, расчесывая перед стеклом окна волосы.

— Ой, господи, скорей бы он уезжал, что ли! — вздохнула Мария Степановна.

Майор смущал ее своей откровенной, открытой, требовательной влюбленностью. И Мария Степановна знала, что сама виновата, что сама разрешила ему слишком много.

Единственный раз за три года.

Она только что переболела тогда дизентерией, очень похудела, подурнела, страшно было глядеть на свое желтое, голодное лицо. И Мария Степановна испугалась, что вот вернется Володя, разочаруется, бросит. А майора доставили во время отсутствия Марии Степановны из Югославии, где он выполнял какие-то боевые задания; ореол загадочности окружал его; он был ранен в грудь и голову, бинты закрывали лоб до бровей, черные большие глаза от белизны бинтов выделялись еще больше; он часто капризничал, прямо в госпиталь прислали ему орден, больших чинов генералы навещали его, подолгу беседовали, и все сестры повлюблялись в майора. И когда впервые после болезни Мария Степановна

пришла на дежурство, то майор вообще никакого внимания на нее не обратил и требовал к себе только Юлю. Вот тогда женское и пробудилось в Марии Степановне, страх от сознания проходящей молодости усиливал это женское, невнятная ревность к Юле, желание хоть раз оттеснить ее захватили Марию Степановну. Она старательно помнила, что все делает сейчас для Володи, что ей необходимо как-то встряхнуться, почувствовать себя хоть ненадолго женщиной, а не медицинской сестрой.

Она была достаточно умна, чтобы понимать, что не красота и молодость в первую очередь привлекают мужчин, а женская готовность ответить на зов, готовность к любовной игре. Никогда ранее мужчины не пробовали влюбляться в нее, приставать, потому что чувствовали в ней ту недоступность, которой не требуется даже никаких внешних проявлений, чтобы заявить о себе. И вот Мария Степановна позволила себе игру с майором. И майор клюнул. Но она сразу опомнилась, отступила, стала по-обычному строга и невозмутима. И тем, уже не хотя того, влюбила его в себя серьезно. Майор искренне мучился и делался день ото дня безрассуднее. И где-то у Марии Степановны росло смущение и чувство вины перед майором. Она понимала, что уже приносит ему страдания, совесть ее мучила.

Однажды они смотрели в бывшей церкви «Леди Гамильтон». Вивьен Ли была прекрасна, коварная и женственная, она заставляла мужчин делать глупости. А Нельсон, с черной повязкой на глазу, чем-то походил на майора, во всяком случае у майора лицо было не менее мужественным. И Марии Степановне вдруг нестерпимо захотелось такой же красивой безрассудной женской жизни, взлетов и падений, как и у леди Гамильтон.

Когда они вышли после кино на улицу, то торопливо закурили, тьма была кремешная, река еще не вскрылась, с нее летел холод; папираса, которой угостил Марию Степановну майор, после махорки казалась какой-то особенно пряной, волнующей, от папиросного дыма пахло легкой, без обязательств жизнью. Майор крепко держал Марию Степановну под локоть, всю дорогу тяжело молчал, у дома сказал, что любит ее, обнял и целовал. Но она не пустила его к себе, а ночью долго смотрела на себя в зеркало, глаза у нее лучились, она казалась себе красивой, представляла себя в огромной белой шляпе с перьями подле каких-то колонн у синего южного моря. А потом разрыдалась, стала отвратительна сама себе, вспоминала Володю, огромную и

страшную войну вокруг, кровь и страдания в близком здании госпиталя за ночными деревьями. И презирала себя до омерзения.

После того вечера она ничего больше майору не позволяла. И вот послезавтра он должен был ехать и через Юлю передавал, что обязательно придет сегодня...

Чтобы отвязаться от всех этих мыслей, Мария Степановна попросила Юлю включить радио.

— Пожалуйста, — сказала по своей привычке Юля. — Меня просят — я делаю... Просят радио включить — пожалуйста!

Левитан зачитывал приказ: «...доблестным войскам Второго Украинского фронта, прорвавшим оборону противника и форсировавшим реку Прут, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий!.. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!..»

После приказа женщины долго еще слушали последние известия: под Одессой шли тяжелые бои, немцы цепко держали город. Канада включилась в лендлизовские поставки Советскому Союзу...

— И в баню пойдем и выпьем сегодня капельку, — решила Мария Степановна. — Ведь наши границу наконец перешли... Боже, счастье-то какое!.. И что же мой-то ничего не напишет?

— Напишет! — утешила Юля.

Баня была деревенская, черная, с густым запахом копченого дерева, от воды из шаяк тоже едко пахло дымом, пар заполнял баню плотно, окошко только чуть просвечивало, листья веника прилеплялись к коже и пахли осенним лесом. Юля по-всякому шалила, развлекая Марию Степановну, плескала на нее холодной водой и все жаловалась, что пара мало, хотя дышать уже совершенно нечем было.

— Пожалуйста! — кричала она, пробираясь с ковшом горячей воды к раскаленным камням. — Меня просят — я делаю!

— Никто тебя не просит, — уговаривала Мария Степановна, хватала мокрую, скользкую Юлю за плечи, смеялась, потому что невозможно было не смеяться.

— Нас просят — мы делаем! — твердила Юля и выплескивала воду на камни. И сразу обе садились на пол, опускали

головы между колен, закрывались руками, потому что перехватывало дыхание.

Они вышли на воздух очень какие-то легкие, пробежали домой задами огородов, дома пили клюквенный, нестерпимо кислый квас, вырывая друг у друга кружку; затем лежали немного на койках, слушая корреспонденцию Бориса Полевого с западного берега Прута. Полевой сообщал, что в Румынии очень много парикмахеров, они, в грязных халатах, с фантастически нафабранными усами и коками, стоят в дверях своих парикмахерских и щелкают ножницами...

— А нам придется косынки надевать: волосы не успеют высохнуть, — сказала Юля и выключила радио. — Давай собираться. Майор с капитаном из второй палаты придут. Они к семи обещали.

Мария Степановна косынку не повязала, собрала волосы в узел на затылке и помолодела от такой прически. Впервые за много месяцев она достала хорошее, шелковое белье. Оно было холодное, туго обхватывало, все время напоминало о теле. Тревожное оживление наполнило Марию Степановну, когда она просунулась в коричневое, немного узкое ей платье Юли. После сукна гимнастерки в нем было как-то радостно. «Наши границу перешли, наши перешли границу, — твердила Мария Степановна про себя, оправдываясь этим перед кем-то. — А то скоро, уже совсем скоро в синий чулок превращусь. Кому это надо? Никому это не надо... И как жаль, что нет чулок со стрелкой!.. Господи, и зачем я все это делаю, если мне на дежурство через два часа?» О майоре она старалась не думать, и только тревога ожидания встречи с ним все нарастала в ней.

Офицеры пришли в полной форме, при орденах. Майор был в кителе без шинели. Они все выпили по полстакана настоящего портвейна за форсирование Прута и пошли к пристани смотреть теплоход. На Марию Степановну оборачивались, она это замечала и становилась все возбужденнее и веселее.

И в самом вечере над рекой было что-то мятежное, волнуемое до глухой боли в груди. Наверное, от приближающегося дождя. Тучи подвигались к городку с запада, закат красил их в раскаленные тона, а между тучами чисто-си-

ними кусками виднелось небо. Ветер налетал порывами, был тепел и не резок, накатами шевелил первую листву ив и тополей. Прибрежные ивы секли медлительную воду реки, и, казалось, от этого всего она заструилась быстрее, рябь проносилась фарватером, бакены упруго покачивались, кивали вслед реке. Весной пахли придорожные канавы, беспокойно мычали в хлевах коровы, их было слышно даже здесь на набережной. В сваях пристани вода завихрялась, плескала в такт налетам ветра. У Марии Степановны закружилась голова. И все время казалось, что это не она, а кто-то другой смеется сейчас, и поворачивается лицом к ветру, и ловит открытым в смехе ртом теплый и влажный, ветренный воздух. И на ком-то другом бьется платье, открывая колени, обжимая тело под пальто приятно и щекотно. И кто-то другой вырывает у майора руку и близко видит его грубое и веселое лицо, лиловый свежий шрам над переносицей, и слышит слова, смысл которых ясен, но сами они ничего не значат в отдельности.

Они дошли до конца набережной и остановились. Юля с капитаном отстали. Юля кричала на всю пристань:

— Вы только посмотрите! Как разошлась наша тихоня! Это я придумала!..

И вдруг Мария Степановна услышала свой голос, она декламировала:

— «...А он, мятежный, просит бури! Как будто в бурях есть покой!» — Ей казалось, что говорит она очень красиво, что все люди вокруг должны вздрогнуть от пронзительности этих слов, так произнесенных ею. И майор действительно прошептал:

— О Маша, что вы со мною делаете! Я не могу больше! — И обнял Марию Степановну за плечи, закрывая ее собою от людей, и стал целовать, и она не в силах была сопротивляться ему, только слабо шевелила пальцами медали на его кителе.

И здесь что-то страшно знакомое почудилось Марии Степановне — совсем близко, за погоном майора. И еще до того, как она узнала это знакомое и вскрикнула от неожиданности, она уже успела понять весь ужас происходящего и всю невыносимую пошлость слов о мятежном и буре.

Все стихло вокруг Марии Степановны. Она увидела мужа в шинели, накинутой на плечи, в помятой пилотке. Он опустил на землю чемоданчик, ступил еще ближе, огромная гадливость была на его сером лице. Он поднял руку и ударил

Марию Степановну по щеке, сразу отшатнулся, подхватил чемоданчик и пошел куда-то.

— Володя! — крикнула Мария Степановна. Затишший было мир теперь завертелся и задергался, заизвивался вокруг нее. Ослепительная волна счастья, радости накатила, смыв все только что происшедшее. — Сумасшедший мой, родной мой, дорогой мой! — захлебываясь, говорила Мария Степановна, поспевая за мужем, хватаясь за ручку его чемоданчика. — Да ведь чепуха все это. Поверь! Откуда ты, любимый мой?! Что ты?! Что ты?!

— Не кричи так. Давай обойдемся без юродства... Приехал этим теплоходом, уеду завтра первым... Вечер какой, а? Так и просит, значит, бури, правда? — заговорил он будничным, старательно сделанным голосом. — В командировочку послали, ну и дал пару тысяч верст крюку. Надо же жену повидать. Сюрпризом захотелось. Помнишь, мы все сюрпризы друг другу до войны делали? Ну вот и решил сюрпризом...

— Остановись, перестань, перестань, подожди минутку, я объясню все, не говори так! — просила Мария Степановна, все время перебивая его, пытаясь даже прижать ладонь к его губам.

Он с силой отбросил ее руку. Они торопливо шли куда-то вдоль реки уже по загородным жидким мосткам. Над ними все круче поднимался к набухающему, вечеряющему небу обрыв, деревья на гребне обрыва свешивались вниз, шумели под ветром, доски мостков прогибались и екали по воде. Оба они теперь замолчали и все только шли куда-то по этим мосткам.

Когда не стало уже видно людей и домов и осталась только река, ее преддождевой покой, скрытый под ветровой, поверхностной рябью, Володя остановился, опустил на чемоданчик, сгорбился, закрыл лицо руками и застонал. Мария Степановна пыталась обнять его голову, она чувствовала в нем такую нестерпимую боль, такую смертельную обиду, что боялась говорить, неудачным словом увеличить эту боль. И почему-то она вспомнила, как однажды на вечеринке Володя перепил, ему стало плохо дома, голова разламывалась, наверное, это было полное отравление, потому что пил он всегда очень мало. И она ничем не могла помочь, только держала руку у него на лбу, и он все просил не опускать руку. А она страдала за него, и так хотелось втянуть, впитать его боль в себя, но это совершенно невозможно было сделать. И сейчас она не могла помочь Володе. Она видела, как он гадливо передергивается, когда ощущает ее прикосновение,

как он не может смотреть ей в глаза. И понимала, что он не может смотреть ей в глаза потому, что ему невыносимо стыдно за нее.

— Боже мой! — сказал Володя сквозь руки, закрывающие лицо. — Неужто я все на самом деле это видел сейчас? Может, сплю я? О, дьявол! — Он выругался, и еще, грубо, грязно. — С майором, с капитаном, девкой еще какой-то накрашенной... и бедный лейтенантик с фронта приехал! Мелодрама в провинциальном театре, — закончил он, уже вставая, взяв себя в руки. — Ну что ж, веди домой, жена.

Мария Степановна повернулась и, чувствуя затылком, всей спиной взгляд мужа, пошла назад по мосткам. Володя шагал за нею, и доски не в такт отдавали под ногами обоих.

Мария Степановна отвела Володю домой и пошла искать Юлю. Они встретились в комнатке сестер при приемном покое. Юля прыснула, когда увидела Марию Степановну.

— Ты покури... Черт-те знает что и придумать, — заговорила она. — И везет же тебе, Машка! В кои-то веки раз — и вдруг такое!.. Спирту-то я сейчас для него достану и патефон можно у раненых достать...

— Не надо патефон, — сказала Мария Степановна. Ей показалось, что Юля издевается. — Отдежуришь за меня сегодня?

— Конечно. Нас просят — мы дежуриим... Эх ты, киса Мурочка... Мой бы, царствие ему небесное и вечный покой, тоже бы в такой ситуации причастил меня по уху... Уж больно вы неприлично целоваться начали! А я смотрю, остановился кто-то и смотрит внимательно. Он курил стоял, потом окурок бросил и тогда только подошел... А этот баран с орденами вам вслед руками развел, и шрам у него над переносицей, как часы, затикал...

— Замолчи! — сказала Мария Степановна.

— Ты это чего? Успокойся, киса, все образуется... Дай ему выпить как следует — и на боковую. Так такие вещи только и кончаются, это я тебе точно говорю. Неприятно, конечно, но...

— За что ты меня так? — с ужасом спросила Мария Степановна.

— Не сердись, — после паузы сказала Юля тихо. — Это я просто завидую... Хочешь, приду, хорошее про тебя ему наговорю?

— С ума ты сошла, что ли? — совсем уже потерянно сказала Мария Степановна.

Володя пил много, спирт он не разбавлял. Темные руки Володи, с поломанными ногтями, помороженные, лежали на столе тяжело и устало. С каждой стопкой вены на них набухали больше. Это были руки фронтового сапера, а не школьного учителя. И весь Володя был совсем чужой, тяжелый, усталый, как его руки.

О виденном на пристани Володя больше не поминал, хотя в глаза Марии Степановне не глядел. Он выложил на кровать маленькие аккуратные сапожки, трофейный термос и пакет американского шоколада. Говорил Володя ровно, внимательно слушал сбивчивые рассказы Марии Степановны о ее жизни и работе здесь, об эвакуации, спрашивал подробности гибели брата Марии Степановны в Ленинграде и скупно, но точно отвечал на вопросы о своем здоровье и войне.

На улице начался дождь, он шумел в густых сумерках.

Мария Степановна зажгла керосиновую лампу, плотно занавесила окно.

В комнате уютнее и тише стало, мир как-то съежился до размеров этой комнатки. И, наверное, потому Мария Степановна неожиданно смогла опуститься возле Володи на пол, взять его руки в свои и сказать:

— Володя, родной... Я так люблю тебя, поверь! Я так ждала тебя, так бесконечно ждала! Я все объясню, честное-честное мое слово!

— Встань, — сказал Володя. — И налей-ка еще... Мудрая штука — водка... Вот так, значит, и живешь? — добавил он, оглядывая комнату, как будто только сейчас войдя сюда.

Мария Степановна поднялась, заглянула Володе в лицо. Ей вдруг показалось, что Володя поверил и начал успокаиваться. У нее защипало глаза от счастья, облегчения. И она сама не успела понять, как опять очутилась возле него, судорожно обнимая его ноги, целуя зеленую сухую ткань галифе. Володя провел по ее волосам, растрепал их, потом рука его продвинулась ниже. Ворот платья туго сдавил шею Марии Степановны, она торопливо расстегнула пуговицу на вороте, пуская руку Володи дальше.

— Не уезжай! Не уезжай завтра! — говорила Мария Степановна, подняв на Володю глаза, все плотнее прижимая к

нему. — Черт с ним — опоздаешь на день! Побудь еще! Все опаздывают!

— Так еще и до завтра время не кончилось, — сказал Володя. — И встань ты с колен...

Но Мария Степановна уже не хотела понимать ни слов его, ни интонаций.

— Ну обними же меня наконец, — шептала она. — Родной мой, светик мой, лапушка моя, счастье мое, солдат мой... Сколько дней, сколько ночей я ждала тебя, Володя мой! И когда кончится все?! Я так устала от вечной темноты этой...

Володя отклонил ей за волосы голову и медленно, скорбно поцеловал в губы. Глаза Володи были закрыты. И Мария Степановна поняла, что Володя сейчас прощался с ней.

— Я отдельно лягу, — глухо сказал он. — Отдельно постели мне. Все ясно?

— Да, — сказала Мария Степановна. Огромную слабость ощутила она и оцепенение. Она постелила мужу на Юлиной койке. Он сразу потушил лампу, разделся и лег.

Мария Степановна стала в темноте у окна, приоткрыла его и курила. Дождь то переставал, то опять сильно лил. Махорка потрескивала при каждой затяжке, дым бесшумно проскальзывал сквозь ветки столетника на подоконнике, корчился под частыми ударами дождевых капель. Наступила ночная тишина и в комнате, и везде на земле вокруг. Шум дождя, уже став привычным, не нарушал этой тишины. Обрывки мыслей, воспоминаний, слова забытых стихов, ставшие родными голоса и жалобы раненых, их лица на плоских подушках; непоправимость случившейся беды, ощущение, оставшееся в пальцах от холода орденов на кителе майора, стремление уйти от мыслей о нем, спрятаться от беды за привычные заботы, боль за Володю — все это сумбурно вертелось в сознании Марии Степановны. Она вспомнила еще, как года полтора назад один раненый сказал, что встречал на фронте Володю, живого и здорового. А она у всех новеньких спрашивала о Володе. И вот один откликнулся. Она скоро поняла, что раненый врет, но все равно ей было легче тогда даже от его лжи, потому что Володя давно не писал.

— Ты младшего лейтенанта Щукина знал? — спросила Мария Степановна чуть слышно, не оборачиваясь. Володя не ответил, только пошевелился на кровати. Было опять очень много ночной тишины. Потом Мария Степановна прикрыла окно, торопливо разделась, села к Володе на кровать,

стасила с него одеяло, охватила за плечи и повернула к себе. Он не спал, конечно. И когда Мария Степановна прильнула к нему, целуя его лицо, то ощутила на своих губах его слезы.

Больше они не говорили. Их не было отдельно от ночи, дождя, текущей под обрывом ночной реки, мокрых деревьев в парке. Все это было вместе, и все несло куда-то бесшумно и стремительно. И не было войны, голода, и смертей, и выстрелов, и сульфидина, и леди Гамильтон, и майора. Был только Володя, скользкая кожа на его ранах, его ставшие твердыми руки, его захлебывающаяся торопливость и его молчание. Потом ночь стала замедлять свое движение и остановилась. И Мария Степановна опять услышала тишину, потому что и дождь перестал. Окно начало чуть сереть. Володя лежал на спине, закрыв глаза, запрокинув голову.

— Сделай покурить, — попросил он.

— Падишах какой... — шепнула Мария Степановна и тихо засмеялась от счастья, от чувства очищения, благодарности, нежности, ибо все плохое, сложное отстало, все началось для нее сейчас с нового начала, и она могла уже шутить с Володей так, как шутила в их довоенные ночи.

Была секунда паузы, потом Володя дернулся, как будто его ударили. И Мария Степановна поняла, что в душе его нет того нового начала всего, которое есть, появилось у нее, что боль Володи не растаяла, судорога невысказанности продолжает держать его, напоминание о довоенном, сравнение с теми ночами ужасно для него.

— Уйди! — сказал Володя грубо. — Ну?

— Я... что ты?.. Нельзя так!.. Сколько можно? За что, наконец? — сказала Мария Степановна, сама слыша фальшивые, отвратительные нотки в своем голосе. Она порывисто откинула одеяло и сунула ноги в холодные туфли. И под взглядом мужа, опять всей кожей и нервами, как на мостках давеча, ощущая его, этот взгляд, прошла несколько шагов к дверям, совсем нагая, инстинктивно опустив вдоль тела руки, прижимая их к бедрам.

Тусклый свет входил в комнату. От этого света предметы не отбрасывали тени. Но Мария Степановна знала, что она видна, видны ее ноги и стыдливо согнутая спина. Она боялась взгляда мужа и в то же время желала его и долго искала возле дверей свой халат, пока накинула его на плечи. Крик тоски и безысходности застрял у Марии Степановны в горле, сжал его. Самое простое слово уже не могло быть простым, пройдя ее горло, оно приобретало другой, чуждый,

лживый смысл; и сама Мария Степановна понимала это, но ничего не могла поделать с собой. Она понимала и то, что все только что случившееся — лишняя улика для Володи. Что он видит в этом женскую хитрость, расчет на желание, с которым он не сможет бороться. И все это было совсем ужасно.

Мария Степановна вышла в сени и осталась одна среди прохлады и запаха мокрого дерева. Ветер шумел в кустах бузины у крыльца, звякали капли, падая из водосточной трубы. Мария Степановна взяла ковш, зачерпнула воды из бадейки и стала пить, хотя и не хотела пить, и вдруг вспомнила, что обычно муж пил по ночам после минут близости с ней. И так захотелось вернуться сейчас к нему с холодной водой в ковше, сказать несколько простых, обычных, полных правды и истинности слов, от которых все забудется. Она так понимала всю мимолетность наставшей встречи, всю возможную вечность грядущей разлуки и ничего не могла сделать. Она даже через стенку чувствовала судорогу, сжавшую душу ее Володи.

Она бросила ковш в бадейку, ковш закачался на сонной воде, стучаясь ручкой о край. Мария Степановна ощупью нашла на стене шинель мужа и прижалась к ней лицом, нюхая запахи шерсти, земли, махорки, видя медлительную струйку песка, текущую по стене окопа на эту шинель, уже с содроганием ощущая запах крови, которым она, шинель, может напиться где-то вскоре. И Мария Степановна впервые заплакала, очень тихо, без всхлипывания, кусая сукно, ощущая холодные металлические пуговицы, затвердения швов, неожиданную мягкость погон. И, плача, вдруг увидела себя со стороны, стоящей в темных сенях, уткнувшейся в шинель, такой, как она видела женщин в кино и читала в книгах, — женщин военной поры, уткнувшихся в сукно солдатских шинелей, плачущих всю ночь, пока спят их мужья накануне ухода в бой. И Марии Степановне стало еще нестерпимее, она стала ловить себя на том, что, наверное, сейчас разыгрывает свое горе, как актрисы в кино и театре, что она подделывает свое горе под уже виденное где-то, что она думает не о трагедии происходящего, а следит свое поведение со стороны и что это и есть самое кощунственное.

Мария Степановна оттолкнула себя от шинели и вышла на крыльцо.

Сквозь колебания вершин деревьев, сквозь полуголые ветки их была видна медлительная вода реки. Мария Степановна подошла к забору и остановилась, опершись на

него. Ночной ветер откинул полу халата. Прошлогодняя крапива, пожухшая и бессильная, коснулась колен. Несколько минут Мария Степановна стояла, бездумно глядя на медленно текущую внизу воду.

Дождь перестал уже давно. Бесшумность и гладкость движения огромной реки рождали в ночи покой и умиротворение. Противоположный берег, скрытый в сумраке, едва угадывался по двум далеким огонькам поворотных бакенов. Узкая полоса зеленеющего неба виднелась у горизонта, отделяя темноту ночных туч от земли. До этой зеленеющей полосы было страшно, безнадежно далеко. Огромен был простор влажной весенней земли, оживающих лесов, слабо дышащих трав, низин, подернутых туманом, спящих деревень, разъезженных дорог, ползущих в ночи через холмы, поля и мосты.

Ветер скользнул в волосы, быстро выдул из-под халата постельное тепло, застудил влагу в глазах; последние слезы скатились по щекам.

Лениво и облегченно лаяли собаки, провожая уходящую на восток дождевую тучу. И такое же облегчение от сознания необратимости случившегося испытала и Мария Степановна. Нервная дрожь все еще трогала ей то грудь, то спину, но слабела, затухала, оставалась только зябкость от ночного ветра. Мария Степановна плотнее закуталась в халат, сказала вслух:

— Вот и все... Утро скоро.— Она сказала это, обращаясь к реке. Река что-то ответила ей на ходу, небрежно и невнятно.

Мария Степановна очистила грязь с промокших тапочек на скребке крыльца и вернулась в комнату.

— Когда приходит рейсовый? — спросил Володя.

— В полдень,— сказала Мария Степановна.— Я уйду сейчас. Юля вторую ночь не спит. Хотя под утро сменить надо.

Он резко повернулся к стене и затих.

Почему он не орет, не кричит, не выпытывает правды, не грозит, почему он только давит? Марии Степановне больше нечего было терять и не на что рассчитывать, и потому она могла разрешить себе раздражение, могла забыть о своей вине. Была долгая пауза, пока Мария Степановна одевалась, и всю эту паузу раздражение копилось и уплотнялось в ней. Как будто сегодня страдал только он! Он один! Как будто у нее он не отнял счастье этих суток, этот слабый просвет в трудных днях военной жизни! Как будто не она знала только работу, малый сон и немного хлеба все эти три года!

— Дурак! — вдруг прошептала Мария Степановна с огромной и тихой ненавистью. — Какой дурак! Боже мой, какой дурак!

Кровать осталась неподвижной, но Мария Степановна знала, что Володя не спит и слышит ее.

— Какой же ты дурак! — повторила Мария Степановна в четвертый раз, ощущая огромную злобную радость, вызывая его на драку, на месть, когда уже не думаешь ни о чем, кроме нее, мести, когда захлебываешься в желании ударить возможно более обидным словом.

— Разбуди меня в половине одиннадцатого, пожалуйста, — сказал Володя.

— А может, уже сейчас перейдем на «вы»? — спросила Мария Степановна, затягивая ремень на гимнастерке, все не попадая язычком пряжки в дырочку, еще более теряя от этого самообладание, и вышла, хлопнув дверью.

Она увидела свет в окне сторожки при покойницкой и постучала к Дарье Саввишне. Зашаркали валенки, звякнула щеколда. Крестьянское, густое от запахов тепло опахнуло ее.

— Входи, — привычно сказала Дарья Саввишна. — Чего ни свет ни заря, опять помер кто?

— Нет... так просто, Юлю иду подменить, — сказала Мария Степановна. — И посоветоваться... — Ей с неудержимой силой захотелось поделиться сейчас с этим старым, сморщенным, высохшим человеком всей нелепостью случившегося. Марии Степановне и раньше казалось, что Дарья Саввишна, стоя так близко к смерти, каждый день и ночь равнодушно живущая рядом с холодом и темнотой покойницкой, знает что-то очень мудрое, спокойное.

— Садись. Чаю хочешь?

— Налейте, бабушка.

— Холодный только.

— Ничего-ничего, неважно, какой есть, я и не очень люблю горячий. А мой спит, пускай спит, вы его в половине одиннадцатого разбудите, на пароход ему, я сама не смогу, не позабудьте только, вы слышите, бабушка? — очень быстро говорила Мария Степановна, совершенно не слыша самое себя.

— Господи! — пробормотала Дарья Саввишна и перекрестилась в угол. — Что ж это? И попрощаться не сможешь? Операция у вас, что ли?

— Да-да, — сказала Мария Степановна. — Операция... Он,

как вчера шел с парохода, меня увидел на пристани... Юля вытащила, помылись мы и пошли, и майор там один все меня обнимал... А он смотрел стоял, а я не видела, потом ударил меня... Уедет утром, их дивизия под Вильно, уедет, а вдруг убьют и не увидимся больше? Как жить буду? Ведь виновата я! И не оправдаться: молчит все время... И все не то говорила, ужас какой, какой ужас!

— Потихе ты, — попросила Дарья Саввишна. — Разобрать трудно... А с майором-то? С майором-то у тебя было или не было?

Мария Степановна не ответила, только слабо махнула возле лица рукой. Она поняла, что никто ни в чем не может помочь ей, понять ее и что надеяться на других бессмысленно. И она устала от сознания этого еще больше, устала внутренней усталостью, когда лень объяснить что бы то ни было и на все остается только махнуть рукой.

— А и ничего здесь такого нет, — сказала Дарья Саввишна, наливая в стакан чай. — Женщина, милая, больше в цвет живет, а не в семя... Так оно уж устроено. А проводить надо. Муж он тебе, муж. И проводить надо...

Мария Степановна стала пить подслащенный сахаринном холодный чай. В горле у нее пересохло, и пила она жадно, вытирая на подбородке стекающие капли. И после чая очень захотелось курить, но махорка осталась дома. И тогда Мария Степановна заторопилась в госпиталь, потому что там было светло от настоящих электрических ламп, там не было тусклых фитилей керосиновых светильников, там была махорка, привычная размеренная работа, там была Юля со своей милой улыбкой и грубой, жестокой повадкой, Юля, которая обязательно все поймет и чем-нибудь утешит.

А когда около двенадцати раздался привальный гудок теплохода, Мария Степановна уже торопливо спускалась от главного корпуса госпиталя к пристани по узкой дорожке старинного помещичьего парка. Она не могла не увидеть Володю, не могла не попытаться еще раз облегчить его боль. А боль в ней самой как-то отупела. И Мария Степановна только понимала, что, как бы и что бы ни случилось сейчас там, внизу, на пристани, все равно что-то необратимо изменилось уже в Володе, в его отношении, в его любви к ней. И в ней изменилось тоже, ибо ужас пережитого этой ночью уже ничем никогда нельзя будет загладить, ибо возмездие оказалось больше сознания допущенной ею вины. Все это

Она не так понимала, как чувствовала по огромной своей душевной усталости.

Оставшиеся после ночного дождя лужи были совершенно прозрачны, в них не плавали опавшие прошлой осенью листья: листья слежались за зиму под грузом снега, смешались с землей и стали уже частью ее. В прозрачных дубах перепархивали птицы и чирикали прозрачными голосами. И даже здание покойницкой выглядело не угрюмо среди деревьев, пушистости вербных кустов.

Возле покойницкой копалась в клумбе Дарья Саввишна.

— Иду провожать,— тихо сказала ей Мария Степановна и остановилась.— Не могу так, бабушка.

— Иди, иди,— ответила та, не разгибаясь.— Говорят: не догонишь — так хоть согреешься...

И Мария Степановна пошла, оскальзываясь на влажной земле и черных, палых листьях, вниз, к просвечивающему сквозь вершины деревьев простору медлительной реки.

Владимир Лидин

ПРИЛЕТ ПТИЦ

На войне медицинская сестра Лариса Васильевна Вальцева потеряла слух — не совсем, но так, что приходилось подставлять левое ухо, и то если собеседник говорил громко. Это было тягостно, сразу как-то перепутало годы, как перемешивают костяшки перед игрой в домино, и после войны оказалось, что многие из сверстников, с кем Лариса Васильевна кончала школу, погибли, погиб и Миша Неустроев, которого она любила.

Многое изменилось и в доме, где Лариса Васильевна жила с матерью: одни уехали в эвакуацию и так и остались работать где-нибудь в Алма-Ате или Бийске, а в иных семьях все так переместилось, что и не поймешь, кто успел жениться или выйти замуж; просто выросли дети, выросли столь быстро, словно война и погнала их в рост, ускорила время, смешала сроки, и вот ей, недавней десятикласснице Ларисе Вальцевой, уже за тридцать, и в ее жизни все так смутно, так неустроенно, что начинаешь страшиться одиночества.

Зеркала веришь, пока молод, а потом зеркала начинают фальшивить, они лгут, и притом грубо и безжалостно. Конечно, она никогда не была красивой, Лариса Васильевна знала это; в молодости, однако, все сглаживается. Но после войны пришло с глухотой уныние, от которого обычно так вянут черты лица, и Лариса Васильевна чувствовала, что она и душевно вянет, окружающий мир становился все глуше и дальше, а плохо слышащий человек всегда углублен в себя, и это невольно его старит.

Мать, Валентина Игнатьевна, долго болела сердцем, с войной ее сердечная болезнь обострилась, и Лариса Васильевна проводила мать и осталась совсем одна на белом свете. На похороны матери приехала из Калуги двоюродная сестра Ларисы Васильевны, Глаша, и, когда они остались вдвоем

в опустевшей после матери комнате, Глаша, напрягая голос, спросила:

— Как ты теперь будешь жить, Ларочка?

Лариса Васильевна печально и покорно посмотрела на нее.

— Как-нибудь буду жить, Глаша, — ответила она. — Ведь надо как-нибудь жить.

Но это было так неопределенно, что Глаша, рослая, деловая, работавшая бухгалтером на спичечной фабрике, предложила решительно:

— Знаешь что, бросай Москву... будем жить вместе. Калуга — хороший город, тебе понравится. Найдем тебе какую-нибудь работу полегче.

Лариса Васильевна не расслышала, и Глаша повторила все, только громче.

— Нет, Глашенька, я в Москве родилась и училась, жила с мамой, и в школе у меня такие хорошие товарищи были... многих из них уже нет, всё война, я что-нибудь в Москве буду делать.

Ее всегда тяготило, что надо признаваться, как она плохо слышит, как мир все дальше становится от нее, и некоторые из соседей старались только поздороваться и пройти мимо, чтобы не кричать ей на ухо и не обижать ее этим.

Она сказала еще:

— Война... ах, страшное это дело, Глаша.

Ей казалось, что она говорит громко, но она сказала это так тихо, что Глаша не расслышала и только утвердительно кивнула головой, чтобы не переспрашивать.

Глаша уехала в Калугу, и Лариса Васильевна осталась одна в комнате, где все было еще полно матерью. Стояла швейная ручная машина матери, в резной шкатулке лежало начатое рукоделье, на стене висели большие портреты отца и матери, когда они были молодыми, и мать казалась такой красивой со своими уложенными короной волосами, и отец был красивый и сильный, с черными усами и высоким лбом. Первый месяц после смерти матери Лариса Васильевна никуда не выходила, приводила в порядок вещи матери, нашла пачку писем отца к ней, когда он был женихом, письма были полны любви и нежности, и надо было, чтобы они не попали кому-нибудь постороннему в руки: ведь она осталась совсем одна на белом свете, и мало ли что может случиться с ней. Она сложила письма в пакет и написала на нем: «Сжечь», — это значило, что если с ней случится что-нибудь, то письма нужно сжечь, не читая их.

В квартире этажом выше жила старая корректорша Люд-

мила Петровна Волжина, работавшая несколько десятилетий кряду в одном и том же издательстве. Людмила Петровна была совсем маленькая, совсем седая старушка, давно могла уйти на пенсию, но не уходила и только чаще брала теперь работу на дом; глаза у нее были молодые, блестящие, и когда она во время работы надевала очки, то глаза становились совсем круглыми и даже чуть озорными, как у подростка. Людмила Петровна была всегда быстрая и оживленная, словно в ней работал моторчик, и ни минуты не оставалась без дела. Она зашла раз к Ларисе Васильевне, торопливая и энергичная, и энергичным звонким голосом прокричала ей в ухо:

— Что вы, милая моя, совсем скуксились... все мы не вечны, а ваша мама уже старенькая была. Хотите помогать мне по сверке... вы будете читать вслух оригинал, а я сверять по верстке, и у меня дело пойдет скорее, и вы начнете подрабатывать, да ведь и литература — это целый мир, а для начала почитаем один роман из шахтерской жизни. Автор сам бывший шахтер и очень хорошо описывает, как шахтеры в наше время свет увидели и шахта перестала быть для них преисподней, а прежде именно преисподней была.

— Я бы с удовольствием, — отозвалась Лариса Васильевна, услышав каждое слово, звонко произнесенное Волжиной, — только не знаю, справлюсь ли с этим.

— Еще как справитесь... положитесь на меня, — сказала Волжина уверенно. — Вы пока почитайте сама, а завтра мы с вами начнем работать.

Она оставила верстку, и Лариса Васильевна принялась читать роман о шахтерах; он начинался с детства героя, с давних времен, когда шахты были для горняков преисподней.

— Вы только не торопитесь, милая... читайте не спеша, как вы когда-то вашей маме читали, — сказала Волжина на другой день, когда они сели за работу.

Лариса Васильевна стала читать своим тихим, ровным голосом, а Волжина по временам останавливала ее и вносила в верстку поправки.

— Видите, — сказала она довольно, — видите, как у нас с вами хорошо получается. А литература — добрая вещь, она украшает жизнь человека, она будит его мысль, а уж вернее, чем книга, друга и не найдешь.

Они сверили роман о шахтерах, некоторое время спустя Волжина принесла другую верстку, это была повесть из военных лет, и Лариса Васильевна потихоньку от Волжиной

купила толковый словарь русского языка, так как встречались слова, которых она не знала.

— Жизнь человека богата возможностью делать добро, — звонко сказала ей в ухо Волжина, — возможность эта беспредельна. А где одно добро, там и другое, это как прилет птиц: где одна птица, там и целая стая.

Лариса Васильевна слышала каждое слово, Волжина говорила с ней так, не повышая голоса, что всегда можно было услышать каждое слово.

— Спасибо вам, Людмила Петровна, — сказала Лариса Васильевна тихо, — мне так приятно, что я хоть чем-то могу быть для вас полезной.

— А уйду на пенсию, передам вас другим корректорам, так что вы теперь с литературой будете связаны. Вы теперь литературу полюбите... конечно, попадаются и неважные книги, но ведь учишься все же на лучших.

Потом Волжина повела раз Ларису Васильевну в издательство, там в корректорской сидело много женщин, все были склонены над корректурами, и некоторые шевелили губами, видимо, читая про себя текст. Заведующая корректорской, низенькая, полная Розалия Яковлевна, с черными усиками и мягкими добрыми глазами, сказала:

— Мне Людмила Петровна говорила о вас... пожалуйста, всегда для вас найдется работа, так что имейте это в виду.

Она говорила очень тихо, так как в корректорской вообще говорят только шепотом, и Лариса Васильевна лишь по выражению ее глаз поняла, что та говорит что-то доброе, и благодарно пожала ей руку.

Теперь в ее комнате всегда лежали пухлые листы верстки, иногда еще совсем влажные, и Лариса Васильевна научилась уже и корректорским знакам, похожим иногда на клинопись, и нередко сама ставила их на полях, чтобы обратить внимание Волжиной на ошибку.

Как-то, когда она несла очередную верстку, ее встретил на лестнице преподаватель русского языка Павел Николаевич Устиев. Устиев был высокий, уже начавший сильно седеть, но все еще красивый, с правильными чертами печального лица. Год назад у него умерла жена, он жил теперь один очень неустроенно, и Лариса Васильевна встречала его не раз то в овощном магазине, то в молочной, то в булочной, и всегда можно было почувствовать, что он теряет время, нужное ему, наверное, для проверки письменных работ или подготовки к очередному занятию.

— Я давно хотел зайти к вам как-нибудь, Лариса Ва-

сильевна, — сказал он, — но не решался. Может быть, вы заглянули бы ко мне... пожалуйста. У меня есть к вам одно дело.

Он говорил раздельно и четко, и Лариса Васильевна все слышала.

— Хорошо, — сказала она, — когда вам удобно?

Они условились, что она зайдет завтра после шести, когда Устиев вернется с работы.

В его маленькой двухкомнатной квартирке было неприбранно, видно было, что у него не хватает времени для уборки, и на газовой плите в кухне стояли невымытые кастрюльки.

— Не знаю, Лариса Васильевна, как вы отнесетесь к этому, — сказал Устиев стеснительно. — Но, может быть, у вас нашлось бы время немножко помогать мне по хозяйству... я так занят, помимо школы читаю еще лекции по литературе на вечерних курсах. А просьба моя такая: будете покупать себе на обед, купите и мне что-нибудь, а будете себе готовить — и для меня уделите. Это была бы такая помощь, что и не скажешь... конечно, при условии, что вас это никак не стеснит. Я не привереда, всем буду доволен. А условия такие: все, что на обоих нас купите, — мое, ваш только труд, ну и еще столько, сколько скажете.

Он был все же смущен и ерошил время от времени свои уже начавшие белеть волосы.

— Что ж, — сказала Лариса Васильевна, — разве я не вижу, как вам трудно одному... разве я не вижу, как вы то в молочной, то в булочной, а откуда вам взять время? Я, по правде говоря, сама как-то подумывала предложить вам: буду себе покупать, куплю и для вас, для меня ведь это никакого труда не составит.

— Это было бы просто чудесно, — вздохнул Устиев, — я только потому и решился обратиться к вам, что вашу душу сразу почувствуешь. И мама ваша такая же была, я очень ее уважал.

Теперь в жизни Ларисы Васильевны прибавилось еще нечто обязывающее, это требовало почти такого же внимания и понимания, как верстка, в которой дышит литература, а литература ведь всегда говорит о людях с их чувствами и делами. Уже не хотелось покупать наспех и без выбора, как она обычно покупала для себя, и Лариса Васильевна выискивала что-нибудь повкуснее, иногда шла на рынок, и когда Устиев возвращался домой, то на его газовой плите все стояло готовое, и оставалось только разогреть. Ему не

надо было заходить после занятий в магазин или булочную, и он сразу же, пообедав и отдохнув, мог садиться за тетрадки с письменными работами или за конспекты лекций.

Однажды Лариса Васильевна нашла в кухне две его скомканные рубахи, выстирала и выгладила их, и, когда он вернулся, они лежали на столе пухлые и еще чуть теплые от утюга. В этот раз Устиев сам зашел к ней, когда Лариса Васильевна сидела над версткой.

— Извините меня, Лариса Васильевна, — сказал он очень серьезно. — Я, конечно, тронут вашим вниманием, но прошу вас — никогда больше не делайте этого, иначе мне придется отказаться от вашей помощи. А мне это было бы сейчас не только трудно, но если признаться, то и больно.

— Что такое? — встревожилась Лариса Васильевна. — Что такое я сделала?

— Знаете ли, я, так сказать, по-товарищески просил вас помогать мне немного по хозяйству, но уж никак не заниматься такими делами, как стирка.

— Разве я плохо выстирала? — спросила она.

— Дело не в этом... просто впредь не делайте этого никогда, пожалуйста.

— Но почему же? Конечно, если бы мне это было трудно или неприятно, я бы не сделала этого.

— Вы удивительная, — сказал Устиев, — вы совсем как ваша мать.

Но этого Лариса Васильевна не расслышала, он произнес это тихо, может быть, только для самого себя.

— Знаете, — сказала однажды Людмила Петровна Волжина звонко, — знаете, Ларисочка, в литературе так часто рассказывается о добре, о хорошем... разве это не было бы добрым и хорошим, если бы Павел Николаевич Устиев оценил бы, какое вы золото и какое у вас сердце, и вам обоим не было бы так одиноко.

— Что вы, — отозвалась Лариса Васильевна испуганно, — что вы говорите, Людмила Петровна, ведь я просто от души отношусь к нему так, и ничего другого быть не может. Ах, зачем вы говорите так!

Но Людмила Петровна обняла ее, она была ниже, и ее круглые блестящие глаза смотрели снизу, она взяла ее обеими руками за голову, наклонила и поцеловала в обе щеки.

— Ничего-то вы не понимаете, — сказала она только. — А женщина должна за собой следить, и причесываетесь вы бог знает как, не идет вам эта прическа, зачем вы так плоско приглаживаете волосы?

Все зеркала, когда молодость постепенно уходит, фальшивят, но все же, когда Лариса Васильевна зашла раз в парикмахерскую и парикмахер долго примерял, какая прическа пойдет ей лучше, — все же зеркало сделало на этот раз поблажку: так, со взбитыми волосами, собранными сзади в тугой узел, она выглядела моложе, а если думать о хорошем, то и лицо оживляется, оно не кажется вялым, хорошее расправляет его... Все же и Людмила Петровна, уже научившая ее, как править корректуру, — такое хорошее и доброе в ее жизни, и печальный стеснительный Устиев — тоже доброе, и не только доброе, а может быть, и большее, но об этом не нужно думать, пусть это останется глубоко в душе, пусть никто никогда не узнает об этом, даже зоркая Людмила Петровна.

Был уже конец мая, на рынке появились первые овощи, привезенные с юга, появилась вдруг цветная капуста, и Лариса Васильевна купила два кочана, развела масло с сухарями, все стояло готовое на плите, и Устиеву оставалось только разогреть, когда он вернется.

Устиев вернулся после шести, а Лариса Васильевна сидела в своей комнате над версткой и представляла себе, как он зажжет газ, удивится цветной капусте и, наверно, покачает головой: где только она достает это? Майские сумерки пришли поздно, и это были даже не сумерки, а просто нежный голубоватый дымок, слабо проникающий к окнам. Когда Лариса Васильевна понесла Волжиной вычитанную верстку, она встретила на лестнице Устиева. Ей показалось, однако, что он никуда не уходит и ниоткуда не возвращается, а стоит на лестнице, словно дожидаясь кого-то.

— Вот уже и лето, — сказал он, когда она поднялась на площадку, на которой он стоял. — Через месяц у меня отпуск... поеду куда-нибудь к морю, поеду куда-нибудь на Балтику или на Белое море.

— Вам нужно отдохнуть, Павел Николаевич, — отозвалась она. — Ведь вы даже по вечерам заняты... прямо не представишь себе, как у вас хватает сил для вечерних курсов.

Она хотела было спросить, понравилась ли ему цветная капуста, но он сказал сам:

— Избаловали вы меня, Лариса Васильевна... так избаловали, что не знаю теперь, как мне и жить. Знаете, когда встречаешь человеческую душу, в которой заключено столько добра, то просто пугаешься, что можешь утратить это.

— Поезжайте все-таки лучше на Балтику, — сказала она,

недослышав.— Все-таки нужно тепло, зима у нас долгая.

Она пошла наверх по лестнице, а он остался стоять на площадке. Людмила Петровна открыла ей дверь и взяла из ее рук верстку.

— Что же,— сказала она, просматривая листы,— вот вы и научились ставить корректурные знаки, хорошо замечаете ошибки и опечатки... теперь вам остается научиться еще одному искусству.

Лариса Васильевна вопросительно посмотрела на нее.

— Научиться и в жизни находить все погрешности и опечатки и стараться по возможности исправлять их.

Она говорила чуть загадочно своим отчетливым голосом,— может быть, она знала, что Павел Николаевич Устиев стоял на площадке лестницы, может быть, она знала то, о чем никто не должен был знать, даже она, Людмила Петровна, с ее сочувственной душой.

— Ах, какая это прекрасная вещь — жизнь, моя милая,— сказала она,— и ни один писатель не описал еще как следует, какая это прекрасная вещь, да этого, впрочем, никогда и не напишешь!

Лариса Васильевна взяла следующие листы верстки и понесла их к себе. Ей показалось странным, что Устиев все еще стоит на площадке темнеющей лестницы.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он, словно она никуда не уходила,— пожалуй, вы правы... На Балтике все-таки потеплее, чем на Белом море.

И Лариса Васильевна сама не поняла, почему не занесла домой верстку, а спустилась вместе с Устиевым по лестнице, и они вышли вместе и пошли в глубину майских сумерек. Но самое для нее непонятное было то, что она все слышит, слышит весь мир с его запахами и красками, и ни краскам, ни запахам не нужно напрягать голоса, чтобы она услышала их.

ПО ВИТИМУ — НА МАТЕРИК...

Ниже локтя у ней было наколото: «НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ», а на тыльной стороне ладони — половинка солнца и крупными буквами: «СИБИРЬ». Тот, кто разбирался, — а здесь в этом разбирались все, — взглянув на наколки, без труда бы определил, что женщина эта в свое время «отбывала срок». Наколки да шея выше ключицы, стравленная кислотой, будто огромное оспенное пятно, а в остальном она была ничем не приметной. В темном шелковом платье с цветами и чулках, несмотря на жару; в туфлях на низком каблуке. Лицо у нее было сухим и белым, вокруг глаз и на лбу прочные, будто она с ними родилась, морщины.

Марокас тронулся. «Овечка», тихонько поджимая жаркий воздух, поволокла болтающиеся на высоких осях вагончики по однокорейке, проложенной к приискам английской концессией в тысяча восемьсот каком-то году. Справа была тайга, реки, в их руслах ворочались, грохая вереницами ковшей, огромные темно-зеленые драги; слева тоже была тайга, реки, драги. Сзади остался пыльный приисковый городишко Артем; шахты, разрезы, старательские артели; впереди их ожидал старинный с темнобровными лабазами городок и судоходная река, связывающая этот кусочек земли со всем миром.

Женщина сидела прямо, прижавшись худым плечом к стенке вагончика, и глядела на молодых мужиков, устроившихся напротив. Мужики разливали в пол-литровые банки шампанское. Ей тоже налили полбанки, она медленно выпила, обтерла рот и откусила от плитки шоколаду.

Потом мужики стали пить водку, добывая бутылку за бутылкой из карманов, из дорожных мешков и сумок. Женщина больше не пила, но, когда марокас остановился, сбегала на базарчик, купила десяток малосольных огурцов, которые стоили здесь по двадцати копеек штука, и принесла мужикам.

— Ай да мамка! — сказал самый молодой из них и хлопнул ее по колену.

Появилась еще бутылка, женщина обеспокоенно шевельнулась.

— Хватит тебе, малой!

— Порядок, мамка!.. Последняя!

Молодой, улыбаясь большим ртом, принял от соседа банку, выпил, глянул на женщину захмелевшими веселыми глазами и, увидев, что лицо у ней сурово окаменело и губы поджались, снова положил ей руку на колено и, сильно надавив, пообещал:

— Сказал?.. Порядок! — И опять улыбнулся.

Его сосед поднялся — высоченный, с носатым сальным лицом, качнулся, тупо вытаращившись на женщину:

— Надо выпить... — и помахал растопыренной пятерней. — Договор кончился. Рассчитались. Едем домой. Надо выпить!..

— Вам всегда надо!.. — Женщина полуотвернулась к окну и сердито напряглась, слыша, как звякает стекло о стекло, как булькает жидкость и все громче и горячее поднимается бессвязный разговор, словно пламя, в которое подливают солярки.

Не выдержав, она вскочила, схватила молодого за плечи.

— Хватит. Хватит вам! Что я с ним буду делать, когда сойдем? У нас вещи!

Молодой, посмеиваясь, как от щекотки, посопротивлялся, потом пересел туда, куда она его тащила, и кто-то из друзей тайком тут же передал ему банку с водкой. Он схватил ее и, загораживаясь от женщины, пытавшейся вырвать банку, смеясь и захлебываясь, половину выпил, половину расплескал.

— Не сердись, мамка, — уговаривал ее подавший водку парень. — Друг! Как я могу отказать?.. А я тебя, мамка, уважаю. Вернетесь на материк, заживете тихо, семейно... Я в гости к вам приеду. Примешь меня?..

Женщина не отвечала, вытирая платком облитую водкой рубаху молодого. Тот дурашливо хватал ее руки, тянул, как для поцелуя, толстые губы.

— Ничего... — бормотал он, посмеиваясь. — Ничего... Это она тут сердитая... А дома... И сюда поцелует... И сюда... И сюда... Миленький мой, хорошенький!.. Ненаглядный мой, сладенький...

— Не болтай, дурак! Эх, ты... — Женщина хлопнула его

платком по лицу, багрово покраснела и отвернулась, стиснув щепотью пальцы на коленях.

— А что? — удивлялся молодой. — Что такого? Говорили про нас, а мы живем! И хорошо живем...

Вдруг его замутило и начало тошнить. Женщина вздохнула, села рядом, поддерживая ладонью его лоб, глядела с хмурой нежностью на стриженный покрасневший затылок, на большие вздрагивающие уши.

— Ты ляг, ляг, — уговаривала она его. — Ничего, убегу я... Ты ляг...

Когда она вернулась в вагон, молодой уже спал ничком на тюке, спал и верзила, растянувшись на полу, ворочался, что-то мычал.

В городок они приехали вечером и сидели до утра на пристани, ожидая парохода. Когда пароход подошел, спустились по трапу вниз и заняли две полки в огромном, приспособленном под третий класс помещении трюма. Молодой забрался на свою полку и тотчас заснул, женщина засовала в багажник вещи, легла, повздыхала и заснула тоже. Спала она почти весь день, хотя рядом бегали, играя в прятки и в салочки, дети, ходили люди, гудели гудки, когда пароход приставал или отходил от пристани. Но как только молодой спрыгнул с полки и пошел умываться, она тоже поднялась, причесала тусклые, сломанные «шестимесячной» волосы и украдкой, отвернувшись от людей, протерла лицо розовым пахучим лосьоном. Оправила смятое платье и шагнула было к выходу, но молодой уже вернулся.

— Ну как, мамка? — спросил он. — Едем?..

— Едем...

Они поужинали в ресторане и вышли на верхнюю палубу. Сели рядом, глядели, как плывут мимо берега. За сопки позади них уходило солнце, будто оно оставалось в этих краях, где женщина провела двадцать лет, а там, куда они ехали, было пусто, темно, непредставляемо.

На отвалах забоев по близким к берегу сопкам рыбой белела слюда, и женщина, кутаясь в теплый платок, вспоминала, как в первый свой лагерный год щепала острым ножичком куски слюды на тонкие пластинки и с непривычки часто ранила пальцы. До сих пор, как червячки, выются на сгибах шрамы.

Река покачивалась, глубоко вспыхивала отраженным небом. Верхняя коротенькая волна, дробясь багряными язычками, добежала до утесов и задевала их. С тех пор как по реке пошли большие пароходы, верхняя волна стала длин-

ней, и след от нее на утесы ложился глубже. Но в бесконечной жизни реки это был такой малый период, что утесы не успели еще заметить его.

Женщина куталась в платок, смотрела на желтые, нагроможденные, как кипы грязных простынь — пласт на пласт, — сланцевые берега и вспоминала тот край, откуда она уезжала. Это был край большого, иссякающего уже теперь золота, край, отрезанный от «материка» бездорожьем и сотнями километров горной тайги. Женщина вспоминала осени и зимы, когда в городке, еще при купцах приспособленном под перевалку, склады ломились от товаров, какие, как думалось ей, на «материке» и не снились. Потом вспоминала, как года три назад караван с продуктами не успел пройти до шуги и застрял где-то чуть ли не в этих самых местах. Весна была голодной — таких не знали они и в военное время... Капризная, часто и необъяснимо меняющая глубину, река кормила край, наполняла его людьми и опустошала его.

В этом краю были свои порядки, свои обычаи. Они велись издавна и держались крепко. Золото, большие деньги, «боны», на которые в магазинах старатели задешево покупали необыкновенные вещи; пьянки, поножовщина, проститутки и нелепое правило, по которому, если ты утаил в шахте или даже украл золото, стоит добежать до скупки и только швырнуть в окно дорогой мешочек — ты вне опасности...

Теперь все изменилось. Наехал иной народ, и в шахтах не работают больше заключенные, в клубах каждый день другие картины, приезжают артисты... Неподалеку строится большая ГЭС, будет хватать электричества для новых драг, для всего здешнего золотого и слюдяного края. Пожалуй, от старого остался только марокас — «маленькая лошадка», японское, времен концессий название...

Женщина глядела на берега, размышляла, как все будет дальше.

А у молодого болела голова, не хотелось ни о чем думать, было скучно. Он выкурил две сигареты, последил, обернувшись назад, как стоят в рубке штурман и рулевой, глядят внимательными глазами на реку; лениво помечтал о том, что неплохо бы такую работенку: четыре часа повертел колесо — и гуляй до следующий вахты. Поднялся.

— Пойду, — сказал он женщине. — Может, где в карты играют. Делать-то чего: спать неохота...

— Ступай...

Она осталась сидеть, глядела, не видя, как река стано-

вится черной, как сползают по верхам сопок желтые холодеющие пятна. Когда совсем стемнело, она спустилась в трюм.

На их половине было весело. Между лавками стоял на попá чемодан, вокруг теснились с картами соседи. Механик с женой, едущие в отпуск; две девчонки из Киренского педучилища; продавщица, везущая ребятишек к матери на фруктовый сезон. И разбитная девица, лет двадцати семи, неизвестно куда и зачем едущая. Правда, девица говорила всем, что она учительница и едет к мужу, но народ в этих краях жил недоверчивый, бывалый. Рядом с девицей сидел молодой. Играли в «веришь — не веришь», громко кричали, хохотали, наперебой рассказывали смешное.

Женщина легла на свою полку, подложив под голову шаль и лодочкой слепленные ладони, подтянула колени,правила сзади платье и снова задумалась. Недалеко где-то работала машина, в такт ей подергивалась скамья, от этого было уютно, будто при деле. Потом в иллюминаторе забелели огоньки неизвестного поселка, затопали по трапу ноги, машина стихла — и женщина напряглась, словно пережидая вынужденное безделье, не могла ничего обдумывать, только слушала, как молодой кричит: «Веришь?..» А девица горловым резким голосом отвечает: «Не верю!..» — «Ну так тяни тогда!!» И все хохочут. Потом машина заработала опять, и женщина, успокоенно перевернувшись на другой бок, лицом к стене, снова начала обдумывать, как все устроить дальше, чтобы не ошибиться, чтобы все вышло, как надо.

Она не тревожилась о том, где будет жить и работать. За двадцать долгих лет пребывания здесь ей пришлось переделать столько разной работы, тяжелой и легкой, грязной и чистой, что удивить чем-нибудь ее было трудно. Не беспокоилась она и о том, на что они станут жить. Правда, после здешних «вольных» денег и первоочередного снабжения жизнь на «материке» виделась ей бедной и трудной. Но у ней отложено было про запас кое-что, а потом она умела работать...

Она обдумывала, как бы подольше задержать возле себя этого молодого мужика. Она лежала лицом к стене, и ей вспоминались разные парни и мужики, прошедшие через ее жизнь. Те мальчишки-несмышленыши, которые сходили по военному времени за парней. Обнимки с ними в умывальниках и в котельной во время ночных смен. Тогда еще у ней не столько была потребность любить, сколько желалось чужой любви, для женского самоутверждения,

для того, чтобы понять, чего же она стоит. Потом охранник в лагере — первый ее мужчина. Это уже была пора долгая, длившаяся, кажется, целую жизнь, когда и она не любила и ее не любили. Приходило что-то тепленькое, как кружка сладкого чая, когда замерзнешь, и уходило. То ли было, то ли не было. Не жалелось, не помнилось.

А дальше несколько лет даже без этой кружки чаю. И вот — он.

Она лежала, отвернувшись к стене, слушала его дурашливые вскрики и представляла его лицо, его руки, кожу на его груди, гладкую возле сосков и в межреберье, редко заросшую рыжими волосками ниже ключиц. Слышала запах его кожи и его рта — смешанный запах табака и винного перегара, от этого запаха у ней начинала стучать в висках кровь и тяжелели ноги. Она прикрыла веки, чувствуя, как теплеют губы, и сжала щепотью пальцы, чтобы не ныли ладони от нерасходуемой, нетратимой ласковости.

«Как же, — думала она, — этого человеку на всю жизнь пайком отпускается или повременно на расход?.. Если повременно, сколько же у меня простою накопилось за те-то годы, сколько же недобрал у меня какой-то дорогой мужик!..»

Она перевернулась лицом к играющим и стала смотреть на девчонок, будущих учительниц, хохочущих вместе с ним. Этих она не опасалась: ночная кукушка дневную всегда перекукует. Она вообще никого не опасалась, чувствуя в себе проснувшуюся счастливую женскую силу. Она боялась только совершить какой-то промах, чего-то недоучесть.

Она глядела на девицу, откровенно жмущуюся к молодому, и думала, что вот эта всю дорогу будет лезть к нему. Но и ее она не боялась.

Играли допоздна, потом разошлись и стало слышно, как храпит и мычит во сне носатый верзила. Она задремала, но среди ночи молодой позвал ее шепотом:

— Мамка, иди сюда. Спят все...

Она сразу проснулась и залезла наверх, ловкая как мышь, легла у стенки, глядя в его лицо, чуть освещенное притушенным светом фонарей. После обожгла его рот сухими губами, прильнула к нему, чувствуя, как наполняет ее молодая сила и, будто высокое напряжение через трансформаторы, передается уменьшенная многократно ленивому мужику, волнуется, берedit и его...

А утром с девицей и еще каким-то парнем он ушел в ресторан и появлялся иногда в трюме улыбающийся, невер-

но щупающий ногами пол, бледный от водки. За ним, как пришитая, таскалась девица.

Чтобы не видеть этого, женщина ушла на палубу. На спардеке все прокалило солнцем, она спустилась на нижнюю палубу и села в тени на ящиках, рядом с учительницами, слушала их разговоры. Потом подсел парнишка-моторист, тоже киренский, болтал что-то веселое и детское еще, картавил. Одна из учительниц, мелколицая, стриженная, вертелась, будто ее кололи иголками, торопилась ответить смешное. Другая молчала, насмешливо, как взрослая, улыбалась.

«Этой — что, — думала женщина, — белотелая, сытая. Такой отдыхать не дадут. Покопается... А та... Огуречик-пупырышек... Хоть и шустрая, да нарвется на какого-нибудь женатика. Парни таких не любят, это на мужичка товар».

Она думала о девчонках обидно и с превосходством, потому что все, о чем они размышляли со страхом и нетерпением, она превзошла, прошла уже то неведомое, долгое, неласковое, что называется жизнью, определила цену всему и точно знала, что ждет впереди ее, и даже то, что ждет впереди этих девчонок. Они ей были неприятны и детским заигрыванием с парнишкой — это походило на лото с картинками, когда она сама давно уже играла всерьез и зная карты партнера. Интерес не пропадал, пропадало лишь что-то неуловимое, о чем она давно позабыла.

— А помнишь, — спрашивал, счастливо улыбаясь, моторист, — как ты бежала, а мать тебе велела отнести молоко, а ты с Петькой в кино опаздывала, а я отнес?..

Светленькая девушка кивала, насмешливо отводя глаза, а маленькая неотрывно глядела в толстощекое, блестящее потом и детской свежестью лицо моториста и перебивала, отвлекая на себя внимание.

— Виталька, ты говорил, усы отпустишь, как школу кончишь? Ты брейся, чтобы скорее росли!..

— Вырастут, — равнодушно картавил Виталька. — Еще надоест бриться.

— А когда я на Байкале в турлагере была... — не унималась маленькая. И женщина удивленно слушала что-то про альпенштоки и кеды, про банджо и аккордеон. А девчонка уже напевала тоненьким голоском какую-то чушь:

Мама, я лезу,
Мама, я лезу.

И потом:

Лежу с разбитой головой...
Зубы рядом!..

Виталька и светленькая девушка невольно хохотали; улыбалась про себя и женщина, добрела, думая: «Нет, ничего... Эта тоже свое возьмет... «Мама — лезу!..» Выдумают! Наши-то песни тяжелые все, с матерщиной...»

Она представила себе маленькую учительницей в классе, с ее угреватым подвижным лицом и встрепанной прической, шумную, крикливую, любимую ребятней. Представила и другую, тоже любимую ребятами, но иначе... Маленькую заглазно будут называть просто по имени, а ту непременно по имени-отчеству...

«Маленькая так и помрет малышкой учительницей, — думала женщина, — а та, наверное, институт кончит...» Она проникалась симпатией к маленькой, завистливым холодком к другой, и тихонечко, как залеченный зуб, начинало ее доносить сожаление о чем-то могшем быть, но не сбывшемся. Таких мыслей она не любила и думать об этом не стала.

На палубу из ресторана выскочила девица, огляделась и, заметив учительниц, подошла.

— Берите, девочки, — протянула она кулек с конфетами и села рядом.

Девчата по-свойски хватанули по горсти конфет и продолжали болтать, шурша прозрачными бумажками. Вышел, покачиваясь, молодой, дурашливо ухмыльнулся и хлопнулся возле девицы, сунув ей под мышки руки. Виталька покраснел.

— Вам тут что?.. Случной пункт, что ли? — закартавил он. — Пьяный, так спать иди! Ну!..

— А кто ты мне? — удивился молодой. — Ты мне кто?.. Никто!.. Не хочу и не пойду.

— Пойдешь.

— Не пойду.

— Пойдешь!

— Не хочу и не пойду. У меня такие же права. И не пойду.

Виталька встал и толкал молодого в плечо, а тот откачивался назад и снова, улыбаясь, наваливался на девицу. Она хихикала, будто ее щипали.

— Не хочу и не пойду, — говорил молодой.

— Пойдешь! — белел от гнева Виталька.

— Не хочу и не пойду!

— Не надо, — не выдержала женщина, боясь, что Виталька ударит его, что будет скандал и молодого побьют. Драться тот не умел. — Не надо! Девчата, попросите, чтоб не трогал он его, я уведу.

— Это сын твой, тетка? — звонко и зло спросил Виталька. — Бери его тогда к... — Он так же звонко и четко выругался.

— Идем, — женщина дернула молодого за руку. — Идем, дурак... Да что ты прилипла к нему, сука!..

Ей удалось наконец утихомирить его, и он заснул. Она же села на свою полку, глядела рассеянно, как толстая продавщица прихлебывает из кружки чай, как балуется с братом продавщицына дочка, и думала о том, что, когда они устроятся, она станет ходить в парикмахерскую делать массаж и разные маски. Говорят, это разглаживает морщины. И одеваться будет по моде.

Девочка набегалась, залезла наверх и заснула, свесив ножку в грязном носке. Продавщица достала яйца, начала чистить их, потом спросила, взглянув спокойными, как у коровы, глазами:

— Наколки у тебя, сидела, что ли? За растрату небось?

— Почему за растрату?

— У нас недавно заведующую посадили.

— Нет... Я на станке работала, чего там растратишь!..

— А за что ж?

Женщина вздохнула и принялась в который раз рассказывать, как работала во время войны на заводе, поехала побывать домой в деревню да по дурости прогуляла почти неделю, ее судили за дезертирство и «дали срок». Она рассказывала, вспоминая снова слюду, и бараки, и нары, и работу на лесоповале, и своих товарок по лагерю, среди которых были такие же бедолаги, как она, а были и настоящие шлюхи, урки, выделяющие черт-те что. Вспоминала, как освободилась пятнадцать лет назад, но не поехала домой, потому что мать умерла, а брат ее не ждал, и никто ее «на западе» уже не ждал... Она рассказывала, а толстая продавщица вздыхала, качала головой, и глаза у нее стали испуганными, — видно, она прикидывала, каково же там приходится заведующей и как бы самой ненароком не составить ей компанию.

— Ничего. Сейчас, говорят, там уже того нет, — успокоила ее женщина и потерла ладонью наколки. — Приеду на материк, сведу. Говорят, сводят.

— Сводят. — Продавщица кивнула. — Больно только небось до ужаса...

— Ну, нешто это боль... — Женщина усмехнулась. Она вспомнила, как голодная и замученная до того, что поднималась на пять, ведущих в барак, ступенек с передышкой,

решилась сделать «мастырку». «Мастырки» в лагере делали часто, когда не хотели ходить на работу, друг перед другом, одна нелепее и тяжелей другой. Соседка по нарам проглотила ключи, подруга разрезала себе подошву на ноге и посыпала солью и грязью, пока нога не разболелась. А она раздобыла кислоты и сожгла себе шею... Страшно вспоминать...

— А он кто же тебе, — продавщица кивнула на спящего. — Не сын, значит?

— Так... Знакомый. Едем вместе.

— Значит, ты и не рожала, — допытывалась продавщица. — Как же без детей?

— А что?.. Дети нынче... Радости-то от них...

— Все же. — Продавщица отставила кружку, смяла бумагу со скорлупой и поднялась. — Увойкалась, чумазая... — пробормотала она, отодвинув от края девочку.

Женщина тоже посмотрела на перемазанное черникой личико, на ножку в съехавшем носке и отвернулась. Она была равнодушна к детям, но ей стало неприятно. Чтобы не разговаривать больше с продавщицей, она легла спать. Ее разбудил носатый верзила. Он стоял над ней покачиваясь и гудел что-то.

— Чего ты? Господи, поспать не дадут, шелобаны!

— Мать, одолжи на похмелку рублевочку. Деньги, пока спал, украли.

— Были они у тебя! Иди, нашел мамку!..

Особенно не огорчившись, верзила двинулся к продавщице и принялся выпрашивать у ней кружку, напиток.

— Сейчас, отвешу! — огрызнулась та. — У меня из нее дети пьют.

Маленькая учительница молча подала верзиле чистую банку, но он не ушел, а вдруг загляделся, как светленькая расчесывает косы. Маячил в проходе, пытаюсь что-то проговорить толстым языком, и потрясенно смотрел, как текут из-под расчески, отражая свет, русые, длинные, удивительные...

Продавщица последила за его лицом и наставительно произнесла:

— Что, дурак большой, нравится?.. Сам бы мог на такой жениться, кабы ум не пропил!

Верзила, блаженно ухмыльнувшись, качнулся к девушке и, растопырив пятерню, не касаясь, поднес к волосам. Лицо у него было умильным, толстый язык, ворочаясь, выговаривал ласковое.

Женщина неприязненно наблюдала за всем. Она снова подумала, что если бы ей обменяться годками с этими девочками, то как бы она теперь хорошо все устроила, все бы обдумала, всего бы добилась, не потратила бы зря ни денечка. Сунула под щеку слеplенные лодочкой ладони, устlвилась в стенку сухими упрямыми глазами и довольно вспоминала, что даже при той тяжкой, невозможной судьбе, которая ей досталась, она сохранила себя, не разбросала, не растоптала, добилась чего-то своего. Ей хотелось скорее приехать на место, поступить на работу, купить домик и жить. Какая это будет жизнь, она не знала, но чувствовала, что не упустит в ней ни одной радости, все переберет на вкус и на оцупь.

Она легла на спину и, закинув руки за голову, стиснула щепотью пальцы.

Верзила, пошатавшись по пароходу, снова лег, заснул, во сне мычал что-то и вдруг ясно произнес:

— А она говорит ему: «Мой любимый...» А она говорит ему...

Молодой проснулся, но вставать ему не хотелось: болела голова. Он не размышлял над тем, что скоро они приедут и нужно будет опять чем-то заниматься. Он никогда над этим не размышлял, потому что все всегда как-то образовывалось.

Жизнь не баловала его. Он остался сиротой, был у тетки четвертым нахлебником, в школе недоучился. В сезон ходил работать на сахарный завод, но какая доставалась работа, он не помнит, помнит только, что тетка подшила к его брюкам длинные карманы, и он каждый день таскал домой килограммов до пяти сахара. Впрочем, кого он знал, таскали все. Когда сезон кончался, он подсобничал у плотников-шабашников, а после завербовался сюда. Потянуло не за большой деньгой, а за чем-то ему самому неясным.

В отделе кадров он сказал, что на шахте работал, но по случайности определили его в бригаду таких же, как он, впервые взявших шахтерскую лампочку. Им дали забой, и они пошли рубать там, где легче сыпалось. Они совсем было решили, что работка эта не тяжелая, только пыльная, как вдруг пришел сменный мастер, поглядел на их работу и сказал: «Вы это что же, «малай» гоните? Не видите — «куполит»? Кусты пришли, скоро солнышко покажется!..» Бригаду расформировали, и он снова, как и везде, получил машину ОСО — две ручки, одно колесо... Но не завидовал приехавшим с ним и освоившим уже специальность ребятам,

не огорчало его и то, что денег платят сравнительно немного, еле хватает на пропитание да на выпивку. Улыбаясь, с удовольствием слушал байки стариков о былых бедовых деньгах этого края и ни о чем не жалел. Не завидовал инженерам из управления, имевшим пропуск с полосой «без досмотра», сам же после смены, посмеиваясь, проходил через «хомут», и каждый раз ясная, как его совесть, молчала над ним контрольная лампочка.

Жизнь его немного повернулась, когда однажды пьяный забрел он к комендантше их общежития и она его не прогнала. Память привела его к ней еще раз, уже почти трезвого, потом еще. А после он переселился в ее комнатуху, принимал ее заботы, и было хорошо ему. «Связался со старухой!» — упрекали его в поселке, но он не обижался. Он не размышлял, долго ли он с ней проживет, как все будет дальше, чего он хочет от жизни и чего жизнь хочет от него. Он вообще ни о чем не думал, улыбался, глядя в потолок, покачивая гудящей головой.

Сойдя с парохода, они пять суток ехали поездом и наконец добрались до места. Именно в этом городке, где, как ей казалось, она помнила все, а ее уже никто не мог помнить, женщина рассчитывала купить домик на окраине. Ей хотелось, чтобы при домике был небольшой садик и цветы, но огород и скотину она не надеялась держать, потому что отвыкла от крестьянской работы и не любила ее.

Они переночевали на вокзале, предполагая с утра, оставив вещи в камере хранения, идти в городок, чтобы разузнать насчет всего. Но утром женщина передумала.

— Прежде к брату сходим. Гостинцы отнесем, побываем, а после уже начнем обустройство. Успеем...

Брат по-прежнему жил в деревне, километрах в пятнадцати от городка. Отправились пешком, собираясь после попроситься на попутку. Женщина шла впереди, с сумками через плечо, молодой шагал за ней. Едва выбрались за околицу, полил дождь. Молодой предложил было вернуться, но женщина торопилась.

И они пошли под дождем. У женщины прилипли к лицу волосы; и платье, отяжелев, путалось между колен, но она торопилась, убыстряла шаги, а когда совсем промокли туфли, сняла их и пошла босиком, радостно вспомнив, что лет двадцать уже не ходила босиком по земле, потому что «там» земля холодная, мерзлота лежит неглубоко, никогда не

оттаивая. Женщина глядела вокруг, поворачивая маленькую, как у голубя, голову, видела созревшие, ржаво-серые под дождем поля и опять счастливо думала, что «там» вдоволь поглядеть кругом некуда: либо тайга, либо горы.

Ветра не было, дождь лил прямо и густо, пеня желтые лужи в промоинах, облизывая рыжий, под босой ступней сытно-упругий, как сырое тесто, суглинок. Женщина вспоминала: вот здесь, за поворотом, Лещев овраг, а как поднимешься на горку, пойдут столбы электропередачи, а после Солдатов овраг, а после Пьяный...

Поля, овраги, милая моя сторона...

1963

ПРИЕЗД СЫНА

В ноябре по снегу вывозили навоз. День был морозный. Дорога чисто блестела на солнце, укатанный снег хрустко и дружно повизгивал под копытами, под полозьями саней... Было тихо и хорошо.

На скотном дворе сороки перепархивали с крыши на крышу, пока Глазунов загружал сани дымящимся навозом, нетерпеливо слетали на снег, поглядывали на старого человека с вилами, подскакивали боком, косились на растерянный по дороге навоз и, не решаясь, взлетали опять на крышу, чиркая по снегу короткими крыльями. Сороки были красивые — сине-зеленые на снегу, с малиновым каким-то, ярким переливом. Они были трусливы и, казалось, со злобной завистью поглядывали сверху на синиц и воробьев, которые не боялись людей. А птиц налетело много, и все они шумели восторженно и озабоченно, как весной.

На морозе пахло теплым навозом. Из растворенных ворот хлева поднимался пар, обметывая стену инеем, в помещении глухо и обиженно взмыкивали телята. Распаренная лошадь дымилась в ожидании, и люди тоже дышали паром.

Крики людей и разговоры были непонятны в этот день Глазунову, не доходили до сознания, словно это птицы кричали...

— Кончай, — сказал Глазунов.

Он поднял вожжи, и лошадь, выгнув шею, сдвинула прилипшие сани. Птицы закричали громко и радостно, слетая вниз. За визгливыми санями потянулся отшлифованный след с пятнами растертого навоза, и когда пологая горюшка, по которой спускалась дорога к речке, легко понесла лошадь и сани, Глазунов привалился к теплой, комкастой куче навоза, подобрал ноги, запахнулся, запрятал пальцы в рукава облезлого полушубка и притих, окаменев на ветру. Он смот-

рел назад, на ускользящую дорогу, слыша утробное, грузное хгуканье бегущей лошади, а когда лошадь с ходу вбежала на мост через речку, услышал гудящий грохот промороженных бревен, словно мост этот рушился, словно заснеженные бревна катились, сшибаясь, вниз... Он покосился вперед, увидел огромный лошадиный круп и черный хвост, дорогу, сверкающую на солнце, серый ольховник, но грохот уже затих, остался позади, лошадь пошла шагом, и опять стало слышно, как резко повизгивал снег и какая была тишина кругом...

И Глазунов, пряча голову в вытертый воротник, раздумчиво запел. Голос его менялся, когда он пел, тончал до дисканта и нежнел. А песня, которую знал и которую пел, песня эта становилась похожа на тихую колыбельную баюшку, словно себя он убаюкивал неверным ее, непослушным мотивчиком и словами, которые только и запомнились ему из всей этой услышанной когда-то и полюбившейся песенки...

— Ко-осмона-авт, тихонечка трога-а-й... — пел он ласково и тягуче, а потом вдруг невнятной скороговоркой заканчивал: — И песь пути не забу-удь...

Было у него светло на душе. Все было ясно вокруг и понятно. Над замерзшей рекой у ольховых зарослей стояла кузня. Подле нее чернели, засыпанные снегом, старые бороны, жатка и какие-то разбросанные всюду, сокрытые снегом ржавые железки. Кузня была теплая, и чудилось, будто прокопченная крыша ее таяла, как сахар в воде, растекаясь густо и прозрачно в холодном воздухе.

«Ему хорошо теперь, — думал Глазунов о кузнеце, о руках его, шершавых, точно кирпичи, о горячем духе раскаленного железа, о благодатном тепле. — Будь здоров! Потюкивай молоточком: тюк-тюк, тюк-тюк...»

— Эх да разыгорелся-а-а, — запел он неожиданно, — мой утю-юг, — и крикнул лошади: — Ну, мать твою конопатую в душу! Ходи-и!

А лошадь уже взяла подъем, вытянула сани на ровное поле, на гладкую дорогу и побежала к лесу.

Леса вокруг росли все мелкие, кола путного не найти, — березки, осинки... Но летом бывало там много грибов, и москвичи любили эти места. В выходные дни наезжали сюда, к опушкам, автобусы, грузовики, крытые брезентом, и делать в лесу было нечего. Зато в будни Глазунов за утро легко набирал корзину белых и осиновых грибов и вез их в Москву, на Центральный рынок. А потом, с пустой

корзиной, заходил иногда к Сережке. Жил Сережка в Черемушках, в новом доме, в однокомнатной квартире, с женой и дочкой. Работал Сережка плиточником и денег выколачивал много. А отцу своему хоть бы рубль, хоть бы рубашку какую подарил!

— Вот ведь хгад! — сказал Глазунов с обидой и сплюнул на дорогу. — Совесть, хгад, потерял!

Отец картошки накопал — бери, родной, телка зарезал — мяса давай, сын ведь... Мясо-то подорожало...

— Эх да потихонечку, — выдохнул он тонко.

Напористой рысью шумно промчалась мимо встречная лошадь, впряженная в сани. Из-под копыт ее летели плитки спрессованного белого снега, и в вихре закручивалась следом сухая снежная поземка... В порожних санях лежал человек в тулупе.

— Хе-хе! — радостно крикнул Глазунов, хотя знал, что тот его не услышит. — Кобылу простудишь, парень! Хе-хе!

А лошадь уже далеко была, и сани за ней, соскальзывая на стороны, далеко уже унесли человека.

Кругом было белое поле, сухая полынь да лебеда на обочинах дороги, не прикрытые снегом, а за полем стояли похожие на заборы леса. Березы казались желтыми на снегу, а осины — зелеными. И чем ближе Глазунов подъезжал к этому окружному лесу, тем отчетливее становились краски... Березы росли с березами, осины с осинами, и было так это, будто каждое дерево, каждая порода вышли ратью на опушку да и застыли до весны.

Короткий день прошел легко и беззаботно. Рыжее солнце, по-зимнему далекое и неслепкое, повисло за лесом. Поля посинели. Над ними посверкивала летучая изморозь, и воздух, пронизанный солнцем, казался колючим. Морозило к ночи... А леса, которые стояли напротив солнца, были весенние и теплые. Березы окрасились в розовое, осины как будто набухли от сока и побурели на золотистом снегу, а над ними, над нежными вершинами, над этой сиреневой испариной, стыла бездонная голубень.

Но все было мертво вокруг. И в мертвой этой тишине, в обманчивой талости леса стучал где-то дятел. Стук был глухой и, казалось, как по крышке гроба.

Глазунову давно уже хотелось горячего супа, горячего мяса, и он, уже не отвлекаясь, думал только о еде, о горячей ложке, о сытном и вкусном паре.

Он торопливо свалил на снег навоз, оглядел поле с промерзшими уже и седыми кучами навоза и подумал, что на сегодня хватит. И когда он подумал так, ему стало радостно, словно кто-то другой сказал об этом, словно он долго ждал этого разрешения кончить работу и наконец дождался, слава богу... Он закурил, повалился в сани, и лошадь, поняв его, резво побежала домой.

Но когда он вернулся на скотный и увидел, что люди уже разошлись по домам и птицы разлетелись, что он остался один в этом синем морозном безлюдье, он решил неожиданно для себя, что будет совсем неплохо, если привезти навозцу и на свой огород.

«В крайнем случае куплю бутылку...»

Но махнул рукой и подумал, что никто ему ничего не скажет за этот навоз. Да и возьмет он совсем немножко. Так уж, для порядка.

И принялся загружать сани.

Глазунову не нужен был этот навоз. Ему и от своей скотины хватало на огород, но, таская его на вилах, он подумывал смутно и неопределенно о будущей весне, о садовых участках, которые москвичи нагородили недалеко от деревни на глине, и о том, что весной этот навоз можно будет продать.

«В крайнесь-то случае, — подумал он, — и у себя найдем применение. Пусть себе лежит до весны».

И только теперь, когда, раздумывая так и соображая, Глазунов нагрузил сани и поехал домой, он ощутил какую-то полную и завершенную удовлетворенность в прожитом дне.

Смеркалось. Было синё в деревне и безлюдно. Последний автобус стоял у столба. Окна его промерзли, и стекла ломко светились изнутри желтыми морозными лапами, мутными кристаллами инея... Глазунов знал, что там, за этими стеклами, сидели озябшие люди, которым нужно было куда-то ехать, мерзнуть, трястись на неровной дороге, и, подумав об этих людях, дожидавшихся отправления автобуса, он в блаженном забытии представил теплый свой дом, старуху свою и горячий суп...

«А все ж таки хорошо, — подумал он, — когда мороз, когда снег сухой! Да только, глядишь, проснешься завтра, а на улице дождь... Это ж просто смехота! А вот если б такая зима да снегу побольше — удовольствие! Надо так, чтоб зима зимой была, а лето летом... А то все перемешалось, ничего не поймешь: летом льет, зимой льет — никакого порядку... И веры никакой ни в зиму, ни в лето... За-

снешь с морозцем, а наутро, глядишь, сапоги резиновые надевай...»

Лошадь шла неуверенно и лениво. Она устала за день, а теперь ей, наверно, казалось, что никогда она не доберется до своей конюшни, до охапки сена, и недавняя радость ее, когда она бежала с поля, сменилась тупым равнодушием.

Глазунов завернул ее к дому, в котором горели огни, и увидел вдруг «Москвича». Машина была красного цвета, обметанная мутной изморозью. Она стояла возле крыльца, уткнувшись радиатором в плетень огорода, и свет из окна округло отражался в эмалево-сизой ее красноте.

Сюда, к крыльцу, подъезжал когда-то трактор, подъезжали грузовые машины, лошади с телегами и санями, здесь стоял когда-то точильный станок, и даже самоходный комбайн подъезжал к этому дому, но легковая машина остановилась впервые, и потому какая-то тревога смутила вдруг Глазунова. Он откашлялся и, разворачивая лошадь, хмуро поглядывая на эту красную и странную машину, перебирал в сознании людей, которые могли бы приехать к нему. Но никого из этих людей он не сумел представить хозяином машины, а когда неожиданно на крыльцо вышел Сережка, сын его, и крикнул ему хмельно:

— Да где ж тебя носит! Заждались... — у него, у отца, застучало сердце, отдаваясь стуком в ребрах, и он спросил, не веря:

— Твоя, что ль?

Потом он чуть-чуть подсадовал, но в первое мгновение обрадовался, что ошибся и что не сын купил машину, а его самого на этой машине привез сюда Алексей Петрович...

— А кто ж такой Алексей Петрович? — спросил он.

— Да сосед! Через квартиру живет...

Сережка был в белой рубашке и в черных брюках. Он подошел к отцу и сказал:

— Здорово.

— А я-то было подумал... — сказал Глазунов.

— Чего это привез?

— Удобрение...

— Ну вот! Опять его жди... Ну, ты давай побыстрее разгружайся там... Холодно, черт! Разгружайся давай... Тебе это что ж, лошадь еще отводить?

— А ты мне сена-то для нее накосил?

Сережка поеживался в одной рубашечке, поводил зябко

плечами, судорожно втягивал воздух сквозь зубы, приплясывал и обиженно говорил отцу:

— Ну, давай побыстрей как-нибудь... Там у нас бутылка, понимаешь ли, и так далее, а ты тут с дерьмом этим возишься. Ждали тебя, ждали... Давай побыстрей.

И он, приговаривая, побежал к крыльцу, затопал по морозным ступеням и спросил уже сверху:

— Полчаса тебе хватит?

— Может, и управлюсь, — сказал отец. — Машину вот не на месте поставили...

Но сын уже захлопнул за собой дверь и не услышал.

«Вота, — подумал Глазунов, — как оно получается... Побыстрей! Нет чтоб помочь...»

Но, представив себе бутылку с водкой, он отогнал обиду на сына и заторопился, опасаясь, как бы не кончилось у них там, в теплой-то избе, за столом с закусками, терпение.

Навоз он сбросил к подножию плетня, и потом уже, когда отвел лошадь в конюшню, распряг ее и пустил и когда чуть ли не бегом по морозцу вернулся домой, он еще припорошил этот чернеющий под плетнем навоз сухим снежком, решив, что так-то оно будет вернее и надежнее, так-то никто и внимания не обратит и не спросит у него: «Это что ж ты, Иван Кузьмич, хлев свой чистил или как?»

Он сгребал пушистый снежок валенком, кидал его ногой на кучу навоза, и скоро она вся побелела и стала походить на сугроб.

В сенях он зажег свет и в коричневых этих, деревянных сумерках бойко стегал свои валенки источенным веником, прислушиваясь к голосам за дверью... Голоса были пьяные.

Но когда, как в гости, вошел он в свой дом, снимая шапку и улыбаясь, встретили его шумно и радостно.

Сережка был в майке, и на гладком его плече расплылся и стал давно уже похож на ежика голубой штурвал, наколотый в годы службы. Сережка вышел к отцу и, пока тот снимал и вешал за печкой полушубок, пока волосы свои серые приглаживал ладошкой, говорил ему без умолку об Алексее Петровиче, говорил хорошее что-то и, наверно, несправедливое, потому что лесь его была неприкрытая, голая, и еще потому, что инженером этим, с которым приехал к отцу, он, словно славой какой-то хвастался, словно тот одарил его своим приятельством и осчастливил...

Глазунов все это чувствовал, но виду не подавал, потому что сын был пьянехонек и лесь его была пьяная и без корысти.

В доме было жарко, и гость сидел за столом в нижней рубашке. Он блаженно улыбался, глядя на хозяина, и, дождавшись, когда тот протянул неумытую свою руку, вежливо пожал ее, назвав имя. Он был плешивый, этот инженер, но в вырезе рубашки курчавились жесткие на вид, как проволока, бурые волосы, пальцы, которыми он шерсть свою поглаживал, были короткие и белые, с тупыми, толстыми ногтями.

На столе в бутылке покоилась еще водка, и Глазунов, заметив ее, подошел к зеркалу, увидел свое багровое лицо, смятые волосы, приплюснутый как будто череп и постарался пригладить клок, торчавший над ухом. Но клок этот прилежался под шапкой и был теперь упрям.

— Руки помой,— сказала ему жена.— Не сахар возил.

А гость сказал:

— Ничего... Это труд. Это благородная грязь. Ничего... Садитесь.

Глазунов и без совета жены собирался мыть руки, но теперь, когда гость о благородстве что-то сказал, ему вроде бы и неудобно показалось уходить от стола и плескаться под рукомойником.

Он хехекнул понимающе, обтер руки об штаны, понюхал их и, кашлянув в кулак, опустился на стул рядом с гостем.

Ему налили водки. Гость умиленно смотрел на старика и держал наготове толстый кусок колбасы. Колбаса эта одуряюще пахла чесноком, водка дрожала в стакане. Глазунов глубоко вздохнул и вылил ее, эту легкую и зыбкую водку, в рот. Обветренные губы его были непокорны и нечувствительны, и оттого на подбородок потекли теплые струйки. Да и торопился Глазунов с этой водкой, потому что стакан для него — слишком большая доза, дыхания не хватало на весь стакан, вот и торопился успеть... Он успел на этот раз и принял зубами из руки гостя обезжиренную, духовитую колбасу.

Прошло время. Глазунов съел тарелку супа; лицо его, как обмороженное, отходило и немело в сладкой слабости... За столом говорили о чем-то умном и важном: о войне, о мире, об Америке... Глазунов любовно смотрел из своего оцепенения на сына, на гостя, и было ему хорошо, было приятно ему, что в доме его шли какие-то умные разговоры и что гость порой поглядывал на него доверительно, как бы ища поддержки, как бы полагая, что он, старик, все это лучше понимает, чем сын его Сережка. И Глазунов кивал ему со-

гласно, стараясь загадочно и мудро улыбаться. Ему казалось, что это выходило у него.

Потом Сережка куда-то ушел и вернулся с бутылкой водки в руке. Бутылка сразу запотела густо, и стаканы, в которые наливали водку, тоже запотели.

— Эх, сыны вы мои! — сказал Глазунов расчувствованно. — Сыны вы мои хорошие. Жить бы да жить!

Он хотел сказать что-то торжественное и нужное, то, что вдруг запросилось наружу: что-то о мире хотел сказать, против войны, и чувствовал, как подступает это желание, как растет оно и как захлестывает оно все его мысли и все слова, которых так мало на свете.

— Вот... — сказал он.

— За жизнь и выпьем, — сказал гость и стаканом своим стукнул стакан Глазунова. — За жизнь!

У гостя было напряженное лицо, стиснутые губы. Он держал стакан перед ртом и, глядя мимо этого стакана, мимо стен, казалось, о чем-то хмуро думал. Но Глазунов-то понимал его по-своему и знал, что ему уже не хватает духу выпить водку и что он теперь обманывает себя, стараясь забыть о водке, как это часто делал сам Глазунов, забыть ее запах и, улучив момент, выпить ее, сразу, чтоб она не успела опомниться...

Глазунов поджидал гостя, не тревожа его и не торопя, а когда тот стал пить, запрокидывая голову, он и сам принялся. Водка была холодная и прошла легко.

Молча и сердито как будто ели колбасу, соленые огурцы, копченую селедку, оставляя на бумаге куски молоки, внутренности и бронзовитую жирную кожу. А потом опять заговорили о войне, о бомбах и о ракетах.

Все это было очень важно, и эту важность понимал Глазунов, был внимателен и строг. Он пьянел и тоже понимал это. А потом ему стало казаться, что он главнокомандующий. Он хмурился, слушая своих генералов, и говорил презрительно:

— Нет! В крайнесь случае... Я сам. Да!

Иногда он «возвращался» из своих видений к столу, брал ароматную сигарету, зажигал ее и опять, стараясь не уронить голову, хмурился и говорил:

— Нет! Я это... нет! Все... понимаю. И уверен... Нет...

Жена ему вдруг сказала:

— Иди ложись спать.

— Не время, — сказал он. — Кто приказал? Два часа не спать...

Он сильно опьянел, и жене было трудно. Стол она прибрала. И когда Глазунов опять «вернулся» к этому голому столу, увидел зеленую пепельницу, ему вдруг стало скучно и очень обидно.

— А где же народ? — спросил он и, не дождавшись, уснул.

На другой день Иван Кузьмич уговаривал, просил Алексея Петровича и сына погостить подольше, остаться хотя бы до обеда. Но как ни старалась вместе с ним старуха его, которая с вечера еще курицу зарубила, ощипала ночью и опалила, как ни ловчил он сам с намеками насчет хорошего обеда, к слову говоря, что, дескать, в магазине на станции всегда пожалуйста, а уж сегодня-то, в воскресенье, точно есть водка и что на машине туда и обратно за час, а то и за меньше обернуться можно, как ни хитрил Иван Кузьмич, рассчитывая опять на веселое похмелье, — гость и Сережка были упрямы. Порой, верно, казалось Ивану Кузьмичу, что они вот-вот согласятся с ним, останутся пообедать, но Сережка вдруг о жене вспомнил, ни с того ни с сего о дочери, о билетах в кино... и надежды уплывали, а то и Алексей Петрович, потирая разболевшуюся голову, говорил, что, дескать, неплохо бы, но сам тут же вспоминал о машине и говорил обреченно:

— Не могу, дорогой, не имею права... Ладно один — мне ведь Сергея везти... Не могу.

Иван Кузьмич понимал все это, причмокивая огорченно, кислился, проклиная машину, и — ничего не поделаешь — смирился наконец, хотя и зародилась у него ворчливая какая-то, сумрачная обида. Не на Алексея Петровича, а на сына, на Сережку, — за старую мать, которая курицу сварила с лапшой, было обидно. Вдвоем-то они и без курицы пообедали бы, а тут курицу зарубили, не зная к чему... Хотя бы с вечера все оговорили, а то на тебе — проснулись.

И день, как нарочно, был пасмурный, волглый. Не таяло, но воздух был тяжел, и дорога потемнела, и какие-то коричневые шишиги на ней покрылись лаковым глянцем. День только еще начинался, и ростепели надо было ждать к вечеру, но и теперь уже пахло ею, и теперь стены домов казались сизыми как в тумане, и ветер пах сыростью.

«Все перемешалось на свете... Опять резинки обувай, баллоны эти проклятые, — думал Иван Кузьмич, собирая в ведро картошку, — никакого порядку!»

В подполе было землисто и сухо, и тени от электрической лампочки, горевшей тут, огромно и неповоротливо ворочались на гряде картошки, на столбах и в темных, плохо освещенных углах.

Картошка дождливым летом уродилась мелкая и корявая, и было мало ее. А та, которую он подбирал теперь и бросал в ведро, казалась, как ни странно, крупной. Он уже четвертое ведро подавал наверх, Сережке, и никак не мог избавиться от ощущения, что отдает он сыну и гостю отборную картошку, а себе оставляет горох. Он всякий раз, когда ведро начинал, брал деревянную обколотую лопату и сгребал ею картошку сверху, но вниз, на землистую пыль пола, скатывались, резиново постукивая, крупные опять картошки, а в куче оставались мелкие. Это было непонятно и злило Ивана Кузьмича. Он вспоминал, бормоча угрюмые какие-то ругательства, как с женой выкапывали ее, эту мелкую картошку, в осенний день, и как она мокла под дождем на раскисшей земле, скользкая и холодная, и как они сушили ее на кухне и по всей избе, потому что дожди не кончались и наступили холода.

«Тогда-то никто не приехал помочь, — думал он, стараясь отбирать помельче, — ни сын, ни жена его... Занятые были... А мне ведь не жалко. Мне бы заботу только увидеть. Не мне это в общем-то нужно, а матери. Ну его к лешему! В общем-то, пусть берет. Нам-то с ней хватит. Вот курицу жалко — это действительно. Хоть бы сказали с вечера, что уезжают рано».

Ему вдруг показалось, когда он кончил ведро, что картошку отобрал слишком мелкую на этот раз. Он отсыпал и положил сверху покрупнее.

Ведро было разорвано по шву, и поднимал он его осторожно, боясь рассыпать.

Сережка принял, и Иван Кузьмич, присев на ступеньку, слышал глухой перестук картошки, ссыпаемой в мешок. А потом, когда долетал сюда дребезжащий грохоток порожнего ведра, он поднимался, брал протянутое сыном рваное ведро и, сутулясь, начинал снова. И все это время, пока картошку подавал, а потом мешки помогал в сени оттащить, он не мог никак позабыть о куриной лапше, о бело-розовом мясе, которое приготовила для сына и для гостя его старуха. И обида в нем крепчала, хотя он и не показывал ее.

Потом эти два мешка картошки втянули на заднее сиденье, прикрыв цветастый чехол мешковиной, и долго отряхивались, выбивая бежевую пыль. Больше всего пыли летело от

валенки и брюки Ивана Кузьмича, и сколько он ни выколачивал ее ладонями и веником, она все так же густо взрывалась всякий раз и дымила по ветру, припорошивая обмякший снежок. И всем им было смешно: Ивану Кузьмичу, Сережке, Алексею Петровичу и особенно матери, которая стояла на крыльце и наблюдала. Сережка смеялся и похохатывал, а потом сказал:

— Это, батя, из тебя, наверно, от старости. Хоть стучи до завтра.

А Алексей Петрович сказал, улыбаясь:

— Ничего, Иван Кузьмич, это не грязь — земля! Все мы на земле живем и в землю ляжем. Ничего.

И Иван Кузьмич перестал выколачивать брюки, валенки и пиджак, на котором от пыли проявились большие буроватые пятна. Эти масляные пятна на полосатом пиджаке были всегда, а теперь просто запылились и стали заметными. Пиджак-то был бросовый, с примятыми навечно маслянистыми лацканами и истрепанными рукавами. Его и не жалко было совсем.

Вот курицу было жалко, потому что, скажи они вовремя, что уезжают утром, не стала бы мать зря губить хорошую курицу и варить из нее лапшу. Ну был бы еще праздник, а то так, воскресенье обычное. Жалко.

Алексей Петрович завел мотор и, прогревая его, ревел на всю округу, поддавая газу. Потом вылез из машины, оставив мотор чуть слышно работать, и хлестко, как бичом, хлопнул дверцей.

Чистый снежок год выхлопной трубой, откуда вымахивал дымок, стал оттаивать и грязниться. Алексей Петрович тихо и отчужденно ходил вокруг машины и оглядывал ее придиричливо.

Было в этом человеке нечто такое, что смущало старика, приводило в какое-то замешательство, нагоняло робость, словно тот, кого привез Сережка, мог оглянуться вдруг, нахмуриться, побагроветь и спросить начальственно строго:

«Что ты сказал? Повтори».

Это ощущение было так отчетливо, что Иван Кузьмич вроде бы даже побаивался говорить при нем, а если и говорил, то только о каких-то ясных и всем понятных вещах: о картошке, о погоде, о дороге.

В уме он прикидывал, что за мешок картошки с него надо бы получить рублей пять, не меньше. Если даже по десять копеек за килограмм, то пять рублей наверняка надо

получить, потому что в мешке килограммов шестьдесят картошки. Но сам сказать ему об этом не решался и мучительно ждал: предложит тот ему деньги или так уедет?

Он успокаивал себя, что проживет, конечно, и без этих пяти рублей, уговаривал себя, что, может быть, даже и нехорошо брать с него деньги, потому что вчера он водкой угощал и закусками всякими... И все-таки беспокойно ждал, чувствуя какую-то тоску под сердцем, предложит тот ему денег или забудет, хотя как будто и подготовил себя отказаться от них.

«Нехорошо это будет,— подумал он, заглушая тоску.— Человек в гости приехал, сына на машине привез, а тут с него, как с чужого, деньги тянуть. Не по-людски это все и нечестно... Нехорошо».

Но когда Сережка побежал домой одеваться, он тоже заторопился следом и, повстречав его в узком месте между печью и деревянной перегородкой, сказал ему неожиданно:

— Ты что это, мать твою конопатую, сам мешок да этому плешивому мешок! Я тебе что ж, коммунизм, что ль? Пускай он мне деньги платит.

Сережка странно посмотрел на отца — то ли с обидой, то ли с недоумением,— а потом улыбнулся.

— Ты уж испугался! — сказал он. — Не такой он человек, чтоб на дармовщинку... Он знает, не бойся! Знает, когда что нужно...

Иван Кузьмич оглянулся на дверь и сказал:

— Не потому я говорю, что боюсь. Я, может, и не возьму эти деньги... Подумаешь, деньги какие! Но чтоб справедливость была. Ты мне предложи, а я откажусь. Вот это будет справедливо.

А мать услышала и сказала запальчиво:

— Это ж надо! Откажусь! Картошку-то сажала и окучивала я, а не ты. Отказчик какой нашелся! И откуда только благородство такое! Небось у меня три рубля просить будешь...

Но Иван Кузьмич зашикал на нее злобно.

— Не твое это дело! Сиди молчи,— сказал он и топнул ногой в рыхлом валенке, подшитом на три пальца войлоком.— Чтобы никаких протестов! Сам разберусь...

И жена его по привычке покорно умолкла, хотя была она крупнее его на вид, дороднее, мускулистее и могла бы, казалось, применить свою силу при случае.

Сын надел новое коричневое пальто, кожаную ушанку и пошел в комнату прощаться с матерью... Он обещал ей ско-

ро приехать и дочку свою, как просила мать, привезти, но сам ее в гости не звал.

Мать была ласкова с ним и приветлива. А Сережка говорил, что вот он скоро приедет, привезет кафельной плитки и облицует этой белой плиткой русскую печь...

— Да зачем же, Сереженька, — говорила мать. — Нам и так хорошо с отцом.

А тем временем гость, обтопывая на пороге ботинки, вошел в избу и остановился возле печи. На нем было кожаное пальто с цигейкой и каракулевая шапка пирожком. Воротник был коричневый, а шапка черная и плоская, с чуть приметной сединой. В этой шапке он показался Ивану Кузьмичу совсем неприступным, и ему подумалось, что инженер ему, конечно, не предложит денег за картошку, потому что товар этот пустяковый, а он вчера хорошо угощал и имел теперь право.

Сережка говорил о плитке, о старых голландских печах, о том, что тепло будет дольше держаться и «красивше будет». Алексей Петрович слушал внимательно и сказал:

— Отскочит на жару, не удержится.

— Знаем! — сказал Сережка. — Рецепт для этого дела есть. Надо с мукой сажать, тогда как камень... Это мы знаем.

Старик стоял рядом с Алексеем Петровичем и заранее хитро улыбался, предвидя, что сейчас инженер докажет Сережке что-нибудь наоборот, но тот потрогал пальцем беленую печь и сказал:

— Ну что, Сережка, поехали? — А потом обернулся к Ивану Кузьмичу и спросил у него: — Сколько я вам должен?

— Это за чтой-то? — живо откликнулся Иван Кузьмич. — За картошку-то? Хе-хе! Какие там! Ничего вы не должны... Ничего. Картошки у нас этой полно, а поросенка мы скоро зарежем, так что ничего не должны, — радостно говорил Иван Кузьмич. — И не беспокойтесь. Кушайте на здоровье, картошка у нас вкусная, рассыпчатая, для пюре самая подходящая... Со сливочным, это, маслом, ну просто... ешь не хочу. Так что вот! Сережка у нас каждый год картошку берет, он вам в подтверждение скажет.

— Ну нет, я так не могу, — сказал Алексей Петрович. — Она вам денег стоит.

— Ни-ни-ни! — сказал Иван Кузьмич, отворачиваясь от гостя, который в карман полез.

Сережка подошел к Алексею Петровичу и, словно погладив его руку, сказал тихо, по-дружески:

— Не возьмет, не сто́ит.

Мать тоже поднялась со стула и с певучей добротой в голосе вторила сыну:

— Верно, он такой, не возьмет...

— Ну поехали тогда,— сказал Алексей Петрович и стал прощаться.— А не нужно ли вам на станцию? — спросил он у Ивана Кузьмича.— Может, купить чего? Обратно вот, к сожалению, придется на автобусе...

Иван Кузьмич как-то весь встрепенулся вдруг, засуетился, стал пальто свое натягивать, а когда застегивался, оборвал нижнюю пуговицу, но промолчал об этом и, помяв пуговицу в пальцах, бросил под печь. Пуговицы-то на пальто все равно были разные, и не жалко их было вовсе...

Ехать он согласился тотчас же и, пропустив вперед гостя с сыном, вышел следом на улицу.

Когда вышел, подумал, что надо бы сапоги резиновые обуть, потому что с крыши уже начало тихо капать, и капли, пока еще робко и чисто, всасывались снегом под скатом крыши, но была уже заметна эта влажная, ноздреватая, серая лента вдоль стены. Подумать-то он подумал, но увидел, что Алексей Петрович с сыном садятся уже в кабину на переднее сиденье, и, решив, что обойдется, суетливо стал держать хромированную ручку. Но ручка не поддавалась, как ни силился он.

— Мать честна́я,— сказал он виновато.— Как она отпирается-то?

А Сережка сказал:

— Да ты на кнопку нажми... Сильнее! Вот так.

— А я-то силой,— говорил Иван Кузьмич, усаживаясь взволнованно рядом с мешками картошки.— Оказывается вон дело-то в чем! Кнопочка там... Любопытно!

И дверцу он тоже не сразу захлопнул за собой, и тоже ему сын подсказал, посмеиваясь, чтоб сильнее хлопал. Наконец он захлопнул дверцу, машина попятилась, Иван Кузьмич увидел старуху свою на пороге и тоже, как гость, помахал ей на прощанье, словно уезжал далеко.

Под ногами у него лежал мешок с картошкой, и ему пришлось одну ногу сильно согнуть в колене. Но было так даже удобнее, как подумалось Ивану Кузьмичу, сидеть в обнимку с тугим, бугроватым мешком, так даже можно было облокотиться на колено и поглядывать себе по сторонам, словно кум королю.

«А хорошо,— подумал он,— что я денег с него не взял. Хороший он человек».

Жена его старая притихла подле крыльца и поглядывала на машину, как она приседала на рытвинах и покачивалась, осторожно съезжая с бугров на ровную дорогу, словно ощупывая путь колесами, и томительная какая-то, строгая забота беспокоилась в ее глазах, точно она о машине этой думала, о том, не заскользит ли она, не съедет ли в кювет и не нужно ли будет оттуда вытаскивать ее.

Но машина выехала на дорогу, внутри ее резко и железно рывкнуло что-то, мотор взвился, будто вздохнул облегченно, и машина покатила. Теперь, издалека, она показалась вдруг лещеватой, маленькой и неустойчивой на отпотевшей дороге.

Мать проводила ее глазами бездумно, не в силах представить в этой игрушечной машинке сына и мужа, и пошла домой, но прислушалась и оглянулась на соседский дом.

Странные какие-то звуки доносились оттуда — то ли рев, то ли ворчанье,— и было любопытно узнать, потому как подумала она о ребенке, но ребенка-то у соседей нет, и подумала тут же о кошке... Но это и не ребенок был и не кошка.

Это был белый петух. Его вынесла из дому соседка и, прижимая рукой, приговаривая что-то, пошла с ним на огород, к своим курам.

— Чтой-то? — спросила мать. — Как собака орет.

А соседка, улыбаясь, ответила зычно:

— Заболел петух-то. С вечера взяла вот домой, на печку, а сейчас к курам несу, пусть погуляет...

— Не хочет, стало быть, на холод...

— Не хочет,— сказала соседка. — Понравилось на печке.

И женщины ласково улыбнулись, поглядывая на большого петуха, который так странно и так не по-птичьи басовито ворчал на руках. Белый петух этот, который всегда забивал и терпеть, наверно, не мог глазуновского петуха, казался смертельно обиженным на весь свет, на людей, на снег, на холод, и еще казалось, будто он пожелтел на снегу от этой обиды и злости. А куры ему откликнулись встревоженно, одна из них раскудахталась, и понеслось по всей деревне ее отчаянное причитание, бедственный ее вопль.

Соседка спросила:

— Сын приезжал? Сережка? На машине-то?

— Да,— сказала мать.

— И так рано уехал?

— Ну, кабы один, а то ведь с товарищем... Товарищ торопился. У каждого свое... Им, считай, три часа до дома добираться.

— А печку-то мне,— сказала соседка,— починил этот Вася. Вот я его встречу! Совсем ведь испортил печку. А ведь раньше-то не печка была, а горлинка...

И женщины разговорились. Одна говорила громким, неумным голосом, словно ругалась, а другая была тиха. На огороде все так же беспокойно кудахтали куры, было туманно вокруг, тепло и сыро... На куче навоза копошились воробьи, и все было похоже на раннюю весну.

Глазунов не часто ездил в легковых машинах и радовался случаю, как маленький. Ехали не быстро, но скоро уже остались позади Горяны, Мелечкино, Бабухино, и, наконец, Сальково проехали, прокатив мимо правления колхоза, мимо черных, иссушенных морозцем цветов на клумбе, торчащих из-под снега, мимо досок с цифрами и схемами... После Салькова дорога пошла асфальтированная.

Казалось, будто снег побелел вокруг и стал небывало чистым, потому что отопревшая дорога уже заблестела бурой жижицей и весенней рекой покатила среди этих первозданных в своей белизне снегов.

Алексей Петрович и сын о чем-то тихо разговаривали всю дорогу, но Глазунов не слышал и не старался понять. Он смотрел по сторонам, и ему было радостно ехать в машине, и он с великим сейчас удовольствием уехал бы вместе с Сережкой в Москву, хотя и затекла его согнутая в колене нога, одеревенела уже.

Но до станции оставалось всего около двух километров, и скоро уже завиднелись и пошли навстречу каменные дома поселка, заборы: скоро проехали уже мимо разбросанной какой-то, грязноватой среди снегов стекольной фабрики, на которой флаконы делали для духов, «пузырьки для флаконов», как говорила старуха, мимо глухого забора с колючей проволокой поверху... А потом подъехали и к вокзалу.

Вокзал был каменный, и побеленные кирпичи были положены старинной кладкой — торцами наружу. Были какие-то лепные вензеля на его фасаде, и много всяких проводов тянулось к его крыше. Провода были повсюду: над путями, над крышами, над дорогой — перечеркивали небо от столба до столба, бежали, сходились и снова разбе-

гались. Под белым небом былолюдно на площади, грязно, стояли автобусы и грузовики. Алексей Петрович остановил машину.

— Ну вот, — сказал Глазунов, — приехали.

И, поглядев на асфальт, подумал, что в валенках ему придется плохо.

— Иван Фомич, — сказал вдруг Алексей Петрович, перепутав отчество, — очень я вас попрошу... папиросочек. Сходить в палаточку папирос купить. Будьте добры!

Он протянул Глазунову пять рублей и виновато так, вежливо подмигнул.

— Каких вам купить? «Беломор» или?.. — спросил Глазунов.

— Что будет, — сказал Алексей Петрович.

— Махорки, — ввернул Сережка и засмеялся.

Глазунов шагнул из машины, но, оправляя пальто, которое на одну лишь верхнюю пуговицу было застегнуто, чувствуя болезненную немоту ноги, удивленно увидел вдруг, как машина поехала без него, сначала медленно, а потом быстрее. Он шагнул за ней, но остановился, опешив, и, не понимая ничего, увидел, как Сережка, опустив стекло, высунулся и крикнул ему весело:

— Это тебе за картошку! Ты понял? За картошку! Понял? Будь здоров! За картошку!.. — кричал он. — Алексей Петрович оставил. Понял? Вот так... Будь здоров! Скоро увидимся...

Сережка помахал рукой и спрятался. Стекло потянулось кверху. Машина уже разогналась и покатила по шоссе к переезду. Шлагбаум был поднят, и «Москвич», подрагивая на настиле, медленно переехал пути и скрылся из глаз.

— Что ж это вы, ребята? — сказал Глазунов, похрустывая новой пятеркой. — Эха-ха!

Он вяло и растерянно огляделся и, обманутый, тупо уставился на народ, который, толкаясь, влезал в автобус, шумя и покрикивая, как птицы.

Под ногами у него была блестящая грязь, а на ногах были валенки. Но это уже не смутило Глазунова.

«Хрен с ней, — подумал он. — Высохнут. Все равно баллоны носить».

Он словно людям сказал, которые автобус осаждали.

— Ну кто же так делает? — сказал он снова и поглядел на пятерку, на синий краешек ее, который виднелся из-под длинного и примятого в дороге рукава пальто. Он это осторож-

но сделал, словно она не в его руке зажата была, а в чужой, словно он украсть ее хотел, синенькую эту и угловатую бумажку.

— Вот непонятливые какие, — сказал Глазунов и, улыбаясь, пошел по грязной, заезженной мостовой к обочинам, где еще было снежно и сухо.

Он подумал о Сережке, об Алексее Петровиче, которые небось уже выехали за город и покатали весело по прямому шоссе, посмеиваясь и поговаривая о нем, которому они отдали-таки деньги за картошку.

И когда он подумал о них, веселых и молодых, он почувствовал себя среди этой площади на грязном асфальте, в рыхлых своих и подшитых валенках, в неказистом пальто с длинными рукавами и оборванными пуговицами, — почувствовал себя старым, смертельно обиженным и смешным... И вот тогда-то он обозлился, когда подумал так, сравнивая себя с ними, которые далеко уже были и которым, наверное, весело было теперь, и, представив еще их довольные лица, он сказал насупившись:

— Ах вы хгады! Крохоборы! Обманули старика... А я-то было думал...

Он обогнул вокзал, вышел на платформу, на которой тоже было сыро, и, не замечая людей, наталкиваясь, слыша грохот проходящего мимо скорого, чувствуя ветер и запах поезда, помаргивая невольно от мелькания вагонов, подошел к лестнице надземного перехода и стал медленно забираться вверх.

Внизу было угольно-черно, бесснежно. Струнно натянуты были медные провода от столба к столбу, висели фарфоровые изоляторы, напряженно посверкивали рельсы на проржавевшей земле, уносясь куда-то в белые, заснеженные еще просторы...

Желание это возникло раньше, само по себе, без воли Глазунова. Подчиняясь этому желанию, он бездумно шел на другую сторону путей, но только потом, когда подошел к продовольственному магазину, он отчетливо понял это желание, озлобленность свою, обиду и зашевелил остуженными пальцами, в которых принес сюда пятерку, так и не сунув ее в карман. Ожесточая себя, думая беспрестанно о сыне и об Алексее Петровиче, он подошел к стеклянному прилавку и успокоился сразу.

В магазине пахло хлебом, было сумрачно от тусклого света, от решеток на окнах.

Он долго стоял в очереди, держа пятерку наготове, а ког-

да подошел к продавщице и отдал эту новенькую и жесткую бумажку и когда та поставила перед ним на стекло бутылку водки, он повеселел отчего-то, смутился и сказал невнятно:

— И какие-нибудь конфетки... три.

— Чего? — спросила продавщица. — «Прибой», что ль?

— Три... конфетки шоколадных, — сказал Глазунов.

— Ну а как же я? У меня ведь конфеты на вес. Бери тогда три шоколадки, вот по двадцать шесть копеек, маленькие...

— Тогда две, — сказал Глазунов покорно.

У него еще остался рубль с мелочью от тех пяти, которые ему оставили ребята. Рубль был старенький, потертый, и Глазунов сунул этот измятый и грязный комочек в карман пиджака и монеты туда же опустил. Они не пахли для него обидой, потому что это были другие деньги, которые никогда, наверно, не лежали в кармане Алексея Петровича.

«А ведь все от хорошего, — подумал он, выходя из магазина на волю. — Все не со зла. Хотел за добро отплатить... Можно понять. Да и что он мне, лысый-то этот, кум, что ль, какой! Все нормально. Я ему картошки, он мне денег... А хитрый мужик! — подумал он, заулыбавшись. — Папиросочек ему купи — ух хитрюга! А вот Сережка мой хгд, с него бы в три раза дороже взять... Ну хоть бы рубашку какую когда подарил, ну хоть бы ботинки какие, не знаю уж чего... По совести. Хоть бы рублем... Ну мало что сын! Сыну, конечно, не покупать у отца с матерью, какие мы с ней купцы для него... Ну да ладно, — подумал он досадливо, — не будем про это думать... Не будем».

И он даже вслух произнес решительно: «Не будем», — словно сопротивлялось в нем еще что-то.

Он перебрался опять через пути — по лестнице вверх и опять вниз, на платформу, и тут остановился.

Валенки его отсырели, и ноги уже чувствовали холодную сырость, будто он на земле босиком. Глазунов, опустив бутылку в карман, придерживал ее рукой, потому что в кармане была дырка, и хотя она невелика была, он все же ощущал где-то под сердцем опасность и не выпускал бутылку, согревая ее рукой, хотя и понимал, что она не проскочит. Другой карман был совсем оторван, но при случае он помнил всегда об этом.

Он неторопливо прошелся, ощущая сырость грязной платформы, каменный ее холод, и подумал случайно, что надо бы зайти в буфет и, не дожидаясь дома, выпить чуток, чтоб

простуда в кости не вошла. Сначала он сомневался, прохаживаясь мимо буфета и зная, что там нельзя распивать спиртное, но потом случайно опять же подумал о стакане горячего кофе с молоком, подумал о жене, которой он купил две шоколадки, о том, что он тоже имеет право выпить кофейку, и завернул в буфет, который помещался в вокзале.

Кофе ему налили в высокий бумажный стаканчик. Руки стаканчик не жег, но пить из него было чудно и непривычно, и все время казалось, будто губы прилипают к сухой этой бумаге. Кофе был сладкий и душистый, и парок от него шел душистый.

Глазунов стоял за высоким мраморным столиком, положив свою шапку на шлифованный камень, и неторопливопил, упершись грудью в торец каменной крыши. Стол этот был слишком высок для него.

А когда выпил кофе, он спрятался, как ему показалось, от буфетчицы за высоким столом, скоренько оборвал закупорку на горлышке и, не вынимая бутылку из кармана, нагнув ее, налил в пустой стакан водки.

— Это что ж такое-то! — услышал он голос буфетчицы. — Читать, что ль, не умеешь! А ну-ка, мотай отсюда быстро!

Глазунов оглянулся на нее, увидел недобрые глаза и рот и сказал виновато:

— Да господи, сейчас... Жалко, что ль? Озяб...

И пока буфетчица бранно кричала на него, милицией грозилась, торопливо выпил водку.

— Вот и все, — сказал он ласково. — Чего кричишь! Ведь я ж не хулиганничаю... И ухожу.

Но буфетчица не унималась, и тогда он, прикрывая горлышко пальцем, улыбаясь виновато, сказал опять, направляясь к двери:

— Ухожу, ухожу... Виноват. Ухожу...

На плиточном полу валенки его печатали мокрые большие следы, и, увидев их, Глазунов заспешил, подумав, что сейчас за это на него тоже накричит буфетчица.

«Эх, мать честная, — подумал он, выйдя на платформу, — стаканчик-то я забыл прихватить... Жалко».

Но подумал об этом он уже весело и с каким-то озорством, как будто натворил невесть что и сухим из воды вышел.

И мотивчик знакомый пришел ему вдруг на память, когда он к автобусной остановке шел, и захотелось запеть ему полюбившееся: «Эх да космонавт, тихонечка трогай...»

Он вспомнил о жене, о том, как приятно ей будет, когда он шоколадки ей отдаст, и, напрочь забыв о сыне, об Алексее Петровиче, подошел к людям, ожидавшим автобус, и стал разглядывать их лица. Лица у всех были хорошие и добрые, и хотелось ему улыбнуться, глядя на эти лица, хотелось поговорить с кем-то по душам, о чем-то хорошем поговорить и серьезном, о делах, о заботах, о людях разных...

Много было женщин в очереди и мало мужчин. В тех краях, куда ходил этот автобус, вообще было мало мужчин: не приживались они там, потому что, наверно, поселок фабрикой своей стекольной манил.

Женщины везли авоськи с едой, холщовые мешки, и чуть ли не каждую из них знал или видел когда-то Иван Кузьмич.

Эта, в плюшевом черном полупальто, в Горянах жила, и та, помоложе, в сером платке, тоже в Горянах, а эта как будто в Бабухине, старая, в длинной телогрейке с подвернутыми рукавами. А та, у которой сапоги резиновые лаком поблескивали и которая семечки сплевывала в красный кулак, в Мелечкине выходила.

Была среди женщин красивая одна девушка с авоськой в руке. В авоське из-под разорванной газеты оранжевел ноздреватый бок апельсина, и такими же оранжевыми казались румяные батоны, мягкие на вид и лакированные. Эту девушку впервые видел Глазунов и с удовольствием поглядывал на лицо ее, на щеки, которые она согревала в дымчатом воротнике, и на волосы ее, блестящие, золотистые, как луковая чешуя.

«Вот ведь на свете какие красавицы есть, смотреть на них и то удовольствие. Жили бы все на свете такие красивые... Жена моя такая ж красивая была, соседка еще краше, а я и подавно красавец. Вот бы жизнь-то была! Ну а в крайнесь-то случае хоть бы женщины одни были красивые, а мужики — все, как один, неказистые. Чего бы тогда бабам делать? Все за некрасивых и выходили бы — куда тут денешься! И была бы у меня тогда вот такая красotka жена, как эта, и ножки бы такие, и чулочки, и все так далее... Мать честная, — подумал он, — влюбился никак совсем!»

Хотелось ему потрогать ее осторожно, но чтоб не обиделась она, чтоб не подумала чего дурного о нем... Неужели нельзя? Вот ведь какая досада — нельзя.

И так он размечтался о ней, что и времени пролетевшего не заметил.

Подъехал автобус, развернулся уверенно, раздвинул скри-

пучие дверцы, и повалил оттуда шумный народ. А женщины, которые смирно стояли, теперь уже в руках держали свои поклажи, мешки и сумки и, когда последний пассажир вышел из автобуса, ринулись сразу в узкие дверцы и загалдели.

Иван Кузьмич о красавице своей позабыл и тоже втиснулся в эту толпу, расталкивая плечами, и тоже покрикивал на передних, которые в дверях заклинились с мешками своими и сумками.

— Хватит места! — кричал он. — Чего как овцы!

Но никто не слушал его, да и сам он тоже как будто не слышал своих слов, сам он тоже протиснулся к дверцам, ухватился за край, дожидаясь, когда женщина впереди заберется и освободит ему путь. А потом подтянул ногу, поставил ее на ступеньку и весь напрягся, вытаскивая себя из насевших сзади тел. Спотыкаясь, еле успевая подобрать ноги, он поднялся, потянул за собой пальто и вдруг услышал, как кокнулось что-то тяжелое и стеклянное внизу, под ногами, там, где блестела внизу окованная железом ступенька и где были другие какие-то ноги, колени, сапоги.

— Ай-яй-яй! — сказал он, попятившись назад, на толпу. — Бутылку я уронил! Ай-яй-яй!

А люди закричали на него, и кто-то из женщин подтолкнул его кулаком в спину.

— Какую еще бутылку! — крикнула женщина. — Осколки тебе, что ль! Паразит проклятый, пальто мне обрызгал... Что там у тебя в бутылке-то было? Масло?

Иван Кузьмич как услышал ругань эту, так и перестал жалеть о бутылке. Ему теперь, когда уже в автобус взошел и на сиденье плюхнулся, ему надо было женщине этой, которая ругалась, объяснить, что не масло растительное, а водка была в бутылке. Но та уже сама понюхивала палец, сообщая, что по запаху не масло это, а обыкновенная водка.

И когда она успокоилась, Глазунов опять с отчаянием подумал о разбитой бутылке, о дырявом своем кармане, о куриной лапше, под которую он и хотел выпить водочки со своей женой.

«Чуть ли не полная была! — подумал он. — Выпил-то я не больше ста пятидесяти грамм... Ай-яй-яй...»

Все люди взошли уже в автобус, расселись на передних местах к окошечкам, успокоились, и Глазунов увидел, что мест в автобусе было еще достаточно. Весь задний диван пустовал.

— Вот ведь как! — сказал он с обидой и злостью. —

Лезут, как овцы, а мест сколько хочешь. Никакого порядку!

— Невелики убытки! — сказала та, которой пальто он обрызгал.

— Вот-вот — невелики! — ответил Глазунов, не зная, что сказать, и умолк, потому что увидел он вдруг рядом с собой возле окошечка красавицу свою.

Она сидела смиренно и задумчиво, поставив сумку на колени и стараясь не касаться плечом мокрого и еще затянутого льдом стекла. Лед этот на стеклах таял и был позрачным, как слюда.

И, поглядев на большую свою, красивую соседку, с которой тесно было сидеть, Иван Кузьмич вздохнул и сказал ей с усмешечкой:

— Целую почти поллитру разбил.

А девушка улыбнулась ему с добром. Хорошая у нее получилась улыбка, усталая, как после бани, и располагающая. И Иван Кузьмич, повернувшись к ней, прижавшись к ее коленям, принялся ей рассказывать все по порядку. Она молчала и, казалось, слушала. А он говорил тихо и задушевно, словно где-нибудь на работе, во время отдыха, рассказывал о себе он человеку, с которым вместе устали они и наработались... и оттого понимали друг друга лучше друзей.

Автобус так и отправился полупустым, никто не взошел в него и в Салькове, только женщина какая-то незнакомая, старая вышла.

Дорога совсем почернела уже, и в полях появилась из-под снега бурая, как навоз, земля. Небо нависло дымное, с сизыми размытыми пятнами, отсыревшее и тяжелое.

Все это видел Глазунов — и небо, и землю с тающим снегом — в маленькую щелку на стекле, не затянутую льдом. Видно, поддувало в этом месте и не затянуло в мороз.

Рассказывая, он смотрел в эту щелку на мелькающие поля, деревни, леса и совсем забылся в своем рассказе. О красоте о женской забыл, о коленях высоких, о мыслях своих недавних... и казалось ему, что никто никогда так не слушал его, как эта соседка с апельсинами.

Он рассказывал о жизни, начав издалека, с послевоенных лет, о том, как выбирали председателей в их колхозе, наказывая при этом поменьше пить, и как жены новых избранников ругали собрание за такую честь, потому что боялись, как бы с их мужьями чего-нибудь не приключилось: какой человек устоит, чтоб не выпить, если зовут и упрашивают.

— Ведь что у человека главное в жизни? — спрашивал

он душевно и отвечал: — Справедливость. Люди за справедливость на царя пошли. И можно все претерпеть за справедливость. А справедливость эта в самом человеке, вместе с ним родилась... Вот говорят, души нет. А душа-то она и есть справедливость. Ты меня можешь грамоте научить, можешь из меня ученого сделать, ты меня атомную бомбу делать можешь научить... А чего! Русские все могут: лапти плести и бомбу делать... Ты меня всему научить можешь. А справедливости меня учить не надо. Я ее лучше всех знаю... А председатель что, бывало... Выберут его — вроде бы справедливый мужик. Он людей работать заставляет, на трудодни обещает хлеба выдать, а когда соберут урожай, на него из района накричат, пригрозят, чтоб сдал он весь хлеб, какой есть, — он и сдаст. Он бы рад колхозникам, а не получается... Вот и несправедливость... Обещал, а не дал. Тут и запьет председатель, а весной опять собрание, и опять нового выбирают... Вот бутылку я тут разбил — жалко, конечно... А что мне ее жалеть! Отрава и есть отрава. Мне жалеть ее нечего. Вот кого мне жалко — это курицу...

Иван Кузьмич, когда о курице сказал, заметил с удовольствием, что девушка слушала его, потому что, услышав о курице, повела она глазом, не понимая, о какой это курице речь. А он растопырил свои пальцы и стал ей опять рассказывать о сыне своем и о госте, которых он проводил, и, рассказывая, рукой жестикулировал, преподнося как бы девушке что-то на ладони. Ладонь его жесткая была, как ступня, и такая же бурая, как если бы босым ходил... От работы, наверное, от земли это, от лопат...

Все он ей рассказал о сыне: и как в армии тот служил, и как не вернулся после армии в деревню, а женился на москвичке, тоже деревенской женщине, только из-под Рязани, приехавшей в Москву раньше, чем Сережка. И о профессии выгодной его рассказал, не смог умолчать.

Теперь, вспоминая все в подробностях и о курице жалея, Иван Кузьмич мрачнел с каждым словом, от ненависти старой пьянея и ожесточаясь.

— Ведь вот картошки повез... Не жалко! Но будь справедливым. Весной приезжай сажать, матери в помощь, осенью — выкапывать. Мяса хочешь парного — не жалко! Зарежу телка, приезжай и бери... Но и сено косить приезжай. А то что ж это выходит! Выходит, что у меня на иждивении он со своей семьей... Вот ненавижу за что! Вот так ненавижу, что попадись он со своей плиткой — не пожалею. Посадят его, допустим, — передачу не принесу и матери не разрешу! Хгад

ведь он! Мать вчера курицу для него зарубила, а он, хгад, даже спасибо не сказал, даже в гости не позвал...

И так он разжег себя этими словами, что все ему не мило стало и сидеть спокойно он уже не мог: вертелся на месте, толкал в горячности свою красивую соседку, махал перед лицом ее рукой своей с растопыренными пальцами, шумел, словно выпил сверх нормы, и чувствовал себя так, точно и в самом деле был пьян. Язык его нес всякую брань, всякую непозволительность и несусветную глупость, и девушка уже не слушала его, отвернувшись к окну. Но Глазунов не замечал уже этого и говорил без умолку:

— Да я его, хгада, больше в дом к себе не пущу! Вот пусть за мясом приедет, я ему мясо-то покажу! Узнает он мясо! Нет чтоб отцу с матерью подарок какой привезти. Он еще с них тянет, хгад. Плиткой, значит, кафельной печь обещал починить,— сказал он девушке, толкая ее резко.— То есть не починить, а покрыть, значит. А на кой мне... мать его конопатую, эта плитка ворованная сдалась! Я его с этой плиткой, хгада... я эту плитку ногами растопчу на мелкие кусочки... и выкину...

До сих пор Глазунов крепился и матерные слова не употреблял, но на этот раз не выдержал и «выкинул» эту плитку не туда, куда нужно было.

Он извинился перед девушкой, которая покраснела вдруг, но было уже поздно. Девушке и без того надоел беспокойный сосед с непонятной, мрачной злобой к родному сыну, с жестокими угрозами, которым, конечно, никто не поверит. А тут еще слова эти... Она поднялась и, придерживаясь за спинки сидений, пошла вперед.

Глазунов смотрел ей вслед, на ноги ее смотрел, на красоту ее женскую, и было ему очень стыдно за себя. Он причмокивал губами, улыбался, ожидая, что девушка оглянется. Но она не оглянулась и села впереди.

Глазунов осмотрелся. Кондуктор дремал. Людей рядом не было. Он покосился на продавленное сиденье, откуда только что поднялась его красавица, любовь его несбыточная... Сиденье было порвано и заштопано черными нитками. Штопали, наверно, на какой-то специальной машинке, потому что стежки нитяные рукой так не положишь. Казалось, будто кто-то черным карандашом зачертил рваное место, заштриховал небрежно...

«Любопытная машинка,— подумал Глазунов.— Чего только не придумают люди...»

Ему стало скучно, и он подумал: скорей бы приехать до-

мой и завалиться спать. Ему очень хотелось спать. Он опять увидел дремлющую кондукторшу, зевнул отчаянно, лязгнул зубами и прикрыл глаза. Хмель еще не прошел, и его качало сразу, как только он закрыл глаза, потащило куда-то невесомо... и обратно вернуло... Он вздохнул и тонюсенько запел...

— Эх да космонавт... тихо-онечка-а трогай и песь пути не забудь...

Автобус остановился, но Иван Кузьмич не открывал глаза, зная, что это еще только Горяны, что выходит здесь женщина в плюшевом полупальто и другая женщина, знакомая ему с молодости... И он не увидел, как вышла из автобуса его соседка, девушка с апельсинами, которая, как казалось ему, слушала внимательно его рассказ. Впрочем, он уже не вспоминал больше о ней. Она на него справедливо обиделась. Иван Кузьмич подумал вдруг, когда автобус дальше поехал, о жене своей и, подумав, ощупал боковой карман пиджака: шоколадки были там.

— Эх да космона-а-авт, — невнятно и сонно затянул он опять, — тихонечка трогай... и песь пути не забу-удь...

— Ну что ты здесь распелся-то! — сказала ему кондукторша сердито. Она покашляла и еще сказала так же недружелюбно и хмуро: — Пел бы хоть по-человечески...

Иван Кузьмич приоткрыл глаза и спросил удивленно:

— А я как пою?

Но кондукторша промолчала, и было тоже сердитым это ее молчание.

Когда Глазунов подходил к своему дому, день уже кончался. Было еще только за полдень, но свету уже стало мало, все потускнело в деревне, насупилось сумрачно... Но, может быть, оттого это все показалось так, что снег подтаивал на бугорках, оголяя темноту земли, и уже не таким белым и чистым, как вчера, лежал в серой пасмурности дня.

Куча навоза, которую завез вчера Глазунов, обтаяла вся, на ней копошились, как мыши, воробьи, ворона слетела с навоза, когда подошел Глазунов, и, лениво полетев на огород, опустилась там на капустные грядки.

Валенки промокли насквозь, и сырость уже хлюпала в них, холодная и простудная... Иван Кузьмич подумал, как приятно будет пройтись сейчас босиком по теплему половику к столу, на который жена принесет тарелку с куриной лапшой, и как приятно будет шоколадку отдать жене и увидеть радость на ее лице. Он знал, что радость эта оттого возникнет,

что подумает она о нем хорошо, как о справедливом человеке, а вовсе не шоколадке этой обрадуется, которая и не нужна, потому что чаю с ней не напьешься, а так жевать вроде бы и ни к чему...

Воробьи шумно взлетели и расселись рядком на крыльцо, дожидаясь Глазунова. Их было много, и они, наверно, радовались оттепели и этой куче навоза, в которой они искали для себя что-то съедобное и находили, конечно.

«Ну дак что ж,— подумал Глазунов, отворяя дверь,— в крайнесь-то случае птицы сыты будут, и то хорошо...»

В доме было тихо и мирно. На этот раз Глазунов не в гости, а к себе пришел, в свой дом пришел, к жене своей.

Он позабыл о сыне, об Алексее Петровиче, о радостях своих и о злобе, будто и не было ничего такого, будто вечно у него была только жена заботливая, теплый дом и думка о завтрашнем дне, которая к вечеру обычно приходила и звала ко сну.

Он наелся сытно в этот вечер, представил ясно завтрашний свой день: видно, опять придется возить навоз... Они разделили одну шоколадку пополам с женою и, когда спать легли, принялись бережливо сосать кусочки шоколада. Во рту от шоколада приятно и сладко было и горчинка какая-то вкусная была.

— А знаешь,— сказал Глазунов,— ты бы завтра навоз-то этот перетаскала от греха подальше. К сараю туда, на огород. Удобрение все ж таки, пригодится.

Жена молчала. Но он знал, что она не спит, а о чем-то думает.

— Ты о чем это думаешь? — спросил он.

— О Сережке...

Глазунов уже без злости, но и без радости вспомнил о сыне и сказал жене:

— Подумай, подумай...

Он засыпал, и сон приходил спокойно и мирно, заволакивая сознание туманом. Напоследок он хотел сказать жене, что подумать-то надо бы серьезно о нем, о Сережке, хоть и тридцать ему с лишним лет, и ему почудилось, что он сказал об этом матери...

И снился ему в эту ночь перед новым днем и работой странный какой-то сон. И хоть долог был этот пригрезившийся сон, и хоть думал, как ни удивительно это, Глазунов во сне, что обязательно надо запомнить его, утром он обо всем позабыл.

Руслан Киреев

МАТЬ И ДОЧЬ

Она заприметила его, когда он еще стоял у стеночки, глазел с деловым видом на танцующих. Хитрец! Никого же не искал — кого искать, если в первый раз тут?

Такие обычно приглашают Катю, но приглашают тихо, под нос себе. «Пойдемте?» «Можно?» Ни один из них не говорит: «Разрешите?»

Это сначала. Потом говорят. Но уже не Кате, уже Полине...

Вадим к Полине подошел сразу. Домой возвращались втроем.

— Скоро танцы у нас одни бальные будут, — резвился он. — Танги да фокстроты постановлением специальным запретят. Что делать тогда будем, а?

Катя прыснула, прикрыв варежкой свой большой рот. Полина досадливо покосилась на подругу.

— А мы умеем и бальные.

Ее модные, с отстрым носком туфли скользили по обледенелому тротуару. Вадим взял ее было за локоток, но она глянула на него — только глянула! — и он убрал руку. Скользила она не нарочно, но чувствовала, что, если б захотела, могла бы совсем не скользить.

У ворот остановились. Катя быстро ушла, а Вадим, которого она мысленно называла мальчиком, хотя он был, вероятно, одних лет с нею, предложил, как и ожидала она, встретиться.

— Завтра я уезжаю, — сказала Полина. Подведенные глаза ее смотрели насмешливо.

— Куда, если не секрет? — спросил он.

— А если секрет?

— Вот тебе и огород! Познакомились только-только, а уже секреты. Дальше что ж будет?

— Дальше? Может, ничего не будет дальше.

Договорились на субботу. Полина подала руку. «Салют!» — сказала, и каблуки ее застучали по вымощенному камнем двору.

В длинной, как кишка, комнате было жарко. Бормотал купленный в складчину приемничек. На кровати поверх одеяла лежала с закрытыми глазами Кира.

Катя ужинала. Напротив нее сидела Елена Владимировна. За правило взяла навещать что ни вечер молодых своих квартиранток.

— Вот и Полечка наша. — Прищурившись, она засмеялась неизвестно чему. — Что-то рановато сегодня?

— Достаточно, — ответила Полина. К приемнику подошла, отыскивала джазовую музыку.

— Чего ж достаточно? Гулять до часу надо. Иль не выспаться боишься? Как, с новым сегодня?

Полина сняла туфли.

— С новым. Катя не рассказывала разве?

— Да рассказывает вот. — И к Кате повернулась. — Ну-ну!

Хлебом не корми, но дай послушать о мальчишках... А самой за шестьдесят!

Полина достала из тумбочки банку с маслом, поставила перед Катей.

— Завтра еще привезу. — Сложив юбку, аккуратно повесила на спинку кровати.

Хозяйка посмотрела на нее с удивлением.

— Завтра ж среда! — Хотя для самой что среда, что воскресенье... Каждый день в кино ходит, по три раза смотрит одно и то же.

— Отгул дали, — глядя в зеркало, сказала Полина. — Кать, пинцет не брала?

— Садись давай! — промычала Катя набитым ртом. — Остынет же!

А Кира все лежала с закрытыми глазами. В Светополь она приехала из Крутинска, училась в педагогическом, на вечернем отделении, а днем работала. В библиотеке... Елена Владимировна поведала под большим секретом, что она была замужем. В паспорте, во всяком случае, штампик есть... Все обо всех знала Елена Владимировна.

— Пойду-ка я спать, девочки. — Она тяжело поднялась — полная, в ярком халате. Посоловевшие глаза ее были маленькими. — Мне бы ваши годки! — Вздохнула, вышла с мечтательной улыбкой на губах.

Катя скоро легла, а Полина еще долго сидела за изъе-

денным древесным жучком туалетным столиком. Хорошо бы успеть завтра на часовой автобус...

Успела. Буштакова, которую поставили за начальника ОТК, отпустила ее, и в три она была уже в Степнопожарском.

У «Чая навynos» — маленького буфета с четырьмя столиками — увидела Дурного. Не в подводу, а в розвальни был он впряжен — в Светополе такого не встретишь. Да и снег в Светополе не лежит подолгу, хотя всего на сто километров южнее. Поросшие кустарником холмы надежно защищают расположенный в гигантском котловане город.

Дурного Полина помнила столько же, сколько помнила себя. Возили на нем почту, возили навоз.

Неизвестно, кто дал животному эту обидную кличку. До отцовских похорон она не замечала даже, что кличка обидна.

На похороны прилетел из Харькова папин брат. Без стука распахнулась дверь, и в комнату просунулся желтый, весь в металлических бляшках чемодан — гость бережно нес его впереди себя. Полина ожидала увидеть такого же, как отец, сутулого старика с больными глазами, а перед ней был крепкий, покрасневшийся на декабрьском морозе мужчина. «Какое несчастье!» — говорил он и поглядывал по сторонам: куда бы чемодан поставить.

Гроб везли на Дурном. «За что его так?» — спросил племянницу дядя. «Кого?» — не поняла она. «Дурным зовуте...» Вот тут только до нее дошло, как необычна и обидна лошадиная кличка.

Гадая, кто же приехал на Дурном, открыла Полина обитую жестью дверь. В лицо дохнуло горячим паром, вином и котлетами. Играл патефон.

Мишка, в эту грустную минуту
Как тебе мне хочется сказать...

У грязного окошка сидели двое. Разделись — замызганные полушубки лежали на полу.

— А мне что, мне ничего, — твердил один мужик другому. — На мне где сядешь, там и слезешь!

Краснощекую косоглазую продавщицу звали Клашей. Полина поздоровалась. На ощупь открывая сумочку, разглядывала в витринном стекле свое отражение. Кажется, малость переборщила вчера с бровями...

— Печенье возьми, — посоветовала Клаша. Один глаз ее смотрел на Полину, другой на весы. — Сигареты есть с фильтром...

— Не надо сигарет,— тихо сказала Полина.

Увидела в оконце, как к Дурному подошла девушка в телогрейке. Заплатив, быстро вышла.

Девушка собирала недоеденное Дурным сено. Сена было много, она зарывалась в него подбородком.

— Здравствуй, Валечка.

— Полинка! — обрадовалась Валя. — Домой? — Она бросила сено в розвальни, по-хозяйски расправила его. — Садись!.. Стой! Куда?! Стой, говорю! — прикрикнула она на Дурного, который тянулся за клоком упавшего сена. — Садись, не бойся!

Полина глянула на нее — это ей, что ли, «не бойся»? — и спокойно села. Валя легко вскочила в розвальни, не сильно ударила вожжой по костлявому крупу.

Сзади прицепился мальчишка. До водокачки доехал, потом спрыгнул и побежал обратно.

Желтое холодное солнце низко висело над белым полем. Летом здесь сплошной стеной стоит кукуруза. Раз Полина наломала с десятков початков, но они были уже старыми — часа два варила на примусе Елена Владимировна.

— Агрономшу привозила,— сообщила Валя, поворачивая к ней свое молоденькое личико. — Обратно в понедельник аж. Но! Пошел! Пошел!

Начался подъем. Дурной сбавил шаг.

— Встать, может? — предложила Полина.

— Сиди! Но уж! Но!

Вниз покатили быстро. Ноги Полины свисали, подпрыгивая на утрамбованном снегу.

— Как ты думаешь, пропишут меня в городе? — спросила вдруг Валя.

— Уходить хочешь?

— А то нет! — И зачем-то ударила вожжой Дурного.

Полине было жаль лошадь и досадно, что она не имеет права сделать Вале замечание. Сузив глаза, смотрела перед собой.

Проехали Пальцево. У крайнего домика двое мужиков долбили яму — один молодой, другой постарше. Оба уставились на них, но тот, что постарше, высморкался и снова взялся за лом, а молодой долго еще глядел вслед...

Все, кто провожал отца на кладбище, были тепло одеты — пальто, тулупы, а он лежал в одном костюмчике... Полина крепко сцепила руки. «Сигареты есть с фильтром».

Матери дома не было. Повесив на забор авоську с печеньем, заторопилась Полина на ферму.

По широкой улице шествовал навстречу бригадир Аморин. Под незастегнутым плащом — фуфайка, под фуфайкой — курточка.

— Приехала? — И на вязаную шапочку ее смотрит.

— Отгул дали.

— А! А у нас тут нет отгулов. — Большелобый, маленький, всю жизнь бобылем прожил. — Мать на навозе...

Полина кивнула и быстро прошла мимо.

Ворота коровника были распахнуты настежь. Лошадь в глубине, женщины с лопатами... Осторожно ступая по втоптанной в грязный снег соломе, подошла ближе.

— Наташ, дочь-то что ж не встречаешь? — сказала Мария Рожкина.

Лопата замерла в руках матери. Все ниже, ниже опускалась она — пока не опрокинулась. К столбу хотела прислонить ее мать, но черенок прошел мимо.

— Давай, — сказала Рожкина, улыбаясь.

Мать не спускала с дочери встревоженных глаз.

— Ты что, мама? Ничего не случилось. — Она засмеялась. — Отгул дали...

Мать медленно кивнула закутанной в платок головой. Полина поцеловала ее.

— Ну, мама! Ты чего? Все хорошо, правда!

— Ты никогда не приезжала, чтоб в середине недели.

— А теперь приехала, — вмешалась Рожкина. — Замуж-то чего не идешь? — спросила она Полину. — Иль в Светополе женихов, что тут, один Сережка Беспалый?

Домой шли быстро.

— Сон какой я видела, — говорила мать. — Пирог, пироги. К новости-то пироги! А проснулась, гадаю, — какая ж новость? И вот ты... — Растерянно остановилась вдруг. — Мне ж дежурить нынче!

Полина взяла ее под руку.

— Где дежурить, мама?

— Да коров охраняем. Нынче черед мой. Вот ты, господи! Кабы знать... К Вере схожу... Вера — она...

Но Вера не могла сегодня. Пришлось-таки матери идти.

Полина легла уже, когда она вошла пожелать спокойной ночи. В тулупе, огромных валенках...

— До шести теперь? — тихо спросила Полина. На высокой кровати лежала она, на двух или трех матрасах.

Мать поцеловала ее в лоб. Потушив свет, тихо вышла.

Слышался негромкий храп: на печи спала квартирантка Люда. Городская девочка, приехала после бухгалтерских курсов по распределению.

На подвешенной к потолку керосиновой лампе с широкими металлическими лепестками лежал лунный блик. От лампы питался небольшой радиоприемничек. Случалось, движок не работал, в темноте и тишине сидела деревня, а отец слушал себе радио.

Где-то вырезал он заметку о чайном грибе — гриб и сейчас стоял в литровой банке на подоконнике, — хотел, чтобы она прочла, но Полина торопилась.

— Потом, папа, потом.

Он сидел на табуретке, сухонький, старый, в очках с треснутым стеклом, а в костлявой руке белел газетный клочок.

Недавно он попался ей на глаза. Она прочла его и раз, и другой, почти наизусть выучила. Ну и что? Все равно не узнает отец об этом. Никогда...

Где-то залаяла собака.

«Что же нет ее?» — тревожно подумала Полина. Мать говорила, что часика через полтора зайдет погреться.

Холодно там. Темно... Страшно. Такая огромная лопата была у нее сегодня...

Полина откинула одеяло. Широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Она не побоялась бы прожить и месяц, и два, как живет сейчас квартирантка Люда, но всегда так... Видеть одного Сережку Беспалого, сидеть все вечера дома... Полина зажмурилась. Нет! Она закончит курсы, поступит на телеграф. Где-то за тысячу километров незнакомая девушка будет выстукивать буквы, а она — читать их на белой ленточке. Как только люди не удивляются телеграммам!

После дежурства ее будет встречать он. И если грустный придет, она незаметно расспросит обо всем, узнает, какие у него неприятности, и так же незаметно успокоит его.

А мама? «Мама — с нами!» — быстро, чуть ли не вслух сказала Полина, прочь гоня нехорошую, недобрую, трусливую мысль.

Что же так долго нет ее? Она повернулась на бок. Луна ярко освещала портрет брата. Ему тут четырнадцать, а когда убили — шестнадцать было, но где же фотографироваться в войну?

Восемь мальчишек из Щеколдина расстреляли тогда немцы. Кто-то донес, что прятали оружие.

Когда-то он был для нее старшим братом, потом — ровесником, теперь — младшим...

А матери все нет!

Полина совсем сбросила одеяло. Жарко. Почему не стучат ходики? Нет, стучат, но очень тихо. Громче, громче, и вот уже с каким-то даже прозвоном бьет маятник.

Полина спрыгнула на пол. Теперь уже ей не жарко, ей холодно, ее знобит. Вот чулок, а другой... Другого нет. На босу ногу натянула ботик. Руки дрожали.

На улице было безветренно и морозно. Высоко в небе светила луна.

«Лишь бы ничего,— словно молила она кого-то о пощаде.— Лишь бы ничего...»

Бежала, придерживая рукой разлетающийся полушубок. Снег попал в ботик, ногу морозом обдало. «Лишь бы ничего!»

У коровника блестели, освещенные луной, весы. Днем их, кажется, не было... Или не заметила?

— Мама!

Ни звука в ответ. Что-то хрустнуло, вздохнула корова.

— Мама!

И опять никто не ответил ей. Да она и не ждала уже. Обратно побежала, проваливаясь в снег, падая...

Мать сидела в освещенной луной кухоньке. Полина бросилась к ней, уткнулась лицом в холодный тулуп.

— С тобой ничего... Я так рада! Прости меня, мама... Я вернусь. Я уволюсь и приеду. Я буду с тобой. Прости меня...

Быстро поцеловала ее в холодную морщинистую щеку. Вот такой же, вспомнила вдруг, была отцовская щека, когда она в последний раз целовала его на кладбище.

Задохнувшись, смотрела на мать высыхающими глазами. Платок сполз, мать тихо гладила ее волосы.

На печи слышался шорох. Люда! Полина выпрямилась.

— Пойдем в комнату! — И поднялась с коленок.

...Утро было солнечным. Мать возилась у печи, на лавке пенилось в ведре молоко.

— Во сколько же ты легла? — подозрительно спросила дочь.

— Посплю, посплю... Провожу вот и лягу. В два поедешь?

— В четыре.

В четыре?! Глаза матери радостно блеснули.

К завтраку испекла ржаные лепешки. Горячая корочка похрустывала на зубах. Вкусно... В оттаявшее окошко пробивалось солнце, и казалось, на улице тоже тепло.

Ночные страхи улетучились.

— Спасибо, мамусь, — сказала Полина, поднявшись из-за стола. Чмокнула ее в щеку — теплую, мягкую, такую домашнюю. Засучив рукава своей модной кофточки, стала мыть посуду. Мать гнала ее — хоть дома-то отдохни! — но она не слушала.

Убравшись, пошли на кладбище. Был лишь конец февраля, а солнце припекало по-весеннему. Снег осел и подтаивал.

МАРИЯ ИВАНОВНА БЕРЕЗКИНА

1895—1953

Мир праху твоему! —

прочла Полина и мысленно отняла год рождения от года смерти.

А вот и «почтовый ящик» — правильной формы белый камень, с продолговатым разрезом сверху. Когда-то сюда был вставлен крест.

В платке, штопаной телогрейке на худеньких плечах, мать казалась совсем старенькой. Вспомнилось вдруг, как она ставила вчера лопату к столбу, и все — мимо...

Отцовская могила была, как и все, занесена снегом. Мать сморкалась и хлюпала носом. Глаза дочери тоже наполнились слезами, но плакала она не по отцу и даже не из жалости к матери. Себя было жаль. Себя... Почему все считают ее такой взрослой? Почему не может она, как раньше, прижаться к матери, замереть под ее ласковой рукой? Почему надо все время думать о том, о чем так трудно думать? Почему она должна решать что-то, решать сама? Полина отвернулась, вытерла мизинцем слезы.

Домой шли быстро — пора было кормить Люду; за нее матери писали пятнадцать трудодней. А на трудодень давали сено, кукурузу, виноград и даже грецкие орехи.

У правления встретился бригадир Аморин с мерзлой веревкой на плече. В плаще и фуфайке, курточке...

— День добрый! — сказал он матери и на Полинину шапочку посмотрел. — У Михаила, что ли, была?

— Проведать ходили...

— А! А на наряд не вышла чего? Или дежурила нынче? Ты, что ли, дежурила?

— Кто ж это пойдет за меня? Дочка вон приехала, а — иди. У Марии печь завалилась, а Шурка Осипова нешто подменит? Да ты не забудь гляди, а то как давеча...

— Не забуду! — перебил Аморин и снова посмотрел на шапочку. — Завтра-то выйдешь? Я оттуда сейчас, и половины не вывезли. А у перегородки вот такой пирог...

Полина молча, с холодным лицом прошла вперед. Сколько помнит она Аморины, всегда как капуста одет. Из-под плаща — фуфайка, из-под фуфайки — курточка. И всегда чем-то недоволен. Всегда так бесцеремонно разглядывает ее.

Люды дома не было. Мать, не раздеваясь, погрела на самоваре руки и пошла Мотьку доить. Полина — за ней.

Овца и белый ягненок шарахнулись от нее в угол. Полина взяла ягненка на руки, прижалась щекой к нему. В ведро звонко ударило молоко.

— Причук, маленький...

Ягненок вытягивал мордочку и дрожал. Полина осторожно поставила его на тонкие ноги.

— Я заявление написала, — сказала она. — На квартиру. Как получу — ко мне переедешь.

Это был первый за много лет дом, который строила швейная фабрика, и квартиру ей, конечно, никто не даст, но комнату обещали.

— Куда уж мне, — спокойно отозвалась мать. — Я здесь.

— Почему? — в отчаянье сказала Полина. — Почему ты должна за кого-то? И так всю жизнь...

— Чего же за кого-то? За себя. На вон, — и протянула поверх перегородки банку молока с пузырящейся шапкой.

...В семь вечера Полина была дома.

— Приехала! — обрадовалась Катя. — А я думала — ждать или не ждать? Давай скорее!

Она была уже одета, но терпеливо ждала, пока подруга приведет себя в порядок.

Оркестр, когда вошли, играл что-то скучное. К Полине тотчас подскочили, но она отказала. С Катей танцевала. А ее уж караулил Вадим.

— Вы же говорили, что уедете...

Она холодно взглянула на него.

— Извиниться перед вами?

Он растерялся. Достал носовой платок, стал руки вытирать.

Вокруг бестолково галдели. Ударник с самодовольным лицом выбивал дробь. «А вы любопытный!» — игриво говорил женский голос.

Полина посмотрела на часы. Без пяти девять. Мать сейчас доит Мотьку.

— Я домой,— сказала она Кате.— Скучно что-то.

На улице их догнал Вадим.

— Что так рано? — говорил он, на ходу застегивая пальто.— Дети гуляют еще, а вы домой! И одни! Баба Яга заберет.

Катя прыснула, прикрыв ладонью рот. «Девочка»,— сказала про себя Полина — то ли с жалостью, то ли с завистью.

СТРЕЛА ЛЕТЯЩАЯ...

Душе настало пробужденье...

А. С. Пушкин

1

Он возвращался к началу учебного года в институт и, чтобы не опоздать на пароход, покинул лагерь на самом рассвете. Внизу его ожидала прохлада Байкала, лодка Максимова с бензиновым запахом и последняя уха из ночного улова, из тех омулей, которые, мягко волнуя паутину максимовских сетей, путались и засыпали в них сейчас в студеной глубине Заринуйского залива. С бодростью необычно рано проснувшегося человека он пустился в путь по влажной тропе, по скользким травам и мхам. Летний запас сил и радость девятнадцатилетнего тела переполняли его, и он все прибавлял и прибавлял шаг, прижимая к боку прыгающее и бьющее в лопатку ружье.

У Второго ручья он перекурил и долго со значением пытался вдуматься в рассветную тишину, долго старался настроиться на прощально-элегический лад, но вместо этого всё представлялись ему городские удовольствия: то ресторан большого парохода, то парикмахерская с ее запахами и никелевым блеском; то представлялось ему, как он валится на сиденье такси и шофер рад ему и понимает, что седок из тайги; то представлялся ему трамвай, если не будет такси, трамвайные, истомленные летней духотой пассажиры, с завистью и одобрением осматривающие всю его таежную, пропахшую кострами мужественную фигуру. И в голове складывались уже те небрежно-ласковые слова, которые он скажет одной хрупкой синеглазой ботаничке, когда подойдет, легко ступая по аллее из смешных домашних деревьев-тополей, к открытому окну, за которым перед девушкой на столе будет лежать гербарий, собранный под городом, широкополая крымская панама и книжечка очередного безумно любимого поэта. Еще мелькнула мысль о том, что наденет он новенькие джинсы и в джинсах будет ловок и строен, не то что сейчас, в робе. Он поймал себя

на этой мысли о джинсах, устыдился, потянул плечами на себя рюкзак, подхватил ружье и побежал вниз, стараясь простить и извинить себя.

Пока он шел и радовался, солнце поднялось, появился легкий ветерок по распадку, вершины кедров вдоль тропы прояснились, и, когда он взял последний тенигус и стал переваливать хребтик, в прорыве меж молодыми с синими шишками в черно-зеленых вершинах кедров открылось озеро...

Озеро открылось настезь — холодное, глянцево-тугое с мягкими розовыми полосами на восходе, с пунцовыми и чисто алыми вершинами гольцов на той стороне.

Озеро было как неожиданное счастливое событие. Он замер и долго стоял, запоминая и малиновые оттенки, бродившие в небе над озером в их невещественности и неясности, и ощущение чуть влажной и прохладной от тумана коры кедра под рукой, и странный звук озера — не то вулканический гул его, не то шелковый его шелест, не то замирающее в его огромной семисоткилометровой раковине, затерянное миллионы веков назад космическое эхо — и запоминая вместе с тем даже зуденье комара, из-за спины нагнавшего его, и легкость, и силу свою здесь, на вершине хребта.

2

Отсыревшие ичиги скользили по траве, а он, как на слаломной трассе, выкручивал виражи тропы и в темпе, в темпе бежал вниз по долгому, пологому спуску хребта, среди толстых стволов, среди зелено-красных брусничных полей, через сырые ослизлые валежины с отметинами конских копыт, бежал по дну зеленой лавы тайги.

Этот спуск был подъемом в начале мая, маршрут был первым, и тут он уже едва волок ноги, и ему казалось, что он с минуты на минуту упадет и сдохнет под тяжестью рюкзака, а гарь строго и угрожающе чернела на параллельном хребте, была как траурный плат, брошенный на снежные плечи гольца. Тогда он смотрел на эту гарь и понимал ее как знак конечности, предела жизни. Он смотрел на гарь и думал: гарь — это все. Совсем все. Пустота и черные угли стволов, торчащие в небо. Сейчас гарь не пугала, мягкая от росы зелень пышных таежных трав уже была в пятнах осенней желтизны. Он вспомнил слова своего профессора: «По сути дела, тайга есть сплош-

ная гарь в той или иной степени восстановления». Он улыбался, обдумывая эту жесткую, но надежную и прочную мысль, и верил, что когда-нибудь потом он будет так же мудр. Грудь легко работала, плечи не чувствовали лямок, ружье било в лопатку. Он шепнул себе: «Мудрость!» — и повторил со значением: «Мудрость...»

Внизу он перешел речку по валунам и по ее правому берегу без остановки шел и шел вниз до самого устья, где образовывался небольшой, с галькой на дне и с галькой по берегам, прозрачный, с движущейся струей течения посередине залив. По границе галечного берега он прошел еще три километра, все время чувствуя огромность и сырую холодность лениво движущегося тела Байкала, и, хоть острота ощущений уже притупилась, он все еще отмечал про себя и изменяющиеся оттенки утреннего неба, и скрип гальки под ногами, и густое дыхание массы холодной воды, отгонявшее комаров.

Мыс перерезала широкая, как дорога, тропа, тугие корни были обнажены, дерн выбит, а ветви по высоте и ширине вьючной лошади давно обрублены. Он легко, в ритме бежал, не запинаясь, не глядя под ноги, чувствуя через мягкую кожу ичигов еловые корни, чувствуя все вокруг до мелочей и оттенков, радуясь этой звериной тонкости своего чувства леса. Сейчас он шел по ельнику, по его сплошноте и темноте и, не думая, вернее — не задумываясь, знал, что идет по ельнику, он чувствовал это по количеству света, по сырости и мрачности, по резкому запаху елей, точно так же до этого он чувствовал кедровый запах, когда шел по нему, спускаясь с хребта, его подкупольный свет, его храмовую просторность и легкость, нежность кедрового аромата, смешанного с запахом трав.

Через мыс он вышел к следующему заливу и в центре голубовато-свинцовой дуги его увидел на границе галечной полосы дом Максимова. На заливе были видны пунктиры сетей, у дома на берегу лежали перевернутые лодки, а на воде у мостка стояли еще две острые и длинные лодки и большой пузатый и высокий баркас со стационарным мотором. Издалека бежал навстречу гостю максимовский кобель, он встретил студента, вильнул круглым пушистым хвостом и проводил его до самого крыльца, увешанного низкими янтарными вялеными омулями.

После жирной ухи и приятного разговора с Максимо-

вым студент сразу уснул, как только улегся на пахнущих рыбой гладких и теплых досках небольшой палубы баркаса. Спал он поверхностно и чутко, слыша дробь старого двигателя и шуршанье зеленоватой воды по бортам, тихий напев Максимова и запах махорочного дымка. Сквозь сон он даже хотел закурить, но так и не закурил.

В поселке он узнал, что единственный пароход, совершающий пассажирские рейсы, придет не сегодня вечером, как он рассчитывал и торопился, а только завтра утром в лучшем случае, а то и после полудня, потому что несколько дней Байкал штормило, и теперь пароход нагоняет расписание. Он сходил с Максимовым в магазин и помог ему отнести в баркас ящик водки и два ящика соли, потом они посидели у максимовской кумы, похлебали ленковой ухи и съели по большому печеному омулю, и за бутылкой Максимов определил студента на ночевку к куме, и кума согласилась и засмеялась чему-то.

— У меня уже есть гости нынче. Геологи привели ихнего начальника дочку. Тоже учиться едет, в Усть-Баргузин. На берег пошла на море любоваться, да все нету.

— Ты, кума, его на сеновал, а другую при себе держи, а то они прыткие, молодежь-то, — сказал Максимов, пережевывая резиновые омулевые глаза, которые он аккуратно собрал с противня, при этом он одобрительно посмотрел на студента.

Студент улыбнулся.

— Ишь, старый черт, о чем болтаешь! — весело сказала кума, подавая студенту чашку крепкого чая и протягивая ему горшочек со сливками. — Им еще учиться да учиться. Верно я говорю? Это мы хороводились, делать нам было нечего. Убрала, бывало, корову-то и на посиделки, орехи точить, с вами, с чертями, под гармошку петь. Он ведь на гармошке играл, кум-от. Какая наша молодость глупая была-а, — протянула она, довольно и весело поблескивая глазами.

— Да, прошло наше летечко! — сказал Максимов. — Руки в ревматизме, планочки не уцепишь. Теперь вы давайте. Ваша теперь время!

Старики дружелюбно поглядывали на студента, а тот смущенно уставился в горшочек со сливками, ему было приятно и весело, что с ним так ровно и тепло обходятся вовсе будто бы незнакомые люди.

Вечеру Максимов уехал, вырезал белую дугу по заливу и скрылся на своем баркасе за острым щетинистым мысом; перед этим он обошел всю родню и знакомых в поселке, разузнал, что и как на белом свете, и теперь, должно быть, успокоенный положением вещей и угощением кумы, сидел себе на корме баркаса и подпевал мотору. В общем у него шли дела, а студент остался один в поселке, где, кроме кумы Максимова, Максимихи, он и не знал никого.

Он сел на обдуваемом месте на самой косе, а пока шел по косе, разгребая и разламывая непривычной еще твердостью башмаков гальку под ногами, впал в лирическое настроение и теперь сидел один, чувствуя себя то ли всем чужим, то ли всеми покинутым. Чувство было очень приятное, а комаров относил ветер, так что сидеть было славно и удобно. Небольшая волна нежно поскрипывала возле ног, за спиной стоял освещенный закатным солнцем лес, а перед глазами раскинулось безбрежное озеро.

Потом он перелистал записную книжку с телефонами, стал опять планировать городские радости, а потом вовсе тяжело вздохнул и поднялся.

За настроением он как-то не заметил, что солнце уже очень низко над горбом северо-западного мыса, что стало прохладнее, что куда-то стали тянуть по самому берегу сероватые с розовым закатным оттенком на сабельно острых крыльях чайки.

Когда он шел к поселку, он поймал себя на том, что как бы видит себя со стороны, какими-то чужими глазами, как бы глазами той неизвестной девушки, которую привели к Максимихе геологи, смотрит ее воображаемыми глазами и видит себя такого одинокого, крупно шагающего по самому берегу озера...

Ему стало неловко, он свернул на тропу и вошел в еловый лес, а потом сошел и с тропы и стал проламываться по чаще, разгребая руками еловые лапы, через духоту и комариные укусы; под башмаками кожанно скрипели, и мялись, и скользили упругие кроваво-красные, бурые и салатно-зеленые листья бадана. В лесу было уже темно и скрытно.

Возле поселка пошли свежие поленницы, коровьи и человечьи тропинки, и он уже перестал видеть себя со стороны, и можно было свернуть напрямик к поселку, что

он и сделал, чувствуя с удовлетворением успехи самоусовершенствования.

Стадо спускалось по глинистому косогору среди елового молодняка. Подсохшая за день грязь темнела там, где прошли, скользя, коровьи копыта.

Стадо пасли на широком лугу, на мысу, где ветер сдувал мошку, и коровы могли спокойно щипать траву и лежать на прохладе, пережевывая жвачку, могли пить чистую байкальскую воду, забредая в мокрую гальку, скользкую и круглую в устье речки. Коровы паслись, а хозяин стада — длинный и тяжелый бык со спиленными рогами — стоял у самого края воды и не пил, а баловался, время от времени касаясь квадратным влажным носом воды, потом вода стекала и капала с его губ и языка. Стоял он до бесконечности долго, только изредка опуская тяжелую голову к воде, стоял и целыми днями смотрел на горизонт.

Стадо приближалось тесно и плотно согнанным, пастух умел управлять стадом, и у него была маленькая оленегонная лайка, хорошо знавшая свое дело. Черные и красные, черно-белые и красно-белые, с рогами красивыми и рогами корявыми, однорогие и вовсе комолые коровы пылили сотней копыт, обходили лужи, втекали всем стадом в улицу. Угловатые коровы косо ставили негнущиеся задние ноги. Сытое теплое стадо двигалось ровно и спокойно, и только вдруг шарахалась в гущу стада от собаки крайняя корова, или бык, выделявшийся своей величиной в центре стада, играя, поднимался красно-белой огромной тушей и придавливал какую-нибудь корову рядом с собой, и она вырывалась из-под него, в стаде образовывалось движение, а бык протискивался за ней среди остальных и все старался положить свою огромную голову со спиленными рогами на ее угластую спину, чтобы опять вскинуть на нее свои копыта и проехать так несколько шагов.

Стадо вошло в улицу и стало расходиться, большая часть повернула направо, по отвилку дороги к леспромхозу, а остальные пошли по дворам в поселке. Хозяева поджидали их и открывали им ворота и калитки. Мальчишка в красной рубашке бросил велосипед на зеленую траву возле дома и долго гонялся за вредной коровой, она чего-то не шла домой, останавливалась посреди улицы и смотрела белыми глупыми глазами на мальчишку, а потом поднимала заляпанный хвост и кидалась назад, мотая выменем, скользя по грязи.

Студент шел за стадом, рассматривая людей, и собак, и коров, оживленных рабочим часом, с твердым намерением завалиться на сеновал у максимовской кумы да и заснуть, чтобы скорее утро и пароход, потому что все силы, все запасы радости и запасы предвкушения радостей уже высвободились. Он прошел через пустую лесопилку, мимо штабелей неошкуренных бревен — бревна были мокрые и пахли рыбой, мимо навесов, забитых пиленным лесом — новым и стерильно чистым, казавшимся теплым, как парное молоко; под ногами качался толстый слой опилок, перемешанных с землей и песком. Опилки под ногами отдавали спиртом и гниением, а пирамиды пиленого леса пахли чистотой и смолой.

4

— Ночью, поди, холодно будет,— добродушно уговаривала студента Максимиха, заставляя тащить на сеновал необъятную постель, и сама еще несла большую, с кружевами подушку.

— У меня постели на всю деревню хватило бы, да только спать на ней некому. Старик был, дети были, и вот нету никого.— Максимиха вдруг махнула рукой и, подняв фартук к глазам, пошла от сеновала в дом, что-то про себя пришепечывая.

Студент сидел на сеновале на устроенной постели и слушал деревенский, непривычный после тайги гомон, а когда прошла по двору в стайку Максимиха с подойником, он вдруг почувствовал слабое движение сердца в груди, почувствовал себя виноватым перед этой доброй теткой за что-то тонкое и неуловимое, что происходило из поразительной и ему непостижимой разницы между ним — молодым студентом, который видит себя иногда со стороны крупно шагающим в выдуманном, сладком одиночестве по берегу великолепного, неизъяснимо прекрасного, сказочного озера, и ею, толстой доброй теткой в сапогах, которая живет одна в огромном, нелепом для нее одной доме, где она могла бы постелить постель на всю деревню и где ей некому стелить постель, теткой, которую никто не видит, когда она идет в стайку к своей корове вечером в сумерки и утром на рассвете... Он сунулся головой в большую подушку и лежал так, пытаясь сосредоточиться на этой новой для него боли, пришедшей впервые в жизни.

Лежал он долго, как ему показалось, и еще показалось ему, что где-то близко то забытое ощущение, после которого слезы, сердце тукало горячо, торопливо. Он скатился с сеновала, испытывая жгучую потребность сделать что-то такое, такое для этой тетки...

Взлетая на крыльцо особенно ловким, точным прыжком, он чувствовал себя счастливым, а шагнул в темноватую просторную кухню, уже стыдясь своего восторга, не самого восторга, а скорее детскости и легкости его разрешения. И быстрее, чем привыкли глаза к керосиновому освещению кухни, исчезли все эти чувства, как будто их вовсе не было, будто блеснула и упала, сорвавшись с крючка в воду, серебряная рыба.

Посреди кухни стояла высокая красивая девушка и пеленала что-то в белое полотенце. Девушка в упор смотрела на студента. Она пеленала горячую булку хлеба.

— Рано, милый, рано! Еще мы картошек не поставили! — крикнула на него совсем веселая Максимиха. — Вишь, две хозяйки одного мужика накормить не соберут. А каково нам, бабам, если мужиков полон дом?

— Меня зовут Майя! — сказала девушка.

Глаза, улыбавшиеся ему, казались огромными и таинственными, такими их делали тени. Светила в кухне лампа, стоящая на пустом столе.

— Я, может, что-нибудь помогу? Дров наколоть... — проямлил студент и окончательно потерялся.

— Ну и помоги, пойди вот с ней на деревню. Погуляете и придете, и все готово будет. А то она мне под руки суется, шагу не шагнешь.

— Вы знаете, я хлеб золой засыпала, я нечаянно.

Студент совсем смутился и сказал:

— Пожалуйста, мне не трудно. Если надо...

— Ах, какой вы самоотверженный! — засмеялась Майя.

А в сени мимо него прошла она в такой дивной близости, что он даже посторонился, ощутив ее тепло. И в ней уже не было той смелости, с которой назвала она свое имя и с которой засмеялась минуту назад. Присмирившая, вблизи она оказалась совсем девочкой.

5

На крыльце были уже сумерки. Светло было только над озером, в просторном небе над ним.

Они неловко помолчали на крыльце. Она спустилась с

крыльца и пошла по траве рядом с тропинкой к калитке. Студент вдруг подумал, что целое лето он не видел, как ходят юные и прекрасные девушки. Он смотрел, как она ставит ноги в легких тонких сапогах, как покачивается. На сапогах был странный узор. Она обернулась и увидела, что он смотрит на ее ноги.

— У вас странные сапоги. Сапожки. С каким-то рисунком. У нас таких не носят.

— Это татарский орнамент, — сказала Майя и посмотрела на свои ноги, как будто впервые видела их.

И студент тоже стал смотреть, теряясь от собственной смелости.

— Так вы татарка?

— Нет, но я всю жизнь прожила там. А в Сибири мы второй год с папой. Он геолог.

— Я думал, вы татарка.

— А какое это имеет значение?

— Нет, я просто думал, что вы татарка.

— Лучше пойдемте к озеру, чем здесь стоять. Я там камень такой нашла, как стол.

Она пошла боком к калитке и при этом смотрела на студента, чтобы он не вздумал еще таращить глаза на ее ноги. Он понял это и соскочил с крыльца, опередил ее и открыл и придержал калитку, пока Майя прошла мимо него, независимо глядя в сторону, и вышел следом за ней на улицу, и они пошли молча через улицу вниз, к берегу.

На берегу было холодно. Вода была серой и непрозрачной. Издалека к поселку двигалась, стуча мотором, черная лодка.

— Рыбаки. Сети ставили, — сказал студент. — Я с Еловки на баркасе приехал сегодня, — сказал он, — я прибежал с Гольца, это двадцать пять километров, и потом меня с Еловки Максимов привез. Я хотел поспеть к пароходу.

— Я тоже хотела успеть, — сказала она.

— Я ужасно рад, что он опаздывает, — сказал студент, и сердце у него тревожно замерло.

Она ничего не ответила, повернулась и пошла вдоль берега. Навстречу тянуло холодом. Он шел за ней, хрустел галькой и готовился, решался сказать что-нибудь про стремительную любовь с первого взгляда. Он так и решил сказать про любовь с первого взгляда. «Спрошу ее, верит она в любовь с первого взгляда или не верит», — решил он. Но вышло что-то совсем другое, он начал говорить о том, что одинок в этом прекрасном мире, ах как

одинок, и давно уже не верит в счастье. И даже шаги его стали нерешительными и безнадежными, и галька под ногами стала хрустеть одиноко и безнадежно. И когда он остановился, ожидая ее слов, она согласилась с его безнадежностью и одиночеством, но сказала, что у нее все-таки есть надежда, хотя бы на случайное, совсем неожиданное счастье. Возможно, она полюбит кого-нибудь неожиданно, а он случайно полюбит ее? Ведь это все-таки может случиться? Но она конечно, не очень верит в то, что это случится именно с ней.

Они перебивали друг друга, они так быстро соглашались друг с другом, что даже испугались оба, и примолкли, и долго ходили по берегу молча, не веря друг другу и каждый себе.

У озера стало слишком холодно, и они пошли наверх, на деревенскую улицу, где уже не было ни одного огонька и не лаяли собаки. Он мучительно решал, что если не поцелует ее до калитки, то жить ему больше ни к чему. Пусть она перестанет разговаривать с ним, пусть она рассердится, но он поцелует, хотя бы попытается. «Никогда не прощу себе», — думал он и слышал, что руки у него ватные и поднять их невозможно.

— У меня сапоги намокли, — сказала Майя, — я иду по траве, иду, а она мокрая. Это роса.

— Вот здесь тропинка. Я иду по тропинке, а ты! — Он протянул ей руку, и она взяла ее и сжала в своей.

Она шла впереди, его рука лежала на ее плече, и он не давал ей сбиться с тропы, которую он видел в темноте, потому что глаза у него были как у кошки. И на каждом шагу он говорил себе: сейчас, вот сейчас взять ее за плечи — и все. И все. Он согласен, кто там заведует, чтобы ему десять лет каких угодно несчастий, мук, только бы поцеловать эту девушку, осторожно и напряженно ступающую лишь на шаг впереди него.

Они подошли к калитке, и у соседей залаяла собака. Она лаяла от скуки и скоро замолкла.

Он увидел на небе необыкновенное количество звезд без луны. Она тоже стала смотреть на эти звезды. Они смотрели на звезды без луны, а потом вдруг начали целоваться, сжимая зубы, мучая друг друга нерешительностью и незнанием.

— Ты целовалась когда-нибудь?

— Да, — сказала она и взяла свою руку из его руки.

— И я тоже, но не так. А ты давно?.. Я хотел спросить, ты до сих пор... с этим, с кем целовалась?

— Нет, это было так давно, в мае еще. На выпускном вечере. Нет, нет. Нет! — сказала она еще раз и отворила калитку и пошла к крыльцу, нагибая голову.

Он догнал ее, поцеловал еще, на этот раз нашел ее рот и как следует прижался к нему губами. От этого она вдруг ослабела в его руках. Ему было неудобно держать ее почти на весу, и он прижал ее к себе и почувствовал, как поднялись ее руки и сомкнулись у него на шее. Он прижимал ее все сильнее. Потом она забилась в его руках, стала вертеть головой, пытаясь вырваться.

— Пусти, — сказала она, — ну пусти меня, — она уперлась ему в плечо и, изогнувшись, выскользнула из его рук и отступила на шаг. Она поправляла волосы, и ее дыхание касалось его лица. — Уже поздно, — сказала она и вошла на крыльцо.

Через темные сени они прошли в кухню, где на столе горела красная лампа и было жарко от протопленной печи. Она подошла к столу и, глянув на него, сказала, опомнившись, радостно-покаянным шепотом:

— Ох как мы поздно!

— У тебя кровь, вот здесь, на губе, вот здесь, — он наклонился и нежно поцеловал там, где была кровь.

— Это ты, — стыдливо улыбнулась она. — Накинулся на меня.

В тишине вдруг стало слышно дыхание Максимихи.

— Я сейчас посмотрю. — Майя погрозила ему пальцем и пошла через горницу к комнате хозяйки, она шла по косому пятну света, падавшему от лампы через дверь в горницу, и остановилась, где свет кончился.

6

Не дождалась Максимиха своей радости посидеть с гостями за ужином, так и легла, чуть перехватив чего-то без аппетита, оставила им на столе лампу и ужин, а сама легла, да, намаявшись за день, настряпав хлеба на всю экспедицию, заснула сразу, а обида прошла, пока еще за столом одна сидела и ждала и, не дождавшись, пошла к себе в комнату и шепнула перед сном:

— На что я им, старуха, молодые ведь. Господи, прости деток... — Да и заснула в минуту.

От души постаралась Максимиха.

Посреди стола сиял большой семейный самовар с пузатым, в малиновых цветах по бокам заварником. Заварник, как поженились, привез ее старик из Улан-Удэ и сказал: вот, мол, девка, будет у нашего самовара приказчик. Так и звался в хорошие минуты заварник приказчиком. Не дождался гостей самовар, остыл. На овальном блюде лежали копченые омуля, обложенные вокруг молодой восковой картошкой в подплывшем на тепле прозрачном омулевом жиру, золотыми боками проглядывали омуля из-под лука и укропа, посыпанного сверху для красоты. В баночках и горшочках были тертая редька и розово-белая редиска со сметаной, и твердый маслянистый творог, и варенец под телесного цвета пенкой, и для чая сливки в большой толстой кружке, сделанной в виде пенька с сучками, а на полотенце с новыми складками лежала теплая шероховатая булка хлеба.

— Ну что ж, давай ужинать? Ведь это для нас... Хочешь, я переоденусь? Чтобы не так просто? За такой красивый стол!

И студент остался в темноте, а Майя ушла, и унесла лампу, и затворила дверью свет из горницы, и он видел, как пробивается в щели свет лампы и по потолку, где перегородки не доставали, двигалась освещенная полоса. Он слышал, как она снимала свитер и брюки и потом торопливо надевала что-то другое, как эта новая одежда тоже шуршала, облекая ее тело, слышал, как она переступала босыми ногами по крашеному полу. Свет в зале заколебался и сдвинулся. Слышно было, как полетели искры, — она причесывалась; наконец свет опять двинулся, и она открыла дверь и вышла, неся высокую керосиновую лампу, освещенная ею, недоступно красивая и незнакомая.

— Давай ужинать, только тихо-тихо...

Она поставила лампу на стол, далеко протянувшись над всей его красотой, и прошла босыми ногами к ширме, где был умывальник.

Она была в ярком красном сарафане с открытой спиной и плечами, с пышной хрустящей юбкой. Умывальник погромыхивал медным языком. Умывалась она какими-то мягкими, округлыми движениями, неслышно.

Она встретила его изумленный, горящий взгляд и сразу повернулась к нему спиной, спрятав лицо в тонкое суровое полотенце. Над белыми ногами вспыхнула с едва слышным звуком скользящего шелка красная юбка. Осторожно, будто боясь нарушить какое-то равновесие, она закинула

полотенце на корявый косулий рог над умывальником. Опустив глаза, отодвинулась в тень и сказала:

— Ты тоже мой руки и давай садиться.

Есть он не мог, не мог отломить кусок омуля и не мог прожевать его и проглотить. Она тоже ела мало, ковыряла омуля вилкой, пила холодный чай и не смотрела на студента.

Стыдясь непривычно открытых колен, она сказала, одергивая и укладывая подол сарафана и сжимая его коленами:

— Не загорала совсем. Столько комаров.

Он отвел глаза.

Потом она бессильно уронила вилку и сказала:

— Как все приготовлено! Она так старалась, должно быть. Ох, как нехорошо получилось! Ты ее не знал раньше, эту... тетушку? — Ей было неловко от этого слова «тетушка».

— Нет, я ее первый раз видел сегодня. Тетка отличная, хлопотунья.

— А как звать ее?

— Не знаю. Кума Максимиха.

— Какая она тебе кума?

— Это она Максимову кума.

— Кума — это какая-то дальняя родственница? Да? Ты хоть Максимова знаешь?

— Немного. Мы у него лодку брали, когда заходили в горы. Его хорошо знает наш начальник.

Он выпил чашку чая и встал.

— Завтра придет пароход, и все... — сказал он, пугаясь этого.

Она тоже встала. Он подошел к ней.

— Нет, — сказала она, а потом прошла впереди студента в сени. Он вышел следом и закрыл дверь в избу.

Максимиха, ложась, оставила эту дверь открытой, потому что протопленная печь дышала жаром.

В сенях они начали целоваться, и студент сказал:

— Пойдем.

— Нет.

— Ну пойдем.

— Нет, нет, это не надо, — но она не могла расстаться с ним и, пугаясь самой себя, пошла впереди него. — Я никогда не была такой.

— Значит, ты меня любишь.

— Значит, — согласилась она.

— Я все это время чего-то ждал, не думал об этом и ждал.

— И я тоже знала,— заторопилась она.

— Это значит, мы теперь встретились.

— Значит,— согласилась она.

Во дворе был низкий белесый туман. Над туманом стояли четкие силуэты стайки и высокого, с острыми углами сеновала. Она слабо отвечала на его поцелуи, страшась предстоящего, и кожа на ее плечах стала шершавой от холода.

Она лежала в темноте, уже успев завернуться в толстое ватное одеяло, и он обнял ее в этом одеяле и лег рядом, медленно изменяя положение рук и ног, и вытянулся рядом с ней молча.

В стайке колыхнулось коровье ботало: бом... бом, отдельно, будто корова повернула голову, чтобы внимательно прислушаться к движению на сеновале. Слышно было, как она дышит влажными ноздрями.

Студент еще не понимал, что он должен делать, что они должны делать дальше, он повернулся, зашумев сеном, потянулся к Майе и приник губами к ее губам, а она слабо отстранила его и вывернулась куда-то в темноту из-под одеяла. Что-то шуршало, гладкое и скользящее, и потом она тихо вернулась к нему, стала видна, белая, не дыша обняла его, уже устремившегося к ней, и послушно подалась к нему, острия ее грудей коснулись его рубашки, и он почувствовал тепло прижавшегося тела, и все это было уже неслышно, только нежно и горячо; они оба думали, что так должно быть и так будет, раз они любят друг друга.

Он что-то сказал ей об этом, и она ответила:

— Я тебя люблю.— Она хотела сказать еще, что завтра придет пароход, ей хотелось еще заплакать, но вместо этого она еще раз повторила горячо и отчаянно:— Я тебя люблю, люблю!

Он тоже хотел что-то сказать, но у него звякнула пряжка на ремне, и он замер на полуслове, а потом заторопился и шумел, шумел сеном, пока она его ждала, глядя в темноту.

Он что-то угадывал знакомое в своих и ее движениях, знакомое по каким-то неясным, расплывчатым снам. Он опять попытался найти какие-нибудь слова, он хотел сказать ей что-то на ухо, утонув лицом в ее волосах; она нашла ртом его губы и стала быстро, быстро целовать его, и каждое движение за горячечной неловкостью, каждое движение ее и

его было исполнено какого-то древнего, древнее человека, закона, и смысла, и стремления, было известно и неизвестно им обоим, как известны и неизвестны движения танца журавлям, танцующим первую весну.

7

А утром, одурев от жары и духоты избы, наскоро перекрестившись на тусклую фольгу образов в темном углу, вышла на крыльцо Максимиха и увидела, как идет по своему двору дальняя соседка Жучиха с подойником тяжелым — руку оттопырила, в ледник бежит с молоком, уже подоила. Сунулась Максимиха в кладовую, сняла марлю с чистого серебряного подойника да на улицу было, да вспомнила, что не одна нынче в доме, а с гостями. Быстро вернулась в дом и глянула в зальце, где должна была спать гостя, и увидела пустую лежанку и разобранный рюкзак, а посреди зальца лежали на полу тонкие сапожки с узорами.

— Ай да парень! — ахнула Максимиха. — Вот удалый так удалый!

Растерянно и виновато засуетилась Максимиха, не зная, верить ли, не верить ли. Перебежала двор, поставила подойник возле лестницы, прислушалась, сдерживая одышку, стала подниматься вверх, видны стали белые нижние юбки ее над старыми крепкими сапогами. Затаив дыхание, глянула Максимиха в сеновал — так и есть! Под ее толстым цветастым одеялом на огромной перине, на огромной с кружевными оборками подушке, в полосах от солнца, бившего в щели сеновала с востока, спали, свободно раскинувшись, далеко друг от друга, ее гости.

— Ой, грех-то какой, господи! Прости ты меня старую, не углядела, — прошептала Максимиха.

— Ишь, девки-то пошли, ну чисто козы! — говорила Максимиха, отталкивая корову к стене. Максимиха поставила подойник в ноги корове и ловко, привычно огладила полное теплое коровье вымя. Корова косила добрым глазом на хозяйку и стояла смирно и довольна.

«И комары нипочем», — думала Максимиха. Стояли в ее глазах плечи парня, искушенные комарами, рассыпанные по подушке волосы девушки и разбросанная вокруг спящих по сену одежда, с тем множеством кружевного шелка женского, которого никогда не нашивала сама Максимиха, всю жизнь

проходившая в грубых рубахах да вязаных шерстяных чулках.

Подойв, Максимиха отлила молока в специальную красивую кринку для гостей, остальное молоко снесла в ледник и пошла открыть курятник, закрываемый на ночь от колонка. Первым выскочил петух, встрепанно побежал, побежал, держа когтистыми лапами и собираясь вскочить куда-нибудь повыше да запеть, и Максимихе мелькнуло, что ведь на сеновал по привычке отправится петух горло драть да перебудит, и, недолго мешкая, убралась в дом и принялась завтрак собирать: яичницу, да простоквашу, да варенец, да молоко.

8

В десятом часу с озера, из-за мыса, донесся низкий бас парохода, а потом и сам он вошел в синюю бухту, работая машиной на холостом ходу, движимый только своей тяжело-весной инерцией. Загромыхали и рухнули в брызгах якоря. Четырехвесельный бот опустился на таях, и по трапу полезли мальчишки-матросы, полезли с мешками и чемоданами пассажиры. А с берега уже шли моторки — так было заведено, надо было побывать на пароходе, раз в неделю летом заходит он, и надо побывать на нем — наскоро выпить в ресторане, купить городских сластей, бабам купить чего придется в лавочке, запастись свежими папиросами да и вообще побывать в шумном мире толкотни и танцевальной музыки.

— Не позавтракавши я и не отпущу,— уговаривала Максимиха смущавшихся гостей,— без вас не уйдет. Пока народ сойдет, пока товар выгрузят для магазина. Ешьте, пейте, порадуйте старуху. В городе, говорят, молоко, што ли, из порошка делают, не знаю, правда али нет!

Ну чего надулась как мышь на крупу? Ешь яишню-то, а то она тебя съест! Да и ты, кавалер! Ну хоть омулька возьмите на дорогу. На пароходе пустяки едят, а вам и будет максимовского копчения рыбка. Мне кум-то возит, возит, а сколько я ее могу съесть? Нельзя, чтобы рыба пропадала.

Максимиха рада была, что гости так смущаются, и думала о них светло и хорошо, как о родных бы детях, думала, сколько бы детей они могли нарожать, здоровые-то такие, внуков, и отгоняла нехорошую бабью мысль, потому что думать про них плохо ей не хотелось.

Выходя, пытался студент оттеснить Максимиху в угол, к порогу, начинал что-то толковать о деньгах, но Максимиха решительно завернула его в двери, и духу у него не хватило на деньгах настаивать.

Майя шла за студентом, несла маленький чемоданчик, а у него на каждом плече было по рюкзаку, они спустились от дома через дорогу, и Майя шла все медленнее и потом вдруг поставила чемоданчик, и повернулась, и побежала вверх через улицу, по траве к толстой тетке, стоявшей у калитки. Студент видел, как двинулась навстречу Майе Максимиха, как они обнялись и поцеловались, и чувство неловкости и стыда перед Максимихой, которое не давало ему покоя все утро, сразу сменилось ощущением радостной горечи, чувством потери и благодарности. Так же быстро Майя вернулась и схватила чемоданчик, и они пошли, не оборачиваясь, вниз, где, завидев пассажиров, махали им, чтобы быстрее пошевеливались, мальчишки-матросы из четырехвесельного бота.

Бот стоял на гальке метрах в трех от берега. Волна заносила его корму, молоденький матрос упирался веслом. Весло косо ломалось в воде и зарывалось в гальку. Второй матрос в резиновых сапогах уже лез по воде за рюкзаками и чемоданом. Потом он снова побрел к берегу, собираясь подставить спину и перенести Майю на бот. Майя поняла и, вспыхнув, глянула на студента. Тот, ни минуты не раздумывая, схватил ее на руки и, разъезжаясь в гальке, шагнул в озеро, с восторгом чувствуя леденящую воду, и легкость девушки, и руки ее на своей шее, и ее смущение, и железную силу своих собственных рук.

Матросы плюхали веслами в воду и с удивлением смотрели на чуждого парня, с которого текла вода на лавку. Студент был счастлив, что в потемневших, набрякших туристских башмаках у него полно студеной байкальской воды. Он слышал, как вода в башмаках нагревалась. Майя смотрела на приближающийся пароход и пыталась достать горсть воды из зеленоватой с пеной волны перед носом бота.

Студент требовал отдельную каюту, а в кассе сказали, что нету вообще никаких мест и им придется ехать на палубе. Но потом над ним сжалился усатый кассир и посоветовал обратиться в каюту к ревизору; если тот разрешит, то кассир продаст эти билеты, только это бесполезно. Миловидная женщина-ревизор удивленно подняла

брови на всунувшегося в ее каюту студента и собиралась уже разделаться с нахалом, но смягчилась, увидев за его спиной девушку. А потом, когда Майя сказала студенту, нелепо стоявшему посреди каюты в мокрых штанах: «Переоденься, простудишься!» — ревизорша совершенно все поняла и ушла к капитану по важному делу и надолго.

— Только не оставляйте каюту незапертой, — сказала ревизорша, — у меня здесь много денег в сумке и различные важные документы.

9

Весь день шел пароход в Усть-Баргузин. На палубе сидели и бродили толпы народа: деревенские пассажиры с узлами, и сумками, и корзинами, и чемоданами, расхристаные, с гитарами туристы; туристы все время пели свои туристские песни; отдельно, с водкой и огурцами и помидорами, сидела плотничья бригада; матросы делали всякую палубную работу и перегоняли пассажиров с места на место; на мостике картинно блестел козырьком и биноклем свободный от вахты штурман.

Ревизорша поднялась к нему, и потом ходила с ним по пароходу, и флиртовала с ним немного на кормовой палубе, и горько щурилась на дальний берег с синей тайгой на острых мысах, задумчиво лежала грудью на холодном черном планшире фальшборта и следила за острием все время возникающей и все время опадающей волны перед тяжелым, с рядами клепок, черным форштевнем. Острие волны опадало и возникало, иногда волна хлопала сбоку, и брызги влетали через якорь в клюз. Слышно было холод от разбивавшихся волн. Ревизорша говорила загадочные вещи штурману, а тот нервно теребил ремешок ненужного бинокля. Потом, грустно вздохнув, ревизорша попросила бинокль — посмотреть.

Глухо гудели стальные пластины палубы под ногами, стучали и размеренно работали в недрах парохода, сотрясая его, масляные коленчатые мускулы. Внутренности машины дышали угарным заводским теплом, а наверху, над пароходом, над всем озером и над лесами на береговых хребтах, наполненная легкими тенями облаков и невыразимой, сквозящей голубизной, волновалась легко и невесомо сфера неба.

В открытый иллюминатор в ревизорскую каюту с палубы донесся чей-то голос. Кто-то увидел пожар на берегу.

Потом раздались еще голоса. Горело далеко на северо-западе. Где-то горела тайга, гудело пламя, и с воем и свистом вспыхивали мгновенными факелами кроны сухих, выстоявшихся за лето кедров, елей и сосен, гибли птицы, звери, падали обугленные стволы. А отсюда, с палубы парохода, видно было только черно-золотое облако с синими краями. Дым в безветрии стоял над берегом, над пожаром, запах гари не долетал до середины озера, где пролагал, уминая нефритовую воду, свой путь старый тяжелый пароход...

На палубе в голосах постепенно возник оттенок тревоги: тревожились и плотники, и матросы, бабы с узлами сердечно охали, интересовались даже туристы и ненадолго прекратили гитарное бренчанье, но потом туристы снова запели. Барабанно гремели шаги на потолке; в глубине, под каютой содрогалась старым, расхлябанным сердцем паровая машина; в коридорах, по трапам ходили и разговаривали люди; где-то рядом настырно, болезненно гнусил ребенок; в иллюминатор вливался прохладный, с запахом байкальской воды воздух, а на далеком берегу горело сорок квадратных километров тайги, и штурман в доказательство того, что горит именно сорок километров, убедительно говорил ревизорше:

— Ну мне же лучше видно в бинокль, а глазомер у меня волчий!

10

И только пришел пароход в Усть-Баргузин, где всегда равномерно и утомительно колышется мертвая зыбь, как тотчас оказался рядом замызганный буксир. Рядом со старым, но все-таки пассажирским пароходом он встал как неумолимый будничный день возле праздника.

Студент и Майя вышли из каюты и стали пробираться к выходу, не замечая вокруг ничего, что не одобряло бы их счастья или не соответствовало ему. Они не замечали маслянистого, тяжелого тепла в проходе возле шахты в машину, где в открытой двери, под решетками трапа, что-то работали в жаре кочегары; не замечали бесчисленных узлов, и мешков, и связанных куриц с закатившимися глазами, и корзин, и чемоданов, и поросят в мешках; и не обратили внимания, что первыми на буксир двинулись двое санитаров с носилками, на которых лежал кто-то тяжело больной, привезенный из таежной деревни в Баргузин, чтобы или умереть, или ненадолго подлечиться; и не заметили некрасивое старое лицо женщины, измучившейся с беспре-

рывно пьяным от самого Нижне-Ангарска мужем; не заметили ни давки толпы, торопившейся на буксир, ни ее общего, утомленного плаванием лица; а и то, что мельком увидели они — какие-то мослатые узлы машины в желтом сале, кочегара, выглянувшего из-за железной решетки, — говорило им, как и синий свет байкальского простора в двери на палубу, об одном и том же — об их любви.

На выходе их сдавила и прижала друг к другу толпа, и они посмотрели друг другу в глаза.

Буксир поднимался на зыби кормой, терся кранцами о высокий борт парохода, она спрыгнула на буксир, и улыбнулась, и повернулась ему навстречу, уже были слезы в глазах, она обнимала его, а он бросил рюкзак и чемоданчик и обнял ее тоже, и чьи-то узлы били в ноги. Потом студент пристроил рюкзак и чемодан Майи, его толкали, а он растерянно улыбался, и извинялся, и подумал, что Майе будет хорошо сидеть здесь, где он все устроил. А пришел он в себя, когда штурман, заведовавший посадкой, сказал в мегафон над самыми их головами:

— Повторяю, буксир отходит, второго рейса на берег не будет, кто не пассажир, вернитесь на буксир!

— Кто не пассажир, вернитесь на буксир! — улыбнулся студент, и тут до него дошло сразу, что буксир действительно сейчас отходит, а он на буксире не поедет на берег, и они больше не успеют сказать что-то еще, кроме того, что говорили раньше, еще не думая о том, что вот так, вдруг расстанутся.

Они улыбались друг другу, и она, слабо отмахнувшись от всех мыслей, не обращая внимания на окружающих, на толчею и суету посадки, охватила руками его косматую рыжую голову и припала к нему губами, чувствуя его редкую щетину на самом подбородке, он целовал ее торопливо и как попало, сжимал ее больно и неуклюже, чувствуя тревогу, чувствуя ее в своих руках среди толчеи и шума на качающемся на мертвой зыби замызганном буксире. Он хотел, чтобы у нее не было страха и тревоги, чтобы ей было хорошо и удобно, он вдруг отпустил ее и стал перекладывать ее чемодан и рюкзак, сдвинул зачем-то тяжелую бухту ржавого троса, думая о том, как она будет сидеть тут, пока буксир будет колыхаться к берегу, а она испуганно тянула его за руку вверх, и снова обняла, и снова приникла к нему, щеки у нее были совсем мокрыми от слез.

— Хватит целоваться! — крикнул в мегафон штурман с волчьим глазомером и засмеялся.

Студент глупо-весело глянул на него вверх и ловко прыгнул на плетеный кранец буксира и оттуда — на трап парохода, обернулся, держась за холодную цепь, и, перешагивая через что-то, стал забираться на пароход. Она стояла внизу в толпе, прикрыв локтем лицо.

А за время, пока студент вертелся на трапе, между пароходом и качавшейся вразмашку кормой буксира оказалось уже несколько метров свободно движущейся воды...

Кто-то, управляющий буксиром, круто завернул его за высокий нос парохода и направил к берегу.

Бесконечно долго, а наверное, дня два, раскачиваясь в шторме, шел старый пароход к порту Байкал. Студент, помнится, все спал и спал, а просыпался все почему-то ночью и пытался утешить себя тем, что тайга — это сплошная гарь в той или иной степени восстановления, и не мог утешиться, сознавая, что наступила новая жизнь, что она ужасна, эта новая, настоящая жизнь, что прежняя жизнь поделилась, распалась из естественной первоначальной целостности своей на две жизни, на две части: на добро и зло. В темноте каюты казалось ему, что шторм этот никогда не кончится, и он старался заснуть снова, скорее, а черное глухое стекло иллюминатора пугающе вспыхивало под волной слабым белым свечением...

КОНИ

Разом прозвучали два выстрела.

Петрухин проснулся, и первую минуту ему думалось, что выстрелы раздались во сне. Он припомнил сон: виделось лето, море на юге, тишина... Приподняв подушку и дотянувшись рукой до настольной лампы, Петрухин включил свет. И как-то сразу понял: выстрелы прозвучали на краю села, оба из дробового ружья. Он посмотрел время. Было два часа десять минут.

Море шуршало снежной шугой, несильно билось о ледяной припай. За окном черно стояла ночь. По всему селу на разные голоса таякали собаки. Где-то далеко тонко прозвенел женский смех (затянулось свидание). Сторож на рыбозаводе ударил в рельс — наверное, с перепугу. И все это неярко, сквозь шум моря, и быстро затихло, будто утонув в темноте водных глубин.

Мимо окна резко, торопливо проскрипели шаги; нетерпеливо, чуть слышно взвизгнула собака; уже издали слышались слова команды. Это патрульные ушли на задание.

Петрухин встал, натянул брюки и сапоги, накинул китель. Подумал о патрульных: «Минут пятнадцать они будут идти до места происшествия, минут пять — там, пятнадцать — назад. Итого...»

Из умывальника хлестко капала вода.

Петрухин намочил край полотенца, отер лицо и принялся размеренно ходить по комнате: шесть шагов к двери, шесть — к окну. Это было его привычное напряжение. Он ждал и ни о чем не думал — не отвлекался, но и беспокоился не очень, держал себя «на взводе», как сам определил это свое состояние. Так легче было ему перейти к действию, любому решению.

В два пятьдесят он пошел к телефону, но только протянул руку — зазвучал зуммер.

— Слушаю...

— Товарищ лейтенант! Докладывает старшина Манасюк. Стрелял колхозник Козольков. Дикие лошади напали на его двор, уничтожили сено. Произвел два выстрела жаканами из двуствольного дробовика.

— Ясно, Манасюк.

Старшина помолчал, сильно дыша в трубку, и другим, чуть сонным голосом сказал:

— Товарищ лейтенант, а это те, наши коняги...

— Ложитесь спать.

— Слушаюсь!

Трубка щелкнула, и в окне зашуршало, зазыбилось, подступив черной стеной, зимнее море. У заставы сменились часовые: отрывисто проскрипел снег, звякнули приклады.

Петрухин разделся, лег. Выключил свет. Стены ушли в темень, исчезли, а окна проявились глубокой синью, будто и вправду в них стояла вода. Они были стылые, от них сквозило, и с каждым толчком моря в комнате становилось холоднее. Печь едва теплилась, замирая в темноте угла.

Хотелось сразу уснуть, и он даже скомандовал себе: «Отбой!» Но на сей раз привычка «не сработала». Пришлось поправить подушку, подоткнуть одеяло, повернуться на бок. Медленно, широко закружилась голова, сильнее обозначились удары моря о ледяной припай. Они звучали долго, неотступно, а после стали конским топотом, и этот топот вынес Петрухина в лето, в горячий свет, в зеленые, раздольные бамбуковые сопки.

На остров Петрухин прибыл в конце июля, когда начальника заставы уже не было: его вывезли с тяжелым приступом лихорадки. Личный состав, имущество пришлось принимать у старшины Манасюка, и с ним первым познакомился Петрухин. Застава была маленькая, строгая и опрятная — это сразу отметил он. Старшина доложил, что за три недели июля было два нарушения границы: задержали рыболовную шхуну и «капустник» — так называли здесь маленькие деревянные кавасаки, на которых плавают японские добытчики морской капусты. Петрухин познакомился с солдатами, пообедал за общим столом, принял в канцелярии все документы. На закате солнца они со старшиной вышли к морю.

Петрухин огляделся, прищурился на яркую воду, вскинул голову и длинно выдохнул:

— Ай-а-ай!..

Он летел на самолете, потом вертолет перенес его на этот клочок земли в океане; он смотрел с неба на беспредельные, будто затвердевшие воды, дымящиеся облачками хребты, горы, впервые увидел конусы вулканов — и молчал, чуть напуганный, удивленный. Он не совсем верил в реальность этой дальней дали.

Земля была под ногами, воздухом он дышал, море можно потрогать, и глаза не обманывали: за проливами поднимались к тучам вулканы Хоккайдо, под ними, едва видимые, белели японские шхуны; позади заставы — дощатый рыбацкий поселок (здесь тоже когда-то жили японцы); дальше — гладкие бамбуковые сопки, еще дальше — огромный вулкан с белой дымкой над кратером.

Старшина водил рукой, называл мысы, заливы, вулканы; достал из воды большую плоскую раковину, раскрыл — как на блюде, лежал, подергивался розоватый студенистый моллюск.

— Хотите на ужин?

Петрухин сморщил нос, отвернулся.

— Когда поедем границу смотреть? — спросил старшина.

— Завтра же.

Петрухин ушел к себе в комнату и, пока не померк на море свет, стоял у окна, смотрел, думал, вздыхал — вживался в остров, в свою новую, долгую службу.

Утром его не разбудили, дали поспать. Встал он поздно. Море опять было полно света, движения, его всполохи омывали стены, потолок. Повар принес в комнату завтрак, кофе в термосе. На тарелках и термосе играли беглые блики. Съев все, выпив кофе, Петрухин вспомнил, что собирался ехать, вышел и увидел Манасюка: он сидел на ступеньке крыльца. Рядом сиял начищенный заставский «газик». Старшина вскочил, взяв под козырек, доложил. Ночь прошла без происшествий.

— Вольно, — сказал Петрухин и влез в машину.

Манасюк сел позади, шофер-ефрейтор, скосив глаз на «новое начальство», одним рывком вывел машину за ворота заставы.

— Говорите, — попросил старшину Петрухин.

Машина неслась по песчаной улице, мимо маленьких, сколоченных из досок непривычно игрушечных домов. Стоя-

ли они тесно, будто боялись затеряться в нелюдимых сопках и долинах, смотрели друг другу в окна, точно в глаза. На огородиках цвела картошка — она была такой же, как на Большой земле, только потучней, поразлапистей, а палисадники удивляли: вместо цветов в них под самые крыши висли дикие лианы. Свое, российское, здесь уживалось еще с тем, что оставили после себя островные люди.

— Ну, товарищ лейтенант, слушайте лекцию, — заговорил, кашлянув, с усмешкой Манасюк. — Поселок видите какой. Дома на курьих ножках. Другие здесь не устоят: земля часто трясется. Работа — рыба самая разная, крабов ловят, морского зверя бьют. Это потом сами изучите. Люди — больше с Волги, из бедноватых сел. Здесь живут крепко: заработок, северные, рыба бесплатно, огороды. Правда, тоскуют по материку, уезжают, опять приезжают. Да вы знаете, пока русский мужик осядет — в досталь намотается: все ему кажется, что за горой лучше. Ну, климат — тропики. Лес тоже увидите. Охота, рыбалка — как в доисторическую эпоху.

— Все? Недлинно.

— Для начала хватит.

— А клуб, девчата?

— Это есть. — Манасюк помолчал, раскурил папиросу. — Девчата везде, где только жить можно. Теперь и в космосе появились.

— Не женились?

— Решаю: может, стоит здесь осесть годика на три, капитал сколотить? Вот только что лучше: девчушка или вдова? — Старшина засмеялся, скривил губы ефрейтор.

Петрухин подумал о Наде — вот бы здорово привезти ее сюда, сразу с собой, здесь и свадьбу справить, вон под тем вулканом. Надо написать письмо, сегодня же вечером, и обо всем рассказать, чтобы зябко, жутко ей стало в тишайшем городе Калуге.

Машина скатилась с холма, понеслась навстречу морю, у самой воды круто повернула и, словно потеряв весомость, зашуршала по твердому, укатанному прибоем песку.

— Наш асфальт! — крикнул старшина.

Справа шишел пеной прибой, и брызги стучали в брезент машины, слева вздымался желтый глинистый обрыв; над ним громоздилась сопка — белая от цветущих лиан гортензии. Впереди на желтом обрыве проступил стеклянно-голубой призрачный шлейф. С каждой минутой он плотнел, овеществлялся, вытягивался ввысь. «Водопад!» — едва

не воскликнул Петрухин, вдруг поняв, что́ это такое. А водопад уже гремел, сверкал, рушил в камни длинные, напряженные потоки, и воздух вокруг него был насыщен водяной пылью.

Ефрейтор остановил машину, показывая водопад, потом подвел ее еще ближе — так, что страшно было глянуть вверх. Когда отпотело ветровое стекло и на лица, на руки насеялась влага, он развернул машину, повел ее по крутому подъему в тесный распадок. Курильский «асфальт» кончился.

Машина лезла в небо, задыхалась, всхлипывала. Хотелось уцепиться за скобу, закрыть глаза: сразу от колес проваливалось ущелье, в сумерках на дне играл камнями мощный ручей.

Выползли на зеленый горб сопки, небо качнулось вверх, земля обозначилась в стеклах, и шофер выключил зажигание: перегрелся мотор. Выпрыгнули, размяли ноги, отошли подальше от горячей машины, огляделись.

— Ай-а-ай!.. — вздохнул Петрухин.

За гладкими, одетыми в курильский бамбук, будто в зеленую шкуру, сопками, кажется, совсем рядом, дыбился в облака рыжий бок вулкана. Застывшими дымками чадил фумаролы, остро чувствовался запах серы. Внизу мерцало море, на нем лежали, плавали призрачные голубые конусы других, соседних вулканов. Взлеты, падения, неясные дымы, перепады красок и теней, и над всем — невообразимо распахнувшееся, вселенское небо. Это был край земли, здесь она трудно встречалась с океаном.

Петрухин вздрогнул, когда рядом остро крикнул ефрейтор:

— Кони!

— Что такое?..

— Вон под той сопкой, в бамбучнике, — кони.

— Дикие, — сказал Манасюк. — Здесь их много. Иногда мы охотимся. Мясо хорошее. Хотите, спугнем, погоняем?

Сели в машину, поехали по зеленым покатым холмам, приминая жесткий, посверкивающий листьями бамбук, к подножию вулкана, где пасся табун диких коней.

Вспугнули табун. Рыжая кобылица подняла голову (Петрухину показалось, что он увидел ее черные, тревожно вспыхнувшие глаза), длинно, нервно заржала, раздув ноздри, и понеслась к лесу.

Табун тек по травам, по тропическому бамбучнику; он был вытянут, каждая лошадь стала продолговатой, сте-

лющейся. А впереди летела кобылица. Рыжая грива приподнялась, хвост, казалось, затвердел, ноги в белых чулках подбирались и выбрасывались легко, как у гончей собаки. И все вместе было похоже на скачку без жокеев, а еще вернее — на древние наскальные росписи пещерных людей.

Кони умчались за отлогий бок вулкана, и в той стороне, как пыль, курилась серная дымка из фумарол. А Петрухин смотрел, ждал, словно неожиданно оборвалась пленка кино, — вот сейчас застрекочет аппарат, и по зеленому экрану трав снова промчится табун диких коней.

На заставу возвращались в сумерках; молчали, утомившись за длинный, тряский день. Петрухин спрашивал себя: писать Наде или нет? Ведь почти наверняка он не пошлет ей письмо. Надю он видел всего один раз на Тверском бульваре, когда бродил по Москве, ожидая назначения. Узнал, что она из Калуги, учится в педагогическом, приехала погостить к тете. Поболтали о последних кинофильмах, познакомились, и только он решился пригласить Надю в шашлычную «Эльбрус» — к ней подошла грузная женщина с белым зонтом, в белых перчатках. Надя смутилась, тетя взяла ее под руку, а на Петрухина посмотрела так, будто он наговорил девочке «ужасных глупостей». И они ушли к Никитским воротам.

Петрухин не спросил у Нади адреса. Не успел. Можно было на институт написать — там найдут. И написал в самолете, и в каждом аэропорту собирался отправить, даже к почтовым ящикам подходил. Но, как шутят солдаты, пороху не хватило. А сейчас вот, после тяжелого дня, когда от усталости паровой трубой гудит голова, Петрухин опять вспомнил о Наде. Почему о ней?.. У него есть знакомые девушки, он обещал писать им, одной даже в любви объяснился, правда на вечеринке, после стакана вина. Непонятно все. Тем более что Надя видится ему смутно — как возникающая в воображении.

Петрухин обошел заставу, проверил патрульных, поужинал, сыграл партию в шахматы с Манасюком. Долго смотрел, как солдат кормил сторожевых собак. Искупался в море, выпил кофе прямо из термоса на берегу. Только потом пошел к себе.

На столе лежал дневник. Каждый вечер он что-нибудь записывал в него — это была его давняя, еще школьная привычка. Он сел, взял перо, на чистом листе обозначил число и месяц. Начал писать:

«Дорогая Надя!

Остров, на котором я теперь служу, очень необыкновенный. Все здесь не такое, как у вас, на Большой земле. Если трава — так метровая, если дерево — так в два материковских роста. Честное слово! Даже картошка на огородах вровень с заборами. И совсем как в тропиках — бамбук на сопках, дикий виноград, ядовитые лианы.

Сегодня мы со старшиной Манасюком ездили смотреть границу. Если просто — берег острова. У меня глаза устали: море, скалы, страшные осыпи, водопад с каменным грохотом. Потом к вулкану подъехали.

Но самое удивительное — кони. Честное слово, дикие кони! Они табуном паслись на поляне возле вулкана, и мы подъехали к ним вплотную, из-за рощицы дубняка. Манасюк показал рыжую кобылицу с пятном на лбу и белыми чулками на ногах. Это хозяйка табуна. Есть у нее имя: старшина назвал Сказкой. Он был когда-то на конных соревнованиях, и такая же, очень похожая на эту, кобыла взяла первый приз. Сказку знают все солдаты и все рыбаки в поселке. В нее не стреляют. А других бьют. Говорят, мясо вполне хорошее.

Я вырос в городе, не пришлось мне видеть коней на воле, и, конечно, я совсем не думал, что они могут быть так красивы. Честное слово, Надя, дух захватило.

Старшина Манасюк сказал о Сказке: «Такие красивые бывают еще женщины». Может, вас это обидит, Надя? Он пошутил, но мне показалось — точно подметил. И еще я решил для себя: красота в чем-то одинакова, природа у нее одна.

Вот у меня и все. Больше из себя не смогу ничего выжать. Устал, башка забита впечатлениями — сплошной бред.

Желаю Вам всего хорошего!

Лейтенант Петрухин».

Он перечитал письмо, в конце слов «дух захватило» поставил восклицательный знак, разделся и камнем упал на кровать.

Прошел месяц. Петрухин втянулся в службу, привык к бурному климату острова: легче дышал туманом, не раскисал от влажного зноя, научился спать под гром прибоя. Дважды пережил землетрясение: земля передернулась, как шкура зверя, вздрогнули стены, жутко задвигались столы, кровати, стулья. А раз вулкан, дохнув пламенем, выхарк-

нул облако пепла; весь день пепел мерцал в воздухе, припорошивал море и землю.

Задержали одного «капустника»; заблудился в шторм, прибило к острову. Петрухину пришлось говорить с синдо — шкипером — и его молоденьким сыном. Мокрые, перепуганные, они кланялись, улыбались и без конца повторяли: «Кон ничива, рюски!.. Кон ничива!» Разговорник помогал плохо, больше руками, «мычанием» объяснялись, поняли друг друга. Петрухин впервые видел людей с японских островов. Присматривался к ним, думал о прошлой войне, ощупывал деревянное суденышко, удивлялся, как можно выходить в море на такой посудине-«душегубке», все было ненадежно: снасти, роботы, циновки, намокшие картонные божки. Жалел, что не может расспросить, от чего у них эта смелость: от бедности или прирожденного бесстрашия? Хотелось знать, как они живут у себя на Хоккайдо и зачем им так много нужно ламинарии — морской капусты. Здесь она валяется по всем берегам. Едят они и гребешок, на острове остались после них курганы пустых раковин.

— Я их знаю, этих «капустников», — сказал Манасюк, — жрут все, рискуют, а капиталец сколачивают.

Петрухин приказал, чтобы к обеду ему приготовили салат из ламинарии и сварили моллюска. Старшина попробовал отговорить: «Бросьте, не русская еда», — но все же влез в лодку, отъехал от берега и сам надергал капусты; выловил три большие, обросшие мхом раковины. Обедать Петрухин пошел позже всех. Когда ему подали салат, появился старшина, присел на скамейку: он хотел лично видеть «дегустацию» морских блюд. Петрухин поддел вилкой длинные, похожие на лапшу рубленые листья ламинарии, принялся жевать, поспешно проглотил. Салат даже отдаленно не напоминал огородную капусту и, пожалуй, вообще не имел никакого вкуса — просто сильно разил йодом. Петрухин упрямо съел салат.

— Полезно, — кивнул сам себе.

Со страхом пододвинул второе блюдо: моллюск был отварен, поджарен и приправлен зеленым луком. От него пахло сладко и душновато. Подумав: «Едят же японцы, не умирают», — воткнул вилку в белое, мягкое, прямо-таки цыплячье мясо. И удивился: по вкусу оно смахивало на крабовые консервы, может, только чуть погрубее. Подобрал все, что было в тарелке, глянул на старшину: тот увеличенными глазами изучал «начальство», часто глотая

слюну (его, видимо, слегка поташнивало), — встал, подтянул ремень.

— Вот что, — сказал вскочившему Манасюку, — предлагаю ввести в рацион солдат эти два блюда. Живущим у моря надо уметь кормиться от него. Это не помещает.

Старшина прижал руку к груди, наклонил голову, извиняясь и выказывая свою полную беспомощность:

— Мы же российские...

— Значит, одолеем. А мне подавайте каждый день, — прервал его Петрухин.

Он пришел в свою комнату, прилег отдохнуть, взял со стола «Строевой устав»: после училища не заглядывал в него, надо было повторить кое-какие параграфы. Но читать почти не смог, все прислушивался к своему животу — как он переваривает курильскую пищу? — и понемногу задремал. Проснулся от зуммера телефона, вскочил, по курсантской привычке сильно крикнул в трубку:

— Лейтенант Петрухин слушает!

Говорил председатель колхоза. Приключилась беда: племенной колхозный жеребец Форс ушел с табуном диких коней. Вторые сутки бродит. Пробовали стбить — не смогли: всадников мало, ружей и того меньше, а надо пострелять, поугат.

— Все Сказка эта, мать ее... — сипло выругался председатель. — Водит нашего дурака за хвостом, людей на километр не подпускает. Давно говорю Манасюку: спиши на нее один патрон, беды меньше будет. Жалко, вишь ты, красивая!..

Председатель просил помочь заарканить жеребца, заодно подстрелить пару коняг для колхозной столовой.

Петрухин позвал старшину, вместе они «обговорили» просьбу председателя, решили выделить четырех солдат — из тех, кто больше приучен к верховой езде, и самим поехать на машине: посмотреть необычную охоту, а если понадобится, спасти от пули Сказку.

— Мы же ее поймаем, — сказал, сведя на столе ладони, Манасюк. — Вот зимой будет большой снег — и поймаем. Приручим. Такого коня убить!.. Кто ж это может грех на душу взять?

Петрухин молчал, хмурился: больше всего он боялся нежных слов, чувствительности; если все-таки голос иногда выдавал его, он панически краснел, торопился уйти, чтобы один на один расправиться с собой, обрести нужную внут-

ренную форму. Сейчас Петрухин медленно закурил, резче сдвинул к переносице брови.

— Все, старшина.

Через час они ехали по бамбуковым холмам в сторону вулкана. Дорога то едва виднелась в зарослях, то огибала крутой бок холма, то зависала над осыпями и обвалами. Шофер-ефрейтор небрежно крутил баранку, положив левую руку на дверцу, почти не смотрел на дорогу; Петрухину хотелось сказать: «Нельзя ли повнимательней?» Но когда подъехали к болоту, перекрытому старой, полуистлевшей гатью, и шофер, рывком бросив машину, чуть ли не по воздуху перемахнул на твердую глину, Петрухин подумал: «Да это же ас!» Он следил за его руками, движениями, удивлялся, почему в первую свою поездку не заметил редкого умения ефрейтора, и, решив, что тот просто «скромничал», стал размышлять о шоферах вообще, их работе. Конечно, только на такой взбудораженной земле можно научиться «творить» за рулем. Во всех других местах — слабая практика. Вернется ефрейтор в свою брянскую деревню, покажет собратям по баранке, что такое настоящая работа.

Табун увидели издали, он пасся там же, на отлого-раздольном подножии вулкана. Остановились в ельнике, километра за полтора; пошли пешком осторожно, прячась за кусты, пригибаясь. Выбрались к опушке леса — дальше был луг, в середине которого паслись кони. Сели в траву на кочки.

— Вон она!.. — прошипел Манасюк, схватив за рукав Петрухина. — С Форсом играет.

Чуть поодаль от плотного табуна двигались, взмахивали гривами, тихо всхрапывали Сказка и жеребец. Петрухин поднес к глазам бинокль — и сразу прынула на него зеленая стена луга, заколыхались под ветром травы, блеснули крупы коней, а вот Сказка и Форс; они не вмещались в четких кругах окуляров, и Петрухин видел отдельно головы с мечущимися гривами, танцующие ноги, спины и хвосты. Промелькнули черные шары глаз Сказки, раздутые, вздернутые ноздри, белый оскал зубов, рыжий пламень хвоста, потом забились высокие ноги жеребца, черным дымом взлетела грива, мокро сверкнул крутой, гладкий круп... Петрухин опустил бинокль — по опавшему, распахнувшемуся вширь раздолью неслись две вытянутые в движении, стушеванные воздухом лошади: Сказка и Форс. Табун тревожно скидывал головы, следил за ними, перекликался коротким, чутким ржанием.

Старшина глянул на Петрухина, заметил — у него хмурились глаза, вздрагивали руки.

— Минут через пять — погоня. Все в порядке, товарищ лейтенант. В каждой группе — по солдату. Винтовки только у них.

Петрухин поднял голову, стал смотреть на бурый конус вулкана. Он был четко, как на картине ярмарочного художника, врисован в тонкий ситец неба. И птицы вились над ним, и белое облачко в стороне, и, если присмотреться, он так же, едва заметно, призрачно чадил газами. Картина была примитивная, но реальная, и такую Петрухин купил бы себе на память: вокруг нее страхом, трагичностью был напряжен воздух.

Где-то на окраине леса щелчком бича ударил выстрел. Табун сгрудился, качнулся в одну, другую сторону. Сказка вскинула голову, замерла с обострившимися ушами, бросилась к табуну. Форс, ничего не поняв, поскакал за ней, играя, кладя голову на ее круп. И сразу с четырех сторон луг охватили всадники.

Они ринулись на табун с криками, пальбой, возникла неразбериха: ржание, храп коней, мелькание человеческих фигур; кто-то упал, взмахнул руками, длинно протянулась петля аркана, грохнул винтовочный выстрел. Затем все это отпрянуло к лесу, пыля, клокоча и затихая, и последнее, что увидел Петрухин, — вскинутая, оскаленная голова Форса на аркане и вдалеке, у самого низкого, плотного леса, — вытянутая, летящая Сказка. За ней острым клином утекал табун. Еще дважды громынули винтовки.

Поле опустело, над ним замирал серый дым перетертой копытами земли, и в этом дыму одинокий, выбитый из седла всадник, вяло покрикивая, ловил своего перепуганного, одичалого коня.

Петрухин и старшина пошли к машине. Ефрейтор дремал, обхватив руками баранку, сразу включил мотор, развернул машину. Но ни о чем не спросил, молчал старшина, не хотелось говорить и Петрухину: вроде все было хорошо, но какая-то легкая досада саднила в груди. Поехали по холмам, сквозь кусты и лианы, над осыпями и обвалами. Досада не исчезала, понемногу накапливалась, тяжелела, а когда Петрухин вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, ему показалось, что во рту у него горькая слюна.

Он бездумно лежал на кровати, пока не пригласили ужинать. В столовой ждал Манасюк. На больших тарелках повар принес им по куску горячего мяса, сострил несмело:

— Отбивная из и-го-го!

Петрухин глянул на старшину, свел брови.

— Двух убили,— сказал Манасюк.— Как требовалось.

Пододвинув тарелку, Петрухин тронул ножом отбивную: она еще шипела, сочилась бурой, непрожаренной кровью. Отвернулся, едва не крикнул повару: «Дайте что-нибудь другое, не ем вечером мяса!» — но старшина энергично жевал крепкими зубами, посматривал на своего лейтенанта. Петрухин взял вилку.

Ночью он написал длинное письмо Наде. Рассказал о японцах-«капустниках», о салате из ламинарии, моллюске гребешке, о черном пепле вулкана, землетрясениях и особенно долго, старательно — о Сказке, диких конях. Письмо он закончил так:

«Дорогая Надя! Я никогда не думал, что можно убить коня. С детства я видел коней только в кино: они работали, скакали в тачанках и если погибали, то как бойцы. Здесь их стреляют, потому что они дикие. Мне пришлось видеть одну такую охоту, даже немного участвовать в ней.

Могу признаться: трудно я пережил это. А ведь я военный, отец у меня был партизаном, погиб в войну, мне стыдно за свою излишнюю чувствительность. Но, милая Надя, если у вас в Калуге есть кони, найдите хоть одного, потрогайте его жесткую гриву, загляните в диковатые грустные глаза этого вечного работяги, и вы поймете меня. Всего вам доброго!

Лейтенант Петрухин».

Зимой здесь всегда сыплется снег — в любую погоду, ночью, днем. Он из самого воздуха: влага поднимается от моря, холодеет вверху, сворачивается и сыплется на землю снегом. Здесь всегда чисто, бело, вулкан первозданно, лунно вздымает в небо синие грани.

Петрухин прыгнул с крыльца, по твердой тропе пробежал до казармы, сделал несколько приседаний; поддев ладонью влажный снежок, докрасна растер руки и грудь. Запрыгал, фыркая и задыхаясь. Вышел Манасюк, усмехнулся, сморщился от яркой белизны, и Петрухин вспомнил ночные выстрелы.

— Старшина! — крикнул он, перестав прыгать. — Готовь лыжи. Сказку пойдем ловить. Обещал!

После завтрака они натянули спортивные брюки и сви-

теры, стали на лыжи и пошли в конец села, к дому колхозника Козолькова. Хозяин расхаживал по двору, поднимал, ладил поваленные жерди забора. От стога сена осталось темное пятно на снегу да разметанные клочья вокруг двора.

— Вот, — сказал Козольков, — беда, начальники! Без кормов остался. — Помолчав, хлопнул рукавицей о рукавицу, полез за табаком. — Хуже нет на краю проживать. Как глыбкий снег, они меня обирают.

Козольков — в полушубке, толсто подшитых валенках, собачьей шапке. Он, видно, не из крепких хозяев не из горячих работников. И сенцо-то свое небось с трудом по осени наскреб. Жаль стало Петрухину лохматого мужичка: «Вот уж точно — где тонко, там и рвется!» Решил с председателем поговорить — пусть помощь окажет.

— Пальнул жиганом в черноту, — рассказывал Козольков. — Утром выбег, смотрю — кровища. В кою-то конягу попал...

На истоптанном копытами снегу каплями, лепешками заледенела кровь: мутная, припорошенная снегом. Разбросанно, пропадая, она тянулась через пустырь и дальше — по санному следу за поселок.

Вышли на дорогу, не торопясь заскользили к лесу. В мороси редкого снега плавали ближние холмы, деревья; море немо качало стылую шугу, над ним косо, скудно промелькивали чайки. Все было легким, почти неощутимым. Легко дышалось, легко струились лыжи, и казалось снежная земля чуть колышется на густой, мирной воде.

Бело-голубым столбом льда встал впереди водопад. По льду стекали струи, от них отлетал пар, и гранитные глыбы на берегу, огромный рыжий обрыв, деревья вверху обросли белым, тяжким мехом сырого инея. Водопад приутих, будто задремал в холоде, чуть ворочаясь и бормоча.

Здесь кони пили воду, был сильно вытоптан и забрызган кровью снег; в копытной ямке — тусклая лужица крови. Старшина тронул ее палкой. Кровь еще не застыла.

— Добьем конягу, а?.. — Старшина кивнул на распадок, куда, исчезая, втягивался широкий след табуна.

Сильно оттолкнувшись палками, Петрухин побежал к распадку, и с ходу, без передышки, они взяли крутой, рыхлый подъем. Остановились на голой горе. Тут почти не было снега; кони до черной земли выбили снег, съели траву и коренья. Зато дальше начинались заносы, сугробы

лежали буграми, застругами. Частые ветры крутили, пересыпали снежный песок в этой пустой котловине.

След табуна уходил наискось, к лесу на отлогом склоне вулкана. Где-то там, в его обширных бурых трещинах, обитали зимой кони: возле дымящихся фумарол, горячих родников хранились клочки талой земли.

Отдыхались, покурили. Пошли гуськом: впереди Петрухин — он был легче, скользил почти поверху, без «нырков»; позади Манасюк сопя утрамбовывал лыжню. Шли сбоку трудной дороги табуна, и было видно: кони проваливались по брюхо, передвигались прыжками, часто отдыхали — заледенели подтаявшие под животами ямы.

Уже четко различались голые ветви лиственниц впереди, когда Петрухин увидел на опушке леса табун. Кони стояли, плотно сбившись, над ними висел сизый дымок, спины мокро заиндевели.

В сееве снега, в гложлой тишине табун близко подпустил к себе. Заметив вдруг людей, всполошился, всхрапывая, ломая ветви и кусты, разом отвалил в лес. Посреди вытоптанной опушки остался рыжий конь; шея у него была вытянута, голова лежала на снегу. Прибавили шагу, пошли рядом и, прежде чем успели о чем-либо подумать, поняли: это Сказка!

Осторожно подступили с двух сторон.

Чутьем, слухом Сказка уловила тревогу, качнула головой, повела черным, зло вспыхнувшим глазом. У нее чаще заходили бока, нервно запрядали уши. Из горячечных ноздрей ударил в снег длинный выдох. На большее ее не хватило. Она замерла, и только пугливой судорогой передергивалась на боках кожа.

— Жеребая, — сказал Манасюк, коснувшись палкой живота, — жеребенок бьется.

Петрухин смотрел на жилисто вытянутую шею Сказки, полузакрытый глаз, на смятую огненно-рыжую гриву, мокрый, дымящийся паром круп, видел слепяще-яркое пятно крови возле передних ног и растерянно молчал. Ему не верилось — нет, нет... Вот сейчас Сказка вскочит, ударит копытами в снег, скроется за лиственницами. И незачем вовсе ее ловить, пусть живет на свободе, водит табун, пасется в бамбуковых долинах — на нее надо смотреть издали, приезжать и смотреть. Потом он вдруг понял слова старшины: «жеребенок бьется», подумал внезапно: «Умирает», — и быстро сказал, слепо протянув руку:

— Дай винтовку!..

Ствол приставил к уху — вздрогнувшему, отпрянувшему. Глянув на вершины лиственниц, нажал спусковой крючок.

Выстрела он не услышал: просто охнул лес, осыпав с ветвей снег, далеко в горах грустно отозвалось эхо, и над лунно-чистым конусом вулкана косо завалился желтый серный дым...

— Поймали... — откуда-то издалека прозвучал голос старшины.

Вечером Петрухин ничего не писал Наде.

1964

КОГДА ПОГАСНЕТ

1

Осень. Дождь.

Едет по проселочной окаянной дороге «козел» с брезентовым верхом, виляет прыгает, гремит чем-то звонко-железным в кузове.

За баранкой, навалясь на нее грудью, сидит парнишка лет восемнадцати. Он длинный, нескладный, с тягучими движениями; на еще небритом лице — бледно-рыжие усики, которые кажутся неопрятными. И вообще лицо его как плохо пропечатанная фотография, где нет определенных и резких черт, а все размыто и слегка смазано.

Когда прыгающего «козла» особенно резко заносит, ставя чуть не поперек дороги, шофер судорожно выворачивает баранку, ощеривается и шипит сквозь зубы: «Ангидрид твою перекись!..»

Рядом с шофером сидит Никита Иванович Кошкин, человек, известный всему окрестному населению. Он лет сорока пяти, щупловатый, аккуратный. Поверх телогрейки крепко перетянут монтерским широченным ремнем, на котором позвякивают карабины, застёжки, колечки и натертая до ярого блеска железная страховочная цепь. Как всегда, Никита Иванович Кошкин вполне бодр и оживлен; из-под кепочки посверкивают сощуренные глазки; сухое лицо и шея подсвечены загаром.

— Вон будка, — говорит он шоферу.

— Где?

— У забора.

Шофер Витька вглядывается сквозь мокрое, кажущееся пупырчатым стекло и еле различает впереди, на окраине поселка, дощатую телефонную будочку спрятавшуюся в кустах бузины.

— Это уснуть-умереть, — ядовито говорит шофер. — По-

наставили будок. Не поймешь, телефон это или клошмерль.

Никита Иванович вылезает из машины, перепрыгивает канаву с дегтярной водой. Втискивается в будочку.

Шарит в нагрудном кармане, вынимает палочку от эскимо. Аккуратно вставляет ее в щель для монет. Набирает номер.

— Алло, Дементьева!.. Алло! Кошкин говорит. Есть заказы? Ага. Самаровка, четырнадцать? Понятно... Чего? Так мы и сделаем срочно. Сейчас едем.

Никита Иванович словно бы раздумывает вешать трубку или нет. Потом спрашивает:

— Алло, Дементьева.. Мне никто не звонил? Ну, извини... Да едем, едем.

Он выбирается из будки, идет к машине, побрякивая цепью.

— Куда теперь?— интересуется шофер.

— Самаровка, четырнадцать.

— Ангидрид твою перекись!— шипит Витька, рывком включая зажигание.— Опять!

Тебе-то какая разница,— миролюбиво говорит Кошкин, поудобней устраиваясь на продавленном сиденье

— Мне большая разница! Почему в эту Самаровку ни кого не гоняют, кроме нас?!

«Козел» сворачивает на грунтовую дорогу, совсем уже никудышную. Глубокие колеи прорезают ее. В топких местах набросаны ветки, битые кирпичи, размочаленные доски. Мутные лужи кипят от дождя.

Почему всегда ездим к черту на рога?! — продолжает Витька. Он рвет рычаг скоростей, «козел» завывает и дергается, как паралитик.— Почему все удобные вызовы другим достаются? Хоть разок бы с диспетчершей пола ялся!

— Не люблю я этого,— помолчав, говорит Кошкин.

— Во-во! Оттого с тебя и не слезают!

Толкая перед собой намыленную волну грязи «козел» еле плывет по дороге. Воет надорванный мотор.

— Нажми,— просит Кошкин.— Просили побыстрее...

Поселок Самаровка расположен в старом березняке, которому добрая сотня лет. От дождя березняк кажется дымным и сумрачным; ветки черны; грязная вода течет по намокшим стволам.

«Козел» останавливается у кирпичного домика с незастек

ленной верандой. Никита Иванович всходит на крыльцо.

— Монтеров вызывали?

— Да, да, пожалуйста!— поспешно отвечает старик, открывший двери.— Проходите, пожалуйста!..

— Что у вас?

— Понимаете, не горит!— старик, помаргивая, виновато разводит костлявыми, очень крупными и красивыми руками.— И холодильник оттаял... Конфуз...

Никита Иванович спускается с крыльца, оглядывает провода, что тянутся от дома к дороге. Смотреть неудобно: дождь заливает лицо.

— Может, зонтик возьмете?— спрашивает с крылечка старик. Ему, вероятно, неловко, что Никита Иванович мокнет из-за него.

Вдруг на столбе, стоящем подле дороги, что-то трещит, и один из проводов начинает стрелять, неестественно яркими бенгальскими искрами.

Витька выскакивает из машины, кричит:

— Отключать надо! На фидере!..

— Не надо,— говорит Никита Иванович.

Он надевает монтерские «когти», защелкивает вокруг столба страховочную цепь. Снова раздается треск над головой, снова сыплются искры.

— Брось, Никита Иваныч!— говорит подбежавший Витька.— Зачем? Ведь шарахнет!

— Ничего,— отвечает Кошкин, заслоняясь рукавицей от искр. Лицо его спокойно, невозмутимо.

Он лезет вверх по столбу. Лезть неудобно. «Когти» на мокром скользят и оседают, никак не отвернешься от брызг. Длинные водяные веревки свешиваются с изоляторов. Льет за шиворот, льет за рукава...

Витька вернулся в кабину «козла» и оттуда напряженно следит за Никитой Ивановичем. Старик, стоящий на крыльце с раскрытым зонтиком, тоже смотрит испуганно и смущенно.

А Никита Иванович добрался до изоляторов и теперь колдует там, соединяя оборванный провод. Перестали выстреливать искры, прекратились шипенье и треск. Никита Иванович выпрямился, удовлетворенный.

И тут целый пучок, целый фонтан искр выбило из соседнего провода; жарко заскворчало, и маковка столба окуталась белым с прозеленью дымом.

Старик, закинув за плечо зонтик, семенит к столбу, отфыркиваясь от брызг:

— Лучше не надо!.. Не надо! Давайте подождем, товарищи! Зачем это, честное слово!..

Никита Иванович сбрасывает рукавицы. Откинувшись на своей страховочной цепи, дотягивается пассатижами до того места, откуда бьют искры. Движение рукой. Поворот. Еще поворот. Искры гаснут, и Никита Иванович подергивает к себе провисший провод и начинает аккуратно сращивать. Затем проверяет — надежно ли? Теперь надежно.

И неторопливо спускается вниз.

— Ступайте, зажгите, — говорит он старику.

Старик убегает в дом и вскоре возвращается, еще более сконфуженный.

— Все в порядке, а вот холодильник, понимаете... не включается... То ли лампочка, то ли совсем испортился...

— Давайте взгляну.

Они поднимаются в дом; Никита Иванович отстегивает пояс, снимает мокрую телогрейку.

— Сюда, пожалуйста... Вот. Неужели испортился?

Холодильник подвешен на стену в маленькой, игрушечной кухне. Растворена дверь смежной комнаты, откуда доносится музыка, и в зеркале видно отражение девчонки лет двенадцати, обтянутой балетным трико. Девчонка встает на цыпочки под музыку, взмахивает ногой, прогибается... И еще слышен отчетливый, как по радио, женский повелительный голос: «Наташа, снова! Встань во вторую позицию! Как следует, как следует! Теперь смотри, что ты должна запомнить...»

Старик притворяет дверь.

— Понимаете, — говорит он вполголоса, — жене прислали лекарство. Очень редкое... Ученики достали за границей... А без холодильника его не сохранить, вот я и волнуюсь, мастера-то не сразу вызовешь, вы понимаете...

Никита Иванович кивает старику; поднатужась, снимает холодильник со стены. Разворачивает его, ставит на пол, садится на корточки у запыленной задней стенки. Начинает исследование.

Старик почтительно берет телогрейку Никиты Ивановича и вешает на деревянные плечики — для просушки.

— Слишком вы отчаянно на столбе действовали, — произносит он.

Распахивается дверь в кухню. Никита Иванович машинально оглядывается. Сначала ему кажется, что вбежала та самая девчонка, что делала балетные упражнения.

Но тут девчонка поворачивается. У нее сморщенное, старушечье лицо, и шея в сплошных морщинах.

— Вы чего тут?— спрашивает она, хватает полотенце и вытирает пот на лбу.— Николаша, где мой пузырек? Холодильник чините? Николаша, да где пузырек?!

— Тебе нехорошо?— пугается старик.

— Чепуха!— схватив флакончик, она отсчитывает капли в рюмку, запивает водой.— Фу, невероятная гадость!.. Все, Николаша, чепуха, я просто не хочу, чтоб мои девчонки видели. Еще полчасика, и мы закончим!

Швырнув полотенце, она упархивает обратно в комнату. И опять слышна музыка, и опять звучит повелительный голос, отдающий команды.

Никита Иванович сует вилку в штепсель. Зажглась лампочка в холодильнике, заурчал мотор.

— Порядок.

— Не знаю, как вас благодарить,— торопливо произносит старик.— Вы ее просто спасли...

— Да ну!..— отвернувшись, говорит Никита Иванович. Он надевает мокрую, противно скрипящую телогрейку. И все время прислушивается к музыке, что доносится из комнаты.

— Что это играют?

— Это?..— с некоторым удивлением спрашивает старик.

— Да, чья это музыка?

— Это Чайковский. «Песня Миньоны». А что? Нравится вам?

— Я не очень-то разбираюсь в музыке,— медленно говорит Никита Иванович.

— Вообще-то, понимаете ли, это романс... Его надо петь. Но жена часто использует мелодии просто как аккомпанемент... Чтоб подчеркнуть характер движений... А романс прелестный, и там удивительные слова: «Ты знаешь высь, с тропой по крутизнам, лошак бредет в тумане по скалам, в ущельях гор отродье-змей живет, гремит обвал, и водопад ревет?.. Ты знаешь путь?»...

Старик негромко, но очень верно и чисто напел эти слова. Никита Иванович слушал, сунув кулаки в карманы телогрейки, а затем, ничего не сказавши, не простившись, вдруг повернулся и пошел прочь.

Шофер Витька смотрел на Никиту Ивановича с мальчишески-преувеличенным осуждением.

— Учишь меня не рисковать, а сам?

- Ничего,— односложно отвечает Никита Иванович.
— Дед,— спрашивает Витька, скашивая глаза.— Ты всю жизнь монтером трубил?
— Всю.
— Призвание, значит?
— Призвание,— говорит Никита Иванович.

Он видит полутемную комнату в бараке. Там топилась буржуйка, сделанная из керосиновой бочки. В тех местах, где железо почти прогорело и истончилось, оно было вишневым и на нем посверкивали искры. Скудные отсветы играли на дощатом потолке.

Сидел у буржуйки совсем еще мальчик, наголо стриженный мальчик шестнадцати лет. Кутался в зеленый военный ватник, грел под мышками руки.

— Никита, сынок,— сказала ему женщина, вышедшая из тьмы.— Никита, сынок, зачем ты это сделал?

Он молчал, не оборачивался. Ему холодно было, он хотел есть. И еще он боялся этого разговора.

— Сын, у тебя же призвание... И надо руки беречь. Он молчал.

— Проживем мы без этой карточки, сынок... Да и что значит одна-то карточка, пусть даже рабочая... На нашу семью?

Семилетняя девочка в тяжелых обрезанных валенках, шаркающих по полу, подошла к печурке. Присела на пятки. Склонила голову, заглядывая в щелочку, где трепетал и вздыхал огонь.

Ты знаешь высь, с тропой по крутизнам
Лошак бредет в тумане по скалам,
В ущельях гор отродье-змей живет
Гремит обвал, и водопад ревет?
Ты знаешь путь?

Голосок был слабый, стеклянный. Но пела она чисто. Теперь бы он не понял, а тогда понимал, что она не фальшивила, и ему нравилось, когда она пела.

В пустынном поле поземка перевеивала сугробы, слизывала человеческие следы. Будто измазанные углем, торчали деревянные мачты электролинии. Басили провода, скрипело оледеневшее дерево.

Кучка подростков, одетых в ватники, сгрудилась у подножья мачты. Отворачивались от ветра, задирали воротники, хлопали трехпалыми рукавицами.

Перед мальчишками стоял человек в дорогом демисезонном пальто. Ветер заламывал поля серой шляпы. Человек этот был знаменитым инженером-энергетиком, теперь его портреты можно найти в учебниках и энциклопедиях.

Он говорил.

— Вы знаете, что сюда, за Урал, эвакуировано множество наших заводов и фабрик... Их разместили, где только удалось, подключили к электросетям. Но линии... вот эти электролинии... не рассчитаны на двойную и тройную нагрузку. Они старые, они изношенные. Все время происходят аварии...

Стоявший среди пареньков Никита Кошкин поднял голову и посмотрел кверху. Мачта показалась ему огромной. Тремя этажами бревен чудовищными гирляндами изоляторов, петлями крученых, как корабельные тросы, проводов нависала она над Никитой.

— Что, зазнобило? — спросил у Никиты сосед.

У соседа был лягушачий веселый рот, щеки румяные, жаркие. Шапка с задранном ухом прихлопнута на затылке.

А инженер продолжал говорить:

— И ликвидировать эти аварии... чинить электрические сети нам придется под напряжением. Сами знаете: оборонный завод останавливать нельзя. Даже на день, даже на несколько часов! Остановить завод — это проиграть бой на фронте!

Сосед, растянув в улыбке рот, наклонился к Никите:

— Будешь падать, москвич, держись за воздух! В тебе весу немного, ты птичкой спланируешь!

Инженер говорил:

— Мы не знаем, как ремонтировать линию под напряжением. Этого не было в мировой практике. Но мы обязаны научиться! Чего бы это ни стоило!

Больничная палата была сырая, тесная, со скошенным беленым потолком. Прежде в этом здании был монастырь; на окнах сохранились решетки с восьмиконечным крестом, а в красных углах еще темнела копоть от свечей и лампадок.

Две койки едва поместились в палате. На одной лежал Никита Кошкин с забинтованной головой. А рядышком его веселый сосед. У соседа толстая гипсовая нога была задрана на спинку кровати.

Прошла по коридору медицинская сестричка, заглянула в палату

— Сестра, дай витаминчику!— попросил сосед.

— Ты сам витамин,— ответила сестра.— Вон щеки какие, прикуривать можно.

Сосед засмеялся и обернулся к Никите.

— Ах, девка, ах, семислойная... Я бы ей дал прикурить. Да ты живой?

— Живой,— тихо проговорил Никита.

— Болит?

— Ага.

— Ничего,— удовлетворенно сказал Витамин.— Зато теперь не забудешь про технику безопасности. Навсегда ее затвердишь, милую!

— Я не оттого свалился,— невнятно сказал Никита.— Я технику безопасности выучил...

— А отчего же?

— У меня голова кружится.

— Врешь ты все.

— Кружится. От слабости.

— Жрешь по рабочей карточке первой категории,— с укоризной произнес Витамин.— А на голову сваливаешь.

Никита не отвечал.

— Не в голове дело,— сказал Витамин.

Он покопался в тумбочке, вынул оттуда что-то маленькое, тускло блеснувшее, и бросил на постель Кошкину. Никита приподнял забинтованную голову. Старинная медная монета с неровным ободком лежала на вытертом казенном одеяле.

— Согнуть пальцами сможешь?

Никита не шевельнулся и монету в руки не взял.

— Это демидовская еще, из мягкой меди,— сказал Витамин.— Батя свободно двумя пальцами гнет. И я скоро смогу. Немножко осталось.

Витамин взял вторую монету и, надув щеки с яблочным румянцем, принялся изо всех сил ее сгибать.

— Почти гнется... Уф-ф!.. Вот какие руки надо иметь. А у тебя не руки, у тебя ростки картофельные... Вы, городские, никудышные мужики. Много с вами не наработаешь.

Никита не стал отвечать вздохнул и повернулся ли

цом к стене. Вошла медицинская сестричка, принесла градусники в граненом стакане.

— А чего на ужин сестра Маша?— спросил Витамин.

— Чего всегда.

— Шроты?— сказал Витамин.— Пойду на фронт, убью Гитлера и соевую корову.

— Ничего,— улыбнулась сестра Маша.— Скоро новый урожай, скоро и хлеб и картошка будут.

— Уродился хлеб с оглоблю, а картошка — с колесо!— пропел Витамин, отчаянно фальшивя.— Сестренка Маша, поступай к нам в монтеры! У нас ребята гоголи, а девок нету, нам скучно!

Сестра Маша подошла к Никите, встряхнула градусник.

— А ты чего? Спишь?

— У него голова,— сообщил Витамин.— Слаб наш парень головой.

Сестра приподняла безвольную руку Никиты, сунула градусник под мышку. Постояла. И вдруг тихонечко погладила Никиту по заросшему затылку, по курчавым прядкам, торчащим из-под бинтов.

— Надо же,— сказала она.— Какие у тебя волосы красивые... Девчонке бы такие волосы! Давай меняться?

Сестра Маша была молоденькая. Наверное, ровесница Никите. И он смутился до слез, когда Маша погладила его по затылку. Покраснел, потянул на голову одеяло.

— Ты меня погладь, сестра Маша,— сказал Витамин.— Он еще глупый. Он не смыслит в редьке скуса.

В больничном коридоре сестра Маша сидела за столиком, записывала что-то в тетрадку и машинально ела пустую вареную картошку, горкой положенную на тарелку.

Маша не сразу заметила, что в двери один за другим тихонечко протискиваются ребяташки. Было их четверо, два мальчика и две девчонки; старшая была лет семи в обрезанных валенках с чужой ноги.

— Батюшки,— сказала Маша.— Вы чьи?

— Наша фамилия Кошкины,— рассудительно проговорила девочка в валенках.— Мы пришли навестить нашего брата Никиту. С ним несчастный случай.

— Да ведь нельзя сейчас! Поздно уже!

Девочка повернулась к своим сестренке и братишкам:

— Ну вот! Видите! Говорила я вам!— и объяснила

Маше огорченно: — Я их подгоняю, а они не могут быстрее идти! Копуши несчастные!

Трое малышей серьезно смотрели на Машу. Они провожали взглядом ложку, которую Маша подносила ко рту. Глаза их не могли оторваться от ложки.

Маша чуть не поперхнулась. Она схватила тарелку, подошла к детям, присела на корточки.

— Ну-ка, берите!.. — произнесла она шепотом.

— Нам не надо, — сказала старшая девочка. — Что вы. Нет, нет!

— Берите скорей!

Они жевали холодную склизкую картошку, а сестра Маша, сморщась от сострадания, глядела на них.

— Давайте сделаем так, — предложила старшая девочка. — Вы нас пропустите к брату. Несмотря на опоздание. А мы выступим перед вашими больными и ранеными...

— Выступите?

— Ну да, — сказала девочка. — У нас же музыкальная семья. Мы можем исполнить перед ранеными «Синий платочек», «Землянку», «Редет облаков летучая гряда»... Хотите, покажем?

— Не надо, — отказалась Маша, еще больше сморщась, улыбаясь и поблескивая мокрыми глазами. — Не надо. Идите к вашему брату Кошкину.

Зима была снежная, пуховая. Когда монтеры работали в поле, приходилось к каждой мачте пробивать траншею в снегу. И очень тяжело было волочить по такой траншее бухты провода, неохватные бревна траверз, блоки с закаменевшими веревками.

Никита Кошкин и Витамин катили по траншее бревно. Оно было как чугунное, — топор от него отскакивал. И они замучились с этим бревном.

А по снежной целине, наискосок через поле, спешил к ним какой-то человек. Проваливался, плыл в сугробах, разбивал руками шершавую корку наста. Весь он был запорошен сухой снежной пылью, и даже цвет одежды нельзя было различить.

Наконец человек подкатился поближе.

— Внимание!.. — заорал Витамин, увидев его. — Монтеры, смирна-а!..

Никита оглянулся и увидел перед собой медицинскую сестричку Машу. Наверно, у Никиты было совсем очу-

мелое выражение лица, потому что Маша все время смеялась, когда на него смотрела.

— Приглашали?— спросила она.— Вот я и пришла! Ну, где же ваши ребята-гоголи?

Она была очень хорошенькая. С порозовевшими мокрыми щеками, с разноцветными бровями — одна бровь темная, а другая совершенно белесая от снега.

— Разорвется мое сердце, разорвется пополам!— пропел Витамин и повалился в сугроб.

Даже зимой она носила голубой беретик и хромовые сапожки с отвернутыми голенищами. Тогда у девочек такая мода была. Оказывается, моды не исчезают даже в войну, в самое страшное время.

Девчонки в те годы натягивали мокрые беретки на тарелку, чтоб широким получился беретик, с острыми краями. А голенища у сапожек отворачивали пальца на два, чтоб виднелась желтая каемка.

Когда праздновали Победу, в газетах печатали портреты полководцев, и среди них попадался английский фельдмаршал Монтгомери. Он носил такой же широкий берет с острыми краями, и Никите Ивановичу нехорошо делалось, когда он видел эту фотографию и вспоминал Машу. Ее уже в те дни не было.

Кстати говоря, все прошлое связанное с Машей, вспоминается Никите Ивановичу не цветным, а черно-белым. Как та фотография английского фельдмаршала, напечатанная в газете.

Была весна; Никита и Маша возвращались с работы. На заборе управленческого клуба пузырилась под ветром самодельная афиша: «Сегодня новый кинофильм «Антон Иванович сердится».

— Кажется, это музыкальная кинокартина,— сказал Никита.— Ты музыку любишь?

— Я все красивое люблю,— сказала Маша.— Идем?

— Да как же. Надо переодеться.

— А, чихать. Запачкаем кого, что ли?

И как были они в рабочей одежде, так и побежали в очередь, толпившуюся у кассовой амбразуры. Билеты им достались где-то в последних рядах. Сзади все время шептулась какая-то мелкая шпана, вспыхивали огоньки самокруток, доносились голоса.

Никита всего этого не замечал. У него было почти

страдающее от наслаждения лицо, когда он смотрел на экран и слушал музыку. И он не видел, что Маша на него смотрит. Он не чувствовал, как она закрыла его руку своей ладонью.

Позади загоготали громко, завозились.

— Я сейчас,— шепнула Маша и поднялась со своего места.

Пригнувшись, она пошла к последнему ряду. Несколько голосов с различными лицами повернулось к ней. Кто-то спрятал сигарку в рукав.

Маша сжала кулак и поднесла его к той физиономии, что была поближе.

— Тихо!— сказала она.— Ржете, паразиты, а это ведь настоящая музыка играет.

Вечерами улицы в зауральском городке были темны, безлюдны, только хулиганье тут разгуливало при волчьем солнышке. Хулиганья было порядочно.

Те, что гоготали в последнем ряду, встретили Машу и Никиту возле прибазарного скверика. Никита видел, как торопливые тени скользнули по забору, метнулись через дорогу и замерли, сгрудившись, в кустах. Было их пятеро или шестеро.

— Ты беги,— сказал он Маше.— Я их задержку пока.

— Ключи у тебя есть?— спросила она быстро.

Он не понял:

— Какие ключи?

— Да все равно. Какие-нибудь. В кулаке зажать!

Почему-то она решила, что с ключами удобней обороняться. Но и ключей у Никиты не было,— в бараке, где он жил, двери не запирались.

— Беги!..— повторил он умоляюще.— Ну?..

Их было не меньше пяти, и он знал, что надолго не задержит. Голова у него все-таки кружилась, сильно кружилась. Он выдернул из-под ватника ремень с флотской латунной бляхой. Намотал на руку.

Иногда знакомые ребята внутрь такой бляхи заливали свинец, чтоб тяжелая была, чтоб ловчей было драться. И Никита пожалел, что не успел этого сделать; он не рассчитывал, что придется лезть в драки. Не любил он этого.

Их было пятеро; они стояли в кустах, а для затравки послали совсем еще сопливого пацаненка. И пацаненок привязывался добросовестно, очень старался:

— Давай отойдем!.. — бормотал он, оглядываясь на кусты. — Давай потолкуем, падла!.. — и бил Никиту сапогом по коленкам.

А Никита лишь отодвигал его, отпихивал от себя. И это злило пацаненка. Он обижался, что не принимают его всерьез, и прямо-таки стервенел.

Маша отскочила в сторону, а потом вернулась, и Никита понял, что никуда она не побежит. Господи, какое страданье было в беззащитном ее лице, какая мука... Спустя годы он видит это лицо.

Пятеро начали выходить из-за кустов, и кто-то двинулся полукругом, чтоб зайти со спины. А прислониться Никите было не к чему. Плешивый скверик, запорошенный сеном, катыши мерзлого навоза под ногами, до ближайшего темного дома — шагов тридцать. Не добежишь, не успеешь... И тут Маша кинулась к Никите, спиной прижалась к его спине, и он почувствовал на шее колючий ее беретик.

Они ударили издали и, конечно же, сзади. Гирькой на цепочке. Никита услышал, как просвистело над головой, как что-то мягкое толкнулось в затылок, совсем не больно... Сзади закричали, Никита обернулся. Он не сообразил, почему цепочка с гирькой очутилась у Маши, он другого ждал... Но цепочка была у Маши в руках, крутилась, завывая, над головой, и пятеро бежали прочь, к базару, оступаясь на ледяных катышках.

Оказывается, Маша рукой заслонила Никиту. И цепочка захлестнулась вокруг ее запястья, и Маша успела рвануть, выдернуть эту цепочку. Никита, наверное, этого бы не сумел.

Потом они стояли у дома, в котором жила Маша. Дом был деревянный, с выступающими наличниками, на высоком фундаменте с окошечками. Сбоку виселись глухие ворота, увенчанные тесовым козырьком. У всех здешних домов были такие крепостные ворота.

Маша подергала рябое кованое кольцо, — дверь в воротах не отперлась.

— Спят уже, — сказал Никита. — Как же ты войдешь?

— Как всегда, — улыбнулась Маша.

Она нащупала ногой выступающую доску, поднялась, ухватила за козырек. Подтянулась, переступила на кованую петлю. И вот уже сидит верхом на воротах.

Никита беззвучно смеялся, задрал голову.

— Дай руку,— внезапно проговорила Маша и нагнулась, и протянула белевшую в темноте ладонь.

Он замешкался. Опять не сообразил, что она хочет сделать. А затем все-таки догадался, схватил ее руку и, обрываясь, неловко карабкаясь, полез на ворота.

Они сидели на скользком, заледенелом козырьке ворот. Никита с опаской поглядывал на слепые окна дома и на двор, неведь что таивший в плотной своей тьме.

— Не бойся,— еле слышно сказала Маша.

— Я не боюсь.

— Вот и молодец...— Она придвинулась совсем близко, он услышал как под ее рукой хрустнула и переломилась сосулька.— Ты очень хороший, Никита.

— Нет,— сказал он. И помотал головой для убедительности.

— Очень хороший. Я знаю. И я часто думаю... если ты сейчас хороший... когда так тяжело. то каким замечательным ты будешь после... когда все это кончится...

Он помолчал и сказал, запинаясь

— Я не знаю... что будет после.

— Будет все прекрасно — сказала Маша.

Она притянула к себе его голову и поцеловала, а потом спрыгнула вниз, в темноту.

И он с заколотившимся сердцем с остановившимся дыханьем — тоже прыгнул в эту темноту.

Полгода спустя монтерская бригада работала в поле. Был самый обыкновенный день. Меняли траверзу — поперечную балку на мачте. Уже подняли наверх свежеспиленное бревно, перевесили изоляторы. Оставалось закрепить провода и спустить гнилую траверзу наземь.

— Перекур!— закричал снизу Витамин.

Никита тогда еще не курил. И Маша не курила. Им незачем было спускаться, и они пристроились отдыхать на своем третьем этаже. Сели на бревно, качали ногами. Подувал вешний ветерок, солнышко светило. Хорошо было.

Маш, спросил Никита - ты когда-нибудь носила кольцо?

Какое?

Ну, какое. Обыкновенное. На пальце.

Нет.

— А станешь носить?

— Откуда теперь колечки,— усмехнулась она.— Где теперь колечки..

— А я тебе сделаю, — сказал Никита. — Только оно будет не золотое. Ничего?

— А какое?

— Медное. У меня старинная монета, еще демидовская. Просверлю, обточу, и будет колечко.

Маша отколупывала смоляные слезы от бревна, смотрела вниз. Никита пояснил смущенно:

— Но ведь бывает же... бывает свадьба сначала медная, потом золотая.

— Бывает.

— Пускай и у нас так будет.

— А серебряную пропустил? — сказала Маша. — Эх ты!.. Они засмеялись. Витамин, завистливо поглядывавший на них снизу, закричал:

— Кончай перекур!!

И они поднялись с теплого бревна, застегнули страховочные цепи. Разошлись каждый в свою сторону.

Никита отворачивал болты на одном конце траверзы, Маша — на другом. Пустяковая это была работа. Скоро Никита освободил скобу, поддел ее, впечатавшуюся в дерево, отогнул. И ждал, когда то же самое сделает Маша.

А у нее траверза держалась только на одном, расслоившемся от ржавчины болте. И этот болт вдруг провернулся под ключом, головка его стала утопать в древесине. Казалось, болт, как живой, уходит в глубь бревна.

Траверза качнулась, накренилась. Древесная труха посыпалась Маше в лицо. Зажмурясь, Маша отодвинулась. И тут громадная траверза, выдирая щепу, с треском обрушилась вниз, ударив своим концом по Машиной страховочной цепи.

Цепь оборвалась, как бумажная.

Траверза еще падала, стучаясь об ноги мачты, а уже страшно, хрипло закричал внизу чей-то голос, и Витамин закричал, и остальные монтеры тоже.

Машу привезли в ту самую больницу, где прежде она работала и где познакомилась с Никитой. Только палата была другая и другой коридор.

На табуретке, возле цинкового бачка с водою, сгорбившись, сидел Никита. Кажется, он хотел попить воды, взял помятую кружку. Да так и забылся, держа мокрую кружку в ладонях, — вода переливалась через край, текла ему на сапоги.

Где-то в соседней палате настойчиво стучали костылем об пол: вызывали санитарку. Постучит костыль и смолкнет. Постучит и смолкнет.

Открылась в конце коридора дверь. Появилась докторша — старая, с трясущейся головой. Очки у нее были привязаны тесемочкой, с узелком на затылке. Докторша прошла в палату, и стук костыля прекратился. Потом докторша опять появилась в коридоре, поверх очков посмотрела на Никиту.

— Иди-ка ты домой.

— Я подожду, — произнес он без выражения.

Докторша поправила сползающую тесемочку на затылке, вздохнула.

— Да теперь уж нечего ждать.

Никита поднялся с табуретки. И покатила из его рук кружка, выплескивая остатки воды.

— Что делать, — сказала докторша. — Был бы организм посильнее, может... А то слабенькая она была.

Никита сидел у себя в бараке перед буржуйкой. Она не топилась, была холодная, мертвая, а он сидел перед нею, как будто грелся.

— Почему тетя Маша не приходит? — спросила Никиту младшенькая сестренка.

— Она больше не придет, — сказал Никита.

— Почему? Она рассердилась?

— Просто она больше не придет.

Сестренка смотрела на него недоверчиво, немигающе.

— А кто же нам хлеб будет приносить?

— Какой хлеб?

— Который тетя Маша приносила.

— Когда тетя Маша приносила хлеб? — очень медленно спросил Никита.

— Да все время же. Как придет, так и принесет.

В комнату вошла старшая сестренка. Несла тазик с бельем и напевала. Она не была самой способной в семье, но петь любила постоянно — все время звучал в бараке ее стеклянный, кукольный голосок.

Теперь она певица. Не слишком известная и знаменитая, но все-таки певица; иногда ее можно услышать даже по радио.

Она несла тазик с бельем и напевала:

Ты знаешь высь, с тропой по крутизнам,
Лошак бредет в тумане по скалам,
В ущельях гор отродье-змей живет,
Гремит обвал, и водопад ревет?
Ты знаешь путь?

2

Пятнистый от грязи, дымящийся «козел» останавливается у двухэтажного здания почты. Никита Иванович приоткрывает дверцу, собираясь вылезти из машины, но шофер Витька останавливает его:

— Обожди. Я схожу.

— С чего это?

— А продемонстрирую, как надо с диспетчером разговаривать.

— Брось, Витька, — говорит Никита Иванович. — Не надо, зачем это...

— Сиди, сиди.

Витька неуклюже выбирается на дорогу, идет к почте, разъезжаясь по грязи долгоносыми, потерявшими цвет туфлями. Окна почты изнутри запотели, форточки откинута, дрожит над ними воздух. Видать, поддали температуру почтовые работники. Не жалеют казенного топлива.

Сквозь потеющие стекла ничего не углядишь, но Никита Иванович знает, что произойдет на почте. Минуток десять придется сидеть и ждать, пока не вернется шофер. Раньше он оттуда не вернется. Одни девчонки служат на почте, сплошь молоденькие.

Из растворенных форточек слышно, как бренькают телефоны, играет радио на стенке. Затем девчонки начинают хихикать и повизгивать. Это Витька вступил с ними в контакт. Он специалист по контактам.

Никита Иванович достает портсигар со спутником на крышке, закуривает сигарету. Смотрит на раскисшую дорогу с мыльными лужами, с пластами черных тополиных листьев, с редкими расплюснутыми одуванчиками, которые еще цветут, хотя завтра небось уже повалит снег. Вдоль дороги — мокрые кривые заборы, и на их столбах, как глиняные копилки, неподвижно сидят коты. С огородов доносит горелой картофельной ботвой.

Никита Иванович смотрит и прикидывает, сколько лет осталось жить тихому поселку Самаровке. Вероятно, совсем недолго. Город разрастается, уже выплеснулся за кольцевую дорогу; на месте прежних дачных поселений —

оглянуться не успеешь! — встают панельные башни-близняшки. Немало Самаровок исчезло за то время, пока Никита Иванович работает в своей конторе.

Вон за березовой рощей, за узкоколейкой видны кровли бывшего академического поселка. После войны его строили пленные немцы. Дома они возвели на собственный манер — крыши островерхие, один скат длинней, другой короче — непривычно высокие и плоские трубы увенчаны флюгárками. Из-под крыш выступают резные фигурные балки, балясины. Не академические дачи, а какие-то горные хижины.

Примерно такие хижины Никита Иванович видел в Германии, когда перед концом войны все-таки выпросился на фронт. И теперь он многое вспоминает, когда видит островерхие черепичные крыши.

Сейчас к бывшему академическому поселку вплотную подступила стройка. По шоссе тянутся панелевозы, рывкают бульдозеры, желтый кран мотает на своей удочке какие-то плиты с круглыми дырками внутри. И уже нету половины затейливых горных хижин, а над оставшейся половиной нависли шестнадцатиэтажки, одинаково помазанные розовой краской. Полощется на балконах бельешко, — гораздо выше академических флюгарок.

Никита Иванович думает, что он постоянно жил среди строительства. Так получалось, что всегда вокруг него — огромная строительная площадка со вздыбленной землей и траншеями, с какими-то временками, с неподведенными под крышу домами. Оседлой, отстоявшейся жизни пока не было. И он раздумывает, хорошо это или худо, и как это все отражается на людях. Люди нынче живут так, будто в их квартире постоянно идет ремонт.

Сигарета почти докурена; вот девчонки перестали хихикать, шофер Витька звонит в диспетчерскую. Слышен его мальчишеский голос, сделавшийся официальным и злым:

Дементьева? Але, Дементьева!.. Куда Кошкинской бригаде ехать? Куда-а-а?!

На минуту Витька смолкает, а затем начинает кричать:

Да вы что там, извиняюсь?! С ума послезали?! Через полчаса смена кончается! Не поеду!! Не поеду!! И Кошкину не буду передавать!.. Давай ближний вызов, а то сейчас же вертаемся!

Витька выходит из почты, лягнув ногою дверь. Он

до того сердит, что и про девчонок забыл, не попрощался.

— Нет,— обращается он к Никите Ивановичу,— это уснуть-умереть! В академический!.. Совсем озверели в нашей шараге, уйду завтра же, святое слово!..

— Какая там улица?— спрашивает Никита Иванович.

— До феньки мне эти улицы!

— А все ж таки?

— На любую не поеду!!

— Давай все-таки съездим.

Витька наклоняется к Никите Ивановичу и кричит ему прямо в лицо:

— Хрена вам!.. Нахлебался я — после смены вкалывать! Не хватает монтеров, пускай новых набирают, меня это не касается!

У Никиты Ивановича есть одна особенность. Он не может переносить, когда на него кричат. Он краснеет, отворачивается, на лице у него болезненное выражение; он молчит, и только прозрачные глаза неестественно мерцают и вздрагивают, как индикаторная лампочка в приемнике, у которого выключен звук.

Наконец Витька перестал орать, выкричался. Обстукал о подножку туфли, облепленные глиной. Собирается сесть в машину. Никита Иванович молча перебирается на место шофера, поворачивает ключ зажигания. Вероятно, собирается ехать без Витьки.

Витька вырывает у него ключ:

— Еще чего!! Кто за машину отвечает?!

— Ладно,— говорит Никита Иванович.— Поеду на автобусе.

— Подвинься!!

Витька плюхается на сиденье, локтем отодвигает Никиту Ивановича.

— Может, еще пешком попрешься?

— Может.

— Нет, это уснуть-умереть!— обессиленный Витька запрокидывает голову, смотрит в брезентовый потолок.— Я думал, шутят! «Кошкин, говорят, безответный и безотказный! Как пионер! Всегда готов!» Смеются ведь над тобой, дед!

В «козле» устанавливается тишина. Снаружи шелкают по капоту дождевые капли — то кучно, то пореже. Дождик выдыхается, он устал.

— Поехали,— говорит Никита Иванович.

«Козел» взрывает, дергается, боком ползет по дороге, едва не угодивши в кювет.

— Ангидрид твою перекинь! — шипит Витька, оскалась.

— Деспетчерша когда-то в магазине работала, — говорит Никита Иванович. — В винном отделе. А ты ее перекричать собрался.

В конторе, где служит Никита Иванович, действительно работать несладко. Район громадный, что твоя Бельгия, а мотаются по нему всего три машины — «летучки». Добрая половина электролиний плутает по рощам, по дрянному мелкоколесью. Ударит ветер, повалит дерево — на линии обрыв. Упадет мокрая ветка на провода — замыкание. И многочисленные стройки добавляют хлопот: автокраны рвут провисшие провода, бульдозеры об столбы трутся...

Контору лихорадит; новый начальник за истекший год облысел. То и дело назначает субботники, воскресники. А монтеры, конечно же, недовольны.

Когда прежний начальник Никиты Ивановича уходил на пенсию, он сказал новому начальнику:

— Есть в коллективе монтер по фамилии Кошкин. Никита Иванович Кошкин. Ты его не обижай. Он человек безответный. Из тех, которых дважды не надо просить... Он по натуре своей — «скорая помощь», бывают, знаешь, такие люди.

Может, новый начальник и не помнит про этот разговор, не обратил внимания, забыл. Может, само собой получилось, что Никите Ивановичу достаются самые неудобные, самые дальние вызовы. Может, виновата диспетчер Дементьева, бывшая продавщица из гастронома. Но как бы там ни было, почти всякий день посылают Никиту Ивановича в какую-нибудь Самаровку или Кривопутинку, обреченную на снос. В этих деревнях хозяева уже не чинят свои унылые жилища, гнилые и косопузые, с выпученными окнами. Все равно этим жилищам гореть на кострах... И проводка там такая, что невольно за голову схватиться. Любой провод трижды связан и наращен, оплетка свисает бахромой, изоляторы из рогаток расстреляны. По трухлявым столбам молотят носами дятлы, выковыривают червяков, — только щепки да мусор по ветру летят...

Но пока люди тут живут, свет должен гореть.

Монтерский «козел» наискосок пропахивает небольшое поле, перескакивает узкоколейку и въезжает на территорию громадного строительства.

За котлованами — уже заселенные дома; стоят одинаковые шестнадцатитажки, будто приподнявшись на цыпочки, пестрят наивно раскрашенные балкончики.

И тут же — по другую сторону котлованов, рукой подать — сохранилась еще половина академического поселка. Разумеется, академики давно отсюда съехали, горные хижины теперь в запустении. Дыры зияют в черепичных крышах, повывбиты цветные стеклышки на террасах. А вон чья-то хижина лишилась забора: небось уже в печке истоплен забор, вылетел в трубу.

— Стой!.. — внезапно говорит Никита Иванович, на ходу вываливаясь из машины.

Гремя своей цепью, он перепрыгивает канаву и бежит к бульдозеру, который разворачивается на обочине. Утюжа площадку, бульдозер зацепил за деревянный столб с электропроводкой. На столбе свежая ссадина, он качается, играют, схлестываясь, провода и трясут мокрой бахромой.

Витьке сквозь боковое стекло видно, как Никита Иванович подбегает к бульдозеристу, показывает рукой на столб. Парнишка-бульдозерист тоже тычет рукой, показывает: вон куда гляди! На противоположной стороне, на откосе, уже воткнуты новые столбы. Бетонные, с лебедиными шеями.

Никита Иванович плюется, что-то втолковывает парнишке.

— Не дурак ли? — беззлобно спрашивает он, возвратясь к машине. — Ему что линия, что осветительный столб — все едино...

— Завтра повалит, — хмыкнув, говорит Витька.

— Пусть хоть до завтра люди спокойно доживут.

«Козел» едет мимо запущенных хижин, качается на дороге, заросшей гусиной травкой. Шум строительства утих, остался позади. Но теперь возникает какой-то другой шум, непонятный. Вдруг из хижин доносится яростный рев, его сменяет полная тишина, и опять — очумелый рев, крики, свистки...

— Футбол передают! — скривясь, поясняет Витька. — Вот зачем нас вызвали. Какому-то больному позарез нужен футбол в телевизоре. Иначе загнетса...

Никита Иванович отворачивается, не отвечает Витьке. Конечно, можно бы сказать, что Витька четверть часа трепался на почте с девчонками, а за это время они бы успели съездить в поселок.

Или можно бы сказать о главном. Какая разница, теле-

визор у человека не работает, холодильник или утюг. Нету разницы. Просто свет должен гореть.

Иногда в холодильнике-то не колбаса хранится, а лекарство, без которого человек помрет. Но пусть даже одна колбаса напихана в холодильник. Все равно свет должен гореть нормально. Пускай люди включают телевизоры, и греются у рефлекторов, и зажигают настольные лампы, чтобы почитать.

Если можно устроить людям нормальную жизнь, так и надо ее устраивать.

Горная хижина, возле которой Витька притормаживает, окружена яблоневым садом. Видно, что владелец ее трудолюбив и заботлив: даже нынче, в неурожайный год, на макушках яблонь кое-где желтеют антоновки.

Вдоль забора посажены рябины. Ветер ободрал пригорелую листву, смел под забор, и теперь особенно бросаются в глаза плотно сжатые кисти ягод, от которых огрузли ветки, и вся земля под рябинами точно забрызгана кровью.

Калитка заперта, Никита Иванович нажимает пальцем звонок. В хижине гулко бухает собака, потом скрипит дверь. По садовой дорожке приближается девица в махровом халатике, застегнутом на одну пуговку.

Девица вся розовая, вся теплая, будто только что из постели. Волосы у нее неприбраны, тяжелой копной свалены на один бок. И от этой ее розовости, теплоты, незастегнутого халатика и наспех откинутых волос, от ее туманного взгляда с поволокой, от пухлых полузапекшихся губ веет таким откровенным зазывом, таким соблазном, что Никита Иванович покашливает и осторожно косится на Витьку.

Девица еще вдалеке, еще не приблизилась вплотную, и никакой запах, никакие телепатические волны еще не долетели за калитку, а уже контакт наступил. Уже ясно, что досмерти истосковалась девица, запертая в своем тереме, исстрадалась ее душа, истомилось ее тело розовое...

Господи, пронеси. Все это дурманное облако, в котором движется девица, все волны, все напряжение в тысячи вольт разрядится на Витьке.

— Монтеров вызывали? — хрипло спрашивает Витька за плечом Никиты Ивановича. И тот ощущает, как смыкается силовое поле, как уже потрескивают высоковольтные разряды.

На счастье, выскакивает из-за рябин владелец хижи-

ны. Он в драной зеленой рубахе, в брюках с подтяжками; в одной руке топор, в другой — курица без головы.

— Наконец-то! — кричит он. — Прибыли!.. Цельный день трезвоню! Цельный день без света сижу, что это за порядки?!

Он плечом оттирает девицу от забора.

Сейчас исправим, — говорит Никита Иванович.

Где-то на столбах замыкание, в доме я все проверил! Зинаида, марш домой, простудишься! Идите, мужики я вам растолкую... Идите за мной!

Девица медленно отступает по дорожке, и Витька подобно лунатику тоже медленно, автоматически вышагивает за нею.

— Сюда!! рывкает владелец. Эй, ты! Зинаида прикрой дверь в доме!

Два столба прячутся среди яблонь. Разумеется, пьяные столбы, и пасынки у них давно сгнили. Никита Иванович толкает рукой столб, и тот кренится, и гитарным звоном откликаются провода, ударясь о яблоневые сучья

Вот тебе и замыкание говорит Никита Иванович владельцу.

Где?!

Ветки-то мокрые. Достронется и замкнет Ты обрезал бы чуток под линией.

Резать?! Яблони?! — с придыханием вскрикивает владелец. Его лысина, глянцева от дождя, вся наливается гневной багровостью. Он выбрасывает перед Никитой Ивановичем руку с топором. На!.. Лучше мне пальцы оттяпай!..

Никита Иванович с минуту изумленно смотрит на него. Из соседних домов снова долетает рев, гвалт, осатанелые свистки. Владелец тоже на какой-то миг забывает о своем гневе, прислушивается.

Ладно, говорит Никита Иванович Сделаем

Резать не дам! Не позволю!!

Мы провода поднимем.

Ага, значит, можно?! взрывается владелец — Значит просто не хотелось?! Леня поработать? У у у народ!..

Девица в халатике так и не ушла в дом, задержалась на крылечке. Витька озирается на нее, подходит к Никите Ивановичу, шепчет.

Дед, ты на один столб, я на другой... Чтоб не чухаться! Он поворачивается к владельцу. — А ты, хозяин дежурь в помещении. Как свет мигнет выключи все лампы и все приборы. Понятно?

— Это зачем?!

— Надо!— сурово приказывает Витька.— Проверим утечку.

— Какую еще утечку? Куда?!

— Может, в землю,— отвечает Витька.— А может, еще куда. Разберемся. В общем, давай, давай, хозяин не спорь!

Подозрительно оглядываясь, владелец всходит на крыльцо, заталкивает розовую девицу в дом скрывается сам вместе с топором и курицей.

Затем то в одном окошке, то в другом прикидывает к стеклам его лицо со сплюснутым носом — круговую оборону держит владелец. А Витька приносит из машины вторую пару «когтей», поспешно вбивает в них свои остроносые туфли и даже не застегнув ремней, карабкается на столб.

Поднимается на соседний столб и Никита Иванович. Он вроде бы не спешит, но оказывается у изоляторов быстрее Витьки. Достает из кармана лампочку-миньон и начинает проверку.

Снасть у него примитивная, только Никита Иванович другими снастями не любит пользоваться. Вон у Витьки есть новейший немецкий пробник под названием «Вобла» Похож на изящную авторучку. Ткнешь острием в провод, и, если он под напряжением, внутри авторучки засветится крохотная спиралька. Но Никите Ивановичу чаще всего приходится работать на улице, а при солнце, да и вообще светлым днем тонюсенькую спиральку ни хрена не видать. Не разберешь, зажглась она или нет.

Вот и сейчас, хотя облачно и дождливо, Витька все равно загораживает «Воблу» ладонью. Что-то слишком суется, подпрыгивает трясет столб, как грушу. Не завалился бы вместе со всеми проводами.

— Никита Иваныч!..— громко окликает Витька.— Есть фаза?

— Есть.

— И у меня тоже... Фантастика!

Никита Иванович заканчивает проверку, заодно укрепляет изоляторы. Так по привычке. Потом спускается вниз. А Витька все еще суется, все загораживает ладонью пробник.

Бред какой-то, Никита Иваныч! Обе фазы под напряжением! Больше негде искать!

— Спускайся давай — говорит Никита Иванович.

А розовая девица тем временем беззвучно выскользнула на крылечко. Присела, локоть уперла в колени, подбородок в ладонку. Смотрит. И не понять, то ли посмеивается, то ли шепчет что-то.

— Никита Иванович, добей без меня, ладно? — подмигивая, просит Витька. — А я сейчас... Это уснуть-умереть, какой случай...

— Дождешься, — сумрачно предсказывает Никита Иванович. — Обломают тебе вязы.

— За что?

— А за это.

— Никита Иванович! — с ясной улыбкой говорит Витька. — Когда ты насчет работы поучаешь... насчет света, который должен гореть днем и ночью... Я — ничего. Я помалкиваю. А насчет этого — не надо вмешиваться, не надо. Сам не без греха... Я, например, знаю, зачем ты к телефонам бегаешь. Звоночка ждешь. Чтобы женский голосок позвонил! Который месяц ждешь!.. В конторе смеются, а я не смеюсь, я тебя понимаю... Житейское дело! Но и ты пойми.

Подхватив «когти», Витька несет их к машине. Можно идти вдоль забора, — Витька идет мимо крылечка. Владелец хижины выглядывает из своих амбразур, но неприятельскую вылазку проморгал. Не чувствует опасности. А Витька уже прилип к намагниченному крылечку. Сел на ступеньку, придвинулся. И девица ни гугу лишь халатик подобрала под коленки.

Никите Ивановичу не надо ходить в кино — каждый день Витька показывает ему современные картины про любовь.

Никита Иванович идет ко второму столбу, осмотренному Витькой, и так же неторопливо начинает подниматься на него. Теперь, к концу смены, он чувствует, что очень устал. Болят руки. Ватник промок на плечах и спине, рубашка прилипла к телу. Холодно.

В позапрошлом году, зимой, он ехал с работы в электричке. Собрался выходить на своей остановке, открыл дверь в тамбур.

Сбоку жались парень и девчонка; качнувшись, Никита Иванович обогнул их, и тут услышал, как девчонка за-

стонала. Он машинально повернулся. Парень бил ее ребром ладони по тощенькой шее, по пальцам, закрывавшим лицо.

— Да ты что?!— крикнул Никита Иванович и схватил парня за плечо.

Парень хотел ударить и его; Никита Иванович едва поймал занесенную руку. Пока они возились, как боксеры в ближнем бою, электричка ткнулась к платформе, зашипели двери. Девчонка извернулась и прыгнула из вагона. Никита Иванович оттолкнул парня и тоже соскочил в последний миг. Вагон пошел мимо; было видно, как парень судорожно раздирает сомкнувшиеся половинки дверей, ботинок торчал в щели, две побелевшие пятерни дергались. Но электричка набирала ход и быстро утянулась, исчезла за деревьями.

Никита Иванович, придерживая порванный обшлаг куртки, ругаясь вполголоса, затопал к лестнице. Он даже не посмотрел, куда делась девчонка. Все моментально произошло, нескладно, нелепо; Никита Иванович не знал, то ли сердиться на себя, то ли плюнуть да рассмеяться.

Девчонка сидела на лестнице, прямо на бетонной приступке. Валил дряблый снег пополам с дождем, пузырился на грязном бетоне, на железных поручнях. Девчонка утиралась носовым платочком, розовым от крови.

— Перепало тебе?— спросил Никита Иванович.— Больно?

Она все утиралась по-кошачьи.

— Может, помочь?

— Да идите вы!..— она всхлипнула, прижалась к перилам. Головы не подняла, и тогда он присел на корточки, пригнулся, засматривая ей в лицо.

Они долго просидели тогда на перроне. Уже погасли все фонари, кроме единственного, висевшего над кассой,— все электрички ушли. Один только ночной товарняк громыхал; бесконечные вереницы черных вагонов и цистерн текли мимо, не сбавляя скорости у станции.

— Так и будешь до утра?— спрашивал Никита Иванович.

— Так и буду.

Терпенье у него кончилось, он ухватил ее за рукав и потащил за собой. Она упиралась. Обхватит фонарный столб, и не оттянешь ее, не оторвешь.

Бог знает, как он убеждал ее, что говорил. Просто какие-то одинаковые слова, но повторяемые непрестанно. Он понимал, что сейчас важен не смысл этих слов и не их

убедительность. Нельзя было оставить ее одну на платформе. Нельзя. И сейчас он был единственный человек, оказавшийся рядом.

Он все-таки привел ее к своему дому, к двухэтажному деревянному общежитию, когда-то построенному для железнодорожных рабочих и теперь называвшемуся «шанхай». Этот веселый «шанхай» тоже каждый год собирались сносить, да как-то он ухитрялся держаться.

В комнате Никита Иванович снял с нее плащ, сбегал на улицу к колонке, принес воды в кувшине:

— Отмывайся.

Пока она примачивала синяки, он разобрал свою холостяцкую постель. Белье показалось ему не слишком чистым, и он поменял белье.

— Второй койки у меня нету,— сказал он.— И уйти некуда. Но это ничего не значит. Я вот там лягу, на полу.

Расстелил возле печки газеты, бросил на них телогрейку и старую свою солдатскую шинель. Улегся, не дожидаясь, пока она закончит умыванье.

Потом он услышал в темноте шлепанье босых ног. Она прошла в угол, где он лежал, и под ее рукою зашуршали газеты.

— Ты что?— спросил он.

Она дотронулась до него холодной, вздрагивающей рукой, и прилегла рядом.

— Ну, что ты? Что?

— Ничего,— сказала она.— Молчи.

Чего он только не передумал за эту ночь. Страшная была ноченька. И самое простое, самое верное объяснение случившемуся — что все это можно сделать н а з л о — он не сразу отыскал. Уж так у него получалось в жизни, что он ничего не делал назло. Ни кому-нибудь другому, ни себе.

И он думал, до какого же каления надо довести человека, чтоб такое случилось. Можно человека обидеть, оскорбить и унижить. Только любой обиды, любого оскорбления и унижения все-таки мало, чтоб такое случилось.

Конечно, можно это сделать по глупости, по легкомыслию, по бесшабашности. Но она-то была другая, совсем другой был у нее характер, и он ощутил это сразу.

Значит, полное отчаяние надо было почувствовать, чтоб такое случилось.

Под утро, когда рассвело, он лежал и смотрел, как она спит. Она во сне вздрагивала. Внезапно дергалась и съеживалась, будто ее ударяли, и даже просыпалась от собственного дерганья. Он смотрел на ее собранные в узелочек волосы, тонкие как паутина, и такого же серенького цвета, на смешное оттопыренное и острое ухо, на плечо с выпирающей косточкой. Веснушки были везде — и за ухом, и на шее, и на плече. И синяки были везде.

— Отвернись, — вдруг произнесла она отчетливо, не открывая глаз. — Отвернись, не смотри, будь человеком...

Утром она повеселела, оживилась. Никита Иванович понимал, что она притворяется; в груди у него затеснило, муторно сделалось. Он улыбался через силу.

Сидели друг против друга, пили чай.

— Ты его не умеешь заваривать, — сказала она. — Ошпаривай чайник кипятком, чтоб нагрелся. Потом уж заварку, и хорошо, если разных сортов... Я очень страшная, да?

— Нет, — ответил Никита Иванович.

— А совсем вкусно, если заварку перелить несколько раз. Из чайника в чашку, а потом опять в чайник. Восточный способ.

— На работу сейчас? — спросил Никита Иванович.

— Конечно.

— А после работы?

Она улыбнулась чуть-чуть.

— Домой.

— Но ведь...

— Что?

— Можно сюда прийти, — проговорил Никита Иванович. — Я у знакомых переночую.

Она мгновенно нахмурилась, глянула исподлобья, звякнула стаканом о блюде.

— Вот еще. Ты-то здесь при чем?

Кольцо было у нее на руке. Узенькое, потертое серебряное колечко, уже врезавшееся в палец. А пальцы были рабочие, с распухшими суставами, с расплюсченными ногтями.

Никита Иванович встал и принялся убирать со стола. Она съежилась на табуретке, следила за ним внимательно, и он чувствовал этот взгляд. Неслышно приблизилась, провела пальцем по заросшему затылку.

— Эй. Спасибо тебе.

Он стоял, не оборачиваясь. Дышать стало трудно. А она опять провела рукой по его затылку.

— Зачем тебе такая славная косичка. Давай поменяемся?

Он сказал:

— Запомни телефон: семнадцать сорок один. Его все знают. Когда свет погаснет, звонят в нашу контору: семнадцать сорок один.

Она сказала:

— Запомню.

— Спроси Никиту Ивановича Кошкина. Мне передадут.

— Хорошо.

— Если только понадобится...

— Хорошо, Никита Иванович. Когда погаснет, я тебе позвоню.

Он промаялся в конторе до полуночи, она не позвонила. Не было звонка и всю неделю подряд. В груди у Никиты Ивановича будто раскаленный камень лег. Не вздохнуть, не успокоиться, не забыть хотя б на минутку... Печет и печет.

Никита Иванович представлял, что могло произойти там, в ее доме. Ночью она немного рассказала про мужа. Молодой он был и удачливый, лихой красавец. Парашютным спортом занимался. Только вот слишком часто соскакивал с нарезки.

Никита Иванович спросил, что это значит — «соскакивать с нарезки».

— Гайку видел? — спросила она. — Иногда крутится как надо, а иногда сорвется, соскочит с нарезки. И машина вдребезги.

Мужа она называла «родимый». И Никита Иванович представлял, что мог натворить «родимый», сорвавшись с нарезки. Да еще озлясь на то, что дома жена не ночевала. Да еще узнав о происшедшем. Она вполне могла выложить всю правду — это естественно, если поступаешь на зло. И бояться нечего: при таком отчаянии не бывает страха.

Она позвонила через две недели с лишком. Никита Иванович за это время вконец извелся, и сам едва с нарезки не соскочил.

Позднее-то он убедился, что ей эти две недели обошлись дороже. Гораздо дороже. И позвонила она в ту ми-

нута, когда ее терпению край наступил, когда человеческих сил уже не хватало.

Она из тех женщин была, которые не плачутся и легких слез не проливают. Которые сами, без подмоги, держатся до последней черты.

Она была моложе Никиты Ивановича на четырнадцать лет. Но забывала об этом или не хотела замечать. У него давненько уже морщины пропечатались на лбу, а ей казалось, что он попросту насупился, помрачнел. Она наклоняла голову и бодалась, как козленок.

— Эй,— говорила она.— У тебя там печальные мысли завелись! Пускай ко мне перелезут!

Не хотела она замечать, что он устает, что к дурной погоде ломает его ревматизм, полученный еще на фронте. Не жалела.

— Ты мужик или кто? Держи хвост трубой!

Но чаще она кричала на Никиту Ивановича и ругалась.

— Все вы одинаковы!— яростной, быстрой скороговоркой выпаливала она.— Господи, как я вас всех ненавижу!.. Хоть бы один человек попался, не зверь, а человек, один-единственный! Которому довериться можно, и не подзревать ни в чем, и знать, что всегда поймет!.. И бить не станет через десять лет!..

Никита Иванович не спорил с ней в такие минуты. Терпел. Она не хуже его сознавала, справедливые слова выкрикивает или нет. И мучилась потом больше, чем мучилась бы от его упреков.

Однажды, когда уже ясно сделалось, что Никита Иванович не проживет без нее и она без него не проживет, он сказал:

— Не ездь больше домой.

Она долго молчала. Нестерпимо долго.

— Как тебя старый начальник называл?— спросила она наконец.— «Ноль три»? «Скорая помощь»? Отчего же ты думаешь, что ты один такой?

— Я не думаю,— сказал Никита Иванович.

— Тогда понимай.

— Понимаю. Но ведь пропадешь.

— Значит, судьба.

— Но зачем? Зачем?

— Ты свою жизнь,— сказала она,— на других потратил. Зачем?

— Не тратил я. Иначе нельзя было.

— Я-то знаю! И про мать, которая болела, и про сестренку с братишками. Я все помню... Не врал же ты, когда рассказывал.

— Не врал.

— Ну вот. Не на себя же потратил.

— Нельзя было иначе!— крикнул Никита Иванович.— А у тебя можно! Он у тебя молодой, он здоровый, ни черта ему не сделается. Не пропадет!

— А вдруг?— сказала она.— Вдруг? Кому это известно?

— Неужели еще любишь?

Она смотрела на Никиту Ивановича, как на младенца неразумного. Как старшая смотрела.

— Он любит,— сказала она.— Он любит. Если бы сумел обойтись без меня... Если бы!

Иногда черными словами проклинал Никита Иванович ту зимнюю ноченьку, когда они встретились. Да только поздно проклинять, уже ничего не повернешь вспять, не переделаешь,— надо ждать, совсем не надеясь на перемены, и надо терпеть, хотя не хватает терпенья.

— А ведь все бы получилось,— сказал он однажды.— Все по-настоящему. Чтоб семья, дети... Чтоб каждый денек светлый был.

— Эй,— засмеялась она,— иди, я тебя причешу. Не обрезай косичку, ходи без шапки, станут девочки заглядываться...

— Перестань.

— А ты меня брось. И все кончится.

— Перестань!

— Ты же не пробовал. Не бойся, возьми и брось, я ведь не пропаду! Я по гроб застрахованная.

— Перестань!!

— Знаешь,— проговорила она с тем же искренним, легким смешком,— вот бабы мужей от пьянства спасают... Одна — хрясь!— и бутылку об пол. А другая потихоньку мужнин стакан придвинет и выпьет. Сама выпьет, чтоб ему не досталось...

— Ну?

— Не притворяйся, что не понял. Ты хороший. Ты очень хороший. Ты «скорая помощь», задушевный дружок. Но ты из тех, которые сами выпивают стакан. А оттого и молчи. Никогда не жалуйся. Если не умеешь, не хочешь, не можешь по-другому, тогда не смей жаловаться! А теперь иди сюда, буду причесывать...

С той поры прошло много месяцев. Иногда — впрочем, весьма редко — в кошкинской конторе раздается неслужебный телефонный звонок. Далекий женский голос просит передать Никите Ивановичу, что ему, дескать, звонили. Диспетчер Дементьева интересуется: не передать ли что-нибудь конкретное? Нет. Просто скажите, что звонили.

В такой день безответный Никита Иванович сразу уходит с работы. И бывает, что нету его и завтра, и послезавтра.

А когда он все-таки появляется, то на себя не похож — глаза ввалились, нездоровая синева проступает сквозь румянец, весь будто обугленный, ссохшийся.

Новый начальник сердится, нервически кричит, не выбирая выражений. А Никита Иванович лишь отводит глаза. И никому не видно, как, вздрагивая, расширяются зрачки, как трепещет в них бесцветный, наглухо запертый огонь.

Потом, исподволь, Никита Иванович обретает прежний цветущий вид.

Влезши на второй столб, Никита Иванович осматривает проводку. Ну, конечно... Алюминиевый провод прикручен к старому, медному. Такие дрянные узлы всегда окисляются. Деликатный немецкий пробник под названием «Вобла» улавливал какие-то крохи напряжения и загорался. А вот лампочка Никиты Ивановича не горит. Не понял Витька простенького секрета.

Стукнула оконная рама, просунулось в нее лицо владельца хижины.

— Зажглось, мастера!.. Зажглось!

— Включайте телевизор, — говорит Никита Иванович. Он обматывает соединение изоляционной лентой. Хотя это и не спасенье, но все-таки следующая авария произойдет попозже. А может, и не дождется ее владелец хижины — снесут к тому времени остатки поселка.

Слышно гуденье из форточки, начинает бледно мерцать окно. Владелец включил телевизор. Вон, со столба видать огромный прямоугольный экран, и движение на нем, бегущие фигурки. Потом крупно показывают какого-то черного, длинноногого, в ослепительной майке; он несется по экрану, будто растягиваясь в прыжках; пестренький мячик словно привязан к его ногам. Выскочили напе-

ререз кинулись в ноги, черный упал — «а-а-ах!» — стонет владелец в комнате, «а-а-ах!...» стонут соседние хижины, «а-а-ах!...» стонет весь земной шар.

Наверно, такие зрелища требуются миру. Ничего не поделаешь. Когда передают футбол, напряжение в сети падает чуть не на десять процентов. Все телевизоры включены. Теперь кочегарит и этот услаждает своего владельца. Порядок.

Никита Иванович спускается вниз. Нечаянно взглядывает на крылечко и вдруг замирает на середине столба.

Никита Иванович видит, как розовая девица, сидящая на крылечке, поднимает узенькую ладонь и наотмашь, хлестко ударяет Витьку по щеке. Так звонко и хлестко, что взлаивает собака за дверьми.

Никита Иванович больше года работает с Витькой, помнит его и злым, и радостным, и беззаботным. Пожалуй, только сконфуженным и растерянным не помнит. А сейчас Витька совсем растерян.

Они собрали инструмент, идут к машине, и Витька оглядывается через два шага на третий. Девица исчезла с крылечка. Двери захлопнуты. Доносится футбольный рев из хижины, бухает собака взаперти.

Никита Иванович делает вид, что ничего не заметил. Они садятся в кабину; Витька слепыми руками шарит ключ зажигания.

— Ангидрид твою перекись...

Что ж, и такое бывает. Не ведаешь, Витя, где найдешь, где потеряешь... Как бы, Витя, не настал конец твоим похождениям. Вдруг еще не раз прибежишь и постучишься в эту хижину, и будут хлестать тебя по чему попадая, а ты снова будешь стучаться. И такое бывает.

Снова забрызганный грязью «козел», дымясь, едет по улице. Тормозит у телефонной будки.

Никита Иванович втискивается в ее нутро, шарит в нагрудном кармане. Вытаскивает палочку от эскимо, сует в щель для монет и набирает номер.

— Але, Дементьева!.. Кошкин говорит. Кончили мы в академическом. Да, нормально... Едем домой...

Он раздумывает несколько секунд.

— Але, Дементьева!.. Мне никто не звонил? Ну, ну... Извини, пожалуйста. Извини.

Он вешает запотевшую трубку

А дымящийся «козел» криво стоит на отблескивающей дороге, ждет. Над придорожными тополями, над крышами поселка низко и быстро текут расслоенные тучи с голубыми промоинами. Налетит леденящий ветер, смахнет в канаву пугливый автомобильный дымок, перевернет пласт слипшихся листьев на обочине. Расплющенные одуванчики таращатся в небо: опять дождь надвигается или снег?

Осень...

1964

ЛЕБЕДИНАЯ ЖИЗНЬ

Они пролетели над Азией и Европой, над такими людными городами, как Ереван, Мелитополь и Ярославль, но их почти никто не увидел. Они летели без кряка, без свиста крыльев, без гоготанья или курлыканья, вдвоем высоко над землей, в апрельское, зяблое время. Встающее солнце окрашивало им белые подкрылья.

Двое лебедей летели с теплой, сытной и безопасной зимовки в тростниковых плавнях под Ленкоранью на дальний, едва оттаявший после зимы, весь зыбкий и водянистый Север.

Лебеди летели отдельно от быстрых, кружливых, нахлестанных охотничьей дробью утиных звеньев. Попутные караваны гусей догоняли их на небесной дороге — одной для всех перелетных птиц, — но лебеди подымались выше и растаивали в небе, как дымки от реактивных самолетов.

Они летели вдвоем на Север. Так было в прошлом году и позапрошлом. Они уставали зимой от напичканной пухом и перьями стадной жизни на южной воде. В небе было им хорошо, как на пустынном студеном озере. Они переговаривались на лету ласково, тихо. Никто не слышал их разговоров.

Иногда в них стреляли снизу. Лебеди продолжали плыть по воздуху друг подле друга, не убыстряли движения крыльев, их лапы были вытянуты, как рули, они правили точно на Север. Дробь обсыпала больших, безучастных к опасности птиц. Она не могла пробить вощенные крылья, а только ерошила пух на подкрылках и падала наземь.

...Над Ленинградом лебеди пролетели спокойно. Над Ладогой их ударило ветром. Уставшие, лебеди собрались ночевать. Но ладожский берег, и камышовые чащи, и свирское устьедохнули на них жженным порохом и обдали стрекотаньем моторных лодок и катеров. Лебеди снова медленно всплыли кверху, и можно стало расслышать их озабоченный разговор.

Охотники опускали ружья и любовались идущей над ними лебединой жизнью. Иные мечтали также о лебедином мясе, сладком на вкус, и о лебяжьем пухе — он мог пойти на подушки.

Лебеди еще пролетели над Свирью и камышами сколько могли, и опустились без шума на проблеснувшее водяное оконце, и замерли, насторожив шеи. Они чуть подгребали лапами и были словно плавучие кочки. Их маленькие головки чернели, как посаженные на длинные стебли бархотки камышей.

Полная гомона и суеты, вода затихла к ночи. Только просвистывали крыльями запоздалые стайки чирков, да блеял в темноте торопыга бекас, да слышно было, как трутся щуки в тресте боками — мечут икру, как баламутят воду хвостами, как рыщут возле тяжелых маток щурята-самцы.

Еще доносилось с песчаного кряжа фырчанье костра. Хрястал топор. Люди кидали в огонь сосновые лапы, и костер подымался, искрил и отблескивал в круглых, тревожных глазах лебедей.

Лебедушка тогда приплывала близко к лебедю и спрашивала его чуть слышно: «Крю, крю, ко?» Лебедь отвечал ей: «Гурлюк!»

Еще только-только рождался и глухо клокотал в лебяжьих шеях звук, как они уже понимали его значение...

Но вдруг налетели гуси, скрипя тележными голосами, и опустились около лебедей, и заныряли, и залушили в клювах добытые корешки.

Лебедь спросил у лебедки: «Гурл?» Она ответила: «Ульк».

Они уплыли прочь от гусей, в камыши.

Там они выгибали шеи, и опрокидывались в воду, и запускали клювы в еще не растаявший донный ил. Наверху оставались лебяжьи хвосты и белели пуховые панталоны.

Поужинав корешками, они приласкались друг к дружке, уплыли в береговой кочкарник и чутко заснули.

...Им слышен был разговор людей у костра. Голоса доносились жестко, как будто ломали сучья. И лебедушка подымала шею и раскрывала свой грозный глазок. Лебедь чуть колыхался, чтобы ближе прижаться к подруге и сообщить ей свое бесстрашие. Он гурлыкал ей на ухо.

Лебеди проснулись, когда потянул первый ветер и поломался намерзший под утро ледок. Их разбудил тоненький

звон ледышек, бившихся о камыши. Осколки прозрачного льда звенели, как самые верхние ноты в рояле, и тенькали выше известных в музыке нот.

Лебеди взлетели над туманом и протянули шеи на Север.

Север посыпал их снегом, и лебедь сказал: «Лурглу». И лебедушка тотчас ответила: «Клурк». Они подставляли снегу спины и крылья, ерошили перышки и опускали лапы, чтобы тише лететь и помыться в снегу. Они стосковались на южной зимовке по белой, холодной снежности. Их перья начали вянуть от теплых дождей. Им нужен был Север.

Чем дальше на Север летели лебеди, тем реже виднелся им внизу бегущий поезд или фабричный дым. Никто на земле не стрелял из ружей. Не попадались навстречу и самолеты. Зато озера раскрылись повсюду сколько хватало глаз.

Озера были синего цвета под чистым небом. Под низким солнцем озера плавилась, как благородный металл. Озера белели под белыми облаками. Они были тусклы, свинцовы, когда на них наносило тучу.

Все небо и солнце словно разбились на тысячу разноцветных осколков. Осколки пали в озера. Озера зазывно рдели, как фонари на большом посадочном поле аэропорта. Лебеди снизились над озерами и загурлыкали без причины и без вопроса. Они долетели до лучшей на свете страны бессонного солнца.

Но они не садились на белые, синие, красные и золотые озера, а все летели, приветствуя Север коротким, гортанным кличем. Им нужно было озеро Алла-Ярви. Так называлось озеро у людей. Лебеди жили на нем три лета и подняли в воздух три выводка лебедей...

Как все другие озера, Алла-Ярви краснело под солнцем и потухало в ненастный день. В нем были песчаные мели, и черные водяные ямы, и камышовые чащи, и сосны вцепились корнями в его берега. Оно было не шире, не глубже и не богаче — такое, как все озера на Севере. Но лебеди прямо летели на Алла-Ярви.

Из миллиона озер их ждало Алла-Ярви. Одни шилохвостые чайки селились на этом озере и лопотали все лето, гонялись по воздуху, как стрекозы. Чужие лебеди все пролетали мимо: у каждой лебяжьей пары был найден и облюбован для жизни свой собственный дом-оконце на стылой равнине.

Лебеди сели рядом на озеро Алла-Ярви и долго плыли с разгона, от них разошлись по воде два длинных уса. Усы дотянулись до берега и там запутались в траве.

Лебеди остановились на середине озера. Им некуда было теперь улетать, уплывать. Начиналось их время пожить... «Клуф-клю», — сказала лебедушка. «Глир-гу» — ответил лебедь.

Они поныряли немного, потом оперлись хвостами о воду, привстали и помахали крыльями, чтобы просохнуть и отряхнуть застрявшую в перьях дорожную пыль. Над ними носились, и верещали, и наостряли в тонкое шильце хвосты развеселые чайки. И спелое солнце приблизилось к озеру, но не коснулось воды — насмотрелось на себя и прянуло кверху. На Севере летом не бывает ночей.

...Лебеди тихо плавали рядышком малыми кругами по озеру. Иногда они вольно трубили. Вода разносила их голоса, как радиола.

Но вдруг от берега оторвался еще один неизвестный лебедь и выплыл на чистое место. Его белоперую спину прилетевшие лебеди увидели сразу как сели на озеро, но приняли за ошметок прибрежного льда. Одинокий лебедь далеко назад выгнул шею, плыл медленно и не прямо, был грустен и слаб, — это заметили лебеди.

Лебедушка прижалась к своему лебедю плечом, и оба они по-змеячьи напружинили шеи. Казалось, сейчас зашипят на лебеда-одиночку. Они прилетели за тысячи километров на Север, чтобы остаться вдвоем на единственном в мире, не знавшем чужого пера, их собственном озере Алла-Ярви. Они не умели еще приспособить свою любовь и семейную жизнь к постороннему оку...

Одинокий лебедь сказал им: «Лрыг-ли»... Но они забили крыльями по воде и побежали, сердито крича.

Лебедь был ненавистен им, потому что нарушил закон великой северной пустынности.

Озеро Алла-Ярви не годилось для их любовной семейной жизни.

Был пасмурный день, и озера виднелись сверху, как шкуры серых убитых оленей. Безжизненными, слепыми могли показаться озера, но в каждом уже плескалась лебяжья пара, как будто раскрылся белый цветок. Озерные лебеди все махали крыльями и счастливо трубили пролетным своим братьям.

Лебединая пара опустилась на пустынную, сплошь серую воду.

...Озеро это было известно людям под именем Кур-Яур. Его так прозвали в давние времена пришельцы-оленоводы. Кур-Яур на их языке означало: озеро Кур — мужчина. Они называли другое озеро: Алла-Ярви. И все понимали, что озеро Алла — женщина.

Озеро-женщина Алла-Ярви было округло, озерный мужчина Кур-Яур был длинен, имел горловину, в которой шумел говорун-водопад.

Лебеди медленно, долго летали над длинным озером и слушали с недоверием, как говорит в нем вода. Им были видны большие следы человеческих сапог на забереге. Они сомневались, кружили. Сверху им было видно не только озеро, но и море. Оно покрывало весь горизонт. Дорога над Северным морем неизвестна была лебедям. Они полетали еще и сели на озеро Кур-Яур, подальше от водопада, в заводь, укрытую сосновым леском на мысу.

Из леса стеганул по воде выстрел, и шея у лебедя сломилась, он опал. Лебедушка улетела.

Из леса выбежал юноша в макинтоше, в очках, с бородой, с ружьем и походным молотком. Он еще стрелял по бившемуся на воде лебедю. Быстро скинул с себя одежду, остался в очках и поплыл. Лебедь греб лапами, уходил от убившего его юноши. Парень птицу настиг, и взял за крыло зубами, и волок за собой по воде. Потом он прыгал на берегу, и целовал убитого лебедя, и прижимал его к своей не загоревшей на Севере белой груди, и говорил ему:

— Ты уж меня прости. Я очень люблю тебя. Но мне всегда не везет на охоте. Я очень хочу возвратиться в лагерь с добычей и накормить всех ребят диким мясом. Мне просто необходимо было тебя убить...

Юноша обратился также и к озеру Кур-Яур. «Ты настоящий мужчина, Яур,— сказал он ему.— Ты не какая-нибудь там Ярвочка. Ты мне помог. Спасибо тебе, старина!»

В лесу у ручья поставлены были две палатки. Кастрюля повешена над костром. Девушка в непромокаемой куртке и светлой косынке смотрела, как подымается над кастрюлей пар.

Юноша с бородой пришел и кинул убитого лебедя близко к обутым в ботинки ногам этой девушки-поварихи.

— Ой, зачем ты его убил?— сказала девушка.— Я думала,

они не бывают дикие, только плавают в Летнем саду. Не надо было его убивать.

— Ничего, — сказал лысоватый мужчина лет сорока, — Так-то он белый, а сваришь — и красенький станет. Вареная вся скотина на один цвет. А этот еще и послаще...

— Только не будем говорить, что это лебедь, — попросил юноша в очках. — Сварим и скажем, что гусь, а перья утопим.

Они ощипали лебедя возле ручья, пух весь собрал и припрятал лысый — жене на подушку, а перья уплыли вниз по течению.

Вышел из леса еще один человек, самый старший. Он первым делом помылся в ручье и поднял одно неуплывшее перышко. Он принес его в лагерь и всем показал.

— Лебедь сронил перо, — сказал самый старший.

— К старости, что ли у них перья-то вылезают, — заметил лысый, — или от сырости? Вот и я, как сезон по болотам пошляюсь, так плешь хоть на два квадратных сантиметра да увеличится.

Девушка разложила на мху деревянные ложки и алюминиевые тарелки.

— У нас сегодня на ужин гусь, — сказал молодой охотник, немного подрагивая от гордости и боязни.

Девушка достала из кастрюли, подвешенной на тагане большую, упревшую, лакомую дичину и отломала облитое розовым мясом крыло.

— Ты мне не клади, не надо... — сказал самый старший. — Я подходил к лагерю, слышу, над Кур-Яуром лебедь трубит. Печальнее музыки я не знаю на свете, чем крики лебедя, когда он осиротеет.

Девушка огорчилась чуть не до слез, поднялась над кастрюлей, да так и осталась стоять, держа поварешку в руке..

— И я тогда тоже не буду есть это мясо, — сказала она.

— Нам больше останется. — Лысый подмигнул юноше в очках. Юноша улыбнулся.

— Ну что! — воскликнул он. — Ну, конечно, это не гусь. Ну, я убил лебедя. Они же здесь все равно расплодятся за лето. Ведь, кроме нас, ни души и не будет здесь. Никогда ни один человек тут не поселится. Только лоси и лебеди. И щуки. Ну, подумаешь, одним лебедем меньше...

Пожилой человек будто не услышал молодого охотника.

Он поел лапши и попил чаю. Припомнил случай из собственной жизни и рассказал...

— В сорок третьем году я воевал под Синявином... — так начал рассказ пожилой человек. — После тяжелых боев наш полк вывели в Тихвин на переформировку. Я написал моей жене Надежде Терентьевне, чтобы она приехала ко мне. Она работала врачом в эвакогоспитале в Костроме. Мы с ней поженились в сорок первом году. В мае. В сорок третьем ей было двадцать пять лет. Она с огромным трудом достала пропуск в прифронтовую зону и села в поезд. На станции Неболчи их состав попал под бомбежку. Ее убило осколком в грудь. Я узнал об этом через двенадцать часов, помчался и успел только похоронить. Она поехала ко мне в черном шелковом платье. И большая черная коса у нее была уложена вокруг головы...

Никто не останавливал пожилого человека, он говорил, умолкал, и все дожидались, что скажет он дальше. И примирели от жуткой серьезности его рассказа...

— Вскоре после войны я работал в партии, на Таймыре, — продолжал пожилой человек. — Перебивались мы тогда на подножном корму. Лебедей старались, конечно, не трогать. Но в крайнем случае питались и лебедятиной. А крайний этот случай выпадал нам чуть ли не каждый день... Ну вот и я тоже стукнул лебедку, а лебедь, ее супруг, остался на озере и плакал по ней всю неделю, пока мы стояли поблизости лагерем... Ребята хотели его подстрелить, но я попросил не трогать. Не попросил даже, а приказал, я был начальником партии.

Мы прошли по Таймыру с запада на восток, а потом возвратились параллельным маршрутом. И вышло так, что лагерь поставили около того озера, где лебедь один остался. А уже зима нас поджимала. Ветры страшные на Таймыре... Вот ночью я лежу в палатке и слышу, вроде как лебедь гурлычет. Нет, думаю, ветер... А сна уже нет. И опять будто лебедь... Ну, думаю, галлюцинация. Вымотались мы все до предела в тот год.

Утром пошел на озеро. В нем только промоина осталась около горла, пережат там был, быстринка. А так все во льду и под снегом... Сначала лебедя я не заметил. Близко к нему подошел. Он только тогда сполохнулся. Крыльями похлопал, но не полетел. Поднимать я его не стал...

В общем, лебедей я с тех пор стрелять зарекся. И никому не могу простить выстрела по лебедю. Жениться мне так больше и не пришлось...

Пока самый старший рассказывал это, лысоватый мужчина съел без малого половину лебединой туши.

Юный охотник в начале рассказа мяса не брал, а только нервно проглатывал скользкий лапшовник. Но потом он отломил небольшую дольку от лебединого бока... И уже удержаться не мог.

Девушка как-то само собой, незаметно, тоже взяла мясца.

— Есть один такой детский стишок, — сказал бородатый юноша, — не помню, кто его сочинил, какой-то известный поэт... Там про рыб говорится — как жалко рыб, что они не плавают в речке, а мертвые в магазине лежат... «Конечно, это грустно. Но до чего же вкусно!» — такая строчка есть в стишке. Очень хороший стишок! — Борода у юноши вся была в лебедином жиру. Улыбался он молодо и блаженно.

Солнце за лето устало висеть и светить и начало опускаться на ночь в озерную воду.

Озера сделались тусклы без солнца и без лебяжьего белого цвета. Скоро Север покрыло снегом, и вся птичья жизнь потерялась в сплошной белесой зиме.

ЧТО-ТО БУДЕТ

Весь день обмазывали стены внутри нового дома, возили, месили и подтаскивали на носилках глину. Из недостроенных комнат с пустыми прорезями окон слышались шлепки и женские голоса. Молодая семья доканчивала постройку нового дома, пригласила в помощники соседей.

Не заметили, как солнце понизилось и засветило через широкую лощину с пологой горы. Уже к шести часам хозяйка Валя бросила работу, растопила во дворе временку, села чистить на ужин картошку.

В восемь кончили обмазку и остальные. Мужчины задымили, а женщины пошли умываться.

— Можно считать, кончили,— сказала слегка раскосая Зина, подруга хозяйки.— Валь, а ну слей на меня из ведерка.— Она смело стянула с себя старую мужскую рубашку.

— Ты хоть за сарай зайди,— постыдила ее Валя,— кругом мужики.

— То ли они смотрят. Они вон курят себе.

— Ну все-таки. Ты теперь не очень.

— Боюсь я кого!— сказала Зина и отошла за сарай в огород.— Я сама себе хозяйка.

— Ты, я вижу, веселая сегодня.

— А что мне — плакать? Помаленьку лей.

Она умылась. Валя ей вынесла чистое, спросила:

— Сегодня будет картина?

— Ездил, говорят, механик. Как будто привез.

— Комедию бы он привез, а то крутят одно и то же. Механик у нас какой-то.

Вскоре подоспел ужин. Зина села с краю, и Валин муж, здоровый и заросший, тотчас подвинулся к ней.

— Я уж поближе к молоденьким.

— Она у нас молодец,— похвалил кто-то.— По нынешним временам таких мало.

— Ты что ж нам ложки не подала? — вскрикнул на Валю муж.

— Ой, я замоталась и забыла.

— Да по стаканчику бы поднесла.

— Завтра, — пообещала Валя. — Потерпите. Завтра уж кончим — тогда все вам будет.

Ужинали медленно, обсуждая работу, шутили. Час спустя, когда соседки, жалуясь на брошенное дома хозяйство, засуетились вставать, Зину окрикнул с улицы детский голосок. Она вышла и с кем-то пошепталась. Потом вдруг громко, раздраженно ответила:

— Нету, скажи, ее! Ушла куда-то!

— Кто там? — спросила Валя.

Зина недовольно махнула рукой.

— Да! Делать нечего.

Стемнело, по улице уже не носились дети и невдалеке покрикивала на корову женщина. Начиналась осенняя кубанская ночь. Малое время спустя парнишка прискакал второй раз:

— Зин! Иди, что ли, тебя там ждут. Что я, нанялся бегать за тобой?

— Нету ее, скажи! — прогнала Зина парнишку. — Нету, и не приставай.

— Что, уже поругались? — тихо спросила Валя.

— Тебе обязательно знать?

Зина нервно дернулась с лавки и пропала в огороде.

— Пора и нам, — грузно отлегая от стола, сказала соседка. — Спасибо.

— Вам спасибо. За помощь.

— Ой, и мне надо, однако... — сказала другая. — Я как побросала, так, видно, и лежит. Известное дело, без бабы.

— Ну, пошли, живы будем — завтра докончим.

Валя проводила их, вернулась и вспомнила о подруге. Зина была в конце огорода.

— А я ее ищу! — весело воскликнула Валя. — Ты что это? — Ей почудилось, что подруга чуть ли не плачет. — Что с тобой?

Зина согнула голову и молчала.

— Ну, скажи, от кого ты таишься-то?

— Это я так...

— Тю-ю, дурочка. Сама не знаешь, чего тебе хочется.

— Пошли, — сказала Зина, вытирая глаза. — Уже все. Проводи меня.

Валя вывела ее за ограду.

- Посидела бы еще.
- Завтра мазать, устала.
- Ну, смотри. А то ночуй у нас.
- Ладно, пойду.

Над хутором близко сверкали звезды. Если б кто знал, как неохота возвращаться к себе. Отомкнешь — и никто тебе не откликнется, только щелкают часы на столе. С каких-то пор невзлюбила она вечера и ночи, не знала, кого пригласить из подруг, чтоб время бежало быстрее. А последние две недели куда ни пойдешь, всякий тебя допрашивает: «Ты чего одна? Поругались?»

Правая сторона улицы была выше, уютные окна желтели над головой. За первым рядом домов чернел в отдаленности деревянный клуб, из отворенной двери доносился стрекот аппарата. Запоздавшая парочка спешила на сеанс. У Зины забилось сердце. Еще немного ей лет, но с каждой осенью все ближе ее судьба, ее черта, за которой все в жизни сложнее, и когда она встречает кого-то вдвоем, горше думается о себе, о том, что пора и ей о ком-то заботиться, вскакивать и собирать на работу.

У самого края, где за кустами понижается дорожка в поле, стояла ее белая хата. У двери кто-то сидел и курил. Зина догадалась.

- Кого это ты караулишь? — строго сказала она.

Парень с грубым скуластым лицом, в солдатских брюках и расстегнутой рубашке привстал и пьяно загородил ей вход.

- Чего это ты? — вспылила Зина. — Вот еще новости!

Он небрежно повалился к ней, протягивая руки.

- Не лезь. Даже и не думай.

- А что я?

— То ты не знаешь. Прикидываешься дурачком. Ты прикидывайся знаешь перед кем?

- Перед кем?

- У-у, еще и смеешься. Так бы и заехала.

- Заедь.

- Ладно уж. Нарвешься — пусть другая заедет.

Он бесцеремонно зажал ее руками.

Вырываясь, ударяя его кулаком в грудь, Зина крикнула:

- Пусти! Тебе только это и нужно. Пусти, закричу.

- Кричи. Себя же опозоришь. Ну, кричи!

— Бе-ессовестный, — только и сказала она, и он отпустил ее.

Она прошла в комнату и засветила лампу. Парень обнял ее сзади.

— Колька! Даже и не думай, — сказала она твердо. — Даже и не пытайся. Я тебе все уже сказала, и торчать здесь да пацанов за мной слать нечего.

— Забудем это.

— Эх ты, — вздохнула она. — Если ты с этих пор так повел себя, что ж с тебя дальше-то будет?

— А что особенного?

— Не хочется, я б тебе сказала.

— Что?

— Все.

— А-а, все.

— Да, все! Уходи! Уходи и уходи! Не трогай меня. Выпил — так стой хоть хорошо.

— Стою, — тупо сказал он.

Когда он посылал парнишку, а потом сидел здесь под дверью, он был уверен: сейчас она придет, поломается, может, и переплачет, он прижмет ее — и она сдастся. Теперь он даже растерялся.

— Я тебя столько ждала, — заговорила Зина. — Ты что мне писал из армии? Забыл? А, скоро оно у вас забывается.

— Заладила.

— Когда тебя провожали, вспомни, как ты божился мне: «Зиночка, миленькая, приду из армии — распишемся, не вздумай выходить». Ладно, что ж, и без уговоров ясно. Какой парень набивался, а я все, дура, — голос ее стал высок, она заплакала, — все, дура, ждала. Думаешь, не обидно? Если б я знала, что так получится...

Она горько пожалела о времени, о парне, который переглядывался с ней и не смел подойти. Ждала, писала, и что же теперь?

Николай пробовал бурчать что-то ласковое, стесняясь своих слов, но она сказала:

— Иди, иди. Пойми, это уже не жизнь будет. Если человек замышляет что-то серьезное, а не так чтобы — переспал и дальше, — он себя так не ведет. Не трогай меня, иди куда надумал.

Николай больше не цеплялся к ней и не успокаивал. Ничего он к ней не испытывал, было лишь неприятно, что его прогоняют. Они стояли, и каждый думал о своем. Зина вспоминала прошлые дни, первое знакомство, вечера, надежды, три года одиночества; как звали ее девчата в станичный клуб погулять с морячками и она отказывалась, как всюду и везде — в дожди и весной, в клубе и в компании — она была одна, ждала его писем, а парень-киномеханик

направился ей все больше и больше, и она временами думала, что, если бы не Николай, она бы дала себе волю.

А Николай? Он опускал ей письмо и шел в увольнение на танцы, выбирал девчонку попроще.

— Давай я тебя провожу, — сказала она. — И больше ко мне не приходи.

Они подошли к полю и стали на ветерке.

— Хочешь, завтра распишемся? — сказал Николай пытаясь вернуть ее в дом.

— Нет уж, спасибо.

— Одна будешь жить?

— Поживу одна. А попадется человек — хороший, конечно, — что ж... не хуже других, выйду. Теперь уж дурой не буду.

Была полночь, хоть бы кто-нибудь стукнул, вскрикнул или вздохнул — нет, все счастливо спали, и Зина с обидой подумала: «Приду, завалюсь на постель, наревусь и никто даже не узнает».

— Пошла я. Там свет горит, все пораскрыто.

Она ушла.

Николай потоптался, пошарил в кармане — папиросы все кончились, и он выругался.

«Подумаешь! С этих пор да расстраиваться. Почешу-ка я на ферму».

И, забываясь, вообразил, как он минует сейчас темное поле, взберется на гору и через каких-то полчаса окажется на травяном склоне со стойлами, телегами и выгоном возле леса, возле домика, где уже крепко спят доярки. Он подкрадется, влезет в крайнее окно, на цыпочках пробредет к Нюське, тронет за теплое плечо: она вздрогнет, и охнет со сна, и не узнает сперва, потом подвинется, пустит к себе. И рано-рано, когда еще холодно и росно, она разбудит его, чтоб не видали подруги, и выпроводит на горизонт, ежась от тумана и мокрой травы, приятно ворча, что опять недоспала из-за него...

«Оно так правильной будет, — обрадовался Николай. — Сразу надо было. А вообще разбаловался я. На одну посмотришь, а всех жалко».

Хутор был все так же темен, и все так же серой полоской мерцало от звезд по горизонту. А впереди, на дороге из станицы, медленно передвигался во тьме огонек. Кто-то курил.

В эту теплую и темную ночь в хутор шел Василий Козырев. Вышел он из станицы с первыми сумерками. Торопиться ему

не хотелось, хотя до хутора было не так уж мало. Дорога жалась к подножью холмов, то припадала, то лезла вверх, и с возвышений, как ни было темно и далеко, различались на левой стороне скупые очертания дубов на горе, и за ними, где обычно висела ранняя луна, скрывался на поляне хутор, в котором Василий жил два года назад всего одну зиму.

Он работал в клубе киномехаником, ездил по этой дороге в станицу за пленками, в дожди же ходил пешком, проклиная погоду, местное начальство и все на свете. Плохо ли, хорошо, но в этих местах была у него какая-то жизнь, и совсем не лишне было повидаться с людьми, передохнуть после городской суеты: ведь была осень, а осенью там все рыжело, осыпалось, становилось прохладней, свежей даже днем, а уж о вечерах и говорить нечего — вечера переворачивали душу...

В станице Василий пробыл два дня. До обеда устраивал свои командировочные дела на почте, болтал с телефонисткой, а потом шел в столовую и был свободен до вечера. Все было ему знакомо в этой станице. Так же свозили на телегах арбузы, повсюду катили велосипеды, в киоске выгорали и пылились нераспроданные журналы, в магазинах было пусто, и продавщицы закрывали и открывали, когда им вздумается. Он побрился в парикмахерской все с тем же щербатым порогом и железной скобкой для ног, с тем же мастером в углу, брившим тупой бритвой и неприятно касавшимся лица потными пальцами. В буфете около хозяйственного магазина перемывала посуду та же миловидная черноглазая женщина и, отпуская пиво и воду, поглядывала на дорогу, где ругались два пьяных станичника. Все те же белые-белые хатки с садами, сумеречно-голубая дымка далеких горных холмов, пыль, сорные от листьев дворы, и сразу же за последним огородом — ровная тишина и ветерок в поле.

Командировочное ему заверили с запасом на один день. Он вышел к вечеру за станицу, увидел пыль за последней машиной на хутор, подумал-подумал и решился идти на хутор пешком.

Стемнялось очень быстро. На половине пути круто на запад поворачивала тропа к ферме, белела и обрывалась на высоком горизонте. Василий бросил папиросу.

— Э-э, подожди, — слышалось ему с поля, слева, с той дорожки, которая бежала наискосок к хутору, поднималась вверх между дубами и через кусты выбиралась в переулочек. Этим путем было ближе, но в такой темноте легко сбиться, попасть в заросли, исцарапаться. Василий стоял и все еще

не видел кричавшего. Наконец из темноты возник высокий парень, подошел близко подsunул лицо угадывая кто это. Запахло водкой.

— Что-то незнакомый,— сказал парень.— Напугал на верно? Извини. Ты к нам идешь? Извини меня, конечно но ты не дашь закурить? Кончилось. От бабы иду Извини конечно.

— Ничего, бывает.— Василий достал пачку, вытряхнул папиросу и дал спички. При свете он увидел сытое лицо и хмельные навывкате глаза.

— Тебя как зовут?

Василий.

— Николай!— Он сам нащупал руку Василия и крепко дернул в пожатии.— Ты на меня не обижаешься? Если обиделся, скажи. Я тебя задерживаю ты наверно по бабам отправился?

— Да нет.

— Брось скрывать!— Парень запросто стукнул его по плечу.— От кого скрываешь, я думаешь, не такой? Все мы такие. Пошли со мной? На ферму к дояркам, а?

Он показал рукой наверх, где белела и обрывалась на горизонте тропа. Горизонт был близок и высок, чисто сверкали звезды у самой кромки, и Василий припомнил широкий травяной склон, телеги, выгон возле леса, возле дома, где бродят в полночь лошади, и девчат доярок которые уже спят или громко смеются в постели.

Знаешь, какие доярки! снова заговорил парень.— У-ух, ты меня извини! Извини подвинься. Нет, в натуре! Молоденькие, горячие, им так и хочется чтоб пощипали. Ну? Никто и знать не будет

Пойду я.

— Сиди! Ты меня извини, конечно. Я выпил. А то бы пошли, правда, а? Побазарили. Я люблю базарить. У меня в армии любимая песня была: «Люблю друзья, три слова я: «отбой», «кино», «столовая». Люблю я в увольнение ходить. И где-нибудь украдкою, с притиркою, с оглядкою грамм двести или триста заложить». Нравится? А девок любишь? Я вижу, ты скромнющий парень. Книжек, наверно, много читал. Я за всю жизнь две книжки прочел: «Родную речь» и рассказы Мопассана. И ничего, живу Даже выпиваю. И вспомнить есть что. А что вспомнит тот, кто ничего не видел в молодости, кроме книг? Абсолютно ничего! Ноль! Так что я советую тебе не теряться. Ты надолго?

Бывают же люди, которые думают, что ты дурнее их. На

чинают учить тебя жизни. Василий ушел бы, да не хотелось подниматься: было тепло и темно, и он подумал, что ему уже немало лет (двадцать пять), а никого у него нет, и вот так, чтобы ехать куда или идти и знать, что тебя где-то ждут, — этого тоже нет, всегда один, всегда был вял и равнодушен к девчатам, к вечеринкам и танцам, надеялся на какое-то позднее время, когда ему найдется простая, хорошая девушка, созданная исключительно для него.

— Так идем? — предложил опять парень. — Я тебя познакомлю, правда, там есть такие... строят из себя, — он обозвал их плохим словом, — но я знаю из личного опыта: когда раскусишь девчонку она в душе еще нахальнее мужчины. Точно ведь?

— Не знаю.

— Только она умеет сдерживать себя. Вот заметь: бабы, допустим, живут между собой, как кошки с собакой, готовы друг дружке глаза повыцарапать, а спросишь у нее: «Люсь, ну как с Веркой, можно?» — «Хорошая девочка, честная». Какая бы ни была — все равно честная. Потому что они скрытные. И моя баба — я ее бросил! — думаешь, не такая? Да к ней завтра приди кто-нибудь, хоть ты, например, и она даст обжиматься. Я изучил их психологию. Мне двадцать четвертый год, и заметь: чем лучше к ней относишься, тем с ней чежелше. Ну что далеко ходить: я про себя могу. Я некрасивый, сам видишь. Не безобразный, но и не красивый. Средний! Но-о у меня были девчонки. Я в армии с одной гулял, так я такую политику повел: она никак не поймет — люблю я ее или нет. Э, в том-то все и дело! А если ее на руках носить: мурочка, конфеточка, — она тебе на шею сядет. Или с другим пойдет. Я вот свою бросил, она попсихует и сама прибежит. А я теперь могу водку пить, баб водить — все простит. Понял? Дай закурить.

— Мне пора идти.

— Ты идешь со мной?

— Нет мне в хутор.

— Накормит, напоит, еще, может, и пол-литру поставит. А? Ты на меня не обиделся? Честно?

— Иди, иди...

— Ну, тогда дай мне на дорожку парочку. Не обижайся. Запоминай мои слова, еще поблагодаришь и пол-литру поставишь, если встренемся. Тебя как зовут?

— Ладно, слушай, отстань. Надо меру знать, — сказал Василий, еле сдерживаясь.

В конце пути, где приходилось сворачивать влево и идти

через лощину на гору, начинался другой хутор, всегда темный и рано засыпающий. Василий вспомнил, перебираясь по шаткому мостику над сухим руслом, как часто он спускался сюда за молоком, подолгу стоял перед закатом напротив низенького побеленного клуба и шел к себе.

Хозяйка, у которой он тогда снимал комнату, уже легла спать. Он постучался, она ему обрадовалась. Сели, поужинали, расспросили друг про друга и заснули уже в третьем часу ночи. Она снова ушла рано, просила Василия закрыть дверь и занести ключ, когда будет идти мимо.

До обеда он плутал по лесу. В лесу поспевал кизил, среди опавших листьев валялись жердели, сухо шуршало под ногами. С высоты широко открывалась в просветах лощина, похожая на неглубокое ровное дно реки. По дороге, на которой он вчера разговаривал с парнем, изредка пробегали в станицу машины.

Походив, повидав знакомых, Василий надумал уезжать.

Хозяйка мазала у кого-то поблизости дом. К дому подвозили на подводе глину, в комнатах мелькали женские руки, платки. Он через изгородь поздоровался с Валею.

— Ой, боже, какими путями? — чуть не запричитала Валя и выбежала навстречу. — Опять работать?

Подошли еще несколько человек, обступили, стали спрашивать.

— Как?

— Да ничего. А вы как?

— Да слава богу. Где работаешь? Не женился еще? Ну и правильно, еще успеешь. И уже идешь, так скоро, на какой же ты автобус, на шестичасовой?

Из глубины комнаты сквозь пустые окна смотрела на него Зина, была и удивлена и смущена, вся переменилась, а Василий тотчас потерял интерес к разговору и поспешил закурить. Зина вышла, вяло толкнула дверцу калитки, подала ему испачканную руку. Она была такая же: чуть косящие глаза, сухие твердые губы, худая и на этот раз какая-то жалкая.

— Как это вы к нам... — сказала она тихо, растерянно пряча глаза.

Василий тоже не мог долго смотреть на нее, как будто все что-то знали о них, как будто он приехал специально к ней и теперь вызвал на людях. «Что-то было у нас», — подумал он, соображая, как бы отозвать ее в сторону, боясь, что сейчас она уйдет и окликнуть ее будет трудно. Когда она вслед за другими стала медленно отворачиваться, потихоньку от всех кидая взгляды на Василия, как бы говоря: «Ну ладно,

что ж... что ж сделаешь, раз помешали нам люди», — он позвал ее глазами. Она подошла и стыдливо, опять с каким-то намеком на воспоминание, с ожиданием, заранее ей известным, глянула на него.

— Что? — спросила она шепотом, таясь и близко подвываясь к нему.

Василий сказал еще тише:

— Скоро закончишь?

— Да часикам к восьми должна. Уже четыре.

— Бросай. Приходи сейчас.

— Хорошо, — пообещала она шепотом. — Куда?

— Через огород. Спустись в поле. Я буду ждать у кустов.

— Ладно, я сейчас dokonчу и приду.

— Смотри, я жду. Бросай, и быстрее!

Он пожал ее руку и, отойдя, крикнул, как бы уже прощаясь совсем и чтобы слышали во дворе:

— Привет там передавай.

Она оглянулась, и он ласково ответил ей улыбкой.

«Значит, что-то было между нами тогда, — опять подумалось ему, и вспомнились разные дни и вечера, как переглядывались и не смели. — Значит, и тогда у нее было что-то не ладно. Замужем она или нет? Ах, скорей бы пришла! Сам был виноват. Женщина первой не подойдет, я должен был начать. А сегодня встретил, и один взгляд ее чего стоит, и придет, ах, скорей бы уж!»

Солнце стояло еще высоко.

Василий томился. Он сидел в траве у кустов и думал о ней. Как она выйдет с огорода и появится между тополями, потом незаметно или в открытую будет переходить поле. Он привстанет и позовет ее рукой. Она осмелеет, заспешит к нему и притихнет наедине, стыдясь своего быстрого согласия на это свидание. Он сожмет ее руку, спрячет за кусты и поцелует, и она ни слова не скажет против, потому что знала и раньше, зачем шла. Вверху на улице будут подвозить, ссыпать и месить глину, шлепать раствором по стенам, разговаривать, а Зина утаится с ним здесь, и не скоро ее хватятся. Всякую минуту любой платок он принимал за ее платок, и сердце билось. «Я люблю ее, — думал он, — точно, это я влюбился, увидел и влюбился. Может быть, я ее и раньше любил, только почему-то не вспоминал в городе, как-то забыл о ней, ни с кем не ходил, все намечались дела: то экзамены в техникум, то с работой, то с квартирой. А теперь увидел ее и...»

Прошел час. Солнце уже прилегало к горе. Ее все не было и не было. Что же она там делает? Она должна уже вымыть

руки и переодеться. Василий впервые почувствовал, что такое ждать женщину. Он нетерпеливо вставал, курил, вглядывался через поле и, как только между деревьями мелькало по тропе что-то женское, весь застывал: это уже она, ее походка, ее платок. Но женщина шла с ведрами, что-то выливала и уходила. Василий снова присаживался, закуривал и с еще большим волнением воображал, как она теперь идет к нему через поле, все ближе и ближе, все откровенней в движениях, торопясь, а потом с виноватостью встречаясь глазами, как бы говоря: «Ну что? Пришла я... Что теперь делать будем?» — и в то же время все, все понимая, поддаваясь его взгляду. И пусть пропадет еще один день, он не уедет и завтра, зато вечер они посидят в тишине, вдали от хутора, и он скажет ей такие слова, каких никогда никому не говорил, и она будет благодарна, радостна и счастлива с ним. В полночь она проводит его по глухой дороге к автобусу, они пойдут по расвету в обнимку, пропустят утренний автобус, поскитаются за переправой и перед его отъездом что-нибудь придумают.

Прошел еще час. Ее все не было.

«Боятся, что заметят. Да и неудобно бросать работу при всех».

И еще час прошел.

Солнце чуть брезжило из-за горы, когда он поднялся и пошел через поле к дому, где она мазала. Она по-прежнему шлепала ладошкой по стенке и кого-то добродушно ругала. Он подошел ближе. Она заметила. Как только из комнаты кто-то вышел во двор, прыгнула из окна в огород к нему, и они укрылись в тени за деревьями.

— Ну что? — сказал Василий недовольно.

— Что, что! Видишь, еще не управились. Никак нельзя уйти. Еще часок подожди.

— Бросай, бросай все! — повторял Василий, злясь, что получается не по его и эти разговоры, лишние ожидания перебьют то неожиданное тайное, о чем он думал недавно внизу. — Что они, без тебя не справятся?! Бросай, слышь?

— Сейчас.

— Не забыла, куда приходить?

— А куда?

— Прямо вниз, я тебя позову. С огорода и прямо вниз. Через поле.

— Ну иди, а то заметят.

И еще прошел час.

Стало совсем темно, над хутором мягко светлела полоска звезд. Василий то бродил от куста к кусту, то выходил на се-

редину поля и жег спички, чтобы Зина издали заметила место и не повернула назад. Пока он ходил по полю, ему показалось, что она уже там и ждет его, вдруг да и прошла стороной! Сердце его стучало, он так ждал ее, такая была темная и теплая ночь, и оставаться в ней одному было обидно.

«Она меня не найдет! — испугался Василий. — Не найдет, ляжет спать, и я так и не увижусь с ней. А домой к ней стучаться неудобно, да и вдруг она уже замужем, чего бы иначе таиться?»

Он загрустил, потом всколыхнулся, побежал наверх в хутор, надеясь отыскать ее. На улице играли ребятишки. Василий не знал, где она сейчас живет.

— Мальчик! — окликнул Василий. — Иди сюда. Где тетя Зина живет?

— Какая?

— Тетя Зина, не знаешь? Она дом купила.

— А-а! В конце. Спуститесь вдоль горки — и крайний дом ее, пониже.

Окна ее дома были завешены тряпицами, на дверях чернел замок.

«Значит, она все еще там или уже пришла, ждет в поле».

Он снова побежал в поле, царапаясь о ветки и чуть не падая от путавшейся в ногах ботвы. Нигде ее не было. Он хотел крикнуть и не крикнул: «Зинка, милая... где же ты?»

— Мальчик! — снова обратился он в хуторе. — Ты не видел, тетя Зина не проходила?

— Она мажет.

— Позови ее, будь добр.

— Ой, замучился я с вами. Вчера позови, сегодня позови.

«Бегаю, как дурак, а у нее, наверно, кто-то есть. Что ж, так и ждала, что ли... подумаешь, переглядывались... больше ничего такого и не было».

Мальчишка убежал вверх по улице. Василий прислонился к ограде под ветвями и ждал его вместе с ней.

— Нету ее! — прибежал мальчишка.

— Где же? Ты спросил, где она?

— Ушла.

— А не врешь?

— Хм... — засмеялся мальчишка. — Надо мне врать еще.

«Нету... — отчаянно и как-то слабо подумал Василий. — Где же она? А вдруг в поле? А вдруг она обманула, посмеялась надо мной? — И вспомнил ее заговорчивые глаза и шепот у дома. — Неужели у нее кто-то есть? Ничего не пойму. Как

она смотрела, а! И что-то пережила она за это время. Что ж ты не пришла, а? Ну где ты сейчас? В поле в поле!»

Впотьмах, не разбирая дороги, запинаясь, он перебежал огород, зажег папиросу ходил по полю и кричал несколько раз:

Зи-ина-а!

Как хотелось найти ее!

— Зи-ина-а-а!

Нет. Не слышит Хоть бы шорох. Хоть бы смутная тень.

Нет. Никого. Крикнуть еще? Бесполезно.

— Зи-ина-а-а!

Нет. Никого. Только поле во тьме, высокие горки и хутор, реденький отблеск огней по низкому небу.

Он еще несколько раз был у ее дома, сидел под яблоней во дворе, все крепче тосковал по ней и, устав, разозлившись, пошел ночевать к хозяйке, выдумывая по пути причину задержки. Хозяйка еще не вернулась, а ключ он отдал ей в обед, пришлось ждать на порожке. Наконец она пришла, удивилась, накормила его.

— Не проспать бы на автобус,— сказал Василий.

Она разбудила его ровно в три. За пятнадцать минут он оделся, выпил чаю и распрощался. Ночь была темная, как зимой в дожди. На душе было досадно от вчерашнего. Все прошло, успокоилось, и была только досада. «Зачем я бегал? Почему-то прятался. Бегал, кричал, а она, может быть, принимала другого. Теперь спит»,— подумал он равнодушно.

На бугре он остановился, посмотрел на белые стены ее хаты, представил ее спящей и разволновался.

«Как же я уеду?— подумал он и подошел к низким окошечкам.— Разбужу ее, теперь уж нам никто не помешает».

Откликнулась она не сразу и недовольно:

— Кто еще там?

— Я.

— А кто это?

— Да я, я!

— Подожди, оденусь.

«Наверное, мы вчера разминулись»,— подумал Василий и решил, что сегодня, пожалуй, он не поедет. Ему показалось, что она ему рада, и стало жалко вчерашнего пропавшего вечера.

Она скинула крючок, раскрыла и молча ступила на порог. Когда она впускала его, касаясь грудью, у него захватило дыхание. Он тихонько обнял ее левой рукой и придержал. Она как бы нечаянно оторвалась и проскочила вперед, сказала:

— Гемно. ничего не найдешь... Что-то второй день света не дают.

— Где ты? Я тут разобью что-нибудь... в потемках.

Вот я... — Она протянула теплую руку.

Он приблизил ее к себе, она отодвинулась.

Подожди... — сказала осторожно, — я лампу зажгу

— Постоим так.

Ну-у... — сказала она, чиркая спичками. Прижгла фитиль, поднесла стекло, но Василий успел сдуть пламя.

Не балуйся, — сказала она мирно. Василий держал ее за плечи. Она снова зажгла, вправила стекло, села на стул и задумалась.

Идешь на автобус?

- На автобус.

Зина глянула на будильник.

«Жалеет» подумал он.

Не опоздаешь?

- Успею.

Она провела ладонями по лицу и зевнула:

- Ой, так спать хочу. Сон мне весь перебил.

Надо раньше ложиться. Загуляла где-то вчера. Почему ты не пришла?

- Так.

- Все-таки?

Тебе интересно?

- Да.

Опоздала.

А домой когда пришла?

- В час, кажется.

«В половине первого я еще сидел в ее дворе. Не дождался!»

- Кончили Валька на стол собрала, выпили засиделись.

— Тебя вызывал мальчишка?

Вызывал. Я хотела прийти, но... подумала, подумала

— Что?

— Темно... да и уходить неудобно, сказала она, и Василий ей не поверил. — Поздно уже...

«Как будто ничего и не было. А я-то думал... носился, с ума сходил. Зашел. Сидит, зевает, а как смотрела вчера у дома!»

— Как ты поживаешь?

Потихоньку.

Одна?

— Как видишь. А ты как сюда попал?

— В командировку. Заехал. На тебя посмотреть,— добавил он нарочно и обнял ее за талию.

Она отвела руку и усмехнулась.

— Чтоб потом в поле позвать?— И зевнула, укрылась ладошкой.— Ой, спать хочу.

— Хату давно купила?

— Перед весной. Ой, что это я раззевалась?

Они помолчали. Василий не ожидал такой встречи. Как будто ничего и не было между ними. Как будто не было вчерашнего шепота у дома, тайных взглядов и стыдливого обещания. Он хотел и не мог обнять ее.

— Ты уже пойдешь? Тебе на автобус.

— Сейчас. Сейчас пойду.

— Давай я тебя провожу,— сказала Зина и встала.

Они вышли. Василий никак не мог прижечь папиросу.

— Ты еще не женился?— спросила Зина, взяла его под руку.

— Нет.

— Пора бы уже.

— Торопиться некуда.

— Тоже правда. Чего доброго, а с этим успеешь. Это нам плохо засиживаться.

Вышли книзу, пусто чернело поле, надо было что-то говорить на прощанье. Он приостановил ее, без прежней стеснительности притянул ее к себе. Сначала робко, но потом все сильней и ближе она приникла к нему и положила ему руки на плечи.

— Ты не подумай только...

— А вдруг я уже подумал?

— Ой, не знаю. Ничего пока не знаю.

Василий держал ее за талию, она, отогнувшись назад, колыхалась, касаясь его коленками. Так они простояли долго. Временами глаза ее оплывали, и она не стирала слез, они высыхали сами.

— Все-таки скажи мне, почему ты не пришла?

— А зачем? Все равно ты уедешь.

— Ты бываешь в городе?

— Вот свеклу выберем — поеду.

— Заходи. Я дам тебе адрес. Зайдешь?

— Ты с матерью живешь?

На квартире. Таманская, шестьдесят один. Заходи, в музкомедию ходим.

— Попробую.

На высоте в просвете между акациями, желтело ее окошко.

— Забыла потушить, — сказала Зина — Иди, опоздаешь.

— Проводи меня еще.

— Нет, я там побросала все раскрытым. Лампа горит.

- Сходим потушим?

— Ишь ты... чего захотел.

— И сразу вернемся, проводишь меня.

— Светло уже.

Поцеловала она его коротко, три раза, словно благословляя.

— Написать тебе?

— Не знаю.

— А ты ответишь?

Она пожала плечами.

Пока она удалялась вверх, поднимаясь головой к первой полоске света над черными изгибами горок, он стоял, ожидая, когда она скроется. «Что ж это со мной? — волновался Василий. — Жил, не вспоминал, случайно заехал, увидел, и...»

Снизу ему было видно, как Зина вошла в комнату, напилась, под села к столу и задумалась.

Потом дунула на лампу.

Ирина Стрелкова

И ЕЩЕ ДВА ДНЯ

Директор завода Иван Акимович Грачев умер ранней осенью. Смерть дождалась дня тихого и светлого. Не прибрала Грачева в прошлую зиму, когда на испытаниях изделие завода выкинуло скверную штуку и на заводе целый месяц трудилась особая комиссия и был у Грачева второй инфаркт. Не прибрала и в иную пору, при других обстоятельствах, как будто для этого подходящих. Терпения у нее хватало.

В тот день Грачев приехал с завода не очень усталый, только пожаловался жене, Анне Петровне, что весь день в кабинете было душно. Надел домашнюю вельветовую куртку, не спеша поужинал, просмотрел газеты, потом встал и сказал Анне Петровне:

— Прилягу-ка на часок.

Но вдруг начал клониться набок и упал.

Анна Петровна привычно кинулась к телефону.

Терапевт заводской поликлиники Софья Михайловна жила в соседнем доме. У нее в прихожей, на столике, всегда лежал спортивный чемоданчик. Она схватила чемоданчик и в домашнем халате, в шлепанцах, щелкающих по пяткам, сбежала вниз по лестнице, пересекла залитый асфальтом двор, пробежала мимо освещенных витрин гастронома, деловито отпихнула с дороги несколько изумленных ее видом прохожих, нырнула в подъезд и шумно задышала, готовясь штурмовать третий этаж.

Три минуты бежать от ее двери до грачевской, четыре, если переодеться. Никакая «скорая» так скоро не приезжает.

Софья Михайловна знала, что дверь у Грачевых уже открыта, и не стала звонить, вошла, как к себе домой, привычно щелкнула застежкой чемоданчика, накинула поверх домашнего докторский халат, без которого не посмела бы коснуться ампулы, вынула из коробочки с надписью «Гра-

чев» все, что в таких случаях полагалось, и подошла к нему. Грачев лежал на полу, неловко подвернув левую руку под спину. Софья Михайловна, даже не коснувшись его, вдруг почувствовала, что на этот раз ничем не сможет помочь...

Она сидела на полу, рядом валялась раскрытая коробка с надписью «Грачев», в чемоданчике были другие коробки, с другими фамилиями, обладателей которых еще не раз должен был спасти бег этой немолодой женщины — в любой час, в любую пору года, — но Грачеву уже ничего не было нужно.

— Вам плохо? — спросила испуганная ее бездействием Анна Петровна.

Софья Михайловна беспомощными глазами поглядела на нее снизу вверх, покачала головой — и Анна Петровна все поняла.

Вдвоем они подняли грузное тело и положили на широкий низкий диван. Первым, кому позвонила Софья Михайловна, был секретарь райкома Харитонов.

Василий Иванович Харитонов еще сидел в райкоме, один в кабинете, где к письменному столу был приставлен другой, длинный, как на свадьбу, под зеленым сукном — пропыленным, прожженным сигаретами, закапанным чернилами. Стол этот только что освободился от беспокойных локтей, от кожаных папок, от сколотых скрепками объяснительных и докладных — кое-где валялись клочки бумаги, разрисованные чертиками, и скрепки, сорванные с бумаг в пылу споров. Поглядывая в зеленую, еще дымную даль стола, Харитонов перебирал в памяти только что закончившийся разговор, прояснял на будущее, кто чего добивался, кто кого поддерживал, кто кого резал и какие у каждого были к тому мотивы. Память у Харитонova была цепкая, долгая.

Зазвонил телефон, но Харитонов не обращал на него внимания, пока не осенило его, что секретарша-то давно ушла. Тогда он поднял трубку, сразу ставшую маленькой в его широкой ладони. Трубка была под слоновую кость, с проводом-спиралью, новейшая модель — телефонисты райком не обижали, городская телефонная станция находилась как раз в этом районе.

— Василий Иванович? — услышал он в трубке телефона, действительно отличного, передавшего сейчас и дрожание губ, и прерывистое дыхание, и напряжение пальцев, прижатых к горлу. — Василий Иванович? Я от Грачевых. Иван Акимович только что скончался...

Последнее слово вошло в Харитонova физически ощути-

мой болью. Не в сердце, не в виски, а куда-то в тело, как будто бы и нигде, но в то же время всюду. Не похожая на прежние боли, которые Харитонов знал, — на ожог расплавленным чугуном, на костоломку в автомобильной катастрофе, на нож, ударивший снизу в живот. Ему стало легче, когда он почувствовал, что боль заострилась и начала медленно уходить наружу через левый висок.

Подъехав к дому, где жил Грачев, Харитонов вспомнил, как приходил сюда первый раз, много лет назад. Это было в день рождения Ивана Акимовича. По заводской традиции, существовавшей с военных лет, Грачев никого в гости не звал. И по той же военной традиции Анна Петровна в этот день ничего праздничного не стряпала. Те, кто приходил, несли с собой свертки и бутылки, складывали все на кухне, и только тогда Анна Петровна незаметно вытаскивала из буфета, из холодильника свое, припасенное к этому дню. Сложился на заводе особый круг тех, кто приходил к Грачеву в день рождения. Набиваться в этот круг не полагалось. Харитонов долгое время даже не знал, кто ходит и как приглашают новых. Но однажды ему показалось, что на сей раз его пригласят. Было какое-то предчувствие, что это сбудется, а к предчувствиям своим Харитонов относился серьезно. В обеденный перерыв он съездил в город, купил разную редкостную снедь и бутылку вина. А потом всю вторую половину дня понапрасну ждал телефонного звонка или еще какого сигнала. Не дождавшись, просидел в цехе лишний час, а потом, огорченный, побрел к проходной с портфелем, в котором булькала тяжелая бутылка, и прикидывал что же сказать жене, какие изобрести поводы для неожиданного домашнего пиршества.

У проходной на лавочке сидел Семеныч.

— А я тебя жду, — сказал он Харитонову.

И они пошли вместе, в чем не было ничего особенного, потому что все жили в этих заводских домах и дорога домой была общая. Только у гастронома (тогда он был еще продмаг) Семеныч сказал:

— Зайдем-ка. Надо чего-нибудь прихватить для Грачева.

И Харитонов, небрежно помахав портфелем, ответил:

— А я уже прихватил...

Он помнил эту минуту своего торжества со всеми подробностями: какая была погода, какой был на нем костюм, как полуудивился-полувосхитился Семеныч его прозорливостью, как встретили их с Семенычем у Грачева и как он, Харитонов, все-таки оплошал: не надо было нести ничего

дорогого, а, наоборот, выбирать попроще, позабористей.

Видно, эти воспоминания затуманили его голову. Войдя к Грачевым и увидев Ивана Акимыча, распростертого на диване, Харитонов понес сущую нелепицу:

— Рощина вызывали? Я позвоню. Он приедет!

И осекся, внезапно осознав, что даже сам Рощин, крупнейший специалист по сердечным болезням, Грачеву уже не поможет. И не поможет любое разноейшее лекарство, которое он, Харитонов, добыл бы хоть из-под земли. И не поможет вся медицинская академия, которую он, Харитонов, тоже бы сумел привезти в эту комнату, к этому человеку, распростертому на диване,— к его, Харитонova, товарищу и другу.

Так он второй раз узнал, что Грачев умер.

...Анна Петровна, кажется, даже не слышала, что говорил Харитонов.

Софья Михайловна слышала, ее привычно резануло имя Рощина — не раз звучало это имя у постели ее больных, когда конец близок и ничего нельзя сделать, а люди как бога звали Рощина, молились на Рощина, как будто бог мог сделать больше, чем она, земная женщина, со своим старым чемоданчиком, со своими ампулами и рассчитанными минутами.

Харитонов отошел к окну, глядевшему во двор. В заводских домах ложились рано, почти все окна окрест были темными. Но одно, затем другое вдруг вспыхнули, как от внезапного удара в стекла. И Харитонов понял, что все эти окна сейчас начнут просыпаться, и люди придут сюда, к дому, где лежит мертвый Грачев.

Он уже видел однажды, как в неурочный час просыпаются заводские дома. Харитонов был тогда секретарем парткома завода. В третьем цехе случилась авария, он прибежал туда и делал все, что делали другие, и его сильно обожгло, и страшнее боли был запах паленой плоти, человеческой плоти, от которого он не мог отделаться долго.

Один парень был тогда тяжело ранен. Его увезли на санитарной машине, умчавшейся с пронзительным воем по ночным молчащим улицам. И вот тогда начали освещаться окна в домах. Грачев и Харитонов стояли в директорском кабинете и смотрели, как вспыхивают огни, а потом пошли к проходной встретить тех, кто придет в тревоге за своих близких, в тревоге за свой завод.

— Ты запоминай всех, кто пришел,— сказал Грачев Харитонову.

С тех пор были эти люди у Грачева на особой заметке — считал он себя перед ними в долгу за ту ночь.

Окна заводских домов торопливо, беспорядочно вспыхивали, показывая внутренности комнат, будто кто-то невидимый взрезал и взрезал дома кончиком скальпеля.

Харитонов резким движением задернул плотную штору и обернулся. Невыносимо было для него видеть Грачева мертвым, видеть сползшие набок ноги в теплых домашних носках. Харитонов прошел в кабинет и открыл низенький шкафчик, где Грачев — обычно спавший в кабинете, на продавленном диване — держал постель. Сунув обратно в шкафчик подушку и простыни, Харитонов вернулся в столовую с клетчатым толстым пледом, укрыл им тело Грачева и затрясся — бесслезно, беззвучно: в третий раз он понял, что Грачева уже нет.

И тогда Харитонов позвонил домой жене.

— Я выхожу, — сказала она, услышав его голос. Стало быть, жена уже знала.

— И Татке скажи, чтоб пришла.

Жена Харитонova сделала то самое мудрое, чего не умел ни он, ни Софья Михайловна, — она с порога разрыдалась в голос, запричитала, заголосила — и ей благодарно отозвалась разразившаяся наконец громким плачем Анна Петровна. Они плакали обнявшись — немолодые, некрасивые, — размазывая обильные слезы по размякшим щекам; и с этой минуты горе, как расплавленный металл, вырвавшийся через летку, полилось ровным потоком, и его можно было теперь лить в привычные, готовые, веками испытанные формы.

Дочери своей Татке, тоненькой, в черных спортивных брючках, Харитонов велел быстро прибраться в доме. Ему казалось немыслимым, чтобы люди увидели грачевский дом неубранным. Татка, хлюпая носом, не смея взглянуть на мертвого, быстро прибрала со стола и уже чуточку смелее загремела посудой на кухне.

Харитонов пошел за тетей Дусей из первого цеха, которая жила в доме через дорогу. Он хорошо знал, где она жила, потому что ордер на комнату сам вручал ей когда-то, будучи председателем завкома. Тот дом был построен еще по-бедному, без ванн, с большими квартирами на несколько семей. В нем до сих пор — Харитонов это знал по многим заявлениям — жили тесно, и у тети Дуси не было никаких надежд выбраться отсюда — въехав сюда многодетной вдо-

вою, она осталась теперь втроем с младшей дочерью и внучкой, потому что старшие повзростали и поужажили.

У тети Дуси ближе к старости открылся особый, редкостный в наше время дар — она умела по всем правилам хоронить и охотно, с какой-то истовостью приходила туда, где случилось горе, чтобы устроить, наладить все, как положено. Родившаяся в деревне, она многое знала с детства из народных обрядов, многое начало ей вспоминаться с годами, чем старше она становилась — как это всегда бывает со стариками, которым жизнь из доброты дарит на прощание все ярче и ярче картинки самой ясной человеческой поры. А кое-что тетя Дуся и узнавала, выпрашивала у других, по рабочей своей добросовестности и привычке к совершенствованию мастерства.

На звонок у дверей коммунальной квартиры Харитонову открыла сама тетя Дуся. Значит, она уже ждала, когда за ней придут. Тетя Дуся провела его в комнату, где под оранжевым шелковым абажуром, за столом, покрытым клеенкой, ее внучка учила уроки или делала вид, что учит, потому что, заведя Харитонина, сразу запихнула книжки и тетради в папку с «молнией».

Харитонов сел за стол, с уважением покосился на абажур. Он понимал, что в наше время надо иметь характер, чтобы сохранить у себя в доме оранжевую мечту минувших лет о домашнем уюте. Особенно после того, как в газетах прошла целая кампания, на уровне государственной, против этих абажуров. Харитонов именно тогда беспрекословно, однако с неясной печалью срезал шелковые шнуры и обрушил свое домашнее светило, а жена с гордостью подвесила люстру о пяти лампочках. Но вот тетя Дуся устояла, хотя дочери и сыновья наверняка вели на абажурном фронте ожесточенную идейную борьбу.

— Чайку? — не столько предложила, сколько приказала тетя Дуся, и он послушно принял из ее рук, набрякших синими венами, чашку с чаем.

— Вот ведь горе-то какое!.. — нараспев говорила тетя Дуся, придвигая ему блюдце с вареньем. — А я еще вчера Ивана Акимовича в коридоре встретила. Иду это я, значит, в отдел кадров насчет пенсии, а Иван Акимыч...

Он пил чай, горячий, сладкий, такой нужный ему сейчас, а она все говорила, говорила, все вспоминала, вспоминала, потому что и чай, и разговор были испытанным успокоительным средством для тех, кто вот так приходил к ней, еще не примирившись с тем, что все люди смертны.

— Мать я в тридцатом схоронила, а отца того раньше, в гражданскую. У нас в селе колчаки были, мужиков вывели на площадь, шашками порубили, а бабам и ребятишкам для воспитания велели смотреть, у нас у всех тогда со страху смертного вши в головах подошли...

Харитонов покорно ждал, когда тетя Дуся кончит. Он думал, что она вспомнит еще и о муже, похоронку на которого Харитонов сам, только что ставший мастером, взял в сорок третьем на проходной и полдня таскал в кармане ватника. Не знал, как отдать, но понимал, что сделать это надо именно ему, не перекладывать тяжкое на кого-либо другого.

Но тетя Дуся о муже не заговорила, и Харитонов понял, что старая эта женщина еще не похоронила мужа, погибшего четверть века назад, что она его все еще хоронит, и хоронит каждый раз, когда идет устраивать по всем правилам чужое горе.

— Что ж, Василий Иванович, пошли, — деловито сказала тетя Дуся, встала из-за стола и, обернувшись к внучке, распорядилась: — За Марьей Петровной сбегай и за Натальей.

Придя к Грачевым, тетя Дуся сразу увела Анну Петровну в спальню, чтобы достать из шкафа простыни и полотенца, и уложила ее там в постель. Софье Михайловне велела идти домой, потому что на ней лица нет, а сама проворно завесила в квартире все зеркала и принялась за свое дело, в чем ей уже помогали бесшумно возникшие в квартире две женщины...

Харитонов спустился вниз, на улицу и увидел, что у дымящихся голубым светом витрин уже закрытого гастронома стоят люди.

— Может, надо чего? — негромко спросил один из них.

Это был Сахно Иван Степанович, из третьего цеха, а рядом с ним стоял Семеныч из литейки, а рядом с Семенычем — Заглиев из инструментального. Всех, кто стоял у витрины, Харитонов узнал, всех помнил по именам, и стало ему еще горше, потому что в который, уже теперь несчитанный, раз он ощутил, что Грачева нет. Нет того Грачева, которого знал он, Харитонов, и знали те, кто первыми пришли спросить, не надо ли чего.

— Спасибо, — сказал он им. — Пусть кто-нибудь там побудет, а то женщины одни...

Они кивнули — поняли. И все разом стали прикуривать. И кто-то не дал другому огня, сказав: «Третий не прикуривай».

Семеныч потянул Харитонova за локоть:

— Есть одна мыслишка...

Семеныч был из всех заводских литейщиков первый, да, может и на всю страну таких мастеров, как он, набралось бы еще человека три. Зная себе цену, Семеныч любил, чтобы за ним ухаживали, как за кинозвездой. Грачев с удовольствием повторял весь ритуал обхаживания Семеныча перед новым головоломным заданием. Харитонов иной раз ловчил прийти и посмотреть, как оба старика разыгрывают все, как по нотам.

— Есть мыслишка,— повторил Семеныч, когда они отошли,— отлить Ивану Акимычу бюст.

Он сказал так, как думал, потому что отливать собирался именно для самого Грачева, лично. Эти слова старого литейщика, возможно, и толкнули Харитонova на все, что он сделал потом, в следующие два дня.

Мыслишка у Семеныча была вот такая: найти человека, который может сделать с умершего Грачева гипсовую маску, и тогда литейщики отольют эту маску из бронзы, потом закрепят на гранитном надгробии, а внизу по граниту будет выложено, тоже бронзовыми буквами, имя и все прочее. Примерно такого вида памятник Семеныч видел на могиле знаменитого академика. То была работа не менее знаменитого, чем академик, скульптора из Москвы, но Семеныч был уверен, что заводские сделают не хуже.

Остановка была лишь за тем, кто снимет маску, и этого человека, само собой, должен был найти Харитонов.

Харитонов поднялся в квартиру Грачева и позвонил инструктору отдела пропаганды Сергееву, молодому учителю-историку, недавно взятому на работу в райком.

Сергеев, судя по ясности голоса, отозвавшегося на первый же сигнал телефона, еще не спал — наверное, занимался, но, опять же судя по голосу, был заметно удивлен поздним звонком секретаря райкома. Однако сразу же сказал, что знает одного скульптора и может завтра с утра...

— Сейчас я за вами заеду,— не дал ему договорить Харитонов.

Повез Харитонova сын Семеныча на своем «Москвиче». Дорогой Харитонов все вспоминал, как удивился Сергеев позднему звонку. Отвыкают даже райкомовцы. А бывало, ночи не проходило без звонков. Харитонову впервые поставили телефон, когда он стал начальником цеха. Пришел парнишка-монтер и спросил: «Где у вас спальня?», потому что телефоны тогда полагалось ставить в спальне, у самой кровати — вскакиваешь как ошпаренный и хватаешься за

трубку. Жена сначала радовалась — свой домашний телефон, не у каждого есть, только у начальства, а потом эту технику возненавидела.

От воспоминаний о жене, о ночных звонках мысли Харитонов свернули в дальний уголок памяти, казалось бы вовсе заброшенный и позабытый. Тот, где хранился у него один номер, только ему доверенный Грачевым.

Номер был доверен на чрезвычайный случай, если Грачева не окажется ни на заводе, ни дома. За все время Харитонову, помнится, только дважды пришлось звонить по этому номеру, и оба раза трубку сразу брал сам Грачев. Другой бы человек за столько лет забыл тот набор цифр, но не Харитонов с его памятью, которую он даже сам порою считал опасной и обременительной. Вот и сейчас номер, которому лучше бы остаться безнадежно забытым, отчетливо вспомнился ему, и Харитонов на минуту растерялся — как же теперь поступить? Потом сообразил: номер старый — пятизначный, а в городе уже много лет как введены шестизначные номера, и теперь по тому, доверенному на чрезвычайный случай, уже позвонить невозможно.

«И хорошо. И ладно», — с облегчением подумал он.

Сергеев ждал Харитонova на углу возле своего дома.

— Ехать далеко. На окраину, — сказал он. — И я хотел бы сразу предупредить, что единственный, кто может выполнить вашу просьбу, — Нерчинский.

Сергеев даже не собирался лезть в машину — ждал, что ответит Харитонов на неподходящую фамилию.

Нерчинский! Харитонов сердито фыркнул. В последнем своем докладе на районном активе он всыпал Нерчинскому по первое число за отрыв от жизни и еще за что-то. Этот раздел доклада готовил его помощник Белобородов. Составлено было хлестко, с цитатами, и было даже место в форме живой речи: «Что же не видно, товарищ Нерчинский, ваших скульптур в наших клубах, в детском парке? Ставим там девушек с колосьями, а в это время товарищ Нерчинский в отрыве от жизни лепит: кого — неизвестно, для кого — тоже непонятно».

Сам Харитонов скульптур Нерчинского никогда не видел, тем более что в клубах их действительно не было, но Белобородову в таких вопросах он доверял полностью.

Лучше было бы, конечно, не ездить к этому Нерчинскому, но зароненная Семенычем мысль о возможности еще что-то, самое последнее, сделать для Грачева уже прочно владела Харитоновым.

— Садитесь, — нетерпеливо сказал Харитонов Сергею. — Поедем. Вы лично знакомы с этим Нерчинским?

— Знаком, — ответил Сергей.

Он объяснил сыну Семеныча, куда ехать. Оказалось, Нерчинский живет за станцией, в старом рабочем поселке. Ни днем, ни ночью не любил Харитонов там бывать. Поселок вырос сразу после войны, как только разрешили и даже поощрили индивидуальное строительство. Харитонов тоже тогда увлекся этим делом; ему казалось, что строить собственные дома — самое простое и самое мудрое государственное решение жилищной проблемы. Один из самых горластых и самых напористых председателей завкомов, Харитонов отхватил в горсовете большой участок, а потом сумел нажать на Грачева и добиться, чтобы тем рабочим, которые взялись строить собственные дома, помогли и стройматериалами и транспортом. Грачев долго упирался — он и участка не хотел брать у горсовета, — но Харитонов повез его по баракам, показал, как живут многосемейные, и Грачев уступил. Целую улицу застроили тогда заводские; и теперь у тех, кто здесь живет, нет никакого права перебраться из своих халуп в новые дома — с газом, с ваннами, с горячей водой и теплыми уборными. Безвыходность эту Харитонов явственно ощущал на своей совести, и само существование поселка, входившего теперь в его район, было для него, как тяжкий крест. Люди обижались, что у них нет хороших магазинов, хороших школ, что автобусы переполнены и ходят нерегулярно. Харитонов тысячу раз клялся на разных конференциях и на встречах с избирателями, что поселок вот-вот будет полностью благоустроен, что все получат газ, что школы он возьмет под особый контроль, равно как и автобусы, магазины, баню, химчистку... Клялся, отлично зная, что лучшие магазины отдадут новому заводскому поселку, что хорошие учителя будут по-прежнему уходить в другие, хорошие школы, что на автобус снова не сядешь, как только начнется ненастье, и что сам он, Харитонов, никуда от людей не денется, и на следующей конференции, на следующей встрече его снова ткнут носом во все беды этого поселка и будут называть хоть и не с трибуны, но достаточно громко, болтуном, барином, демагогом и еще многими обидными словами. Да что там ругань! Снес бы любую... Провалился бы только куда-нибудь ко всем чертям этот поселок! Скажем, случилось бы какое стихийное бедствие — только без человеческих жертв. Или пришло бы сверху решение — поселок снести и строить на

этом, именно на этом самом месте химический комбинат, аэродром, стадион, озеро с белыми лебедями — что угодно... А то простоит он и сто, и двести, и триста лет...

«Москвич» кружил поселком, высвечивал слабосильными фарами то беленые стены, то глухие заборы, то деревянное крыльцо магазина со сторожихой, укутанной в тулуп, которая, завидев спросонок машину, хваталась за ружье.

Наконец «Москвич» остановился в узком проулке. Сын Семеныча остался в машине, а Харитонов и Сергеев пошли узкой тропкой меж двух заборов, меж двух псов, исходивших злобой.

— Выбрал себе резиденцию этот Нерчинский, — пробурчал Харитонов в спину Сергееву, который шел впереди не спеша, но достаточно уверенно, как человек, отлично знающий дорогу.

Харитонов ни на минуту не тревожился, поедет или не поедет с ним Нерчинский в эту позднюю пору плюс все прочее, что могло быть веской причиной отказа. Больше того — Харитонов был уверен, что скульптора он к Грачевым этой ночью привезет. В свою способность уговорить кого угодно он верил, как и в дальновидность посещавших его предчувствий, и всегда практически, по-деловому рассчитывал на эти свои дарования.

И в самом деле, если Харитонов по своей инициативе или по поручению брался кого-либо уговаривать, он всегда добивался успеха, был ли перед ним упрямец-одиночка или целый зал. При этом Харитонов не был никогда особенно красноречив — напротив, он пользовался стандартными, готовыми фразами, даже не догадываясь, что их можно развинтить пословно. Но этим тяжеловатым и не очень острым оружием он владел превосходно, потому что бил в одну точку с непоколебимой уверенностью, что или надо сделать так, как говорит Харитонов, или что-то сделать с самим Харитоновым.

Сейчас в этом предстояло убедиться и Нерчинскому, преподавателю городского художественного училища, единственному в городе скульптору.

Мастерская Нерчинского помещалась в кирпичном сарае без окон, зато с парниковой рамой вместо крыши. Пахло здесь мокрой глиной и угольным сернистым дымом, протекавшим сквозь щели железной печурки. Несмотря на пе-

чурку, в сарае было холодно, Нерчинский работал в старом ватнике, изрядно заляпанном глиной.

Он был достаточно высокого мнения о себе, чтобы не удивиться ночному визиту секретаря райкома. Работу он, разумеется, не бросил, с самым деловым видом продолжал пошлепывать мокрую глину, приятельски распоряжаясь Сергеевым:

— Вить, подбрось в печку уголька. Вить, начальству табурет подай.

Сергеев подбросил уголька и придвинул начальству табурет, но Харитонов садиться не стал — табурет был чрезмерно грязен. Неряшливой, неприбранной была и постель в углу за шкафом. Сам скульптор тоже показался Харитонову грязным сверх необходимого. Харитонов видывал разные заводские участки, прошел и сам через разные производства, в том числе и через такие, где приходилось быть по исподнее в саже, в мазуте, и отлично знал, что только никудышные, низкой квалификации мужики любят щегольнуть свински грязной спецовкой.

Нерчинский этих мыслей Харитонova угадать не мог, он был слишком занят собой, своей работой и был доволен, что в этот поздний час секретарь райкома застал его в мастерской, заляпанного глиной, и мог своими глазами удостовериться, что скульптура — занятие тяжкое, грязное и трудовое. Кстати, за критику на активе Нерчинский на Харитонova был вовсе не в обиде — наоборот, она принесла ему немало приятного и практически полезного, о чем Харитонов и не догадывался.

Если бы Харитонов и умел говорить о своих чувствах, то все равно не стал бы он откровенничать с Нерчинским о том, как потрясла его смерть Грачева и как захватила мысль Семеныча сделать бюст Ивана Акимыча. Сухо и коротко сообщил Харитонов скульптору, какую работу он просит его выполнить сейчас же, этой ночью.

Нерчинский пожал плечами и неприязненно ответил:

— Речь идет о директоре завода? А если умирает рабочий этого завода, вы тоже ездите ночью и ищете, кто бы снял гипсовую маску?

Харитонов давно вырос из того возраста, когда ввязываются в дискуссию насчет рядовых и руководящих.

— В данном случае имеет место инициатива самих рабочих, — твердо ответил он. — Конкретно — рабочих литейного цеха. По гипсовой маске, сделанной вами, они отольют скульптурный портрет товарища Грачева.

— Скульптурный портрет? — в голосе Нерчинского прозвучала нескрываемая насмешка. — А они представляют себе, что значит скульптурный портрет и вообще, что такое художественное литье?

— А вы, — спросил Харитонов, — вы представляете себе, между прочим, какую более точную продукцию выпускают эти люди?

Нерчинский сделал неопределенный жест: важнейшую государственную тайну насчет продукции завода знал в городе каждый мальчишка.

— Вот именно, — подытожил Харитонов.

Скульптор перестал ковыряться в глине, скатывал с ладоней подсыхающие рыжие комочки и с любопытством разглядывал секретаря райкома. От его взгляда Харитонову стало не по себе — будто чужие руки мяти его лицо, как какой-то подходящий для лепки материал, и что-то вытягивали из этого материала, помимо воли Харитонova.

— Я поеду, — сказал Нерчинский. — Все равно некому, кроме меня.

Дверь квартиры Грачева была открыта, во всех комнатах, в коридоре, на кухне горел свет, но какая-то черная тишина владела домом.

В кабинете Грачева сидели несколько человек — без шапок, но в пальто, и Харитонов подумал, что и сам тоже не мог теперь в этом доме привычно раздеться в прихожей, нашарить, не глядя, крючок вешалки, задев ненароком тяжелое драповое пальто хозяина дома.

Среди сидевших в кабинете были и главный инженер, и заместитель Грачева, и начальник заводского КБ — ленинский лауреат, и новый секретарь парткома, присланный на смену Харитонову, ушедшему в райком.

Секретарь парткома встал навстречу Харитонову и вполголоса принялся перечислять: в министерство сообщили, сына вызвали телеграммой...

— Вот что, товарищи, — сказал Харитонов, садясь за стол, — постигла нас тяжелая утрата. — Он сам сейчас ощущал, как неловко втискиваются одолевающие его мысли в эти готовые слова, но по-другому говорить не мог, да и не был уверен, что его поймут, если сказать по-другому. — Но есть, товарищи, наш священный долг, — продолжал Харитонов, — показать всему городу, кем был для нас Иван Аки-

мович — для завода и для всей районной партийной организации.

Начиналось, как начинаются болезни, то самое состояние, когда Харитонов брал через край, ни с кем не советуясь, всех подминая напором своей незаурядной воли и в то же время искренне считая, что воплощает стремление большинства. Такое с ним случалось уже не раз, как и со многими, кому выпала на долю выборная организаторская работа, на которой не заносит только тех, кто смолodu приловчился ничего не делать или уж если делать, то только чужим умом — с одной стороны, и чужими руками — с другой.

Харитонов был человеком действия. И похороны Ивана Акимыча Грачева он решил воплотить в крупнейшее мероприятие всего района еще и потому, что горе Харитонova горячо клокотало внутри и требовало отлиться в привычные формы.

Всю ночь он просидел, так и не сняв пальто, в грачевской квартире. Одни уходили выполнять его поручения, другие приходили. Бесшумно сновала по квартире тетя Дуся с помощницами. Кончил свою работу Нерчинский и, простившись с Харитоновым молчаливым поклоном, ушел вместе с Семенычем. Принесли телеграмму от сына Грачева, он вылетел ночным рейсом. Позвонил дежурный из министерства, в голосе угадывалась не только официальная, но и человеческая скорбь: кто же не знал в министерстве старика Грачева, бессменного директора на протяжении трех десятков лет. Потом появилась со своим чемоданчиком Софья Михайловна; она делала уколы Анне Петровне, делала уколы жене Харитонova, но к нему не подошла — коробки с надписью «Харитонов» все еще не было в ее чемодане, потому что большой запас здоровья был им прихвачен в дорогу, когда за пару лет до войны уехал он из родного села в город.

Грачев уже тогда был директором. И вот Харитонов — ученик слесаря — вырос до секретаря райкома, а директор так и оставался директором.

...Когда рассвело, когда приехал младший Грачев, Харитонов покинул свой пост, зашел домой переодеться, выпить стакан чаю и поехал в райком. Спать ему не хотелось.

В райкоме сразу заработала отлично налаженная машина. Звонили на все предприятия, в учреждения — сооб-

щали печальную весть и ставили в известность, что венки можно нести завтра с утра в заводской клуб. Звонили в воинскую часть — насчет духового оркестра. Звонили в милицию — уговаривались о распорядке похоронной процессии.

Безотказный Сергеев по распоряжению Белобородова сел писать некролог. В качестве образца перед ним лежали некрологи, вырезанные из разных газет и подшитые в папку запасливым Белобородовым, а также «личное дело» Грачева, взятое в секторе учета. Начиналось это дело с обычного: «из крестьян», «высшее», «не состоял», «не имею», «не был», потом шли ордена и выговоры — того и другого примерно поровну. Из личного дела добросовестный Сергеев так и не смог извлечь никаких слов о личности умершего Грачева, поэтому все чаще и чаще заглядывал в подшивку чужих некрологов, выбирал оттуда подходящие места: «...был примером настоящего руководителя... чуткий товарищ... пользовался уважением и любовью всего коллектива...»

Написав некролог, Сергеев понес его Белобородову. Тот тоже трудился над какой-то бумагой и тоже заглядывал в какие-то газетные вырезки. Белобородов писал выступление Харитонов на завтрашней гражданской панихиде.

Днем Харитонов поехал на кладбище — проверить, хорошее ли выбрано место. Кладбище находилось в его районе, так что на этот счет возможности были самые великолепные.

С кладбища Харитонов поехал на завод, к Семенычу. На душу ему еще давил густой запах взрытой земли, пронизанной корнями, как кровеносными сосудами. Перед глазами стояла отверстая могила.

В литейке тоже густо и тяжело пахло землей, но эта земля была бесплодна и не требовала жертв. На столе у Семеныча Харитонов увидел запрокинутое лицо Грачева — широкий нос, выпуклые надбровные дуги, шишковатый лоб. Семеныч только что вынул из формы отлитую им копию гипсовой маски. Харитонов коснулся ее и невольно отдернул руку: бронза была теплой, как человеческое тело.

Харитонов помнил, какая глубокая печаль, какая боль стояла вчера вечером в глазах Семеныча, но сегодня этой боли как будто не осталось и следа. С явным неодобрением вертел Семеныч бронзовое лицо Грачева, безжалостно находя и глазами и пальцами уйму изъянов.

— Будем переплавлять, — сказал он Харитонову.

— Тебе видней, — ответил Харитонов.

Самое мудрое дело на свете — если можешь горе свое переплавить в работу.

— А этот к тебе приходил? — спросил Харитонов.

— Этот? — сразу понял Семеныч. — А как же. Приглядывался...

Харитонов вернулся в райком. Белобородов положил перед ним аккуратную папку с грифом «К докладу». Харитонов раскрыл папку и вздрогнул: сверху лежала речь В. И. Харитонova на гражданской панихиде, под нею — «И. А. Грачев» (некролог). Он было отодвинул папку, но потом решил прочесть. А когда прочитал, у него шевельнулось чувство благодарности к старому службисту Белобородову. Ведь сам Харитонов не сумел бы написать про Ивана Акимовича Грачева вот такой гладкой прочувствованной речи и такого по всем правилам составленного некролога.

Он вызвал секретаря и велел отправить некролог в редакцию. А речь не знал куда девать. Потом сложил листки вчетверо и спрятал в карман.

И тут в дальнем уголке его памяти снова обнаружился «тот» телефон. Он был, как тихий неназойливый посетитель, что может целый день терпеливо ждать на стуле в приемной — чем терпеливей, чем молчаливей ждать, тем праведней дело, по которому он пришел.

Сам набор цифр был уже ни к чему, по нему нельзя дозвониться. И пожалуй, трудно сейчас отыскать старые телефонные списки, чтобы установить фамилию, адрес. И уж вовсе незачем Харитонову встречаться с той, что тогда — два памятных заводских ЧП! — не брала по звонку трубку телефона, зная, что ответить должен только Грачев. Только Грачев... Только ему, Харитонову, доверивший тот телефон.

Впрочем, есть еще человек, который не мог не знать. И проще простого Харитонову его найти.

Через полчаса к райкомовским дверям подкатила черная «Волга», за рулем сидел Серега Пирогов, теперь Сергей Петрович, бессменный шофер Грачева.

Харитонов объяснил Сереге, кого ему нужно сейчас видеть. Серега помолчал насупясь, потом мягко, неслышно тронул «Волгу» с места.

Машина шла темными опустевшими улицами, Серега ни разу не повернул головы к Харитонову, ни разу ни о чем не спросил. Он остановил машину в тихом проулке, потушил фары.

— Вон в том доме. Крайний подъезд.

— Этаж?

— Четвертый.

— Квартуру знаешь?

Серега помотал головой.

— А окно?

— Где шторы полосатые.

Шторы были задернуты плотно — ни щелочки. Харитонов вдруг заторопился, чтобы успеть раньше, чем раздвигнутся эти шторы, — раньше, чем кто-то оттуда, сверху, увидит на привычном месте грачевскую «Волгу».

Он поднялся на четвертый этаж, уверенно определил, какая квартира ему нужна, — дом типовой, перепутать невозможно. Звонок он нажал осторожно — зачем лишний шум. За дверью слышались шаги. Харитонов замер, соображая, как же отозваться на вопрос: «Кто там?», но дверь открылась без всяких предосторожностей, и он услышал: «Войдите».

Самое нелепое оказалось в том, что он давно знал женщину, которая открыла ему дверь. Отлично знал! Встречался с нею по разным деловым поводам, уважал как толкового специалиста, а однажды она с блеском разделала его выступление на сессии горсовета — ох как разделала, тонко, остроумно, беспощадно.

Но, черт возьми, как он ей объяснит теперь, зачем пришел? А что, если Серега все-таки напутал?

Женщина ни о чем не спрашивала. Значит, Серега не напутал.

Она провела Харитонova в комнату; там все было, как в тысячах других комнат, — диван, низкий столик, книги. Харитонов ревниво искал глазами — где-то должна быть фотография Грачева, но фотографии не обнаружил. Не было на виду ничего, хоть чуточку наводящего на мысль, что кроме хозяйки здесь бывает еще кто-то, постоянный, со своими любимыми вещами, привычками. И в этом отсутствии каких-либо случайных или обдуманных вещественных напоминаний Харитонов с болью ощутил, почти увидел Грачева, как он входит в эту комнату, садится на диван. И тут он заметил рядом с диваном, на низком столике, телефон, «тот» телефон, по которому он звонил только два-ж-

ды и только тогда, когда невозможно было обойтись без Грачева. И оба раза Грачев брал трубку не сразу, хотя телефон был рядом с диваном. Или он спал, или просто слышать не хотел, как дребезжит это чудо двадцатого века, или надоела ему до чертиков телефонная пуповина, всю жизнь соединяющая его с заводом, неразрывная, неотвязная, дотянувшаяся за ним и в эту комнату, к этому дивану.

Харитонов не знал, с чего начать, женщина тоже не знала. Наверное, сегодня, еще утром, кто-нибудь сообщил ей с тем обычным оживлением, с каким сообщают о смерти людей известных:

— Слыхали? Говорят, Грачев-то?..

А потом еще кто-нибудь:

— Слыхали?

А потом еще:

— Грачев-то... Кто бы мог подумать! Не знаете ли случайно, рак или инфаркт?

Грачев был достаточно известным человеком, чтобы о нем весь день весь город жужжал в уши этой женщине — на работе, на улице, в троллейбусе:

— Говорят, Грачев... Не знаете ли вы случайно, когда похороны?

...Если бы женщина хоть о чем-нибудь спросила Харитонova. Но она молчала. Оба немолодые, оба известные в городе люди. Что их свело?

Харитонов вез сюда горсть медяков — несколько слов утешения, обычный вопрос: чем нужно помочь, стандартное обещание всегда, как только понадобится, принять, выслушать, оказать содействие. И эту горсть стертой меди он сунул обратно в карман.

Что именно надо сделать, Харитонов понял только здесь, в этой ничего не выдавшей комнате, стоя напротив женщины с замкнутым лицом.

— Я прошу вас поехать сейчас со мной, — сказал Харитонов. — Там никого нет. Вы проститесь. Если, конечно, считаете нужным.

— Да, — ответила она. Кажется, ей с трудом удалось шевельнуть застывшими губами. Это было только второе слово, которое она сказала. Первое: «Войдите», второе: «Да».

Они спустились вниз по лестнице, прошли к машине. Харитонов усадил женщину на заднее сиденье, сам сел рядом с Серегой. Серега даже головы не повернул ни к Харитонову, ни к ней.

Сергеа возил Грачева лет двадцать с лишним. Грачев любил ночью или на рассвете, после напряженной головоломной работы поехать в степь. Иван Акимыч был родом из лесной деревни и лес тоже любил, но часто говорил Харитонову, что лес его успокаивает, умиряет, а степь подбивает на бунт, на озорство, непокорство. Что касается непокорства, то этого у Грачева всегда хватало, так что вполне можно было поверить в его теории про лес и степь, тем более что Грачев умел поговорить насчет того, как на Руси испокон веков тихие люди бежали в лес, в скиты, а бунтари — на юг, в степи.

Харитонов полюбил эти поездки в степь — сначала по шоссе, потом проселком, потом без дороги, по жесткой степной траве, которая чуть пружинит под колесами, а машина идет ровно, разве что проглядит Серега суслицью нору, и «Волга» припадет в нее колесом.

От этих воспоминаний Харитонову на минуту почудилось, что в машине еще живет горьковатый вкус степного ветра. А может, и не почудилось, потому что Серега вполне мог держать под сиденьем или под ковриками охапку сохнувшей сизой полыни.

Обогнув заводской клуб, Серега остановил машину у служебного входа. Гроб с телом Грачева был уже перевезен в клуб и установлен в просторном, слабо освещенном вестибюле, на том самом месте, где зимой ставили елку.

Елочная суета так и лезла Харитонову в глаза, в уши, пока он шел через тихий пустой вестибюль туда, где стоял гроб. Скольких трудов, скольких синяков стоил когда-то Грачеву и ему этот клуб — каждая люстра, каждый беломраморный пролет лестницы и особенно мозаичный пол! А выговор за то, что прихватили на клуб кое-что из материалов, отпущенных на новый цех? Все снесли. И до сих пор нет во всем городе клуба, равного этому.

У гроба, на свинченных в единый ряд мягких театральных креслах, сидели несколько заводских стариков. Родных Грачева здесь не было, жену и сына уговорили провести эту ночь дома и приехать к гробу только утром. Все складывалось так, как нужно было Харитонову.

— Товарищи, пройдем минут на десять в кабинет директора, — сказал он старикам. — Надо кое-что решить.

Он и сам не знал, почему назвал им десять минут, когда только что, выходя из машины, сказал, что чет-

верть часа вестибюль будет совершенно пуст — ровно четверть часа. Столько лет двое людей встречались урывками, встречались тайком — так они и простятся. Харитонов сделал это не для женщины, он сделал это для Грачева.

Прошло немногим больше четверти часа. С улицы донесся короткий автомобильный сигнал — Серега давал знать, что она вышла, что она в машине. Они не улавливались, как быть дальше, когда она выйдет, но тут Серега разобрался сам, — не дожидаясь Харитонova, черная «Волга» тронулась со двора.

Старики побрели обратно в вестибюль — сидеть рядком в мягких креслах, неторопливо вспоминать разную старину, и добрую и недобрую, тешить этими воспоминаниями и себя и усопшего.

Харитонов посидел с ними, поговорил. Он и раньше знал, что у людей этого возраста существует сложившаяся в результате самых тонких и скрупулезных подсчетов невидимая, но вполне живая очередь на уход в иной мир, очередь, в которой каждый точно помнит свое место. Из разговора стариков Харитонов понял, что Грачев чуточку поспешил, но вообще-то время его уже подходило. Не по годам, а по многим другим основаниям. Стариков вроде бы даже успокаивало, что и в этом, ими самими не управляемом деле все же хранится достойный порядок и демократия.

Харитонов был всегда дружен с заводскими стариками, но в своем ночном неторопливом разговоре они держали его на дальней дистанции, как человека, которому еще рано занимать место в их живой очереди. А он все сидел, не уезжал, хотя знал, что Серега уже вернулся за ним и ждет у главных, парадных дверей клуба.

Потом Харитонов встал, подошел к изголовью гроба. Оставалась эта ночь и завтрашнее утро, когда он мог еще что-то сделать для Грачева, и оставалось последнее большое мероприятие, о котором в городе скажут — кто с восхищением, кто с завистью: «Грачев со своим Харитоновым» или «Харитонов со своим Грачевым». Последнее мероприятие. Такое, что все запомнят.

...На следующий день с утра к заводскому клубу стали собираться люди. Шли делегации всех заводских цехов с огромными венками. Шли делегации с других заводов и фабрик района, они тоже несли венки.

— Девяносто венков,— сказал Харитонову встретивший его у клуба Белобородов.

Под присмотром директоров школ несли самодельные венки старшеклассники. Директора ревниво оглядывались на венки других школ, сравнивали, чей красивее,— в любом деле, даже самом прискорбном, продолжалось их детски азартное соперничество, борьба за первое, второе, третье место на районном пьедестале.

Харитонову сначала смутило, что в похороны Грачева райкомовцы из чрезмерного усердия вовлекли и школы, но потом он подумал: кто, как не Грачев, был опорой всей районной политехнизации, списывая для школ устаревшие и неустаревшие станки, кто, как не Грачев, был опорой перевоспитания в труде, принимая в цехи самых непутевых, списанных педагогикой ребят.

Двадцать три школы были в районе, и все принесли по венку. Потом прибыл венок от районного Дома пионеров, от детской технической станции, от юношеского клуба «Бригантина», созданного год назад при заводских домах и выколотившего из Грачева какие-то электрогитары, позарез необходимые для эстетического воспитания.

Гроб с телом Грачева был как плетнем огорожен пышными венками. От запаха хвои и вянущих астр кружилась голова у тех, кто с траурными повязками на рукавах становился к гробу.

Харитонову тоже повязали на рукав черную с красным ленту, ему полагалось стать у гроба рядом с главным инженером завода, председателем райисполкома и одним командированным из министерства, который то ли на самом деле прилетел специально на похороны, то ли подгадал к этому дню другие, земные дела.

Когда они гуськом шли к гробу, Харитонову на секунду перехватил начальник районной милиции.

— На улице народу!.. Тысяч десять... Я распорядился все движение перекрыть на Пушкинской...

Тысяч десять... Движение на Пушкинской... Чувство, которое охватило Харитонина, когда он услышал эти вести, было самой искренней радостью за Грачева. Никого еще в городе не провожали так в последний земной путь, как провожают Ивана Акимовича Грачева.

С этим радостным чувством и стоял Харитонов у гроба, прощаясь с человеком, которого всю свою сознательную жизнь уважал и горячо любил.

В открытую дверь клуба вносили еще и еще венки, и становились по четыре у гроба люди из других районов города.

Харитонов достал из кармана листки с речью и пошел открывать гражданскую панихиду. В первых рядах он увидел и суровое лицо Семеныча, и пригорюнившееся — тети Дуси. Увидел, как ощупывает сумасшедшими глазами лицо Грачева взъерошенный Нерчинский в неподобающем для похорон пестром свитере. Увидел прилежного Сергеева и печально-сосредоточенного Белобородова. Увидел Софью Михайловну с неизменным спортивным чемоданчиком, увидел свою жену и испуганную Татку. И Сахно из третьего цеха, и Заглиева из инструментального, и конструктора-лауреата, и многих других.

— Товарищи! — начал он.

Но гладкие слова, написанные Белобородовым, застряли в горле. Все в них было правильно, даже правдиво, но все совершенно непригодно. Не мог сказать он этих слов Ивану Акимовичу Грачеву. Люди ждали, что он скажет, а Харитонов молчал. Никто не прервал этого молчания. И все поняли его молчание, а не то, что Харитонов говорил потом, взяв себя в руки.

После него говорили другие.

Заводские девчата начали выносить венки. Когда гроб оголился, Харитонов первым подошел и подставил плечо у изголовья. Впереди на целый километр шли девчата с венками, следом медленно ехала машина, за ней двигалась бесконечная процессия.

А вечером в доме Грачева собрались все, кто имел такое право — ходить к нему без приглашения. Они сели вокруг стола, за которым Грачев не раз сживал с ними и на котором он лежал навтыжку перед тем, как навсегда покинуть свой дом. Стол был убран и накрыт по всем правилам, известным тете Дусе, и за этим столом вели себя все согласно ее указаниям, не стыдясь много есть и много пить, потому что таков спасительный старый обычай.

О похоронах Грачева еще долго потом говорили в городе. О сотнях венков, о тысячах людей, о прекрасном памятнике, который вскоре был поставлен на кладбище: гранитная плита, а на ней бронзовое лицо и надпись бронзовыми буквами.

С бронзой получилась неприятная история, потому что снабжали ею завод по строгому лимиту. Впрочем, историю с бронзой в министерстве замяли. Но на бюро горкома все же поставили вопрос о неэтичных действиях Харитонова, поднявшего ненужную шумиху вокруг похорон. Харитонов получил на бюро выговор. Без занесения.

В тот день, на который было назначено бюро, Софья Михайловна ждала тревожного звонка. Но Харитонов обошелся.

1965

КОГДА ПРОШЛИ ДОЖДИ

Деревня наша стоит в бору, на отшибе. От тракта нужно километров пять до нее пешком топать. Летом ходить весело. Шел эти пять километров часа три. Только на улицу ступил — на голову дождевка упала. Смешно. Потом не до смеха: каждый день — ненастье.

Но я радовался: люди по домам засели — и весь фольклор под боком. Перешел я тогда на четвертый курс института, вот и приехал домой, чтоб записать фольклор в родной деревне. Думал собрать много песен, легенд удивительных и составить книгу. И эта книга будет самая хорошая на свете. Прославит она мою деревню на всю страну.

Первую ночь дома не спалось. Хотелось быстрее составлять книгу. Шумел дождь, в бору стонали сосны. Потом вышел леший, испугал меня. Он стучал клюшкой по деревьям, подвывал ветру, плакал и ухал. Выйди сейчас в бор — сердце лопнет. Меня воспитывала бабушка и научила верить в домового и лешего, в Бабу Ягу костяную ногу, в зеленых русалок, в огненные колесницы, которые выносятся из реки в полночь, катятся по всей земле, и кто их увидит — тому счастье привалит. Стал большим, а верить в эти сказки хотелось больше и больше.

Кончил выть леший, и я заснул. Утром отправился к Ивану Закомалдину. Иван — самый старый в деревне, самый мудрый, веселый, песельник, сочинитель. Он все знал, все видел, прошел страну пешком вдоль и поперек, плавал на море, воевал в Маньчжурии, в первую мировую попал в плен к австрийцам, сбежал, потом строил колхоз в родной деревне, в шестьдесят лет стал комбайнером, в семьдесят — плотником, в восемьдесят — пенсионером.

Дом его стоял в конце улицы. Крышу Закомалдин покрыл дерном. Дерн пророс густой травкой, и домик похо-

дил на зеленый гриб. Я постучался — не ответили. Вошел в сенки, прислушался — тихо. Перешагнул через порог в избу: на столе котенок катается. Прошел в горницу. Возле окна большая кровать, там лежит Закомалдин, под головой куча подушек, руки поверх простыни. Он повернулся на мои шаги, лоб его сморщился — вспоминал.

— А, это ты... Ну, беседуй.

— Заболели, Иван Захарович?

— Хуже... Вроде кончаюсь...

— Врача бы?

— Э-э, сыновей бы достать. Да куда уж: один в Москве — офицер, второй за женой на север удрал, отлетел, как от сапога подметка. — Он устал говорить, задохнулся.

В горнице — сумрак, пахнет прелой кожей, березовым листом и самим Закомалдиным. Дух от него кислый, хочется чихать. В последние годы он пас скот, стал курить самосад с одеколоном, дубить овчины, и все запахи остались в нем, впитались.

Закомалдин лежал молча, строго, лицо не двигалось, шевелились одни губы. Я струсил — вдруг он умрет сейчас и унесет с собой все песни и сказки — распадется моя книга.

— Ты попрощаться, значит? Только до тебя председатель колхоза да пионеры с учителькой забежали.

Мне стало не по себе, я к окну перешел. Дождь разошелся частый, грибной. Сейчас синявки пойдут, маслята под сосенками вылупятся, потом белый гриб ползет. Из бора в открытое окно несло сыростью, в сосняке гоготали гуси, задрав хвосты, носились телята, бодались. А Закомалдин умирал. Я смотрел на его худые щеки, сухие, бессильные руки и стыдился себя, здорового, плечистого, в белой, выстиранной рубахе.

— Что, дождь там?

— Дождь.

— Ненастье и подбирает стариков... Могилу в дождь копать худо. Глина липнет.

Я стал ходить по комнате, не смотрел больше на него, хотелось выскочить на волю из душной горницы, чтобы не видеть больше посиневших щек Закомалдина, не слушать его полуживого, закрытого белой смертной простыней. Но он чем-то держал меня цепко, не отпускал, и я снова смотрел на него долгим пристальным взглядом, чувствовал, какие холодные у него руки, и вздрагивал.

Давно, в детстве, мы подстрелили ястреба. Дробина

сломала крыло, а сам он был еще силен, горяч, царапался, щетинился, не подпускал к себе человека. Посадили его в клетку, под лавку, рядом с курами. Через ночь он похудел, высох, перестал клеваться и пить воду, а еще через ночь зачих совсем, собрался, видно, умирать. Мы жалели его до слез и бегали к нему все время. Но мой отец пожалел ястреба по-своему. Он выставил клетку на крышу дома под солнышко. «Может, отойдет», — рассудил отец.

И отошел ястребок. Через неделю открыли клетку — он вышагнул на крышу, почистился, покружился на лапах, встрепенулся, взмыл в небо и улетел навсегда. К облакам взлетел, а недавно умирал... И я сейчас вспомнил, как ястребок сидел с курами и было ему тошно. Вспомнил это, потому что Закомалдин размечтался:

— Сейчас бы по бору походить. Груздков пособирать... Да, видно, отходил, откружил... Вон на полочке книжка лежит. Достань-ко.

Я подал ему большую толстую тетрадь, прошитую у закромок толстой ниткой.

— Открывай давай.

Я открыл и уже не мог оторваться от старых, пожухлых страниц. На первом листе стояло: «Год 1883. Моя жизнь с рождения и по сие время».

Читал наугад страницы и улыбался простодушной, наивной откровенности повествования. «Вчера первый раз за жись одел новые порты. Сходил в них на гулянку, после их свернул и под подушку засунул. Пусть сохраняются до оженитьбы...»

«Неделю назад из тюрьмы пришел. Отсидел за хомуты. Зря на меня указали... Хомуты у хозяина не я украл, а сын собственный Прошка у целовальника заморил... А слава-то на меня пущена. Вышло, что отсидел зазря... Сынок первый, Степа, без меня помер от живота. Кинулся Катерину бить — мол, не устерегла, да что взять с бабы...»

Все это перемежалось с описаниями знакомых — врагов и друзей Закомалдина. Он описывал по дням и погоду, и состояние посевов, делился своими несчастьями, радостями, мечтал о лучших временах, рассуждал сам с собой, переносился в фантазию, балагурил — и все это из-под пера выходило той простой, страшной правдой, которая леденит душу. Он словно наслаждался своей откровенностью, часто себя осуждал, и эти места писа-

лись особенно суровым слогом. Читал я не отрываясь и чувствовал, что Закомалдин жадно следит за мной и сейчас спросит о чем-то важном.

Дальше шло описание походов в австрийском плену, в гражданскую войну, потом записи перекинулись на тридцатые годы и на сегодняшние дни.

Закомалдин не вытерпел, спросил:

— Смешно?

Я молчал. За окном дождь разошелся сильнее, на улице потемнело, и Закомалдин в потемках казался еще более бледным, только руки живые — чуть шевелились.

— Надо тетрадь дописать. Пустых мест больно много. Не могу сам-то — видишь... Хочу тебя просить.

Я удивился, промолчал. Его длинные руки пугали и заставляли думать только о них, больше ни о чем.

— После гражданской председателем колхоза поставили. Три года работал — за книжку не брался. Некогда... Эту войну в бригадах проходил, сутки — бегом. После войны в больнице лежал — спина отнималась — тоже не до книги. Теперь вот душа на ладан... А дописать охота.

Я согласился дописать тетрадь, но только вместе с ним. Уходил от него печальный. Проклятый дождь выводил из себя. Не выйдешь ни в лес, ни на речку. Да и умирающий Закомалдин стоял все время в глазах.

Утром опять пошел к нему. Он все так же лежал недвижимо под простыней. Увидев меня, приободрился:

— Давай начнем сразу... Бери книгу, на чистом листе пиши заглавие — «Моя жизнь с 1933 года по 1936 год».

Я написал заглавие, и он стал диктовать. Говорил тихо, глухо, дышал со свистом. Часто хотелось остановить его, чтоб отдохнул, продышался, но я боялся прервать, только все ближе пододвигал стул к кровати, потому что голос его слабел.

Закомалдин умирал у меня на глазах и все последние силы вкладывал в слова, которые ложились в книгу. Он рассказывал о первом колхозе, о каком-то Гришке Трофимове, который пырнул его ножиком за то, что Закомалдин раскулачил его отца. Рассказывал он медленно, голос доходил до меня глухо, чуть слышно, сливаясь с шумом дождя на улице. Я быстро устал, вспотел, пальцы от ручки занемели, и мне хотелось остановить его — пусть отдохнет. Закомалдин ловил мой взгляд, усмехался, один глаз открыт весь, другой сужен, почти закрыт,

и вид у старика был надменный и хитрый, как у старой, пожившей птицы. Скоро закрылся и другой глаз. Он отвернулся к стене. Потом еще немного подиктовал и закашлялся. Сказал мне, что у него отпали легкие.

На другой день я просидел с ним часа два, и он говорил уверенней, голос звучал громче. Голос у него был хрипловатый, напевный, спать бы под него. Потом пропал и мой сон и дождь за окном забылся. Закомалдин стал рассказывать о своей мужицкой молодости, о второй жене, красавице Варваре Клевакиной, глаза его блестели влажно и молодо, руки нервно ходили по простыне.

— Была у Вари коса... Косой этой тебя можно пять раз обмотать... Ласковая вышла жена. А у тебя есть любя-голуба?

Я покраснел, Закомалдин засмеялся. Смеялся он, словно кашлял. А я завидовал Закомалдину. У меня не было любви-голубы, а его Варя ходила тогда по земле статная, точеная, плясунья. Такая плясунья, что всю деревню перепляшет. Когда она шла, все занавески у окон вздымались — люди смотрели на нее, головой качали — кому-то достанется... Досталась она Закомалдину.

На третий день мы записали о бригадирстве в годы войны. Тяжелые были годы. Я их сам испытал. Жили голодно, холодно. Однажды Закомалдин привез нам дров, а мать моя всю ночь проревела: вот, мол, уже чужие люди о нас заботятся, а от отца ни слуху ни духу, живой ли уж пойлец-кормилец наш... А потом он корове нашей Маньке сено вывез, сметал его на конюшню, не сказав нам ни слова. Потом зашел в избу, попросил напиться, и когда пил, то смотрел на мать — и жалостливо слезились глаза. Ему казалось, что без отца мы круглые сироты, сухие пеньки, да и нам казалось так же. Летом частенько заносил в саке карасей и опять томительно долго молчал у дверей или пил медленно из ковша воду.

Закомалдин диктовал теперь уверенней, сидел на кровати, спустив на пол ноги в теплых носках. Часто он скручивал сигарку, с лица его спала серая усталость. Он оживал, голос его звучал громко, по-молодому, дышалось легче, просил прочитать, что я написал. Слушал внимательно, настороженно, всем телом накрываясь вперед, глаза его не мигали и не видели ни меня, ни книги, ни широкой горницы, а смотрели куда-то вдаль, далеко, о чем-то вспоминали.

— Вот умру, а книгу в школу отнеси... Пусть пионеры

читают... — Он взглянул мне прямо в глаза и усмехнулся. Может быть, он шутил теперь, но я не понял и промолчал.

На пятый день Закомалдин уже ходил по горнице, шагая грузно, тяжело, и пол под ним скрипел. Он стал рассказывать, как вернулся с фронта старший сын Василий. Весь в орденах сын, веселый, смуглявый, и девки о нем заболели. Но Василий влюбился в соседку, в Замятину Зою, вдову, с пацаном на руках. Я записал в книгу, как Василий привез ей из города шаль пуховую в подарок, как Василий с Зоей в первый раз по деревне прошелся: он — справа, она — слева, а посередине — их руки вместе. Народ завидовал Зое, ведь Василий был в орденах и красавец.

Закомалдину особенно нравилось в книге это место о Василии. Старшего сына он любил сильней жизни, потому что был Василий от плясуньи Варвары и удался в нее, черноглазый, ласковый, черноволосый. Я также любил Василия тогда очень сильно. Я подражал ему, трогал на его гимнастерке медали, слушал, как он рассказывал о боях, горящих танках, и мне так же хотелось беспощадно бить всех врагов моей страны, стать героем. Вот почему о Василии я писал горячо, волнуясь, сочинял от себя. И когда читал Закомалдину это место, он потихоньку гладил мою руку, мне хотелось ее отдернуть, но я боялся. А он сдохатывал и бормотал:

— Ты шибко-то не углубляйся... Оно того... Как бы Васька-то не обиделся. Ну да ладно. Дуй...

Но я знал — он не сердится, глаза его повеселели, лучились, к щекам кровь прилила, точно вошел с морозу, точно ледяной водой умылся да сухим полотенцем растерся, потом глаза сощурились, проглянули издалека, ласковые, уверенные, как у всех сильных людей, мудрых от своей силы.

Закомалдин совсем ожил. Он уже не ложился в кровать, а топил печь и кипятил чай, потом прихлебывал его из большой белой кружки и без усталости диктовал. Он весь ушел в прошлое, снова жил той жизнью: работал за семерых, провожал из дома сыновей, строил в колхозе ферму, и кровь в его жилах горячилась, будоражила тело. И я опять вспомнил нашего ястреба. Вспомнил, как он долго кружился на лапах, потом взмыл в небо, перекувыркнулся через крыло и ушел к облакам.

В нашу книгу ложились все новые страницы, при-

шлось подшить к обложке чистую тетрадку. Закомалдин веселел час от часу. До смеху дошло. Он гладил меня по голове, как маленького, подолгу пропускал каждую прядь через пальцы, трогал мускулы выше локтя — мерил силу, потом у себя мерил, бурчал то ласково, то сердито, распахнул в доме все створки, надел высокие сапоги со скрипом и радовался, как скрипят они громко, весело и какой чистый заходит в створки воздух, какие сизые стоят дни, какие хитрые, белые бродят под окнами телята, как потемнели от дождя сосны и стали выше. Пол колыхался под его сапогами, он потел от чаю, от своих слов и вытирался чистым платком.

На другой день закончились дожди. Но книга не кончалась. Нужно было описать еще несколько послевоенных лет. Закомалдин пожалел меня и повел в бор.

На опушках бродили тени. Сосны пахли горьким, над головой отчаянно стучал дятел.

Ступали молчаливые, царственные, ведь все кругом было наше богатство. Закомалдин шевелил губами — лицо не улыбается. В бору было душно, тропка заходила в канавы и овражки, там внизу журчали ручьи, сновали ящерицы, по лопухам скакали лягушки; шли тяжелые, дурманящие запахи — прорастали трава, грибы; забирались в глубь земли корнями молодые сосенки, гнила старая чаща, где-то рядом кричал дикий голубь и ерзали на сучках сороки. Совсем недавно здесь проходил леший — кое-где сосенки свалены с корнем. Закомалдин остановился у одной такой сосенки, перевел дух, дышал он трудно, грудь вздымалась высоко, только глаза смеялись: «Жить... Жить...»

Я его плохо слушал. Думал о том, что все равно когда-нибудь напишу книгу, которая будет самой хорошей на свете.

Закомалдин стоял на земле твердо, без палки, и улыбался. Он был еще могуч, по-молодому строен, только седая белая голова говорила, что жил он на земле долго, что он самый мудрый в деревне и знает все на свете.

Закомалдин стоял, щурился, видно, радовался, что кончились наконец дожди и пришло тепло, что он обхитрил смерть и сейчас будет жить вечно.

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и донныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготавливали к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошлом году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные, красные ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, — а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь, и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра.

Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы», — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И, может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспом-

нив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он. — Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы разворачивать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он. — У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое,

как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот, — обрадовался он, — хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича, — живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у Вас ЗИМ!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится, — с удовлетворением подумал я. — Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много, и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь, — и все в лежку лежат. Ну, принесут такую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то. — Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоячку, настоячку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он. — «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добрее, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же, — подтвердил я. — Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал, — обратился он ко мне, — когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал, — ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно, — заговорил опять городской книго-
чей. — Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили,
рябину?

— Что ее готовить? Обломал гроздь с дерева, прямо
с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу
палочку-выручалочку и нанизал гроздь на веревку. Вот и вся
работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов.
Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и
этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов,
отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и
он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не
было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя иро-
ния. Другое дело, если бы дети мои так же интересова-
лись всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовнос-
тью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допра-
шивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и
не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же,
выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на
всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно за-
ахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в га-
зетах очерки на морально-бытовые темы. — Это же диво див-
ное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и зааха-
ла еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она. — Разъе-
динять такую прелесть, такое творение природы! Как мож-
но! — Но гроздь рябины приняла. Приняла бережно, из рук в
руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой
книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранже-
вый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять
его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно
сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток, — вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом, завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростовский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сарай, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе. — Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: тончаем, тонеем, утончаемся? (Начались муки слова!) Нет! Утончаемся сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговаривали. Мы не перебиваем его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение, — сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов. — Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и ле-

сом Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою, — объяснила она. Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне всё это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик. — И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи!— говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасет и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей!

Только ведь осенью опять в школу надо...

Константин Воробьев

УХА БЕЗ СОЛИ

Мы приезжаем сюда, на это свое потайное место, каждый год седьмого августа, часам к пяти пополудни, в любую погоду. Табор мы разбиваем в подлеске возле окостеневших дубовых пней, метрах в двадцати от озера. В нем мы до сумерек удим рыбу, а потом варим уху — хоть из двух ершей. В полночь мы обмениваемся взаимными подарками — по большому листу сахарной ботвы и по одной брюкве, величиной в кулак. Ботву и брюкву мы съедаем сразу и молча, потом принимаемся за уху и выпивку, а в два часа ночи начинаем петь песни.

Так мы с конца войны отмечаем день своего рождения, и то место, где мы разводим огонь, не зарастает никакой травой, — глубоко, значит, прокалилась земля.

В этот последний наш выезд выдалась смирная серая погода с притушенным мглистым солнцем. Мы поймали девять окуней, но один оказался с кованым шведским крючком в верхней губе, — попадался уже раз, и его пришлось отпустить. Вечер подкрался рано и незаметно — тоже тихий, согласно-покорный какой-то, как ручной теленок. Над лесом за озером вставал большой тусклый месяц, и над землей реяла та засушливая жемчужная мгла исхода лета, что навевает человеку покойную цепенящую грусть. В этом настроении непостижимо споро ладится любая работа, — это оттого, видно, что рукам тогда не сообщается усилий, а уму — конечная цель дела. Я легко и почти бесшумно срубил засветло еще облюбованную сухую ольшину, почистил картошку, рыбу и лук, а напарник мой все тер и тер озерным песком казан под уху — старинный медный котел с каким-то таинственным клеймом: там был изображен волк верхом на человеке. Котел увесист и гулок, как колокол, и уха в нем не остывает часами. Он хорош своей уютной круглостью и каким-то прочным и давним благополучием. К

нему очень идет подовая коврига ржаного хлеба, — тогда любая зримая и предполагаемая беда кажется неугрозной и одолимой. Впрочем, все, что принадлежит моему другу, — его вот старенькая неказистая «Победа», самодельная брезентовая накидка для нее с круглыми окнами, ухватная ясеневая ручка топора, которым я срубил ольшину, лещиновая удочка, отполированная до бубличного глянца, — все это выглядит долговечным, ладным и сноровистым, обещающим верность крепкой и охотной службы жизни, и все это каким-то странным образом похоже на своего хозяина. Я знаю это давно и наверное, потому что все, принадлежащее лично мне, подвержено прихоти различных капризов, поломок и стопорений, потому что мои вещи тоже похожи на меня самого...

Из озера ко мне на берег друг понес котел как дароносицу — осторожно и торжественно, стараясь не расплескать воду.

— Принимай, брат летчик!

Это говорится раз навсегда выверенным тоном, четко, серьезно и сострадательно. Я никогда не был летчиком, но мне не приходилось обижаться: двадцать пять лет тому назад я на самом деле назвался ему летчиком-истребителем, сбитым под Вязьмой в бою с пятью «мессерами». Не с одним и не тремя, а с пятью, из которых двух я уничтожил будто бы с ходу. То был не к месту вздорный, даже там, в лагере военнопленных, не иссякший во мне запал мальчишеского тщеславного вранья и бахвальства, за которым дрожал и бился простодушный расчет на внимание и помощь сильного, несловоохотливого пленного солдата Дениса Невеорова. Потом, позже, выяснилось, что никакой я не истребитель, но с тех пор Денис Иванович называет меня летчиком — наедине, по ночам, в день нашего рождения. Я в свою очередь величаю его тогда «Диванович», вместо «Иванович»: в каком-то местечке на Брянщине он — уже будучи партизанским разведчиком — пробыл около двух часов в топчане, на котором в это время сидел немец, неурочно навестивший нашу связную «гестаповку».

Это — «Летчик» и «Диванович» да еще вот ботва и брюква — предел в наших поминаньях прошлого. Оно не то что свято или проклято, но просто непосильно теперь нам. И даже невероятно. Сколько там изжитых стыдных унижений! Может, поэтому наши взаимоотношения в такие ночи грешат какой-то старомодной церемонностью и взаимопочтительностью: мы лишний раз говорим друг другу «будь добр», «спасибо», «пожалуйста» и «благодарю», и движения наши

спокойны, и медлительны, и отвлеченны, и немного сентиментальны.

Я подвесил на рогатку котел и одной спичкой — это тоже входит в обряд нашего праздника — разжег под ним дрова. Денис Иванович сел напротив меня и с какой-то элегической расслабленностью произнес благодарную хвалу творцу, создавшему землю, небо, озеро и окуней.

— Хорошо, что человек не властен над этим, — сказал он и повел рукой по ночи. — Испортил бы, стремясь улучшить.

Он не сказал подходящего в этом случае «испаскудил» или «испоганил», — в такие ночи мы сознательно избегаем грубых слов, и я молчаливым кивком подтвердил свое согласие с ним и попросил, чтобы он был любезен и достал из машины соль.

— Чего? Со-оль? — с тихо нарастающей к миру враждебностью не сразу переспросил он.

— Совершенно верно. Соль. Для ухи, — подтвердил я, поняв его, и тогда Денис Иванович длинно и непуतेво выругался в стужу, в бурю и в свой склероз.

— Ты тоже, понимаешь, хорош: пришел с портфельчиком; уселся как какой-нибудь директор пивзавода и поехал. Не мог, понимаешь, поинтересоваться на месте! Гусь лапчатый!

Я посоветовал ему выражаться утонченней, но он сказал, чтобы я не придуривался и думал лучше, как добыть соль. Тогда я поинтересовался, постигает ли он теперь главную причину моральной неполноценности китайских хунвейбинов, но Денис Иванович сделал вид, что не понял меня и поднялся от костра. В призрачной белесой мгле, под знойный стрекот кузнечиков и сухой продирающий вскрик коростелей, зрела ночь. Котел вздрагивал и даже тихонько погудывал, и от него исходил полынно чистый дух лаврового листа.

— Ну что будем делать, а?

Голос Дениса Ивановича звучал нетерпением и досадой. У нас было два выхода — остаться без ухи или завести машину, выбраться на шоссе и там на пятнадцатом километре отсюда, в домике дорожного мастера, разжиться солью. На этом мы и порешили, и я поодиночке, рыльцами вниз, опустил в бурунную благодать котла окуней и сотворил в душе хвалу творцу же за все мне посланное в жизни.

Вот под это все он и вступил в белый круг нашего костра, неслышно вступил, неожиданно, и оттого, как мгно-

венно пересохло у меня горло и как пригнулся и шагнул прочь Денис Иванович, я понял, что нам с ним никогда не избыть страха погони и застигнутости! Нет, узнали мы этого шатуна позже, минут двадцать спустя, и не лично его мы испугались, а вообще человека в ночи. На нем были до окоженелости заношенные солдатские брюки и китель, большая, от ветхости оранжевая железнодорожная фуражка и растоптанные кирзовые сапоги. В руках, на манер ружья, он держал удочки, и за спиной у него, налезая узлом на затылок, громоздился парусиновый мешок от надувной лодки. Наверно, он порядком устал, потому что сразу же освободился от лямок мешка, а затем уже поздоровался с нами и спросил, клюет ли?

— Да мы вот с другом словили на ушишку, — сдержанно сказал Денис Иванович и упомянул соль и свой склероз. Откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы у незнакомца оказалась соль и чтобы он вообще задерживался тут, у костра, — тогда разорялась наша ночь, но соль-таки у него нашлась. Он сказал, что рыбак рыбака «должен выручать с пониманием», и каким-то спутанно-слепым и как бы бесцельным торканьем рук, будто их било непрерывным тиком, стал развязывать мешок.

С этого — бесцельного на первый взгляд метанья его рук — и началось мое узнавание ночного гостя.

Он по-прежнему — если это был он! — выглядел сухим и рослым, но время тронуло его голос, — он осел и притух, сгладило и увеличило лоб, изменило нос, — он у него разбрык и покраснел, подбило линькой глаза и высекло морщины по краям прежнего щелистого рта. Да, это был он, кого мы никак не должны были тут встретить, но мне хотелось, чтобы я ошибся и чтобы Денис Иванович как-нибудь подтвердил эту мою ошибку без моего намека.

Человек тем временем достал из недр своего мешка маленькую, на карман, холстинковую сумочку, туго наполненную и аккуратно завязанную шнурком от ботинка. В такую тару влезает примерно граненая стопка соли. Не больше. Между прочим, в войну не было пленного солдата, чтобы он, готовясь к побегу, не таил за гашником такую вот сумочку с щепоткой в ней «бузы», добытой бог знает как и где. Теперь трудно сказать, почему мы считали соль совершенно необходимым достоянием на воле, но это было так. Более того — сумочка с солью являлась как бы залогом благополучного побега. Лагерные полицейские хорошо знали, для чего пленный «шакалит» соль, и дважды в неделю под-

вергали нас подноготному обыску, и когда находили сумочку, завязанную обычно тесемкой от обмотки или шнурком от ботинка, то...

— Хватит? Или добавить?

Пришелец протягивал мне соль на ладони, минуя костер, но у меня прочно были заняты руки, — левой я придерживал рогатину, а правой зажимал ложку и помешивал ею в котле. Я помешивал, глядя на огонь, и ждал, как поступит Денис Иванович, — отвергнет он соль или примет, и как в этом случае быть с моей догадкой. В это время, как нарочно, выдалась длинная минута тишины, — даже кузнички примолкли, и только звонисто гудел котел, и у меня появилась боль напряжения в затылке — это ведь одно и то же: дает человек или просит, его нельзя заставлять ждать с протянутой рукой. Возможно, что я в конце концов подставил бы ложку под эту чужую руку, если б Денис Иванович чуть-чуть помешкал, но из нас двоих он первый не выдержал и принял соль. Тогда мы и обменялись с ним взглядами, и никакой разговор о госте — ни длинный, ни короткий — нам уже не был нужен. Тот копался в своем мешке — упрятывал на прежнее место сумочку, когда Денис Иванович проговорил каким-то клеклым голосом:

— А ведь мы тебя, пожалуй, знаем!

Гость поднял голову и, щурясь через костер, отчего казалось, что глаза у него смеются, оглядел нас вскользь и без интереса.

— Знаем ведь, летчик?

Это опять сказал Денис Иванович, обратясь ко мне, и тогда опознанный нами человек засмеялся на самом деле, коротко и квохчуще, будто охал.

— Где ты служил летом сорок второго года?

Мне, пожалуй, не следовало сбиваться на крик, но так уж вышло. Зато он тоже спросил нас прежним, тем, визгливо осатаневшим, голосом:

— А вы сами тогда где были? В вяземском лагере, выходит, отсиживались, да? Шкуры берегли, а потом мученья себе выдумывали, чтоб оправдаться?!

— Слышал? — пораженно сказал мне Денис Иванович. — Ты понимаешь, чьи слова он повторяет, свол... сволочь?

Он рассеянным взмахом кинул соль в костер и вдруг по-ребячьи обиженно всхлипнул и уткнулся лицом в колени. Это было некстати, ненужно, а главное, невероятно: Денис Неверов всегда казался мне человеком-кремнем, и, может, только за это — за его надежный, выносливый и какой-то се-

бенаумешный вид — ему больше других выпадало в лагере плетей и палок. В тот наш последний лагерный день — седьмого августа сорок второго года — ему спутанно-слепым и как бы безадресным взмахом арапника с мудреным свинцовым нахвостником полицаи рассек лицо. Я к тому времени уже ходил бок о бок с ним потому, что был летчиком, сбившим двух «мессеров», а таких он ценил. По этому праву я попытался тогда утешить его, но он засмеялся и сказал, что пехота — не авиация, она, мол, выдюжит, намекал на мою жидковатость: временами я не выдерживал и ревел. При нем. В тот день — седьмого августа — мы работали километрах в пяти от Вязьмы, где стояли немецкие зенитные батареи. В полдень над ними появился наш «ястребок» — невысоко, беззащитно и ненужно. Немцы сбили его быстро, и, когда он закувыркался вниз, Денис Иванович похоронно сказал мне:

— Вот. Еще один твой приятель...

— Ему, идиоту, надо было ложиться в пике или делать бочку! — сказал я. Он посмотрел тогда на меня с надеждой, и я поверил, что могу быть сильным.

Вечером мы бежали. А в полночь Денис Иванович разрешил мне на первый раз съесть лист сахарной ботвы и одну брюкву. Сам он съел две брюквы, потому что полагался на свою выносливость...

Теперь, спустя четверть века, он сидел у своего праздничного полевого стола и плакал. При мне. И при нем — бывшем полицае. Его, посланного нам сюда недоброй прихотью черта, отделял от меня метр земли, прокаленной нашими торжественными кострами, котел со странным клеймом, несколько ольховых чурок и ладный ухватный топор. Мне ничего не мешает признаться в своей тогдашней летучей мысли об аморальности для людей любого неотмщенного преступления, и он, бывший полицаи, каким-то сверхсознательным чувством догадался об этой моей мысли, потому что вскочил на колени и крикнул, косясь на топор отрешенно и помешанно:

— За вас с меня уже взяли! Слышите? И по закону не положено наказывать два раза за одно и то же, слышите?!

Он все тем же тиковым движением руки сшиб со своей головы фуражку, и на его гладком голом темени я увидел при бликах костра крупные бисеринки пота. Мне невольно подумалось: как здорово он полинял! Там, в Вязьме, он ходил в форме советского командира-танкиста, с выпиленной звездой в пряжке ремня. С левого плеча у него, как

аксельбант, свисал крупный ременный арапник с мудреным свинцовым нахвостником. Им он...

— Ты же убивал, а сам вот жив!.. — почему-то шепотом, горько и потерянно сказал Денис Иванович, а тот все стоял на коленях, и отсветы костра метались по его лицу, отчего казалось, что оно искажается диковатыми гримасами, и хотелось, чтобы он сел или встал и накрылся своей нелепой фуражкой.

— Сколько людей там... А ты вот жив! — опять проговорил Денис Иванович и зачем-то потрогал свои колени, бока и грудь, словно отыскивал самого себя. Было трудно молчать и ждать, пока гость оправлял на себе лямки мешка, насаживал на голову фуражку и поворачивался к нам спиной. За пределами желтого ока костра он не то споткнулся, не то остановился по воле и глухо, вполголоса, как сообщникам по ночной краже, сказал нам:

— Не один я убивал и не один живу. Небось за свои лагеря тоже мало кто ответил!

— Во, гад, куда метну-ул! — растерянно проговорил Денис Иванович и страдающе поглядел на меня. — То же культ был, отрёбник ты чертов! — крикнул он во тьму и поднялся на ноги. Было томительно-тихо. Потом нескоро в прибрежной осоке, на мелкоте, звучно и грузно плеснулась большая рыба, и лунная оранжевая тропа на озере заколыхалась и сморщилась. Мы некоторое время подождали чего-то, потом Денис Иванович пошел к машине, и я услышал, как там что-то сдвоенно стукнулось о землю и покатилося к озеру — брюкву выбросил. Тогда я остатками выкипевшей, обаландившейся ухи загасил костер. Мне ничего не хотелось — ни есть, ни пить, ни спать, ни бодрствовать.

— Сейчас, наверно, у нас на Урале мед качают, — не в связь с событиями этой нашей ночи сказал вдруг Денис Иванович.

Я промолчал.

— Говорю, мед у нас качают сейчас! — уже с явным раздражением проговорил он.

— Ну и пусть качают, — сказал я.

— Пусть, пусть! Давай лучше помоги сиденья в машине раздвинуть. Спать будем, нечего тут!..

Мы улеглись, стараясь не задевать друг друга, но телу сразу же стало неудобно, ломотно и беспокойно: сквозь марлевые окна накидки в машину проникали жалящие запылы комаров, и от них все время приходилось отмахиваться впустую, а потом уже на закате месяца, с проти-

воположного конца озера, с какого-то, видать, голого там пригорка, к нам трепетно пробился продолговатый и узенький косячок света приземленного пламени. В ночном костре, если смотреть на него издали, всегда чувствуется что-то тревожное и неприкаянное, и почему-то хочется тогда знать, кто его жжет, что на нем варит и о чем думает. Мне казалось, что Денис Иванович давно спит, но он спросил, есть ли у меня, черт возьми, закурить или нету, и полез из машины. Вернулся он часа через полтора, когда на востоке уже рдело небо и над озером всходили и текли на берег клочья парного тумана. Я сидел на подножке машины и курил.

— Расстрел дали, — издали сообщил мне.

Я ждал.

— Потом заменили четвертак. Шестнадцать отбыл... Это все-таки не шестнадцать месяцев, правда?

— Конечно, — сказал я.

— Не спит... Уставился в огонь, как сыч, и сидит.

— Ему есть о чем подумать, — сказал я.

— А мне не о чем, что ли? Я ее, Вязьму, двадцать шесть лет трижды на неделе во сне вижу!

— Давай поспим, — сказал я. — Мне она тоже снится.

— Снится, снится! Вот она, наша славянская душа! Не можем до конца сохранить ненависть к преступнику и насильнику над тобой, не можем!

— Не ворчи, философ вяземский! — сказал я.

— Философ, философ!.. Ну, спокойной ночи. Тебе там не поддувает в окно?

— Нет, — сказал я. — А тебе?

— Тоже нет, — сказал он.

Утром, уже при палящем солнце, мы настигли его на шестом или седьмом километре от озера. Он брел со своим мешком посередине дороги, и Денис Иванович не стал сигналить и объехал его с левой стороны по засеvu желтого люпина. На подъезде к шоссе мне запоздало подумалось, что хорошо было бы привезти люпиновый букет домой прямо с обросевшими на нем шмелями, и в ту же секунду Денис Иванович резко затормозил и остановился.

— Слушай, — просяще сказал он, — а ну его к черту, пускай садится, а? А то плетется, как мы тогда!..

Он глядел на меня сердито и ожидающе. Я закурил и промолчал. В зеркале мне виднелась недвижно повисшая сзади нас над дорогой густая оранжевая пыль...

ВИЛЛА БОРГЕЗЕ

Я ходил на виллу Боргезе очень часто, и мог бы ходить туда каждый день, хотя бы для того, чтобы посмотреть с поворота дороги на широкое мерцание Рима.

Это не пустые слова. Рим действительно мерцал вдали, как поблескивает под ударами солнечного луча пожелтевший мрамор. Осеннее предвечернее солнце зажигало в обширном прохладном воздухе вспышки бронзового огня на куполе святого Петра и на вершинах других старинных зданий.

Наступил уже октябрь, но не было слышно обычного у нас в России шороха палых листьев. Один звук господствовал в печальных и пустынных садах виллы Боргезе — высокий звон фонтана. Струя воды, зеленоватая, похожая на морскую, лилась в мраморную чашу. В эту чашу, очевидно по привычке, туристы бросали иногда, как в фонтан Треви, мелкие серебряные монеты. Монеты шевелились от ударов льющейся воды. Отчеканенные на монетах лица аллегорических богинь — олицетворения прекрасных стран: Франции, Италии, Греции — казались печальными оттого, что они были обречены всю ночь лежать на дне чаши, в холодной воде.

Я садился около фонтана на каменную скамью. Ни разу никто не подсел ко мне. Только ловкий мальчишка в клетчатых шортах время от времени стремительно пронесся на роликах мимо меня по асфальту и скрывался за виллой Боргезе.

Странно, но фонтан казался мне одиноким, и мне было даже жаль его, как покинутого старика. Его участь была однообразна: только литься и журчать ночь за ночью, пока не засинеет над Римом туманный рассвет. Мы знаем, как тяжелы бессонные ночи для стариков. Изредка неизвестная звезда помигает в далеком небе. Ее слабый луч за-

дрожит в чаше холодной воды из фонтана. И это будет единственная ночная встреча фонтана с живым существом.

В Риме ночи казались мне гораздо более тягучими, чем зимние ночи в Москве. По несколько раз за ночь просыпаешься от мерного колокольного боя, садишься на постели, прислушиваешься и никак не решаешься встать, одеться и выйти из гостиницы «Национале» в ночной Рим. Выйти и идти по пустым таинственным улицам без всякой цели, встречаясь только с карабинерами. Они всегда ходят ночью по двое, и слышно, как позванивают их сабли.

Идти по ночному Риму и выйти за Тибр, в Треставере, в сумрачные кварталы, туда, где ты месяцами не услышишь ни одного русского слова. От этого подымается тоска, и кажется, что ты попал в западню и безнадежно заблудился среди этих темных коричневых домов. Посидев у старого фонтана в парке виллы Боргезе и попрощавшись с ним, я поднимался по широкой парадной лестнице в галерею Боргезе, входил в первый зал и тотчас садился на скамейку — надо было приучить глаза к льющемуся с плафона розовому свету, пронизанному золотым сиянием. Как будто в этом огромном и высоком зале только что закатилось солнце. Этот свет исходил от покрывавшей весь потолок и стены росписи художников Джованни Маргети и Доменика Анчелиса.

Каждый, кто входил в зал, озарялся красноватым свечением их красок. Лица людей делались нежными и красивыми от этого света. Особенно лица молодых женщин и детей. И непроницаемое фарфоровое лицо молодой японки. Я ее встречал на вилле Боргезе уже несколько раз. Она ходила по залам галереи очень осторожно, и голова ее слегка склонялась, как цветок на стебле. Темными, непроглядными глазами она смотрела на скульптуры Берпини — удивительного мастера, под рукой которого камень становился податливым и теплым, как человеческое тело. Особенно это было заметно на скульптуре «Похищение Прозерпины»: на бедре у Прозерпины навеки остались вмятины от пальцев похитителя Плутона.

В одно из посещений виллы Боргезе я заметил, как молоденькая японка долго смотрела на Прозерпину, потом оглянулась и сжала тонкими и острыми пальцами свою руку, обнаженную почти до плеча. И на ее предплечье остались такие же вмятины, как на бедре у Прозерпины.

Я улыбнулся. Японка заметила мой взгляд и залилась смуглым румянцем. Ряд ровных и отточенных зубов блес-

нул из-за приоткрытых губ. Почти гневная, эта улыбка заставила меня отвести глаза и тотчас уйти в соседний зал.

Там лежала на софе изнеженная мраморная Паулина Бонапарт, изваянная Кановой. Каждая складка софы, каждая ее измятость были отделаны скульптором до полного совершенства. Из этой небрежной измятости подымался тонкий девичий стан Паулины, ее стройная спина и девственная грудь. Я заметил, что монахи, изредка забредавшие на виллу Боргезе, старались пройти мимо Паулины, не поднимая глаз. Но из соседнего зала они всегда оглядывались на нее и растерянно улыбались.

Долгое пребывание в залах музея Боргезе начинало утомлять. Задумчивые мадонны и сосредоточенные святые на картинах были облачены в чрезмерно тяжелые и пышные ткани. Они сидели на креслах, высеченных из камня, а низкие холмы за окнами поросли чахлой травой, пригодной только для выщипывания ягнятами.

В этой Иудее, в этих Вифлеемах и Назаретах явно не хватало воздуха, он, видимо, за многие столетия был нагрет до тяжкой густоты тем солнцем, что на картинах так медленно склонялось к закату. Невольно я переводил дыхание, и мне хотелось, чтобы на эту библейскую пересохшую страну хлынул, пенясь, стремительный ливень. Но этого не случалось, и каждый раз, когда я уходил с виллы Боргезе, над Римом простиралось все то же душное пове-
черье и обещало еще одну душную и бессонную ночь.

В гостиничном ресторане, темном и угрюмом, сосед мой — хорват из Загреба — предупреждал меня, виновато улыбаясь, что ночью опять будет «большой засух» для астматиков, так как дует сирокко.

Не только хорват и я страдали астмой: Почти каждую ночь молоденькая японка спускалась в пустой, с приглушенным светом холл гостиницы. В нем все же было светлее, чем в комнатах. Итальянцы скупно расходовали электричество.

Портье выносил из холла прямо на улицу, на воздух, маленькое кресло, ставил его на тротуар около стеклянных вращающихся дверей гостиницы, и японка просиживала в этом кресле очень долго, почти всю ночь, пока на улицах Рима еще господствовали тишина и прохлада.

Портье рассказал мне, что эта одинокая леди только

кажется юной, а на самом деле ей уже под сорок. Она пострадала во время взрыва атомной бомбы в Нагасаки, выжила, но с тех пор у нее появился шок — она боится оставаться одна, без людей. Поэтому днем она без конца ходит по Риму, а ночи проводит в холле или, если нет дождя, просиживает на тротуаре, в кресле, у входа в гостиницу. В холле за ее спиной всегда дежурит портье и сидят два-три служащих гостиницы — камерьере.

— Ей нужно,— добавил портье,— много воздуха, и кроме того, чтобы были слышны человеческие голоса. Тогда она спокойна. Мы к ней уже привыкли. Карабинеры тоже привыкли и ни о чем не спрашивают. Они только с ней здороваются и следят, чтобы никто к ней не приставал.

— Очень печальная женщина,— сказал я.— И очень красивая.

— Си!— согласился портье, полистал толстую книгу с записью постояльцев, вздохнул и сказал:— Она приехала из Сингапура.

— Кто она такая?

Портье снова заглянул в книгу.

— Записана у нас как журналистка. Каждый может записать себя человеком любой законной профессии.

Если часто встречаешь человека, то постепенно исчезают черты необыкновенности, какие ты в нем замечал сначала. Японка нарушила этот закон человеческого общежития. Чем дальше, тем больше она представлялась непонятной и загадочной, и эта загадка казалась такой же бездонной, как мрак океанских глубин.

По вечерам я несколько раз подходил к окну своей комнаты, высовывался и заглядывал вниз, на тротуар. Там в кресле виднелись ее матовые косы и носок маленькой туфли. Она не спала. Она тотчас чувствовала, что на нее смотрят, и начинала беспокоиться.

Эту молодую женщину, эту песчинку мирового океана, пронесло взрывной космической волной через весь земной шар сюда, в старый Рим, и опустило на порог гостиницы «Национале». И та же волна смывает ее при случае в один миг, как бы вы ни хотели продлить ее пребывание здесь, хотя бы на ничтожное мгновение. Этого не случится. Она исчезнет, такая же изящная, маленькая, как бы стремящаяся взлететь,— исчезнет в хаосе миллионных и перенаселенных столиц, таких, как этот Рим, как ее родной Токио. В этих тяжелых городах одиночество можно ощутить только глухой ночью, и то в самом мерзком его ка-

честве — в страхе, что за тобой крадется убийца и ты даже не знаешь, как в этой стране нужно позвать на помощь.

Сегодня поздним вечером я прошел мимо японки. Она взглянула на меня так растерянно, что этот взгляд меня встревожил. Мне стало ясно, что она пытается понять и никак не поймет, что это за чужой город с тысячелетней, непонятной и неинтересной для нее историей, зачем она здесь и что ей делать в этой равнодушной жизни. В той жизни, где каждый шофер знает, куда он ведет свою машину, а каждый цветок бугенвиллии, зацепившийся за выступ стены, знает, что он призван выполнять свое назначение и что он не один. Цветок бугенвиллии был все-таки более свой, чем она, на этих каменных улицах Рима, покрытых толстой ржавчиной, простой и нежный, как язычок пламени! Зачем он распустился здесь, у гостиницы?

У входа в холл решительно остановился человек с таким матовым лицом и злыми прищуренными глазами, будто он был срисован со всех кинорекламов обо всех кинозлодеях земного шара. Он протянул руки к японке, предлагая ей встать, но она не двинулась.

— Ты! — сказал он сквозь зубы. — Я сломаю тебе шейку одним щелчком.

Японка не понимала. Она улыбалась спокойно и чуть удивленно, как улыбалась перед розовым и золотым сиянием сказочных плафонов виллы Боргезе. Портье неторопливо поднял над своими книгами доброе и полное лицо в темных очках. Потом снял очки и спокойно вышел на тротуар, навстречу человеку с прищуренными глазами.

— Оставь ее! — сказал этому человеку портье, но сказал тихо. — Или я отправлю тебя в квестуру, а может быть, и много-много дальше.

Портье спокойно вынул из внутреннего грудного кармана пиджака остро отточенную велосипедную спицу — неуловимое и страшное оружие поздних городских ночей. К концу спицы была приделана маленькая деревянная рукоятка. Спица зловеще сверкнула в руке у портье, как тонкая и быстрая змея. Человек с прищуренными глазами отскочил на мостовую и быстро пошел прочь. Портье пошел вслед за ним, пытаясь его догнать.

— Но! — вдруг дико закричал человек с прищуренными глазами, прыгнул в сторону и бросился бежать. — Но!

— Пронто! Готово! — сказал портье, спрятал спицу в карман пиджака и вернулся в холл. Он тяжело вытер

пот со лба, и я подумал, что профессия портье вовсе не такая спокойная и безопасная, как мы думаем.

Японка ушла со своего места на тротуаре, села в открытой телефонной будке в холле и расплакалась. Она плакала, глядя прямо перед собой. Слезы у нее были крупные, как будто искусственные. Камерьер принес ей стакан минеральной воды.

Я ушел в свой неуютный номер, но долго не мог уснуть и несколько раз бессмысленно повторял про себя: «Какой странный и неприятный мир!» До тех пор у меня никогда не было такого неуютного ощущения от окружающего мира. «Какой странный и неприятный мир!» Нет, не странный, страшный — портье одним ударом мог вогнать велосипедную спицу в сердце этого человека. И был бы прав.

Среди ночи по крышам забарабанил дождь, и, хрипя и отплевываясь, запели водосточные трубы. Тяжесть, лежавшая в груди, исчезла, будто кто-то сразу разжал долго стиснутое в кулаке бессильное сердце. Тогда я понял, что, очевидно, перестал дуть сирокко, — от него, конечно, рождались все эти глухие волнения в крови и на все падал мрачный отблеск утомленных нервов.

Утром я опять пошел на виллу Боргезе. Лужи, налитые ночным дождем, были совершенно прозрачные. Над ними вился легкий пар. Японка сидела около статуи Дафнии и, увидев меня, улыбнулась всем лицом — полуоткрытым ртом, даже ресницами и серыми, как у европейки, ласковыми глазами. У входа на виллу продавались цветы. Я купил маленькую розу, цвета густейшей крови, подошел к японке и положил холодный и сырой цветок ей на колени.

Она засмеялась так громко и гортанно, будто по мраморным средневековым полам кто-то швырнул горсть хрустальных шариков и они закатываются за старинные диваны и кресла, посмеиваясь и подшучивая надо мной.

Японка встала, дотронулась до моей кисти выше запястья, поклонилась мне низко, по-японски, и ушла. И потом мне еще долго казалось, что от этого прикосновения остались слабые следы, как на скульптурах Бернини. Она ушла. Вслед за ней по залам рванулся жаркий ветер, и наступила тишина. Она уходила туда, где в медном воздухе дремал Рим.

Я смотрел на ее спину, похожую на деку драгоценной скрипки, на быстрое движение ее бедер под натянутым платьем, пока она наконец не оглянулась на меня и неж-

ное солнце далекой заокеанской страны просверкало в ее длинных глазах. «Нет,— подумал я,— мир не страшен, а только, может быть, странен, и я благодарен ему за тысячи мелочей, дающих ощущение неясности и счастья».

— Вот это и есть,— сказал старый чистильщик сапог своему соседу — мальчишке, оба они сидели при входе в виллу,— это и есть та самая девочка из-под атомной бомбы.

И оба ласково улыбнулись ей вслед, как бы желая охранить этой улыбкой ее дальнейшую жизнь.

Ялта, май 1966

Юрий Трифонов

ВЕРА И ЗОЙКА

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят, — аккуратная такая, чистенькая, в плаще «блонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много, — и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закон: чуть понервничает — всегда за эту половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: вымести сор, помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно. Но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги были очень нужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифра-то гадостная, одни четверки, — подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы, Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так проверяла, и ничего не случилось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали старухе замену, она отказывалась, требовала свое, и тут Вера

вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Раисе Васильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень drobный, пронзительный, и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не греши, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кинуть, все легче. Куда там! А Евдокия, старшая упаковщица, еще насмежалась: ничего, мол, на два пол-литра Сережка пострадает, и все дела. Такая ехидная, зараза: ее это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет...

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Синицына). — А то я с другим буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая...

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала. — Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «жаготовки ташкала». — А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась. Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подруги — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили, — а просто соседки, обе безмужние: у Веры вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Синицына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщицей в школе. В воскресенье она наверняка была свободна, а насчет субботы нужно было узнать, если нет — договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

«Бараками» жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять бараков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных бараков давно получили квартиры в новых домах, — а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто, в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу для ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, яичко туда кокнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорились. И верно, спросила. Вера сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра, — буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера. — А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчился, что не застал Веру дома, и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбегать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не нужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, травиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Сеницыной на квартиру, в восьмиэтажный дом напротив гастронома. Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад закончил ученье и сейчас без дела шатался во дворе в ожидании лагеря.

Сеницына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, но заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере понравилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском, — у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так расположен, а вот так, так... — Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно, — сказала Зойка, заулыбавшись льстиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок. — Он у нас смирный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший, — подтвердила Вера. — Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рано, может, и к обеду вернетесь.

— А вот... ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — И Вера захотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать, — сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрывать-ся, — слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощницы, но я тебя завтра жду. Ты понял, Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом. — Сын подошел к ней, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался. — И я надеюсь...

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь...

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданья! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улы-

баться мужчинам,— поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки: одну с едой, другую большую клетчатую, в которой были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волочатюк с одеялами, Мишка. Последней шла Сеницына, неся еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Сеницына сказала:

— А насчет цены я не знаю, право... В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нынешним не равняйте, Лида Александровна!— крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно,— сказала Зойка рассудительно.— Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка...

— А сын у вас черненький. В отца, наверно?— крикнула Вера.

— В отца,— сказала Сеницына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черненький-черненький!

Возле гастронома на стоянке взяли такси. Сеницына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень, народу повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика район заново, и сообщала:

— А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки... А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десять! Вон, вон, вон!— закричала она вдруг так азартно, что Сеницына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо.— Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем —

вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает...

Выехали на Ленинградский проспект, Вера продолжала болтать. Настроение у нее было прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданиях из-за одеяла, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести, а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне сносили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец,— сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня,— сказала Синицына.— И так их безжалостно жгут...

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? — с неожиданной злобой сказал шофер.— Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна им наша история! По крайности, жилье человеческое получают.

Синицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение,— сказала она.— Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта,— сказал шофер.— Народ рабочий, небалованный, мы и пешком походим.

— Конечно!— сказала Зойка.— Мы вон какой год пишем, чтоб наши бараки снесли...

— А чего? Мне наши бараки нравятся,— сказала Вера.— У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш?— Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой:

— Да ну, болтай...

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень

даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят. — И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой, не могу... Ой, верно, еще сто лет простоят!» Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой, не могу...» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом новостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечеряющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам, спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Васильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать, кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, радостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татарином, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Старая-старая, а четыре года гуляли и на

молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ой, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет...

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду не показывала и только ночью редела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом, — говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было, — и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала, — потом еще направо и остановились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На террасе были выбиты стекла, дверь заколочена доской. Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких сосен густо росли кусты бузины, мелкий ельник, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-хе-хе... — сам с собой разговаривал шофер. Он помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец, — верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавую и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу реши-

ли кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на терраске. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на терраске — окна были закрыты от комаров, да и прохладно стало, хотя прохлады и комары сочились сквозь разбитые стекла, — и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна — хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбивая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая, — сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок терраски, на желтый, из вощенной бумаги абажур и на его отражение в черном стекле... — А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый...

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас характер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молча, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок, — сказала Лидия Александровна и засмеялась. — И, наверно, мужчинам нравиться, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Она им, конечно, нравится, потому что она их на свои деньги кормит, — сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю? Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

— Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать...

— Конечно, завистная, потому что меня навещают, а к ней — раз в год по обещанию. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очень даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, немного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до получки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка. — А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыться в ней, выкладывая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покособившуюся на глянцевої бумаге фотографию.

— Прочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота. — Она еще раз икнула и прошептала: — Ой господи, спаси и помилуй...

Лидия Александровна взяла фотографию, прочитала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да, — сказала Лидия Александровна. — Ну что ж, очень хорошая надпись. Девушки, а что, если потушить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна, — сказала Вера, вставая, чтоб потушить свет. — Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На террас-

ку вместе с прохладой вливался чистый хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакана по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «х́ихом» да «х́ахом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой бы ни за что не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упросить. Одной-то жить, конечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успевает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей...

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко.

И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, неумытая, с лицом серым, отекившим, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватит вам прохлаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито. — Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут...

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати придут оба — муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разбирать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не приехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все кончили и теперь ждали приезда мужа; он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и вроде они брошены, как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти.

— Ну и спроси,— сказала Вера.— Спроси, спроси!
— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.
— А мне ни к чему.— Вера беспечно махнула рукой.— Таскаться...

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты, барыня дерьмовая, таскаться ей,— зашипела она.— Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси...

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка!— заговорил Мишка тихо, радостным голосом.— Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса!— Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку.— Отнесешь, где взял.

— Да ее ж выбросили...

— Значит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедем.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку нужно...— заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела,— сказала Вера.— Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедем!— крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала...— сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?

Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дожидайся... Полное воскресенье тут потеряли... А нету денег — не нанимай людей...»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — насчет посуды...

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на терраске, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить, — и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку найти, а они матерей очень слушаются, татары: он поперек матери ни за что не пойдет. Он и ночевать-то у Веры редко остается, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волновалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стирание всегда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно...» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет, Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до полочки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела, задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и, когда он кончился, очень скоро, Вера собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не на что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и никуда не хотелось ей торопиться.

Виктор Астафьев

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

Памяти великого русского певца
Александра Пирогова

И в городе падал лист. С тополей — зеленый, с лип — желтый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополиный лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой. И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

Непривычно распалясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче:

— Нога, говорю, не отросла еще?

За соседним столом обернулась медсестра, заполнявшая карточки, и подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и, если он, ранбольной, выпивший или просто так побуянить вздумал, она поднимает трубку телефона, наберет 02. Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя

сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Заметив, что инвалид сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть, она взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка на пять крючков и ее заняли врачи, а пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полкой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу. Он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, расстеленной меж столами.

Так он и пропрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и, лишившись противовеса, Сергей Митрофанович боялся — не шатнуло бы его на какой-нибудь стол и не повалил бы он там чернильницу и не облил бы чей белый халат или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Комиссия занималась своим делом. Он понял, что этим людям все здесь привычно и никто ему в спину не смотрел. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и пошел к столу. Врач все еще писал. Он оторвался на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не хотелось. Он терпеливо ждал. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых — инвалидов, вымирают инвалиды, а распорядки все те же. И сколько отнято дней и без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях...

Врач поставил точку, промокнул ученической голубой промокашкой написанное и поднял глаза:

— Что же вы стоите? — и тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины!..

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчет-

веро и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город взятую кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделать? Такой закон.

Сергей Митрофанович вымученно улыбнулся ему в ответ, как бы сочувствуя, вздохнул протяжно и пошел, радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянул папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе: «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так ведь и горы сносят...»

До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, стакан киселя и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых полосок.

За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, пила чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел. Однако девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены голубые, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак был кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

— Приятно вам кушать, девушка.

Она оторвалась от книжки, рассеянно посмотрела на него:

— Ах, да-да, спасибо! — и прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — И тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке. «Так, под книжку, ты и вола съешь!» — улыбнулся Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинако-

вых, светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подсадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило палый лист. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребяташки в еще не потрепанной форме шли с сумками из школы, распиная листья и гомоня.

Устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил билет и устроился на тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами: «МПС» — и стал ждать поезд.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — сразу не разберешь. В корзинах у кого с десятков грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали рябины, и у всех от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает, а потом сердце, или почки, или печень — уж бог его знает, что болит.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», — повторяла его жена. Вспомнив о жене, Сергей Митрофанович, как всегда помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман пиджака. Там, в целлофановом пакетике, персики с рыжими подпалинами. Жена его, Паня, любому подарку рада. А тут персики. Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет. — Из-за моря небось привезли?!» И спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Во главе с пожилым капитаном толпою ввалились стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Всем места не хватило, и Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, спортивную сумку со шнурком, сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца сумочка, только неукладистой и нарядными картинками обклеенная.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один — высокий, как из кедра тесанный, в шерстяном спортивном костюме. Второй — будто вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее — чуба ему доставало. Третий — небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской

куртке, за которую держалась кучерявенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей. Он с гитарой был и верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер опускавшемся. У свитера воротник — что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки. Одна из них, судя по масти сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «транзистором», должно быть за болтливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в юбке, в розовой тонкой кофточке, под которой острились титчонки, не отпускаясь от него и, как в забытии, по делу и без дела твердила: «Славик!.. Славик!..»

Среди этих парней, видать, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. У него еще был малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, глаза цепкие, смышленные, руки суетливые. Сергей Митрофанович сразу определил: этот парень бродяга или блатняжка, без каких ну ни одна компания российских людей обойтись почему-то не может.

Капитан как привел свою команду, так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтобы можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивали слезы. Ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, независимо, а временем и вызывающе.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни и девчата грянули:

Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митрофанович. — И без того песня — погань, а они ее...»

Не пел только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины довоенных лет, мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

С «кота» ребята и девчонки перешли на какую-то уж вовсе несуразную песню-дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки и парни заперебирали ногами, запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча...

Слов уже не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой изверченной, какой-то первобытной по бессмысленности песни. Они смеялись, дергались, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку и, когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не встревал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, хватил водки приبلудный парень в кепочке. Пить из горлышка умел только он один, а остальные больше дурачились, делали ужасные глаза, взбалтывая водку в поллитровке. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика покатались слезы, как только глотнул он водки. Славик разозлился и начал совать своей девушке бутылку:

— На! (Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.) На! — Славик слепо и настойчиво совал ей поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала девушка. — Я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. — Будет стакан! А ну! — подал он команду приبلудному.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея, выудил из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке.

Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее походил кто-то. Сергей Митрофанович глянул и засек глазами Володину деваху — она!

— Сыр съесть! — отдал распоряжение Еська-Евсей. — Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стаканá!.. —

подхватили парни дружно. Этим ребятам, видать, все равно, что петь или как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-усна-а! — завопил блатняжка, обсасывая сыр с пальца, и забывшись, добавил ядреное словцо.

— Ну, ты! — резко повернулся к нему Славик.

— Славик, Славик! — застучала кулаками в грудь Слави́ка девушка, и он отвернулся, заметив, что капитан хмуро поглядывает в их сторону.

— Хохма! Братва, хохма! — повизгивал приبلудный, будто и не слышал и не видел Слави́ка. — Этот сыр, ха-ха... — начал рассказывать он и наперед всех смеяться. — Банку такую же, ха-ха... Передачку в родилку принесли... Жинки, новорожденные которые, ха-ха... глядят — на крышке красotka баская — нама-азались-а-а!.. Крем, думали-и-и!..

Грохнули парни, взвизгнули девчонки, иные даже повалились на скамейки. На что уж Володина барышня стойко держалась, и та колыхнула ядрами груди́й, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под накипевшим подбородком. Сергей Митрофанович отвернулся — неловко ему как-то сделалось, не по себе.

— А ты-то, ты-то чё в родилке делал? — продираясь сквозь смех, спросил Еська-Евсей.

— Знамо чё, — потупился блатняжка и начал крутить кисточку шарфа. — Аборт!

Девчата разом примолкли, краской залились, а Славик вскочил со скамейки и двинулся к приبلудному. Но девушка уцепилась за полу его куртки:

— Славик! Ну, Славик! Он же шутит!..

Славик послушно оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил из стаканчика половину и откусил от шоко-

ладной конфеты, которую успела сунуть ему Еськина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни.

— Тебе же известно, я не переносу водку, — жеманилась она.

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское...

Он не убрал стаканчик, и деваха приняла его двумя музыкальными пальцами.

— Какой ты! Мне же плохо будет...

Володя никак не отозвался на эти слова. Барышня сердито вылила водку в крашеный рот. Девчонки захлопали в ладоши. Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не розовые твои дела... Она небось на коньяках и кофиях выросла, а ты с водкой...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик.

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать.

«Ах, ты, птичка-трясогузка!» Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, стянул кепку с головы и сунул ее на лавку.

Володя прижал струны гитары, Еська-Евсей, совсем оловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но не основательно как-то. Придет время, схватит Еську-Евсея на лету какая-нибудь баба-жох и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутства и гибели.

— Что ж, ребята, — заговорил Сергей Митрофанович и прокашлялся. — Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали лохмотья сыра. Он даже крикнул, якобы от удовольствия, чем привел блатняжку в восхищение.

— Во дает! Это боец! — воскликнул тот и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович, не глядя на приبلудного, и опять надел кепку.

Он не любил рассказывать о том, как и где оторвало ему

ногу, а потому обрадовался, когда объявили посадку, — разговор о ноге отпал сам собою.

Капитан поднялся с дальней скамьи, приказал новобранцам следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселяя будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор. — Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету...

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться бы. Они б его одним юмором до припадков довели...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солдата-а-а-а, жди солда-а-ата-а-а... —

уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь Володина барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая спортивным мешком на шнурке, и, чувствовал Сергей Митрофанович, если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске купил две бутылки заграничного вермута, другого никакого вина тут, кроме шампанского, не оказалось, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил газету пальцами и опять просматривал весь вагон и никого собою не беспокоил.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженные парни, чокаясь гранеными стаканами, унесенными из перронных автоматов с газировкой.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а, цалу-ете-есь! Ночь коротка! Не хватило-о.

И тут же запели щемяще-родное:

Ночь коротка,
Спят облака...

«Никакой вы службы еще не знаете, соколики! — усмехнулся Сергей Митрофанович. — Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы».

Старая фронтовая песня стронула с места его душу, и он поспешил к ребятам, чтобы окончательно не впасть в уныние и грусть.

— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился и прислушался, будто в лесу.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полка, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тута? — спросил он, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он погрумел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... — с пристуком поставил бутылку на столик Сергей Митрофанович.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняжки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, и шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил приبلудный паренек поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку: — Сейчас мы ее раскур-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да на кой штопор? Пережитки! — подмигнул ей блатняжка и, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, а затем просунул пальцем пробку в бутылку. — Вот и все! А ты, дура, боялась! — довольный собою, подмигнул он Еськиной сестре. Лип он к этой девчонке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же изловчился, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал. Однако значения ее словам не придал и, как бы ненароком, то на колено ее руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба к пассажирам...»

Сергея Митрофановича и парня в кепке оттеснили за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей

обхватил сеструху и подруг ее. Они плакали, смеялись, Еська тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика и повисла на нем и вроде бы отпускатся не собиралась. По ее и без того размытому лицу катились круглые, как у ребятенка, слезы, оставляя на кофточке серые полосы. Глаза у девчонки были излажены под японочку, и краску слезами разъедало.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и тряс девушку за плечо, желая привести в чувство. — Слово же давала! Не реветь буду...

— Ладно, не бу... лады-но-о-о...

— Во дают! — хохотнул блатняжка, чувствуя себя отторгнутым от компании. — Небось вплотную дружили... Мокнет теперь... засвербило...

Сергей Митрофанович не слушал его. Он смотрел на Володю с барышней, и жалко ему было Володю.

— Служи, Володя. Храни Родину... — приткнулась барышня крашеными губами к Володиной щеке и стояла, не зная, что дальше делать. Часто и нервно откидывала она белые, ухоженные волосы свои.

Бросив на вторую полку руки, Володя глядел в окно вагона и ничего не говорил, а лишь барабанил пальцами по полке.

— Ты пиши мне, Вова, если желание появится, — сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: — Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Всё! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо: — Всё, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова девчонка вдруг села на скамейку:

— Не пойду-у-у...

— Ты чё?! Ты чё?! — коршуном налетел на нее Славик. — Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняжка. — Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Доченька, доченька!.. Пойди, милая, пойди, попрощайся ладом... А то проревешь дорогие-то минутки, потом жалеть будешь...

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторялось одно и то же, одно и то же, — подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович. —

Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы — в казарму, душу — в рамки военного устава. Слабая душа так и останется заформованной, что кирпич, закамеенеет на всю жизнь...»

— Может, трахнем, пока нету стилинг? — предложил блатняжка, которого угнетало одиночество, и с готовностью потер руки.

— Выпьем, так все вместе.

Поезд тронулся. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сестра с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала на ходу. Володина барышня немножко прошлась рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою.

Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась, она спрыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать. Она спотыкалась, пытаясь поймать руку Славика.

— Упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Руки его вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смирные, совсем не те, что на вокзале. Все молчали. Даже блатняжка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым, жужжала электровозная дуга. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Переехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землею с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

Не выдержал Еська-Евсей:

— Славка! Слав!.. — и потянул товарища за штаны: — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли? На смерть, что ли, едете? На войчу? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и сдернул куртку с уха Славика. — Ну ты чё? Володь! Ребята! Человек же предлагает. Пожилой вон, без ноги...

«Парень ты, парень, — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с одного края стаканчик. — Пусть вам хороший старшина попадется.

— Пойдите! — остановил его очнувшийся Володя. — У нас ведь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы на вокзале пофасонили, — он усмехнулся совсем трезво. — Давайте, как люди.

Выпивали и разговаривали теперь, как люди. Пережитое расставание сделало ребят проще, доступней. Не чуждались они больше людей, и заносчивости в них не осталось.

— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова натянул на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Сергей Митрофанович дорожил теперь дружелюбием и расположением ребят, не хотел отчуждаться от них, стал рассказывать о том, как застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою.

Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский. Сектор обстрела выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были толсты, пилы всего две и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону грозили, матерились и наконец завопили:

— Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Да на войне часто приходится переступить через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого взрыва кургузой гаубицей, а командира

орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята.

— Скажи, как бывает! А мы думали... — начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали — я ногой амбразуру затыкал?

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя. — После ранения, я имею в виду.

— А как же? Конечно, нормально. Приехала за мной в госпиталь. Забрала. Все честь честью. — Сергей Митрофанович пристально посмотрел на Володю.

Ему и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале не слышал он о таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, таились? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие повествования о том, что такая-то стерва отказалась от такого-то мужа-калеки. Да не очень он вникал в бабьи рассказы. В книжках читал о том же, но бумага, как говорится, все стерпит.

— Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового может, сгульнуть, если невтерпеж, может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился Сергей Митрофанович к Славику, — да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую! — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — повернулся он к Володе. — Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался: они его считают совсем захмелелым и ждут, как он сейчас затянет «Ой, рябина-рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!...».

Посмотрев сбоку на парней, он едва заметно улыбнулся и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в

запасном полку, на морозе и ветру, где он был ротным запевалой:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

Снисходительность, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, он повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и не откидываясь, а со сложенными в коленях руками сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на нутряной какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милрой своей назовет?..

В голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без вышколенной лощености, угадывался весь его характер, вся душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, с души его струпьями сходила скверна и накипь житейских будней, потребность в братстве ощущал человек, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиновой деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел сам себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, всеми уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушая Сергея Митрофановича, изумлялись:

как это с таким голосом он затерялся в глуши? Бывали, и не раз, эти ребята в оперном театре своего города, слышали там перестарок женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Зарабатывать хлеб им следовало совсем в другом месте. Но в искусстве, как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то, вместо Сергея Митрофановича, тугой на ухо, пробойный человек. Он же все, что не трудом добыто, а богом дано, ценить не научен и к дару своему относится стыдливо, поет, когда сердце просит или когда людям край подходит, поет, не закабалия дара своего, но и не забавляясь им.

Никто так не разбрасывается своими талантами, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет...

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу.

Сергей Митрофанович, кончив петь, все так же сидел, вытянув деревяшку под столик, и руки, совсем не похожие на его голос, в заусенцах, проколах и царапинах, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо, и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а, — протянул Еська-Евсей и потрянул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить приبلудный, и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в колонии один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь», Сергей Митрофанович посмотрел в окно и хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы, я ведь подъезжаю, — и застенчиво улыбнулся: — С песнями да с разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться. — Он поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, схватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может раздавите? Я-то больше не хочу.

— Не надо, — придержал его руку Славик. — У нас есть. И деньги и вино. Лучше домой унесите, угостите жену.

— Дело ваше. Только я ведь...

— Нет-нет, спасибо, — поддержал Славика Володя. — Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим, — простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: —

В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Я какой человек? Я вот пяту жену додёрживаю — и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник. Даже возле колодца и в скверике росли пихты. К одной подсеченной пихте был привязан сонный губоватый конь.

Осторожно спустившись с подножки, Сергей Митрофанович утвердился на протоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник. Поезд словно бы того только и дожидался, почти незаметно для глаза двинулся. Сергей Митрофанович приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они тесно стояли за спиной проводника и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче за станцией, дробили на стрелке вагоны, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке и сделалось совсем тихо, Сергей Митрофанович повторил:

— Мирной вам службы! — и надел кепку.

В глазах ребят он таким и остался: на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка». Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником.

...Попутных не попало, и все хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади, пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расплзлись вширь, сцепились ветками. Прель и темень устоялась под ними.

Осенью сорок пятого по вырубкам лесок только-только еще поднимался, елани были всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. Раскаленными жестянками краснели на стогах листья, кинутые ветром.

Осень тогда ведренней нынешней была. Небо просторней

было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой. Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшись на койке с отшибленной памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил, заикаясь. Вел он себя так, что, не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяг, колючий, нахально цветущий, — не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду тоже не вспомнил. Все они, видать, в его нынешней памяти походили друг на дружку, потому как цвели желтенько.

— Кульбаба! Кульбаба! — заблажил он и ринулся на костылях в чащу, запутался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

— Кульбаба! Узнал? — подтвердила Паня и сняла с лица его паутину. Он еще не слышал паутины на лице.

Остановился возле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, а ягод нету?

— Птички, птички склевали.

— П-п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом. Врач долго, терпеливо объяснял, что требуется больному, чего ему можно пить, есть, какой ему нужен уход, и все время ровно бы оценивал Паню взглядом. Будто между прочим, врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да чего горевать? Дело молодое...» — «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки до поселка она все поняла: и слова врача, жестокое их значение тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Он уже показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с наглым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев:

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз,— послушно подтвердила она.— А это вот заячья ягодка — майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он напряженно сморщил лоб. На лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженная голова устала, и заторопила:

— Пойдем, пойдем!

В речке он напал на черемуху, хватал ее горстями.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Неведомо Пανε, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, но уже не настойчиво показал он ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость надо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, было тихое, ясное, неназойливо голубело. Предчувствие заморозков угадывалось в этой призрачной тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выпрашивал, суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его подтаяло, на верхней губе выступил немошный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернились, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступал к домам. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину сгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама?— повернулся Сергей к Пανε.

— Мама все гляденья, поди, проглядела. Давай я тебе помогу в гору. Давай, давай!..

Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать. — Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?! — и копной вальнулась на крыльцо. Затя она любила не меньше, а показывала, любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича? Друг на дружку глядеть? — прикрикнула Паня.

Старуха расцеловала Сережку увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... — И у нее заплесали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью заворчала Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, какой у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, насаженные сосны и лиственницы. Они уже давили пустынный чад — ивняк, бузину, малинник, осину и березник. Липы вперегонки с хвойняком тянулись ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лесишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. В озеринки и лужи падала прихваченная черемуха и рябина, капелью решетила воду. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время здесь снова начнется заготовка леса, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Паня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевинки на дрова.

Свернув с разъезжей дороги на тропу, Сергей Митрофанович пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захламили речку, а на стеклозаводе, что приток к Каравайке, столько дерьма пуска-

ют в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в речке бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых ужи плодятся — только им тут и способно.

Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней, тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но, когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал. Но сквозь его бесхитростные, детские думы просачивалась очень уж взрослая печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании была неподдельная искренность, детская доверчивость к его чистому, еще не захватанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович. — Ах ты, парнишечка! Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое с ним, накричит он на себя беду, и Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет ему помочь.

А тот все пел и пел. Про что хотелось, про то и пел, не скрытничая, не таясь от людей. Вот, мол, я, весь перед вами.

Осо... осо-о-о-ол-ле... —

донеслось до Сергея Митрофановича, и он восторженно обрадованно:

— Солнце, брат, солнце. Вон оно к закату катится, может, к вашей державе? Пой, брат, громче. Глядишь, одумаются люди, поймут, что солнце на всех одно...

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишку уже не докличешься и ничем ему не поможешь. Вырос мальчишка и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекущей памяти людей.

Радио на клубе заговорило что-то. А Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой, перед теми ре-

бятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорее всего получилось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не образумились.

Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил, — тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь!

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и беспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виновности. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего только не городил он! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел — чтоб они тоже голышом ходили! Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей да клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее детям дал ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая важного, но лукавого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его. Но память и совесть не выключишь.

«Корить и куражиться над молодняком — это проще простого. Они выкормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. А вот дорасти бы до того, чтобы дети уважали старших не только за хлеб... И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же внушаем и сами же притужальник устраиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, с мужиковатой походкой, с руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела громаббай. Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подружки, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались. Время сняло с них блеск шалого, горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. Без надсадности делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятешек кучу да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что есть в ней и в нем хорошего, они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.

Старуха копалась в огороде, вырезала редьку, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Постоянно роясь в огороде, мать тем самым доказывает, что хлеб она ест не даром.

— Да ты, никак, выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался он и впереди Пани вошел на кухню. — С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...

— Привет они тебе передавали. Все передавали, — сказал Сергей Митрофанович. — Это тебе, — сунул он пакетик с персиками Пани, — а это всем нам, — поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шероховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермяк солены уши! — с улыбкой отозвался Сергей Митрофанович. — Позови мать. Хотя постой, сам позову. — И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Митрофаны-ыч! Ты чего это? — быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. — Разбередили тебя опять? Разбередили... — И заторопилась: — Я вот чего скажу, послушай ты меня — не ходи ты

больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный воро-чаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?..

— Не в этом дело,— вздохнул Сергей Митрофанович и приоткрыв дверь, крикнул:— Мама!— и громче повторил:— Мама!

— Чё тебе? — недовольно откликнулась старуха и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам, а теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи-те? Четыре редьки, десяток морковин! — сказала Паня.— Садись, приглашают дак.

Старуха побренчала рукомойником, подсела бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой.

— Эко налепили на бутылку-то! Дорого небось?

— Не дороже денег,— возразила Паня, давая укорот матери и как бы поддерживая мужа в вольных расходах.

— Ску-у-усна-а! — сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и Сергей Митрофанович вспомнил, как новобранец в кепке обсасывал сыр с пальца.— Ты чё жмешша, Паранька? — рассердилась старуха.— И где-то куружовник есть, огурчики. У нас все есть! — гордо стукнула она кулаком в грудь и метнулась в подполье.

После второй рюмки она сказала:

— На меня не напасешша,— и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а сердце все подмывало, подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав лишнее со стола, под села к мужу Паня. — Спел бы хоть. Редко ты петь стал.

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их разглядела Паня боль. — Я ведь так вроде бы и не сказал тебе ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг.

— Что ты! Что ты! Бог с тобой!..

— Так вот и проживешь жизнь, а главное-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а!..

Он нашарил ее, притиснул к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она ласково провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шероховатые», — он едва удержался, чтобы не погладить ладонь жены. Паня уютно припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе — чтоб все счастливые были, да как же это устроишь?

Он вспоминал ее молодую, подавленную. В родном селе подпутал ее старшина катера, с часами на руке, лишил девичества. Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только в долгой разлуке рассосалось все, и обида оказалось такой махонькой и незначительной! Видно, в отдалении от жены и полюбил он ее, да все открыться не смел.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться? Или затаскали слово до того, что и произносить его срамно?»

— Старенькие мы с тобой становимся, — чувствуя под рукой заострившиеся позвонки ее спины, чуть слышно прошептал Сергей Митрофанович. — К закату клонимся.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие, — настаивал он и, отстранив жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких. — И сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребяташек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями. Когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала старуха в сенях. —

Все никак не наmilуются. Ораву бы детишков — некогда челомкаться-то сделалось бы!..

У Сергея Митрофановича дрогнули веки; сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой, — ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? — хотела сказать Паня. — Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот, отколупывать от сердца надо...» Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.

— Наплевай ты на нее! Пой лучше. Может, на душе полегчает.

Сергей Митрофанович посидел, зажав в горсть лицо, и тихо, ровно бы для себя, запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

Паня слушала, слушала и заткнула рот платком. Она сама не понимала, почему плачет, и любила в эти минуты своего Сергея так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть, она пошла бы и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, Паня причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали окопы, хлебом зарóстили, а ты все тама, все тама...»

Она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его горестному лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что и вечно он будет с нею.

— Захмелел я что-то, — тихо молвил Сергей Митрофанович. — Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас. Ну, давай про нас:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженных ребят, нарядную, зареванную девчонку, бегущую за

вагоном. Эта песня была и про них, еще не умеющих защищаться от разлуки и горя.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать жалостливо рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, а он, простофиля, не дал согласия.

— Дак и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить всякий может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих...

— Талан у каждого человека есть, да распоряжение на него не выдано.

— Мели.

— Чего мели? Чего мели? Талан — делать другим людям добро — все одно есть, да пользуются им не все. Ой, не все!

— У меня вот талан был — детей рожать...

— Этого у нас у всех излишек.

— Не скажи. Вон Панька-то...

— А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей? — взъелась Панина мать.

— Тиша, бабы, слушайте.

Но просудачили песню старухи. Подождали они еще, позевали, которые крестясь, а которые просто так, и разошлись по домам.

На поселок опускалась ночь. Из низины, от речки Каравайки, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Пятнать начало огороды, отаву на покосах, крыши домов. Стояли недвижные леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с игластыми звездами. Такие вызревшие, еще не остывшие от лета звезды бывают лишь осенью.

Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизбывно. Он всегда слышал ее в себе.

ТАМАНЬ

Это было лет двенадцать назад. В Тамань я приехал с единственной целью посмотреть этот «скверный городишко», где когда-то бывал Лермонтов, походить по тем местам, где ходил он, отыскать тот берег, к которому причалила лодка «с честными контрабандистами», где сидела «ундина» у скалы, где чуть не погиб Печорин, а может, и сам офицер Лермонтов, — потому что в конечном писательском счете многое берется в книги из той жизни, какой жил сам писатель, и, вполне вероятно, то, что произошло в Тамани, могло случиться с самим Лермонтовым.

Приехал я в Тамань поздно вечером на попутной машине путешествующего московского адвоката. Он подхватил меня в станице Старо-Титоровской, провез по однообразной пыльной дороге вдоль довольно жалких хлопковых плантаций и доставил на место. Было в тот час так темно, как бывает только на юге в сентябре, когда и небо, и земля, и строения — все поглощено мраком. Я не знал, куда мне идти, к кому обратиться за советом, и поэтому, без всякой задней мысли, спросил попутчика, где он будет ночевать.

— В машине! — неожиданно свирепо ответил адвокат. — К тому же я всегда сплю с заряженным ружьем!

Несмотря на то что мы с ним проехали вместе часа полтора и довольно мирно и любезно толковали о всякой всячине, он, как только я спросил его о ночлеге, сразу насторожился, видимо заподозрив меня в желании похитить его забитый пылью, расшатанный, тарахтящий «Москвич».

— Да вы что!

— Да, да, в машине буду спать, и не вздумайте подойти!

После этого я остался совершенно один в ночном мраке, только где-то далеко-далеко, на высоте, желтел маленький, как прокол, одинокий свет. Поначалу мне было обидно, но затем стало даже как-то и интересно. Начала сказываться

Тамань, с тем ее романтическим окрасом, который то ли всегда в ней был, то ли его создал Лермонтов. После этого и мрак, и бесприютность показались мне естественными, и я, на шаривая ногами дорогу, пошел неведомо куда. Постепенно глаза освоились, что-то смутно стало проступать, и я различил дом и высокий забор. И пошел вдоль забора, а когда миновал его, то увидел в стороне электрическую лампочку, подвешенную к крыше какого-то магазина. И направился туда.

Из тьмы навстречу мне выявилась фигура с ружьем.

— Добрый вечер! — еще издалика крикнул я как можно приветливее.

— Кого надо? — спросила фигура и остановилась в насто-
роженном ожидании.

— Тут есть у вас дом приезжих?

— Откуда приехал? — Фигура не двигалась. Мне показалось, она что-то делала с ружьем.

— Из Ленинграда! Из Ленинграда я!

— Из Ленинграда? — уже удивленно и даже уважительно спросила фигура. Помолчала и — недоверчиво: — Не врите?

— Ну что вы, у меня и паспорт есть!

— Да нет, я не к тому, чтобы проверять. — Фигура двинулась ко мне. — А уж очень удивительно, что вы из Ленинграда. Обычно к нам из такого далека не ездят. Самое большее из Краснодара нагрянут. — Теперь уже фигура вплотную подошла ко мне, прижала к боку одностволку. — А я ведь тоже когда-то жил в Ленинграде. А вот теперь тут сторожем. На Забалканском я жил. Знаете такое место?

— А как же! — восторженно ответил я.

— Чудесный проспект!

— Замечательный!

— А вы не там ли живете?

— К сожалению, нет... На Литейном.

— Господи, так я же знаю Литейный. Как же, знаю...

Чудесный проспект!

— Замечательный!

— А вы что же, по делам сюда?

Мы закурили, стали близкими.

— Нет, я в отпуску. Езжу по разным местам.

— Нашли куда ездить. В дыру, — осудительно сказал сторож. Но тут же не поверил: — А может, ревизор?

— Нет, нет, люблю путешествовать. Вот и сюда приехал.

— Ну, ваше дело, — видимо, поверив и от этого утратив ко мне интерес, сказал сторож.

— Тут Лермонтов когда-то бывал.

— Говорят, да вам-то зачем?

— Интересно.

Сторож вздохнул и отвернулся.

— Скажите, здесь дом приезжих есть?

— Есть, есть, вон она, наша гостиница. — Сторож ткнул папиросой в сторону, в тьму.

— Там кто-нибудь есть?

— Кому там быть... Идемте, провожу.

Он пошел впереди, я, чуть ли не натываясь на него, за ним. Два раза он зажигал спички, чтобы не набрести на какую-то — «черт бы ее побрал» — плиту, потом долго вставлял ключ в замок и наконец вошел в помещение.

Сыростью и затхлостью, как из плесневелого чулана, обдало меня. И мозглым холодом.

Сторож чиркал спички, что-то оглядывал. Нашел керосиновую лампу. Она осветила плиту, алюминиевый чайник и широкую деревянную скамейку. Вправо от плиты виднелась еще одна дверь. Сторож направился туда. Там лампа осветила четыре узкие походные постели, покрытые серыми суконными одеялами, с плоскими, как доски, подушками, грубо сколоченный стол и земляной пол. И здесь пахло затхлостью и воздух был мозглового холода.

— Вот вам и гостиница, — сказал сторож.

— А вы что же здесь, за хозяина?

— Кой черт хозяин, так, из жалости к Любке, чтоб по ночам не дергали ее всякие приезжие, — ответил сторож и пошел.

Я разобрал свои вещи, достал полотенце, зубную щетку, но помыться с дороги не удалось — воды в рукомойнике не было. Посидел немного в тоскливой тишине, глядя в черный квадрат насупленного окна, и лег спать. И простыни, и наволочка были влажные, и я долго не мог уснуть, думал с удивлением о том, что нахожусь на той самой земле, где уже беспрерывно более двух тысяч лет живут люди, что когда-то здесь был большой город с удивительным названием — Тмутаракань, и отовсюду к нему шли на парусах торговые корабли, и военные шли, и на улицах, перемежаясь временами, то слышались смех, веселые голоса, то раздавались звон оружия, треск огня. И жизнь была, и гибель, и любовь, и страдания, и кто-то плакал вот в такой безутешной ночи, и кто-то торжествовал победу. И были здесь греки, и турки, и татаро-монголы, и за каким-то лешим генуэзцы, и наконец русские казаки поселились. И с тех пор

это уже часть России. И город исчезал, и снова восставал из пепла, и снова погибал, и так до тех пор, пока не стал «самым скверным городишком», но позднее и городишком не стал, выродился в обыкновенную станицу. Но в обыкновенной станице продолжалась все та же трагическая история страдавшей земли, и новые войны не миновали ее и полили обильно человеческой кровью и уснастили металлом и костями.

Спал я тревожно и проснулся рано. Черный квадрат окна стал серым. Бывшего ленинградца у склада не было, — отдежурил свое и ушел. Я взял полотенце, мыло и отправился к проливу.

Сразу же по выходе из дома приезжих перегораживала путь громадная чугунная плита, неведомо зачем притащенная сюда и забытая. Ни ворот, ни калитки не было — дом без помех выходил на площадь. И на ней, в другом ее далеком конце, стояла высоко, светясь чистотой и строгостью, красивая церковь, построенная, наверно, еще казаками, переселенными Екатериной Великой. Над луковичным куполом кружили черные птицы, с криком они улетали в степь.

Ночью я дороги не видел, теперь же она пролегла вдоль базара — это был его высокий забор — к тому месту, где вчера остановился «Москвич». Его уже не было. На маленькой площади, неподалеку от закрытой чайной, в отрешенном одиночестве стоял на скале сделанный из бронзы казак. Одной рукой он держал знамя, другой опирался на эфес сабли. Вид его был воинственный и независимый. Он глядел вдаль, туда, где пролив сливается с морем. Глядел, чуть откинув голову, в любую минуту готовый к войне. Он был усат, но странно: один ус у него был темный, другой на конце рыжий. Позднее я узнал причину такого несоответствия. В последнюю войну во время артобстрела осколком казаку срезало кончик уса. После войны таманские ребята из МТС поправили такое нарушение — приварили недостающий кусочек железом — потому и порыжел завиток. На постаменте памятника были выбиты нетленные слова таманца Головатого, в которых благодарилась «матка Катерина» за то, что дала казакам эту землю пожизненно.

От памятника до пролива близко — дорога сама вела к нему, мимо книжного магазина, нескольких мазанок, все ниже, ниже к воде. Чтобы не забыть примет, где приставали контрабандисты, я выписал из лермонтовского рассказа те места, которые мне смогли бы помочь. Так, он писал о «небольшой хате на самом берегу моря».

Море лежало передо мной громадное, такое же, как и в его времена. К этому часу солнце уже поднялось, ударило наискось по воде, словно вбило красный громадный гвоздь, и сразу стало теплее. От берега отходила в пролив узкая дамба. Присев на корточки, ребята с нее ловили бычков. «Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой» — так сказано Лермонтовым, и лучше не скажешь. Они шлепали в бетон дамбы и скатывались в море. Я прошел в конец дамбы и оглянулся на берег. Мне отсюда было его хорошо видно. Большей частью берег был обрывист настолько, что нечего было и думать, что кто-нибудь мог бы спуститься по нему к воде. Если взять левее дамбы, то берег становился совершенно пологим. У Лермонтова же: «Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне...» Так что и эта часть берега не годилась. Оставалось только место перехода от обрыва к пологому. Оно было небольшое и единственное и вполне подходило по описанию. К тому же на вершине берега стояла мазанка. Вряд ли та, в которой остановился Печорин (а ведь весь рассказ «Тамань» — дело случая. Не остановись там Печорин, в этой «небольшой хате на самом берегу моря», и не было бы удивительного рассказа!). Да, конечно, не та хатенка, та давно уже развалилась, и на ее месте стояла другая... Только к этому перешейку и могла пристать лодка «честных контрабандистов», и отсюда уже: «взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу...» Да, именно с этого места они могли пойти вдоль пологого берега по направлению к Темрюку. Не в Темрюк, а только в направлении его. Более сходного места и по описанию и по пригодности не было. И я с удовлетворенным чувством, будто сам породил это место, закурил и, не отрываясь, стал глядеть на него. И, пожалуй, впервые в жизни, почувствовал неясную, трудно выразимую словами, но совершенно внутренне отчетливую временную связь между давно ушедшими из жизни, но жившими ярко, полно, не урезывая себя в стремлениях, — и собою, как бы старшим над ними в силу ушедших множества лет, но вряд ли богаче по силе чувств.

Я стоял долго, зная, что никогда уже больше мне здесь не бывать. Потом прошел к берегу, к тому самому месту, где спускался слепой, — тропы там не было, но я все же поднялся по крутизне и уже с вершины окинул взглядом весь Таманский пролив, взблескивающий под солнцем и ветром, но, сколько ни вглядывался, не увидал «дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом». Не увидал, верно, из-за той дымки, которая бывает и

в ясную погоду. Захотел было зайти в мазанку, но на ее дверях висел увесистый замок.

Чайная была уже открыта. За стойкой работала высокогрудая казачка с наколкой на черных с блеском волосах. Она наливала в кружку вспененное пиво одноному казаку. Я сел за столик и от нечего делать стал разглядывать на стенах картины. Их было две. На одной был изображен Тарас Бульба в тот самый скверный час, когда у него вылетела люлька и он вздыбил своего Черта, и за плечами его уже видны наседающие ляхи. Картина была написана самодеятельным художником. Может, с высокой профессиональной точки зрения в ней не все было ладно, но, на мой взгляд, он вполне справился, — уж очень много было в картине уверенности, и даже копыто Черта, величиною с блюдо, вырывающееся из рамы, не вызывало сомнения. Только такое копыто и могло быть у Черта, легко принимавшего на себя двенадцатипудовую тушу Тараса. На другой картине был изображен Гоголь, сидящий в санях, уносимых тройкой... И опять вспоминается мне то, о чем думалось ночью. Тмутаракань, греки, турки, татары, монголы, русские. Любовь и жестокость, первый крик младенца и предсмертный хрип старика. Первый поцелуй и сладострастное насилие, и домашний очаг, и казачий костер, и бомбежки, и артобстрелы, и «Железный поток», и женщины-летчицы, — и все это на маленьком клочке. И все та же вода, и тот же берег, и та же земля, время от времени засоряемая людьми...

— Есть гуляш с вермишелью.

— Хорошо. И чай.

В доме приезжих я застал хозяйку, молодую, крупную женщину, в темной юбке, босую, повязанную платком. Возле нее на полу играл с никелированными замками моего чемодана мальчонка лет двух.

— Здравствуйте, Люба! — сказал я.

— Здравствуйти... Откуда ж вы мэнэ знаете? — Она глядела на меня большими изумленными глазами, поджатыми крутыми монгольскими скулами.

— От сторожа.

— От болтун, старый человек, а який болтун, — всплеснула крупными руками Люба.

— Да ничего он не болтал, просто назвал ваше имя, и все. А это чей же, ваш? — кивнул я на малыша.

Вместо ответа Люба подхватила его с полу и прижала к груди. Малыш сразу же стал брыкаться, — его тянули до конца не изученные застёжки моего чемодана.

— О, яка дитына! — прижимая еще крепче сына к груди, засмеялась Люба. — Казак!

— В отца, наверно, — желая польстить матери, сказал я.

— Ни! — сразу переменилась Люба. — Он не буде як батька, не буде, мий хлопчик. Да, Коля?

— Ни! — звонко крикнул малыш и, уже видимо, забыв про чемодан, стал крутить пуговицу на кофте матери.

— Почему же так?

— А шоб вин подох! — гневно сверкнула глазами Люба. — Та посуди сам, вин хотив, щоб сыночку, хлопчик мий, помер. Прибегла с колхозу, а сыночку черней земли. Шо воно таке, спрашиваю. «О це упал з лавки», — отвечае. Я ласкать сыночку. И грудку дам. Не бере грудку. Плачу я, а вин не бере... В больнице с сыночком лежала. Все добре. Пришла до дому. Сыночку веселый, сыночку смеется. Як солнышко. А муж, шоб вин подох, и не рад. «Чего ты, говорю, подывись, який сыночку!» Ни, не радуется. Так улыбнулся, як варенец. Ладно. Неделя прошла. Прибегла з работы, тихо-тихосенько дверь подтягнула. Думаю, что воны без меня делают... Дывлюсь, сыночку мий на полу, а вин, муж подлый, над ним стоит. А сыночку опять черный, як земля! Ох, як взревела я. Кинулась до хлопчика моего, очи его закрыты, тилько грудка чуть как дрожит...

— Да за что же он так? — не желая верить этому чудовищному, не вытерпел я.

— А шоб уйти от мэнэ, алиментов не платить.

— Да не может быть!

— А так!

— Где же он?

— А бис его знае. Сбежал.

— Ищите его?

— Ни! Нам и так добре. Да сыночку?

— Да!

— Убьем тату?

— Убьем тату! — жизнерадостно воскликнул сыночку. Ему уже снова надоело сидеть на руках матери. Он стал сползать на пол, задирая со спины на голову рубашонку. Он лез к моему чемодану, к его блестящим замкам.

Тут, кстати, я вспомнил, что в чемодане есть конфеты. Достал их, дал ему в горсти.

— Что надо сказать? — присела на корточки Люба.

Сынку молчал, озабоченно сопел, развертывая бумажку, добираясь до самой сути.

— Спасибо надо сказать,— поучала Люба.— А то дядя больше не даст.

Я пошарил еще в чемодане и отдал остатки.

— Ой, та куда там, и так гарно! — воскликнула Люба, и на глазах у нее сверкнули слезы.— Спасибо, дядьку...

— Есть о чем говорить,— ответил я, растроганный ее слезами, и в какой-то сложной связи, глядя на эту женщину и ее сына, вспомнил брошенного слепого, его безутешные слезы, и понимая, что круг замкнут и что больше мне уже делать здесь нечего, рассчитался за ночлег, взял чемодан и пошел к автобусной остановке. И думал уже не о Тамани, а об этих двоих, непонятно за что обиженных! И еще думал о том, насколько же живучи злые, черствые, жестокие...

Подождал автобус, и я поехал в Темрюк... Это ведь на темрюкской княжне женился Иван Грозный.

ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА

Василиса просыпается рано. Летом ее будят петухи, зимой она петухам не доверяет: из-за холода они могут проспать, а ей просыпаться нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то — она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на крашенный пол ноги — кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Василиса одевается и смотрит на стену напротив, она думает, что, слава богу, наконец-то вывела всех тараканов, ни одного не видать.

Это полусонное-полубодრствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его, для нее это всего один шаг от сна к работе, один-единственный шаг. Одевшись, Василиса срыгается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугушки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам — она делает тысячу дел и ставит самовар.

Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары: первый самовар, второй, третий... На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия.

Она еще бегаёт, возится с чугушками, а сама все время посматривает на самовар: вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает, вздохи у нее имеют множество оттенков — от радости и удивления до боли и страданий.

Василий поднимается не рано: рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено: Василий не любит лунный свет, ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку, по другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи и рыболовные снасти, поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно: как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча — не пыхтит, не кряхтит, не стонет.

Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола. Он придвигает стакан к себе и отпивает первый обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом.

Василиса пьет чай вприкуску с сахаром-рафинадом. Василий пьет без сахара, он его не любит. Он считает, что все надо потреблять в чистом, первозданном виде: водку — так без примесей, чай — так неподслащенный. Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола. Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину.

Они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла — так всегда, и зимой и летом.

Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Василиса не оборачивается, когда он уходит.

— Эй, отик,— говорит она Петру,— вставай, а то пролежни будут.

Петр с неудовольствием открывает глаза и прячет колени под одеяло.

— Вставай, отик,— беззлобно повторяет Василиса.— Не на Лену выехал. Пей чай да отправляйся.

Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей на работу не идти, она ждет маленького.

— Ты лежи,— говорит ей Василиса.— Тебе торопиться некуда. Отика поднимать надо.

Для нее все лентяи делятся на три категории: просто лентяй — или лентяй начинающий, лодырь — лентяй с опытом и со стажем, и отик — неисправимый лентяй. «Отика»,

конечно, Петр не заслужил, и Василиса знает, что она несправедлива к нему, но поворчать ей надо.

— Отик — он и есть отик, — бормочет она.

Она уже снова на кухне, что-то доваривает, дожаривает. День еще только начался. Василиса вздыхает — весь день еще впереди.

* * *

Вот уже почти тридцать лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький и чистый, без сусеков, с ладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно — еще когда Василий жил в избе.

На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. Пять лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда над дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался, он любил наблюдать за нами, но потом привык и без них.

Только раз в день, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом, и Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат — ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга, и только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат, и это не натянутое молчание, это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов, когда слов никто не ждет и они не нужны.

Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кое-какая посуденка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, его стряпня бесхитростна — все больше каша да макароны вперемешку с консервами, но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр — то и дело он бегаёт в избу за сковородой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом — значит, с удачи взяли бутылку.

— Если ты там загулеванишь, домой не приходи! — кричит ему вслед Василиса. — Вот отик!

«Отик» она произносит нараспев, с удовольствием.

У амбара выются ребяташки: тут и Петрин Васька, названный в честь деда, и все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия и Василисы, живет в этом же доме, но в другой половине — дом разделен на две половины, и меньшая

досталась Насте. Через три дома живет и старшая дочь Анна, она замужем за учителем.

Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного, ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте — ей приходится хуже других: трое ребятишек на шее, мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной — с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с прожаренными до корки боками больших кусков. Дверь закрывают, бутылку открывают.

Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега, затем сразу наступает пора промысла — Василий промысляет белку и соболя дважды, до Нового года и после Нового; весной опять орехи: после снега шишка-паданка валяется под ногами, в мае можно брать черемшу, в июне грех не половить таежных красно-черных хариусов, в июле поспевает ягода — и так каждый год.

К нему приходят мужики, допытываются:

— Как считаешь, Василий, будет нонче орех или нет?

— Если кедровка не съест, то будет, — хитро отвечает он.

— Оно понятно, — мнетя мужик.

— Через неделю пойду на разведку, погляжу, — не вытерпев, говорит Василий. — Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам видишь, в амбаре сижу, отсюда не видать.

Он нигде не работает, тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех, ореха в урожайные годы набивает по пять, по восемь кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы и из области, чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям: ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольной и хитрой улыбки, говорит «айнам», и литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в леса пала, а геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напакостить, повалить из-за

десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.

Уходя в тайгу, Василий запирает амбар на замок, и Василиса, наблюдая за ним из окна, ворчит:

— Как же, обворуют, сундуки там у него добром набиты. Хошь бы штаны с больших денег купил. Ходит с голой задницей, людей смешит. Ни стыда ни совести.

...Они сидят друг против друга — Василий на кровати, Петр на низкой детской табуретке, сколоченной для него же лет двадцать пять назад, и Василий, еще не захмелев, жалуется на поясницу:

— Болеть, холера, стала. Согнешься, а разгибаться нету ее.

— Пора бы ей болеть, — хмыкает Петр. — Ты бы еще хотел, чтобы в шестьдесят пять лет молодым бегать. И так здоровье — дай бог каждому.

— Один нонче побаиваюсь бельчить, надо товарища искать. — Василий говорит это почти с гордостью: вот, мол, только когда понадобился товарищ.

Петр сосредоточенно тычет вилкой в сковороду.

— Может, ты со мной пойдешь? — спрашивает Василий, зная, что никуда тот не пойдет.

Петр вскидывает вверх свое курносое небритое лицо:

— Так я бы пошел — да кто отпустит? Колхоз не отпустит.

— Колхоз не отпустит, — соглашается Василий.

— Но.

Вопрос решен, и Василий снова наливает в стаканы.

...К Василисе пришла подружка, семидесятилетняя бабка Авдотья.

— Иду, дай, думаю, зайду на Василису погляжу! — кричит она на всю избу.

Василиса снимает фартук — она что-то стирала и не достирала — подходит к Авдотье и протягивает ей руку.

— Давай поручкуемся, старуха Авдотья.

У бабки Авдотьи рука слабая, как тряпка.

— Иду, дай, думаю, зайду на Василису погляжу! — снова кричит она. — А тебе и присясть некогда.

— А как присядешь? — с готовностью откликается Василиса. — Весь день на ногах, то одно, то другое...

— Ее и за тыщу лет не переработать! — кричит бабка Авдотья. — Попомни, Василиса, она все равно после нас останется. Хошь конем вози, а останется.

— Останется, останется,— кивает Василиса.— Ее из одного дня в другой перетащишь, а уж надо дальше тащить. Так и кочуешь, как цыган с торбой.

— И никуда не денешься!

— А куда денешься?

— Нет, нет.

Они долго и согласно кивают друг другу головами. Потом бабка Авдотья спрашивает:

— У тебя Петра-то где — на работе?

— Как же, жди — на работе! — хмыкает Василиса.— Евон, в амбаре заперлись, поливают, поди, на чем свет стоит.

— Во-во-во! — обрадованно кричит Авдотья.— У меня с зятем такая же история. Один зять трезвенный, а другой просыхать не хочет.

Василиса понимающе кивает.

— Ты-то туда не заходишь? — Бабка Авдотья головой показывает в сторону амбара.

— Ты, старуха, ума, ли чо ли, решилась,— обижается Василиса.— Да я с ним в уборной рядом не сяду. Ты сморишь — хоть стой, хоть падай.

— Хех-хе-хе,— смеется бабка Авдотья.— Интерес меня взял, я и спросила. Думаю, может, на старости лет сошлись, а я знать не знаю.

— Не болтай, старуха Авдотья.

...Василий взбалтывает остатки водки и разливает. Петру неудобно сидеть на детской табуретке, и он пересаживается на кровать.

— Обидно мне, Петька, что ты тайгу не уважаешь,— говорит Василий.— У нас вся родова была таежники, а я умру, и ружье продавать надо.

— Я ее уважаю,— слабо возражает Петр,— да кто из колхоза отпустит.

— Оно конечно.

— Никто не отпустит. Если бы я был не тракторист, тогда другой разговор. А так — это головой о стенку биться.

— Ружье не продавай,— вдруг строго говорит Василий.

— Вот еще — зачем мне его продавать?

— Не продавай. Мне жить немного осталось, пускай память обо мне будет. Глядишь, и зверя где встретишь. Ружье доброе.

— Хватит тебе. Сказал, не продам, значит, не продам.

Они умолкают. Последняя водка в стаканах еще не вы-

пита, она мелко дрожит, и сверху при электрическом свете кажется, что она подернулась тонкой пленкой.

— Петька,— говорит Василий,— давай споем.

— Давай.

— Какую петть будем?

— Мне все равно, начинай.

Василий долго не начинает. Он берет стакан и держит его в руках. Потом, склонившись над самым столом, решается.

Расцветали яблони и груши...

Он поворачивается к Петру, и тот подхватывает. Больше они не смотрят друг на друга.

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Василиса поднимает голову и прислушивается. Бабка Авдотья ушла. Василиса вздыхает, но и самой ей непонятно, что было в этом вздохе.

* * *

Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил: через день да каждый день приходил домой пьяный, а как-то раз попытался избить Василису. Он загнал ее на русскую печку, где деваться ей было уже некуда, и полез вслед за ней. В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват, она схватила его, наставила рогами в приподнявшуюся шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, прыгнула и успела прижать его шею к полу. Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке перед тем, как ему отрубят голову, хрипел, матерясь, но вырваться из-под ухвата не смог. Василиса выпустила его только тогда, когда он пообещал не трогать ее.

Напившись, Василий, вспоминая этот случай, свирепел от сознания своего позора и набрасывался на Василису с кулаками. Она усмиряла его: с пьяным, с ним справиться было нетрудно. Но как-то раз — Василиса в то время опять была беременной — он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись домой, она растолкала Василия и показала ему на порог:

— Выметайся!

Василий спросонья ничего не понимал. Она повторила еще решительнее:

— Выметайся, тебе говорят!

Василиса сама вынесла одежонку Василия на крыльцо, и он по деревянному тротуарчику, насланному им незадолго перед этим, перетащил ее в амбар. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери:

— Не пущу!

Они прожили вместе двадцать лет, и у них было семеро детей. Два старших парня уже работали, младшему Петьке, пошел пятый год. Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу. Василисина семья как раз сидела за столом. Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно и весело закричал:

— Э-э-эй! Война началась! Война!

Сразу же пришел Василий, и Василиса не стала его выгонять, не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал — видно, одному в амбаре молчать было не вмоготу.

Через три дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали, Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали.

— Василиса,— хрипло сказал Василий,— не суди меня боле,— убьют, поди. Ты тут ребят... того...

Василиса первая подала ему руку, Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы.

Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну двоих старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню, как поют пьяные мужики, как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню, она стояла у ворот, а потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы.

Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся,

но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех.

Была уже осень, в деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя:

— Мама, отец приехал! Идет.

Василиса выпрямилась.

— Живой, выходит, остался, — рассуждая сама с собой, неторопливо сказала она. — А вот Сашку убили.

Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала, ни к чему. Когда на крыльце слышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит.

— Это я, Василиса, — сказал Василий от порога, и она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдерживало, и она, подчиняясь этой готовности, произнесла:

— Сашку убили.

Василий кивнул.

Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята, и ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны, а Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку.

Мужики пели незнакомыми, приобретенными где-то там, на войне, голосами, приобретенными и в криках «ура», и в криках о помощи, — Василисе казалось, что они собрались только для того, чтобы до конца пропеть и прокричать в себе чужие голоса, вслед за которыми должны начаться их собственные.

Песни были пьяными, но сдержанными, без залихватской удали, и мужики, выводя их нестройными голосами, казалось, все время оглядывались, не случилось ли что-нибудь позади них; казалось, каждый из них приостанавливал себя, чтобы не забыться и не потеряться. И громкий пьяный разговор тоже был сдержанным, он быстро прерывался песнями — все это походило на тупую, беспокойную боль, вспыхивающую то в одном, то в другом месте.

Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала:

— Иди приberi отцу в амбаре.

— Мама! — голосом упрекнула Настя.

— Иди,— сказала Василиса.— Не твое дело.

Почти сразу же в кухню пришел Василий.

— Не хошь, стало быть, простить? — спросил он, вставая прямо перед Василисой.— Не хошь. А я, Василиса, тебе гостинец привез, да все не знал, как поднести.

— Не будет нам житья вместе,— сказала Василиса.— Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать.

— Война всех переделала,— тихо возразил Василий.

— Война, война...— повторила Василиса.— Война — она горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорей, войну твою.

Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе.

— Незачем это,— сказала она, отходя.— Я, Василий, спеклась, меня боле греть ни к чему.

Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать, но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. В ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным, а утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой, непроглядный туман — ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

После войны Василий дома жил недолго, он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел или невою ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а наутро замолчал, будто уехал раньше срока.

На пароход Василия провожали Настя, Анна, Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап, Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и шел, через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил, и Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел.

Настя вышла замуж уже без него. Среди всех своих сестер и братьев, которые были одинаково медлительными и рассудительными, Настя выделялась порывистостью и уди-

вительной энергией. «Скороспелка», — говорила о ней Василиса. В двенадцать лет Настя была доверенным лицом чуть ли не всех деревенских влюбленных, они передавали ей друг для друга записки, а двадцатилетние девки поверяли свои тайны. В четырнадцать Настя пошла работать на ферму, в семнадцать вышла замуж, через год родила двойню. Она торопилась даже тогда, когда незачем было торопиться, и ее женское счастье, видно, не выдержало такой спешки и лопнуло: через четыре года Настин мужик погиб на лесозаготовках, оставив ей трех маленьких ребятишек. После этого жизнь пошла медленней.

Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже, он приехал исхудавший и обовшивевший, в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделью Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая, потом снарядился и ушел в тайгу.

* * *

Июль, вторая половина месяца. Лето пошло на убыль, но дни стоят душные и тяжелые. Дороги безудержно пылят, и пыль, оседая на крышах, делает дома незначительными, похожими на прошлогодние скирды. Над Ангарой стоит дым: где-то горят леса.

Колхоз уже откосился, уборку начинать еще рано. Колхозники, как могут, используют эту небольшую передышку для себя — теперь начинается личный сенокос. По утрам деревня уплывает на острова, уходит в тайгу, в домах остаются немногие, и они усердно, по два раза в день, утром и вечером, поливают огороды. Над огородами, несмотря на жару, стоит дружный огуречный дух.

У Петра и Насти покос в одном месте — от деревни пятнадцать километров. Бегать каждый день туда и обратно тяжело, поэтому уходят сразу на неделю, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать. На две семьи с ребятишками и с хозяйством остается одна Таня. Василий тоже мог бы никуда не ходить, но он уже привык к таким походам и считает себя обязанным помочь сыну и дочери. Впервые в этом году на сенокос увязался Васька, девятилетний сын Петра.

Погода сенокосная, сено в жару сохнет быстро, но косить тяжело: трава перестояла и высохла еще на корню, так что только успевай отбивать литовки. У Василия покос широ-

кий, но недлинный, он часто останавливается и курит, отирая рукавом рубахи пот со лба и затылка.

— Васька! — кричит он. — Где котелок?

Васька бегом приносит воду, и Василий жадно пьет, потом задирает голову и щурится на солнце. Кажется, солнце, как мяч, закатилось в яму, откуда ему ни за что не выкатиться, — вот и будет теперь жарить бесконечно.

— Хошь бы какая дешевенькая тучка прикрыла, — бормочет Василий и снова берется за литовку.

Петр косит в сторонке, он в майке, голову повязал носовым платком. Его литовка, вонзаясь в траву, уже хрипит от бессилия. Петр поднимает ее, окунает брусок в воду и начинает быстро водить им по литовке. Потом оглядывается на Василису — она давно уже неподвижно сидит на колодине.

— Мать, — кричит он, — шла бы ты в шалаш! Пускай жара спадет, потом покосишь.

Василиса не отвечает.

— Мама, — услышав Петра, кричит Настя, — иди ставь обед, сейчас все придем!

Василиса поднимается и подходит к Петру.

— Сил нету, — печально говорит она ему и вздыхает. — Износила. Думала, помогу, ан нет.

— Ты чего, мать? — спрашивает Петр.

— Я отойду, ты не думай. Вот полежу и отойду, а завтра сама своя буду. Это с непривычки, уж год не косила.

Согнувшись, она уходит к шалашу, и все трое — Василий, Настя и Петр — смотрят ей вслед.

— Давай перекурим! — кричит Василий Петру.

Петр подходит к нему и, зажав руками котелок, долго пьет. Потом он сдувает со лба капли нависшего пота и садится.

— Чего это с матерью? — спрашивает Василий.

— Старая, — обычным голосом отвечает Петр. — Сколько ей лет?

— На два года моложе меня была.

— Старая, — повторяет Петр.

Поздно вечером они сидят у костра и пьют после ужина чай. Костер то взвивается вверх, и тогда на каждом из них, как одежда, отчетливо видна усталость, то снова сникает. За шалашом, в темноте, собака звучно вылизывает из банки остатки консервов. Ночь ложится на деревья, на скошенную траву, и только на костер, боясь обжечься, она лечь не решается. Костер от этого гоношится, подпрыгивает.

Они долго не спят: начало сенокоса положено, первый день прошел как надо, и все это живет в них ближними, еще не улегшимися чувствами.

— Пора укладываться, — говорит наконец Василий. — Копен девять за день накосили, и то ладно.

— Нет, больше, — быстро поправляет Настя, она всегда говорит быстро. — Я одна копен пять намахала.

— Хорошо бы больше, — откликается Петр.

— Завтра поторапливаться надо. — Василий поднимается. — Ненастье будет.

— Какое еще ненастье? — настороженно спрашивает Василиса и смотрит на Петра.

— Собака траву ела, — говорит Василий Петру. — Примета верная.

Петр молчит.

* * *

Василий и Петр женились в один год, даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерница она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну, да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать.

Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя, прошли октябрьские праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра.

— Ты эту, пришлую, видел? — спросил он сына, не глядя на него.

— Это которая шьет?

— Ага.

— Видел, она ж по деревне ходит.

— Хочу взять ее к себе, — сказал Василий и повернулся к Петру.

— Да ты что, отец, серьезно? — не сдержавшись, удивился Петр.

— А чего? Нельзя мне, что ли?

— Да почему нельзя? — забормотал Петр, не зная, что сказать. — Конечно. Ты еще не старый. Кто говорит, что нельзя.

— Дело не в том, старый или не старый, — невесело поправил Василий. — Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу как арестант. Хозяйка нужна — вот какое дело.

Они помолчали.

— Заходи перед вечером завтра, бутылку на троих разопьем, свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, чтоб сготовила.

Дома Василиса хлопотала на кухне.

— Мать! — возбужденно закричал Петр, входя. — У нас отец женится.

— Но, — бесстрастно откликнулась Василиса.

— Точно говорю. Завтра приведет.

— Пускай хошь тыщу раз женится, я к нему никакого касанья не имею.

— Обидно, поди?

— Чего ты, Емеля, мелешь? — вскинулась Василиса. — Обидно стало, изошлась вся от обиды — куды там! Полоумная она, раз идет за него. Добрая не пошла бы.

Новую жену Василия звали Александрой, и была она ненамного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор в уборную.

— Да она хромоножка, — обрадовалась Василиса. — Я говорила, добрая за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут. Черт черту рога не обломит.

В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но и он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник: ее судили и рядили на все лады, после войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы. У баб вдруг не стало хватать соли, хлеба, исчезли куда-то стиральные доски и утюги, и за всем этим они шли к Василисе, заводя разговор о молодых, — конечно, имелось в виду, что они спрашивают о Петре и Тане. И только бабке Авдотье, которая уже и тогда была глуховатой, хитрить не приходилось.

— Ты, сказывают, сестричкой обзавелась, Василиса! — кричала она, расположившись на скамье.

— Тебе, старуха Авдотья, делать нечего, вот ты и ходишь, сплетни полощешь, — сердито отвечала Василиса.

— А тебя за душу берет?

— Мне начхать, мне ихнее исподнее белье не стирать.

Бабка Авдотья обводила избу испытующим взглядом и снова кричала:

— Сюды-то не заходит?

— Пускай только зайдет — я ей глаза выцарапаю.

— Выцарапай, выцарапай, — поддакивала бабка Авдотья. — Ей волю дай, и тебя из избы выгонит. Ты, Василиса с ее глаз не спускай.

Вскоре они встретились — жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала.

— Здравствуйте, — совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра.

— Вот оно как — здрасьте, значит, — удивилась Василиса и рассердилась. — А чаю не хотите? Хромай, куды хромила, хромоножка, я не сахарная, от твоих «здрасьте» не растаю. Ишь ты, здрасьте, обходительная какая!

Она долго не могла успокоиться, ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует, она на все лады повторяла злополучное «здравствуйте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить.

Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка — это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, и они, несмышленыши, бежали хвастаться обновой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня — тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает, никто с ней не считается, а только терпят, — мол, живешь, ну и живи.

— Матерью-то еще не зовешь ее? — с обидой спрашивала она у Насти.

— Ты, мама, не собирай чего не следует,— сердилась Настя.

— А по мне хошь зови. Мне помирать скоро, а она вон кобылицей ржет — молодая.

— Ты, мать, жизнь прожила, а ума не нажила,— вступался за Александру Петр.— Ходишь, злишься, а за что — сама не знаешь. В чем она перед тобой виновата?

Василиса умолкала, уходила в себя.

Однажды после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу — сама бы она ни за что даже через порог не переступила, да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула: Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела.

— Эт-то еще чего?! — увидев ее, закричала Василиса.— Ах ты, супротивица! В избу захотела. Я тебе счас покажу дорожку, я тебе...

— Меня Таня позвала,— пыталась оправдаться Александра.

— Мало ей амбара! — гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку.— Мало ей Настькиной половины — сюды захотела! Я тебя отважу!

— Не смей! — пыталась защищаться Александра.

— Я тебе не посмею! Я тебе вторую ногу обломаю!

— Злишься, да? — вдруг переходя в наступление, закричала Александра.— Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет,— отталкиваясь одной ногой, она наступала на Василису.— Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!

— Чего, чего! — опешила Василиса и рывкнула: — Кыш, кукша! Кыш, кукша! — еще раз крикнула она и, не оборачиваясь, пошла в дом.

— Чтоб больше эта хромая нога сюды не ступала! — строго выговорила Василиса Тане.— Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня и без нее кровь порченная, моя судьба не сладкая была. Вот умру — еще помянете меня.

Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала.

— Сейчас бы квасу попила,— неожиданно сказала Василиса Тане.

— А квасники есть? — обрадовалась Таня. — Я бы поставила...

— Нету, — вздохнула Василиса.

Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре, она уже не ворчала, не злилась, а встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала — то ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела беречь душу. Она стала молчаливой, задумчивой, по вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну.

— Ты у нас, мать, не заболела? — спрашивал Петр.

— Есть когда мне болезнями заниматься, — неласково отвечала она и уходила.

Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в тридцати километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собирался ехать за ней, но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась.

— Везде хорошо, где нас нету, — вздыхая, говорила она Тане. — Куды мне теперь трогаться, помирать скоро надо.

В последнее время Василиса привязалась к Тане, по утрам, жалея ее, старалась не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела, заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой.

— Поболей, поболей, — утешала ее Василиса. — Потом детей народишь, болеть некогда будет. А жисть, она долгая. Твоя жисть тоже не сладкая будет, мужик тебе не золото достался.

Потом она шла к Насте и говорила:

— Ты бы, Настька, сходила в амбар, к этим. У них, поди, малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей — для Тани.

Прошла зима, в марте сбежала под гору талая вода, запели по дворам петухи. Настиных ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют, кому не лень приходи и все собирай. Мать на работе, Василиса, как могла, следила — да разве за всем уследишь?

Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома, открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату — на кровати, зарывшись головой в подушки, лежала Александра и всхлипывала.

— Евон как, — удивилась Василиса. — Плачет.

Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати.

— Слезами горе не зальешь, — негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса.

Александра испуганно вскочила и села на край кровати.

— А может, горя-то и нету, — продолжала Василиса. — У бабы, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены.

Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом.

— Пойдем-ка, бабонька, ко мне, — вдруг предложила Василиса. — Я самовар поставлю, чай попьем.

Александра, отказываясь, замотала головой.

— Пойдем, пойдем, не ерепенься, — решительно сказала Василиса. — Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего.

Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать.

— Не могу, когда бабы плачут, — обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. — Для меня это нож острый по сердцу. Жизнь как пятак — с одной стороны орел, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки! — она вздохнула. — Много плакать будем — сырость пойдет, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?

Она ушла на кухню и загремела там самоваром.

— Ну? — вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. — Он, ли чо ли?

— Нет, — замотала головой Александра. — Это из-за мальчика, из-за сына.

Она взглянула на Василису и умолкла.

— Ты расскажи, — попросила Василиса, — легче будет.

— Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Так не могу.

Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать:

— Ему было четыре годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали, я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету.

Она опять всхлипнула.

— Скоро чай будет, — напомнила Василиса.

— Маму дорогой ранило, ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.

— Скоро чай будет,— опять сказала Василиса.

— Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».

— А ты? — вся подавшись вперед, спросила Василиса.

— А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». — «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он.

— Ой ты! — ахнула Василиса.

— «Скоро,— говорю,— сынок, очень скоро». Он и пошел от меня.

— Так и ушел?

— Ушел.

— А не сказал, где искать-то?

— Нет.

— Спросить надо было, допытаться.

Александра бессильно пожала плечами.

Они пили чай и разговаривали, потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе прощаться.

— Собралась я,— грустно сказала она.— Пойду дальше.

— С богом,— благословила ее Василиса.— Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду.

Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.

* * *

В последнее время Василий все чаще и чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кряхтит, на его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота.

— Ох,— стонет он,— подсидела, окаянная, скараулила, нечистая сила! Хошь бы на минутку отпустила.

Обессилов, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается.

— Васька! — кричит он в открытую дверь.

Никто ему не отвечает.

— Васька!

Васьки нет.

После работы к Василию приходит Петр.

— Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне,— говорит Василий.— А то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет.

— Как у тебя? — спрашивает Петр.

— Чего как? Сам видишь как. Вся спина книзу опускается. Хошь караул кричи.

— Врача надо.

— Врача, врача,— злится Василий.— Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, а она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть.

— У них это по-другому называется.

— Они понос тоже по-другому зовут, а лечить обязаны, на то учились.

— Что она тебе сказала-то?

— А ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. «Завтра,— говорит,— приду», и все идет.

Он откидывается к стене и стонет. Через минуту опять выпрямляется.

— Ты сбегай в магазин, а,— просит Василий.— От нее мне легчает. Хошь ненадолго, а отпустит, чтоб оглядеться. Деньги над дверью. И сам со мной с устатку выпьешь.

Петр поднимается, молча отыскивает деньги и уходит.

На следующий день за водкой бежит Васька.

— На сдачу конфет взял,— хвастает он Василисе.

— Хорошее лекарство придумали,— с удовольствием язвит Василиса.— Стакан выпил, крикнул, и вся хворь из тебя, как от чумы, уходит.

После водки Василий и в самом деле успокаивается и засыпает. Но потом боль становится еще сильнее, она словно злится за свое вынужденное отступление и свирепствует с новой силой.

Наконец-то опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился, он устал. Ему хотелось скорее выпить и уснуть, а потом пусть везут его хоть в Москву, он все вытерпит и все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало, кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь, или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение.

Врачиха уходит, и Василий торопливо наливает себе полный стакан, Петру полстакана. Они выпивают, через минуту Василий оживляется.

— Скажи ты мне, — спрашивает он, — почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?

— Не знаю, — пожимает плечами Петр.

— Вот то-то и оно — никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают, курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно, все спят. А тут ребенок кричит, из матери вышел. В другом месте старик кричит — из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Вот это и страшно, что спят. Проснутся, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать, и опять все сдвинулось. О-хо-хо! Ночью никто тебе не поможет, не скажет: «Умирай, Василий, умирай, не бойся, ты все сделал, а чего не сделал, другие доделают». Человека успокоить надо, и тогда ему не страшно в домовище ложиться.

— Ты чего это, отец? — испуганно спрашивает Петр. — Чего мелешь-то?

— Мелешь, говоришь? А мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один — жить, значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.

Он тянется за бутылкой.

— Давай разольем, да я лягу.

Петр приходит домой и говорит Василисе:

— Плохо отцу.

Василиса не отвечает.

Опять день. Дверь в амбар снова открыта.

— Васька! — кричит Василий.

Васьки нет.

Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь.

— Нету Васьки, не кричи почем зря, — говорит она.

Василий приподнимается и смотрит на нее.

— Это ты, Василиса? — ослабевшим голосом спрашивает он. — А где Васька?

— Убежал.

— Ты зайди, Василиса, чего уж теперь.

Василиса перешагивает через порог и останавливается.

— Подойди, Василиса.

— Захворал, ли чо ли? — спрашивает Василиса от порога.

— Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.

Она осторожно подходит и садится на край кровати.

— Плохо мы с тобой жили, Василиса,— шепчет Василий.— Это я во всем виноватый.

— Совсем не плохо,— качает головой Василиса.— Дети выросли, работают.

— Плохо, Василиса. Стыдно перед смертью.

Василиса подносит к губам край платка и наклоняется над Василием.

— Ты чего это выдумал-то, Василий?— шепчет она.— Чего это ты выдумал-то?

— На меня твои слезы капают,— обрадованно шепчет Василий.— Вот опять.

Он закрывает глаза и улыбается.

— Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!

Она трясет его за плечи, он открывает глаза и говорит:

— Давай попрощаемся, Василиса.

Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.

— Теперь иди,— говорит он.— Теперь мне легче стало.

Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и выходит.

Он улыбается, лежит и улыбается.

Стоит тихий, словно перед дождем, день. В такой день хорошо пить простоквашу — не очень холодную и не очень теплую — и смотреть в окно, что происходит на улице.

Василий Шукшин

ЧУДИК

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю.

— Да вот же все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами. — Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!.. — Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. — Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос: куда это он собрался? — Проветриться надо! — При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока закупить подарков племяншам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала:

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?... Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются. Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!»

Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится?» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», — решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа, чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же, — сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что слышался зубовой стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что

самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко остричь.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему надо обязательно руками трогать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправляла два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребяташки спят. Вообще-то она хорошая. Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь?.. — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик. — Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За что? Ведь невзлюбила она тебя... А за что?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, что ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невлюбит. А я как-нибудь поласковой буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине —

грубая. Эх, вы!.. а она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попала детская коляска. «Эге! — подумал Чудик, — разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголкем, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка. — Он хотел мира со снохой. — Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», — думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. — Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце его болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...— сказал он.— Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и цел громко:

Тополя-а, тополя-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

ПОД ИЗВОЗ

Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень — женился как раз перед войной. Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы на спине торчали даже через ватник и штаны висели на Сеньке, как на колу. А девку прибрал к рукам красавицу — Тайка, Таиска была у него дородная, волоокая и ходила всегда будто со сна, с тайной полуулыбкой и будто о чем задумавшись. Хотя работала она весело и с товарками щебетала не хуже других.

Сенька по простоте своей хвалил жену всем вместе и каждому в отдельности: «А вот у меня Тайка! А вот моя Таиска, нет лучше бабы!» И с восторженным откровением выкладывал ночные подробности. Может быть, зря хвалил, на свою шею выкладывал...

Да, Сенька Груздев был взаправду веселый, ходил он быстро, не ходил, а бегал. Про таких у нас говорят, что «вот эта мелея на месте не усидит». Называют торопыгой, вертуном либо удваивают собственное имя обязательной добавкой, и получается что-нибудь вроде Степы-суеты, либо Ромы-егозы, либо Егора-трясунчика.

Груздев почти всегда улыбался. А о себе говорил обычно в третьем лице: «Сеньку Груздева знаете? Сенька Груздев хороший парень! Ты Сеньку не обидь, а уж он тебя век не обидит».

Сенька был прав: до войны он никого не обижал, хотя самого его обижали сплошь да рядом. Кого в первую очередь посылать на сплав леса? Сеньку Груздева. Кто в разгар праздника должен сидеть в сельсовете и караулить у телефона? Сенька. Лошадь, пахать свой огород, кому в последнюю очередь? Опять же Груздеву в последнюю очередь. И так всю жизнь. Сенька же будто и не замечал этого. Он говорил со всеми громко, прибаутничал, и лишь мелькал его добрый, загнутый чуть вправо, вздернутый, но остро-

конечный нос. Любила ли Тайка своего Груздева — не поймешь. Наверно, любила сколько-то, потому что перед самой мобилизацией родился у них первый ребенок. А когда началась отправка, Тайка, как и все бабы, ревела в голос и хрысталась на котомки, сложенные оптом на двуколой телеге. Другие повозки, негруженные, стояли запряженные, готовые. Сенька же плясал в это время у своего же дома, и гармонь едва успевала за частым, словно горох сыпался, стуком стоптанных Сенькиных каблуков. Плясал Сенька удивительно. Не глядя под ноги, а глядя куда-то в небо, шел-строжил, описывал большой круг, и все его естество ходило, как на шарнирах. Не увидишь ни одного ненужного движения, и все движения к месту, как тут и были. Нет, плясал Сенька хорошо, ничего не скажешь. Только частушки, как назло, вылетели из головы подчистую. Он не мог вспомнить частушку вовремя и мотал от этого головой, и приходилось петь одно и то же.

Уехали на войну со звоном гармонь, многие поперек тарантасов. Уехал и веселый Сенька Груздев.

* * *

Прошло полтора года, и вдруг Сенька явился домой: его ранило в руку. Рука — правая, как на грех, — совсем не действовала и была похожа на какой-то корявый сучок: вместо пальцев торчали в разные стороны какие-то розовые соски и калачики, и между ними все время сочилась сукровица.

Однако Сенька не унывал. Хотя в его отсутствие в кособоком доме прибавилось ни много ни мало двое жильцов (Тайка гульнула слегка с одним из уполномоченных), он ничуть не обиделся на судьбу. Груздев сперва только удивился, но особо не расстроился и через неделю совсем привык. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила!»

Тайка отмалчивалась, притворяясь и делая вид, что у нее есть какое-то оправдание, только, мол, она, Тайка, никому об этом оправдании не рассказывает. Потом она и сама поверила в это несуществующее оправдание, а Сенька еще больше привык, когда зимой родился еще один, уже наверняка свой, кровный. Сенька бегал по деревне гоголем, и все встало на свое место. Лишь иногда пожилые мужики, не ушедшие на войну по возрасту, подначивали Сеньку: «Худо ты, Груз-

дев, работаешь, не то что уполномоченной. Мужик один сенокос и в деревне-то пожил, а вишь, сразу оба-два! Тебя когда отпустили? Ведь два года скоро, а ты только одного смастерил».

Сенька не оставался в долгу. Он шумно, почти всерьез, оправдывался госпиталем и худыми теперешними харчами, смеялся вместе с мужиками. Впрочем, Сенька зря оправдывался, потому что вскоре Тайка родила опять и, что всего удивительнее, опять двойню. Один ребенок из этой новой двойни сразу же умер, и Сенька в ящике из-под колхозных гвоздей отнес его к церкви и зарыл. Но все равно семья была большая. Сенька изворачивался, как только мог: пятерых ребятишек и в мирное время поднять на ноги не шутка. Но Груздев был по-прежнему весел и любил всех людей, не считая бригадира.

Бригадира же, двоюродного Илюху, Груздев не любил по многим причинам. Первая причина та, что он бригадир, вторая — что хоть и двоюродный, а прижимка, к нему, к Груздеву, словно бы к пленнику: то упряжь худую даст, то за овец оштрафует. Хотя его, Илюхины, овцы щипали озимь на паях с остальными. А однажды в сенокос Илюха кровно обидел Тайку. Илюха вместе с председателем и счетоводом объявили бесплатный воскресник в счет помощи фронту. Дело не в том, что бесплатный, все равно и другие они также бесплатные, да и Тайка пошла бы работать не позже других баб. Пришла установка, чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Сеньки дома не было, он уезжал под извоз.

Легко сказать — не топить, ежели и в топленую печь поставить нечего! Картошка еще только что отцвела, летом ни мяса, ни редьки, а ребятишки, они ведь не спрашивают, где взять, каждый есть просит. И жена — Тайка — печь затопила. Хотела она сварить крапивной похлебки, а после поставить в загнете ставец козьего молока. А уж потом и идти на воскресник. Утром, часов в пять, она затопила. Дрова были гнилые и не горели, а только шаяли: словно медведь сидел в Тайкиной печке. Тайка сбегала на поветь и разломала пустую кадушку. Подкинула на огонь сухую клепку, и в печи сразу стало весело, как на празднике. И вдруг Тайка в окно увидела председателя, счетовода и бригадира Илюху. Все они с Илюхиной бадьей ходили по деревне и заливали водой печи. Не успела Тайка опомниться, как Илюха с председателем были уже в избе. Они подняли крик, будто на пожаре, разбудили всех ребятишек. «Лей!» — крикнул

председатель, и бригадир Илюха два раза плеснул из полной бадьи в Тайкину печь. У Тайки зашло сердце при виде белого пара, повалившего из погашенной печи. Так хорошо, ясно топились дрова... Она, в слезах, схватила с лавки ведро своей воды и с ног до головы окатила Илюху. Хотела вторым ведром окатить и тех двоих, но они из избы выскочили. После этого зуб у Илюхи против Груздевых стал еще больше, бригадир обижал Сеньку на каждом шагу.

Как-то ночью Сенька назо Илюхе уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтобы пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал. Сенька уволок сноп на предбанник и забыл про него. Вспомнил только тогда, когда Тайка обмолотила сноп колотушкой, провеяла на ветру зерно, высушила в печи и велела Сеньке смолоть на ручных жерновах. Дней пять она кормила ребятишек ячменной кашей. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два... После этого у Груздева дело пошло быстро: он наострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина, — начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, ему везло, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик.

Его все время посылали под извоз. Он быстро научился одной рукой запрягать лошадь, помогая то зубом, то коленом, ловко накидывал гуж, засупонивал хомут и привязывал к удилам вожжи. С любым возом, в любую погоду он ехал на станцию, за семьдесят километров, ехал на три-четыре дня. И никогда не возвращался без добычи. Однажды привез для колхоза новехонький с гужами из лучшей сыромяти хомут, в другой раз перепряг мерина в чужие новые дровни. Сена он на своей конюшне никогда не брал, добывал кормежку для лошади в дороге, частенько привозил в колхоз то полдесятка пустых мешков, то новую дугу, а однажды стянул с возка райкомовский тулуп.

Илюха, хотя и держал на Сеньку зуб, помалкивал в таких случаях и домовито принимал добычу на бригадный баланс, председатель тоже лишь усмехался при виде новых дровней, а при сдаче хлеба по госпоставкам всегда назначал Сеньку старшим по обозу. Потому что Груздев привозил квитанций больше, чем положено. Делал он это просто: когда на складе взвешивали привезенный на сдачу хлеб, то Сенька весело трепался с приемщиком. Взвешенные и уже принятые мешки складывались отдельно, в сторонку. Стоило прием-

щику замешкаться, отвернуться по делу, Сенька хватал взвешенный и уже принятый мешок и опять клал на весы. Иногда, притащив мешок в склад и сдав приемщику, Груздев тащил мешок обратно в телегу...

Бабы теперь боялись ездить с ним под извоз, было опасно оказаться его соучастником. Зато он никогда никого в дороге не оставлял, всегда выручал и помогал. То ли завертка у бабенки лопнет, то ли испугается кобыла машины — Сенька всегда тут как тут, выручит, обнадежит. Может, за это и сходили ему с рук многие уж совсем бессовестные проделки.

Однажды он среди бела дня свистнул со склада сельпо полтуши замороженного поросенка. За Сенькой шесть километров гнался заместитель сельпо Гриша, по прозвищу «Шкурник», потому что всю жизнь возился с овечьими, телячьими и прочими шкурами, заготавливая их и занижая сортность во имя блага государства. Гриша догнал-таки Сеньку и при всем народе начал стыдить вора:

— Ты, Семен, стыд потерял, тебя надо в тюрьму посадить, разве ладно ты делаешь?

— Жалко, так на, бери! — сказал Сенька. Он бросил поросенка в снег, хлестнул по лошади и уехал.

Таким мазуриком стал Груздев к началу последней военной зимы.

* * *

Холодное, темное и глухое утро. Мороз винтовочными выстрелами то и дело бухает в скрипучих постройках. Такой мороз, что Груздев еле отдирает губу от железа, когда зубами распутывал поводья узды и нечаянно прикоснулся к удилам.

— Дурак я, дурак! — ругает он сам себя. — Разве это дело?

Он и сам не знает, отчего так получилось. Забыл, мозгами вздремнул. А ведь еще в малолетстве учен был морозным железом. (Однажды на спор лизнул обух принесенного с мороза топора. Оставил пол-языка на том обухе.)

В темноте конюшни Груздев долго ищет седелку. Облизывает обожженную губу и тихонько ругает бригадира Илюху: опять одноглазый спрятал чужую седелку.

— У, сатана кривой! — без злобы рычит Сенька и вытаскивает из дальней кормушки спрятанную бригадиром седелку.

Так. Значит, подпруга, войлок, все в порядке. Сенька обрабатывает свою лошадь, всхрапнувшего вместо приветствия чалого Воробья.

По причуде судьбы мерин Воробей не мерин, а наполовину жеребец: ветеринар, холостивший Воробья, плохо спутал ему ноги, и животина, лежа, лягнула ветеринара в грудь копытом. Пока ветеринар отлеживался и собирался довести дело до конца, началась война, его вызвали на фронт в первый же день, а Воробей так и остался при своих испорченных интересах.

И вот Сенька Груздев еще затемно запрягает этого Воробья. Бригадир Илюха еще с вечера сделал наряд: надо везти государству тресту, а обратно ехать порожняком либо прихватить что придется.

Груздев запряг и поехал к гумну. Две бабы и подросток Борька, тоже намеченные под извоз, еще не запрягали, и Груздев колотит в их ворота кнутовищем:

— Эй, теплобрюхие, вставай, эй! Кому говорят, запрягай!

Но в окнах уже мерещится и так что-то красное: свет от лучины, а может, от затопленных печей.

«Теперь проволынятся до обеда,— думает Груздев.— От лешие-сатаны, беда мне с ними».

У своего дома он еще раз перевязывает лен, сильнее затягивает веревки. В избу ему не хочется. Тайка с ребяташками еще спит, делать в избе нечего. И Груздев идет помогать остальным возчикам.

Когда соберутся и выедут в путь, обычно уже светло. Заря розовеет на близком краю неба, тут и там белеют, торопятся вверх, умирать, печные дымы. Лошади тотчас же начинают сесть инеем, полозья тоскливо затянули скрипучую свою песню. Теперь трое суток, не меньше, только и дел что слушай эту морозную песню, и Воробей останавливается у околицы. «Может, еще ошибка какая, может, недалеко ехать?» — такой вопрос таится в глазах обернувшегося назад коня.

Нет, никакой ошибки нет, Груздев кричит Воробью: «Шагом марш!» — и запахивается в тот самый тулуп.

Всходит холодное солнце. Везде кругом розовые, будто кровавые, снега, везде мертвая тишина да белые ольховые кустики. По этим кустикам и стелется скрипом полозьев узкий бесконечный зимник, стелется семьдесят километров, до станции.

Сенька высовывает из тулупа нос:

— Эй, Марюта, а Марюта?

— Чево?

— А жива еще? Гляди у меня, не умирай раньше время.

— Не умру, Семен, не умру!

И Марюта замолкает, ободренная разговором. Она боится будущей неизвестности, дальней дороги, боится и другая баба — Ромиха. С Ромихой Сенька перекликается тоже:

— Ромиха, ты вот что. Ты бы дома грамм сто пропустила, так и не мерзла!

— А надо бы дернуть! — бодро отзывается Ромиха, которая за всю жизнь ничего, кроме чаю, в рот не бирала.

Тем временем Груздев пускает Воробья одного и перелезает на Борькин воз:

— Чево, Борька, ты не женился еще? Поди, ведь уже семь групп окончил.

— Не-е! — смущается Борька. — Я еще только на ту зиму.

— Жениться-то?

— Не, семь классов на ту зиму.

За разговором на сердце мальчишки тоже становится легче. У него каникулы, он едет на станцию всего второй или третий раз и боится дороги больше, чем бабы. Дорога и правда тяжкая, долгая, с двумя, а иногда и тремя ночлегами, с раскатами на горюшках, ночными волками на долгих волоках, с машинами у станции, с трудными разъездами по глубокому снегу. Если одному, то и пропасть можно, а тут еще голодный и в дорожной котомке только шесть вареных картошин. Да лепешка из льняных жмыхов.

У Сеньки Груздева и того нет. Чем питаться эти трое суток, он и сам не знает, просто надеется на какие-то случаи. Он без труда забывает про это неприятное обстоятельство, вытягивает ноги и, опершись на локоть, поет:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух агромных скал,
Абнисен большим забором...

Сенька поет довольно приятно и сам чувствует эту приятность, отчего петь ему еще приятнее:

...Подметалов там немало,
В каждой камере найдешь.

Почему-то он представляет этих «подметалов» в виде бригадиров Илюх, тоже кривыми, только в новых синих фуфайках, в серых подшитых валенках и с новыми же березовыми метлами в коротких руках. Они, эти подметалы,

ходят по камерам и шумно метут полы: так видится поющему Груздеву.

Борька с вежливым интересом слушает песню про Александровский централ и шевелит в валенках замерзающими пальцами. Лошадь тоже слушает. Полозья под возами попоросычьи визжат, мглистое солнце отстранилось от еловых верхов и висит, полозья визжат бесконечным, непрерывающимся визгом.

Сенька враз перестает петь и вытягивает сухую шею: Воробей впереди остановился. Груздев издали громко матюкает его, и Воробей не прекословит, топает дальше. Борьку же точит и точит тревожная тоска бездомности, и Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем белом свете.

* * *

Груздева знают в каждой придорожной деревне. Но деревни далеко друг от дружки, и он, проехав километров пять, промерзает обычно начисто. Особенно мерзнет раненая рука. Если до деревни еще далеко, а терпенья уже совсем нет, Сенька останавливает лошадь, снимает рукавицу и сует изуродованную руку Воробью под хвост. Греет минут пять. Воробей недовольно оглядывается, он никак не может привыкнуть к таким бесцеремонным вторжениям под его хвост и пытается сопротивляться.

— Но-но! — грозит Воробью Сенька. — Стой как положено. Ж... тебе жалко?

Если деревня близко, Сенька отогревается в избе. Мерин уже знает, в какой деревне и куда сворачивать. И вот Груздев развязывает воз, берет вязку тресты, кидает лен на поветь. Потом весело распахивает двери избы:

— Здорово, Федулиха! Суп-то есть?

— Супу-то, Семен, нету севодни. Вон штечки постные.

— Ну давай, штечки ежели.

Федулиха достает из печи постные щи и, пока Сенька громко хлебает, идет на поветь и убирает подальше вязку колхозного льна. Подросток Борька, Марюта с Ромихой обогреваются тем временем у печи. Потом обоз движется дальше. Опять визжат на морозе полозья, опять Сенька поет, каким забором обнесли Александровский централ, и голодный Воробей недовольно фыркает. Часа через два Сенька наконец решает и его судьбу.

В большой, уже от чужого колхоза, деревне стоит какой-

то дальний обоз, подвод шесть. Ездовые кормят лошадей, сами греются в избе, и Сенька решительно машет Борьке и бабам:

— Езжайте пока без меня!

Те едут, а Груздев осторожно подъезжает к чужой стоянке. На улице нет ни души, мороз всех позагонял в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено. Сенька, не долго думая, хватает беремья сена с чужого воза и кладет на свой. Вроде маловато, мелькает у него в голове, и он хватает еще охапку, потом еще, прихватывает заодно и хороший плетеный кнут. В это время слышится звук открываемой двери, кто-то выходит из избы, вот-вот откроются ворота. Сенька изо всей мочи, молча бьет Воробья, Воробей дергается, и оба вместе они с возом заворачивают за угол, скрываются за летней избой. У того же дома, у которого остановился обоз.

— На, на, дурка, только тише, стой тише! — шипит Груздев и сует Воробью волоть чужого зеленого сена. Слышно, как выскакивают из избы и матерятся ездовые:

— Полвоза свистнули!

— Минька, распрягай, поедем вдогон!

— И кнута нет, мать его...

— Скорей, Минька, оне еще не должны далеко уехать!

— Догоним!

— Давай топор, догоню, обухом измолочу.

Сеньке слышно, как двое ездовых отпрягли лошадей и верхом бросились за ним вдогон. Он потихоньку выглянул из-за угла, подождал, справил небольшую нужду. Он знает, что ездовые догонят сейчас баб с Борькой, а те знать ничего не знают и никакого ворованного сена у них нет. Ездовые повернут обратно и поедут догонять вора в другую сторону. Две же встречные подводы едут уже далеко, верст пять отмахали; пока ездовые их догонят да разберутся, что к чему, он, Груздев, будет уже, считай, на ночлеге.

Так оно все и случилось. Ездовые, ничего не обнаружив у баб и у Борьки, проскакали в другой конец. Сенька же, не торопясь и похваливая Воробья, выкруливает из-за летней избы на дорогу и, довольный, заворачивается в тулуп. Теперь и самому есть что вспомнить, и мерин сыт будет.

* * *

Недолог зимний день, не успеешь опомниться, а звезды уже опять мерцают, мерцают и близко, и все дальше в фиолетовой глубине неба; холод пробирает ездовых, лошади устали

и, часто останавливаясь, оглядываются, будто спрашивают: скоро ли?

Вот наконец и ночлег. На середине пути, в большой деревне, Воробей по своей инициативе свернул в заулочек знакомого дома.

Распрягли все четверо. Груздев великодушно делит свое зеленое сено между всеми лошадьми. Коричневый багульник, взятый бабами из своей конюшни, остается нетронутым, и Сенька гордится:

— Вот, дурочки, молитесь здоровья Сеньке Груздеву!

— Ой, Семен, — охает Марюта, — гли-ко ты, мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой, — говорит Сенька и ступает в дом, заказывать у старухи Михайловны самовар. Минут через пять опять появляется, гремит ведрами. Однако поить лошадей сразу, с пылу нельзя, он перевязывает возы, проверяет завертки, подкидывает лошадям сенца и о чем-то объясняется с Воробьем.

В это время слышится голос Ромихи:

— Неси водяной рогатую блудню!

— Коза? — спрашивает Сенька.

— И не одна! Кыш, пустая рожа! — возмущается Ромиха.

Груздеву давно надоели эти козы. Здешные хозяйки нарочно, даже по ночам распускают коз по деревне, чтобы они кормились у проезжающих обозов.

— Чака-чака, — сидя на корточках, подманивает Сенька козу, — иди сюда, чака-чака.

Коза доверчиво глядит на Сеньку, а он вдруг ястребом кидается на нее. Хватает за рога и тащит козу в избу. Старуха Михайловна живет одна, кормится тем, что пускает на ночлег обозников. Она раздувает у шестка самовар. Сенька, чтобы угодить старухе и не платить за ночлег, громким шепотом окликает старуху:

— Михайловна! Чуешь, Михайловна!

— Чево?

— А на, дура, дой!

Сенька кряхтит, присел и за рога тащит козу в кухню, чтобы никто не увидел, если зайдут.

— Дой, дура! Вон ковшик бери да дой! Пока держу-то!

Старуха — она еще разворотливая — всплеснула руками: «Ой, Сенька, Сенька! Ну да ладно уж...» Взяла алюминиевое блюдо, со страхом оглянулась, но в избе никого не было.

— Давай, Михайловна! — громко шепчет Груздев и не отпускает козу. Коза брыкается, он гладит ее свободной рукой, уговаривает, а Михайловна уже приладилась доить.

— Не сказывай никому, ради Христа, — слышится ее шепот.

— Давай... Ну? Как умерло...

Сенька держит козу, Михайловна торопливо доит. Вдруг получается какая-то заминка.

— Сенька, лешой...

— Чево?

— А ведь коза-то моя.

— ?!

— Ей-богу, моя... и зовут Малькой.

Груздев на секунду теряет чувство уверенности, растерянно глядит на Михайловну:

— Малька?

— Малька. Вот и веревочка...

Старуха ойкает, ругает Сеньку, как будто он один виноват, а Малька же домовито мелет хвостом. Сенька волокет ее обратно на мороз, она упирается.

— Иди, иди... хм... Ну ладно, ежели... это... откуда я знал, на ней не написано!

За дверью в сенях он втихомолку пинает животину в брюхо и матерится:

— У, дура душная! Рогатая! Так бы и говорила, что не чужая, здешняя!

Сенька бежит поить лошадей. Коза блеет и от ворот не уходит. Из сеней слышится переменный голос Михайловны:

— Маля, Маля, иди-ко, матушка, домой, я тебя подою да застану, Маля!

* * *

Часа через два все в избе уже спят. Висячая лампа не погашена, а лишь увернута. В темноте на столе виден ведерный выпитый самовар. На лавке у шкапа, подложив под голову рукавицы, тревожно спит подросток Борька. На полу, у маленькой печки, не сняв балахонов, приткнулись Марюта с Ромихой, Михайловна забралась на печь. Только Сеньки нет, он убежал на деревенское игрище. Может, и спляшет там, даже наверняка спляшет, благо плясать на игрищах стало совсем некому. Часа в три ночи он прибежит, поднимет своих спутников: надо ехать.

Звезды разгораются на фиолетовом небе, надо ехать. Вся дорога и все приключения еще впереди.

Запрягают, трогаются.

Никто не скажет, сколько матюков произвел за день груздевский щербатый рот, сколько страхов пережили, дум передумали Марюта с Ромихой. Борька же за один этот день становится взрослым.

Под вечер все четверо, голодные и замерзшие, въезжают в районный пристанционный поселок. Впереди — Сенька Груздев. Потому что Сенькин Воробей не боится ни поезда, ни встречных машин, так как ездит на станцию чаще других. А может, и оттого, что в нем есть хоть и половинное, но все же мужское достоинство.

Марюта с Ромихой, когда подъезжают к железной дороге, снимают с себя нижние платки и завешивают ими круглые кобыльи глаза. Гудит поезд. Лошади вострят уши, дрожат, как в лихорадке. Перепуганная Марюта гладит морду лошади, успокаивает, а сама тоже дрожит:

— Пронеси, господи...

Поезд грохочет где-то над самой головой, на высокой насыпи. На мелькающих платформах стоят затянутые в брезент пушки, солдат с ружьем и в тулупе кричит что-то, смеется и проносится дальше.

Сенька видит и других солдат, в приоткрытые ворота вагона валит пар, вылетают голоса и гармонные звуки. Сеньке завидно, он с горестным восторгом глядит на убегающий эшелон. «Эх, мать-перемать! — вздыхает он. — Я ведь тоже на часового выучен!» Ему хочется рассказать кому-нибудь, как он учился на часового, как два раза ездил вот в такой же теплушке. Правда, во второй раз и до места не доехал, разбомбили состав, а Сеньку припаяло осколочным...

Сегодня сдавать тресту уже поздно, учреждения прикрыты. Сенька правит напрямик на «квартиру» — к землякам, уехавшим из деревни накануне колхоза.

После того как распрягли коней и упряжь убрали в сени, Груздев кричит Марюте:

— Денег-то много с собой взяла? Давай пойдем в чайную, хоть супу похлебаем.

Чайная рядом, около райсоюза, но Марюта с Ромихой упираются, в чайную не идут. Сенька почти силой тащит их к чайной.

— Иди и ты, Борька!

Борька до того стеснителен, что набычился и остался на улице, а Сенька ругает баб, подталкивает их в двери:

— Идите, сотоны, не бойтесь! С Груздевым нигде не пропадешь, кто пообидится, что пропал с Груздевым?

И бежит покупать талоны. Денег у него всего на один суп и на десять стаканов чаю, Сенька на ходу прикидывает: «Ежели с Марюткиными лепешками, так ничего».

И вот на столе десять стаканов чаю и порция горохового без мяса супу. Бабы, озираясь, несмело развязывают платки, развязывают на коленях узелки с лепешками. Сенька быстро-быстро съедает половину супа. Незаметно ловит двух сонных по случаю зимы мух и украдкой опускает их в тарелку.

— Это, понимаешь, што такое! — на всю столовую кричит Сенька. — А ну, гражданочка, где дилектор? Дилектора, где дилектор?

Груздев с тарелкой идет на кухню, шумит и требует директора. Минут через десять возвращается, важно садится за стол.

— Семен... — У Марюты от испуга даже руки трясутся. — Семен Иванович, отпусти ты нас...

Ромиха тоже вся в беспокойстве, а Сенька дергает их за рукава, шипит:

— Дуры, сотоны, стойте! Кому говорят, на месте сиди...

Бабы сидят, словно на шильях. Вдруг дородная девка приносит и ставит на стол три тарелки супа. Бабы глядят на суп, на Сеньку, а Сенька как ни в чем не бывало начинает хлебать.

Марюта с Ромихой не знают, что делать. Во-первых, они никак не ожидали такой чести, во-вторых, им и есть до смерти хочется и есть боязно. А Сенька знай хлебает и кивает, чтобы ели и бабы. Ромиха глядела, глядела и вдруг говорит:

— Ежели только ложечки две...

— Уж хлебну маленько, — отзывается и Марюта.

На ночлеге бабы только охают от восторга. Первый раз в жизни наелись дарового супу — разве не диво?

* * *

Что верно, то верно, бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька. Лошадей поить, к примеру, как и где? Сенька и ведро найдет, и колодец. Как сдавать тресту, тоже никто, кроме Груздева, не знает. Не знают, где нужная контора и в какие двери идти сперва, в какие потом. Надо оформить какой-то пропуск, выписать какие-то бумаги. Найти приемщика, сдать груз, опять получить бу-

мажки. Все это и делает Сенька, бегая по райцентру, как угорелый. И земля горит под его новыми валенками.

К полудню треста наконец сдана. Надо бы ехать домой, а Груздеву хочется выпить где-нибудь, он тянет время в надежде наткнуться на удачную компанию.

Бабы стоически ждут, сидят на подводах уже увязанные и про себя молят бога, чтобы Сенька не напился. Сеньке сегодня не везет. Прибежал сердитый, хлестнул Воробья. «Поехали!» Бабы облегченно вздыхают и нукают своих лошадей: слава богу, теперь домой.

Однако у железнодорожного переезда Сенькина неудовлетворенность взрывается и переходит в нестерпимую жажду деятельности. Он вдруг останавливается. Хватает с бровки какой-то небольшой, но очень тяжелый ящик, кидает на дровни и шпарит, не оглядываясь. Рабочие-путейцы бегут за Сенькой, кричат, но Воробей бежит в сторону дома намного охотнее, и преследование обрывается.

Отъехав километров пять, довольный Сенька нетерпеливо исследует ящик. Слышится ругань, Сенька плюется и ногой сковыривает ящик с дровней: в ящике одни железные костыли, которыми пришивают рельсы ко шпалам...

Сенька удручен и обижен, ему кажется, что с костылями его бессовестно надули. Он искренне и долго ругает обидчиков, сердито заворачивается в тулуп.

Однако осьминка табаку, добытая на складе райсоюза, вскоре возвращает ему веселое настроение.

— Марюта, чуешь, Марюта?

— Чево?

— А не умерла еще?

Начинается тот не поддающийся описанию и на первый взгляд совершенно пустой диалог, когда говорящие полны доверия, доброты и отрадного взаимоутешения.

— ...А я, Семен, на гумно-то ушла, трубу-то не закрыла. Прихожу, а в избе-то у меня все выдуло...

Сенька слушает.

— Гляжу, а петух-то сидит на кожухе и на меня не глядит, гребень опущенной.

— Ой, ты. Омморозила? — восхищенно кричит Сенька.

— ...а курицы-то на шесток забились...

— У тебя много ли куриц-то?

— Чево?

— Куриц-то, говорю, много ли?

— Да три.

Возы шумят, Марюта замолкает ненадолго.

— А с петухом-то четыре, нешто и толку от них. Одна дак все лето в крапиле и клалася.

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла.

* * *

Так Сенька Груздев ездит под извоз. Ездит всю зиму и все лето, ночуя дома раз или два в неделю. Летом Сеньке — раздолье. Не надо воровать сено для Воробья, отогревать раненую руку под лошадиным хвостом.

Однажды Груздев сбился об заклад с заготовителем Гришей. Спор получился из-за Воробья, Гриша-заготовитель не ставил мерина ни во что. Сенька обиделся, разошелся и прямо в поле случил Воробья с вороной сельсоветской кобыленкой, которая стреноженная ходила на клеверище. Воробей не ударил лицом в грязь, все сделал, как положено, и Сенька выпорил две пол-литры. Грише пришлось раскошелиться, но как раз это обстоятельство и сгубило Сеньку.

Переезжая вброд речку, он угодил спьяну на глубокое место и подмочил два ящика дорогих ленинградских папирос. Сельпо отнесло убытки на Сеньку, а чтоб рассчитаться, Груздев в том же сельпо стянул и продал мешок соли. Сеньку уличили и подали в суд, дело кончилось принудилровкой. Но принудилровка для Сеньки всего полбеда, хуже было то, что не стали больше посылать в извоз. Отлучили не только от Воробья, но и от всех других лошадей.

Но Сенька особо не тужит, да и война уже кончилась.

...У груздевского дома большая куча недавно наколотых еловых дров. Пахнет смолой, белой ядреной древесиной. Поленья ровные, звонкие, хотя еще и не очень сухие.

Сенька с женой Тайкой складывает дрова к стене, в поленницу. Ребятишки — не поймешь, где свои, где чужие, — бегают вокруг. Они везде, в траве и на пыльной дороге.

В концах поленницы Сенька выкладывает дрова клетками, чтобы не раскатилась вся поленница.

— Ой, ой, Семен, спинушка-то моя, спинушка. — Тайка охает и садится на крылечко неподалеку.

— А непошто и пришла, — говорит Сенька, — один, что ли, не складу?

— Все думаю, хоть поскорее-то...

Дело у Груздева идет быстро, поленница растет на глазах.

Однако дров еще много, надо бы заложить другую поленницу, а Сенька кладет уже на уровень своей головы.

— Гляди, хватит уж,— замечает Тайка.

Он кладет и кладет.

— Хватит, лучше новую начни. Говорено было, чтобы сразу шире раскладывал.

— Никуда она не девается, крепко стоит,— говорит Сенька.

— Свалится ведь.

— Не перьвой раз. Учить нечего, как маленького. Ну-ко, вон туда еще, ну-ко...

— Ой, гляди, Семен!

— Чего мне глядеть? Стоит как церква. Давай вон эти еще... Да и все, пожалуй, уйдут.

— Да что тебя, лешой! — ругается Тайка.— До крыши класть будешь? Сейчас полетит все!

— У меня не полетит, сказано, домой иди. Перьвой раз, что ли? Складу все на одну. У меня да полетит... У Груздева сроду не летывало.

— Тьфу, дурак, прости господи!

— Полетит... У меня не полетит, у меня как припечатано, это уж точно.

— Семен!

— Во! Полетит. Да ее теперь и валить не свалить, как церк...

Поленница с грохотом разваливается.

Груздев еле успевает отскочить в сторону. Он восхищенно моргает, глядя на беспорядочную кучу поленьев, произносит:

— Хм... Ведь так и знал, что шарахнется!

ДОМ НА ФОНТАНКЕ

Время от времени мне снился Вадим. Сон повторялся в течение многих лет, однообразный, явственный: я шел по Невскому и встречал Вадима. Он ахал: «Не может быть, неужели ты остался в живых?» Он недоверчиво радовался: «Значит, ты не погиб?» Слегка оправдываясь, я рассказывал про себя и почему-то стеснялся спросить его... После войны я долго еще не верил, что он погиб, во сне же все перерачивалось: он удивлялся, что я уцелел. Он оставался таким же тоненьким, бледным. Глаза смотрели чисто и твердо, он слегка заикался, чуть-чуть, в начале фразы. О Кате мы избегали говорить. Катя вышла замуж в сорок седьмом. Выяснялось, что Вадим работал в институте, в таком секретном институте, что я и не мог ничего знать о нем. Но теперь, поскольку я нашелся, мы снова будем вместе.

Я любовался им, резким и прямодушным лицом его, я блаженствовал, молотил какую-то восторженную чушь. Вадим подшучивал надо мной, все, что он говорил, было точно, неопровержимо, я, как всегда, чувствовал его превосходство, завидовал и корил себя за эту зависть. Где он был все эти годы, я не мог понять, я знал лишь, что если начну допытываться, то будет нехорошо, что-то случится. Мы шли по Невскому, я крепко держал его за руку. Проспект был нынешний, с метро, с подземными переходами, с незнакомой толпой. Когда-то мы обязательно встречали наших сверстников, ребят из соседних школ, студентов, когда-то Невский был полон знакомых.

...Я просыпался и долго не мог понять, куда все подевалось. Где Вадим? Может быть, я не проснулся, а заснул? Сон был явственней, чем эта темная тишина, где спали моя жена, дочь, соседи, весь дом. Они смотрели сейчас свои сны, они были далеко и ничем не могли помочь. Пространство между тем мною, который только что шел по

Невскому с Вадимом, и тем, кто лежал в кровати, было ничем не заполнено. Ничего не соединяло нас. Я пребывал где-то в промежутке и не хотел возвращаться к себе, сидящему, контуженному, в жизнь, источенную застарелыми чужими заботами. Разрыв был слишком велик.

Однажды я сказал Вене про свои сны. Он серьезно посмотрел мне в лицо:

— Ты знаешь, мне тоже... Мне иногда кажется, что он жив.

Больше мы не говорили об этом.

Из всей нашей компании после войны остались только мы с ним. Миша погиб, Борис умер в блокаду, Ира умерла от тифа, Люда умерла несколько лет назад, Инна уехала в Москву. Мы и не заметили, как остались с ним вдвоем.

Он пришел ко мне в воскресенье, часов в двенадцать. Шел мимо и зашел, без звонка, без причины. Обычно мы виделись в праздники, дни рождения. Мне не хотелось говорить, мы сели, сгоняли две партии в шахматы.

— Пойдем погуляем,— предложил он.

Падал редкий снег, небо, низкое, серое, висело, как сырое белье.

— Ладно,— сказал я без охоты,— я тебя провожу.

На улице мы поговорили с ним про Китай, про наши болезни, я довел его до остановки и вдруг сказал:

— Пойдем к Вадиму.

Он не удивился, только долго молчал, потом спросил:

— Зачем? Ты думаешь, Галине Осиповне это будет приятно?

Нет, я так не думал.

— А нам? Стоит ли?

— Как хочешь.

Подошел его трамвай. Веня отвернулся:

— Чушь собачья. Теперь уже нельзя не поехать. Получается, что мы боимся.

Мы сели на другой номер, доехали до цирка и пошли по Фонтанке. Всю дорогу мы обсуждали гибель американских космонавтов.

Шагов за сто до парадной Вадима я остановился:

— А что мы скажем?

— Что давно собирались, да все думали — неудобно.

— А теперь стало удобно? Находчивый ты парень.

— Ну не пойдем,— терпеливо согласился Веня.

— Лучше скажем, что случайно были поблизости.

Так мне казалось легче, может быть, потому, что это была неправда.

Обреченно мы переставляли ноги. Малодушие и страх томили нас. Сколько раз за эти годы мне случалось миновать этот серый гранитный дом. Я убыстрял шаг, отводил глаза, словно кто-то наблюдал за мной. Постепенно я привыкал. Почти машинально, лишь бы отделаться, я отмечал — вот дом Вадима. Все остальное спрессовалось в его имени, и чувства тоже спрессовались. В самом деле, почему мы не заходили к его матери, самые близкие друзья его? Впрочем, заходили. Я заходил, но я не хотел об этом рассказывать Вене. Он повернул бы обратно. Это было слишком тяжело.

Мы вошли в парадную. Тут на лавочке обычно сидела Фрося. Сохранилась эмалированная дощечка «Звонок к дворнику». В блокаду Фрося пошла работать дворником, и так и осталась дворником. Она не менялась. Она всегда казалась нам одного возраста. Когда мы были школьниками, она уже была старой. Она нянчила Вадима, вела их дом. В январе сорок второго года я пришел сюда с банкой сгущенки и мороженым ломтем хлеба. Фрося сидела на этой лавочке, с противогазом. Я бросился целовать ее. Она заплакала и повела меня к Галине Осиповне. И после войны, когда я зашел, она сидела на этой лавочке, в черном ватнике, такая же прямая, в железных очках, седые волосы коротко острижены. А потом я перестал ходить по этой стороне Фонтанки, я делал крюк, чтобы не встречаться с Фросей. Но и это, оказывается, было давно.

В просторной парадной сохранился камин, висело зеркало. Мы посмотрелись в него и поднялись на второй этаж. Я хотел позвонить, но Веня заспорил, показал на квартиру напротив. Я удивился: неужели он мог забыть? И он поразился тому, что я не помню. Мы топтались на площадке, пока не вспомнили, что у Вадима был балкон. Спустились вниз, оказалось, по обе стороны парадной имелось по балкону. Мы снова поднялись. Нам и в голову не приходило, что мы когда-либо можем забыть двери его квартиры. Нет, нет, его дверь была налево. Или направо? Обе двери были свежескрашены.

— Послушай, — сказал я. — Ведь я был здесь после войны.

— Ты был? Почему ж ты мне не сказал?

Он не успел меня остановить, я повернул ручку звонка.

Светло-коричневая дверь была глухой, без надписей, почтовых ящиков, расписания звонков. И сам звонок, врезанный

посредине, был не электрический, а ручной, таких почти не осталось.

Послышались шаги. Щелкнул замок, дверь открыл румяный парень лет двадцати. Он был слишком румяный, здоровый, в желтой клетчатой рубаше, в тапочках на босу ногу. Неужели ошибся я? Худо было то, что я стоял первый, а Веня за мной. Мне пришлось спросить:

— Простите, Пушкарёвы здесь живут?

Сама по себе фраза прозвучала для меня дико. Я вдруг сообразил, что прошло двадцать, нет, уже больше двадцати лет. Целая жизнь прошла. Вся жизнь этого парня. Какие Пушкарёвы, он скажет, что за Пушкарёвы? И мы начнем объяснять, что они когда-то здесь жили, и станем выяснять...

— Вам кого, Нину Ивановну?

— Нину Ивановну? Какую Нину Ивановну? — я оглянулся на Веню.

— Нет, Галину Осиповну, — сказал он.

Парень странно посмотрел на нас.

— Заходите. — И подошел к двери направо, постучал. — Нина Ивановна, к вам пришли.

Большая передняя медленно проступала в памяти — налево кабинет отца Вадима, Ильи Ивановича, полутемный, окнами во двор, с низким кожаным диваном, на котором мы листали огромную Библию с рисунками Доре. Там стояли шведские шкафы с книгами — механика, сопромат, мосты. Направо — столовая... Оттуда вышла маленькая старушка с желто-седыми стриженными волосами, с папиросой в зубах. Она вопросительно смотрела на нас. И парень стоял тут же, любопытно ожидая. Что-то удерживало нас спросить Галину Осиповну.

— Мы товарищи Вадима, — произнес Веня.

Она слегка отшатнулась, прищурилась.

— Веня, — нерешительно сказала она, взяла его за руку, и он просиял.

— А вы... — И она назвала меня так, как меня звали только в этом доме.

А мы не помнили ее. Вернее, я медленно начал вспоминать тетку Вадима, шумную, веселую, с высокими вьющимися волосами.

Кажется, вешалка в передней была та же. И я повесил свое пальто, как всегда, на крайний крючок.

Мы вошли в столовую. Она удивила сумрачностью и теснотой. В ней до сих пор держался дух блокадной зимы. Громоздилась старая мебель из других комнат, та, что не

стопили и не проели. С закопченного потолка свешивался грязный шелковый абажур. На облупленных подоконниках выстроились посуда из-под лекарств, банки, молочные бутылки. Стеклопанная дверь вела в соседнюю комнату, узкую, длинную, с балконом, там жил Вадим. Потом я узнал буфет. Он стоял во всю стену с колонками, пыльными сверху, украшенными медными колечками. Наверху, на буфете, блестела керосиновая лампа. В углу поднималась железная печка. Печку я не помнил. Кислые запахи бедной больной старости путали мою память.

Сели за стол, мы с Веней рядом, Нина Ивановна напротив, они о чем-то заговорили, я смотрел на керосиновую лампу, пытаюсь понять, зачем она. Давно я не видел керосиновых ламп, может быть, это была единственная керосиновая лампа во всем городе.

— Вы почти не изменились, — сказала мне Нина Ивановна. — Вы просто повзрослели, стали большим мужчиной, совсем большим.

В каменной пепельнице лежали свежие окурки. Больше ничего не было на столе. Непонятно, чем занималась Нина Ивановна до нашего прихода. Можно подумать, что она сидела тут, курила и ждала нас.

— Веня, у вас глаза посинели. А были голубые. Ярко-голубые. Ну и лоб стал больше. — Она засмеялась и торопливо раскурила новую толстую папиросу.

Я покосился на Веню. Он был лысый, глаза его выцвели, но я вспомнил, какие они были небесно-голубые и как он нравился девчонкам. Он был самым добрым из нас и самым доверчивым. Он свято верил всему, что говорили, печатали, учили. Даже неинтересно было разыгрывать его.

— Галина Осиповна умерла, тринадцать лет назад...

Тринадцать лет... это была такая давность, я ощутил только смутную запоздалую жалость; еще бы немного — и мы никого уже не застали бы.

— ...Нет, она не болела. Просто жить не хотела. Когда умер Илья Иванович, все для нее сошлось на Вадиме. Она не могла представить, что он не вернется... Она ведь долго еще ждала, вы знаете, она все надеялась...

Странно, что из всех погибших ребят я не верил только в смерть Вадима. И Веня не мог согласиться с тем, что его нет. Все остальные сразу становились мертвыми, а Вадим до сих пор...

Затем я вспомнил стол, за которым мы сидели. Он раздвигался во всю столовую, мы играли на нем в пинг-

понт, собирались за ним в праздники, справляли окончание университета. Профессор Вадима сидел вместе с Галиной Осиповной, они шептались и посматривали на Вадима. Профессор казался дряхлым. Сейчас он академик и кажется довольно крепким. Вадим был зачислен к нему на кафедру. Можно подумать, что Вадим предчувствовал, так он торопился. Он кончил университет раньше на год. На лето он остался в лаборатории. Последнее время мы редко встречались, он никуда не ходил. Иногда он вызывал Веню помочь справиться с каким-нибудь уравнением. Я обижался, ревновал. Дружба втроем — это всегда сложно.

— Теперь бы он поступал в аспирантуру, — сказала мне Галина Осиповна, когда я зашел после войны.

Я тоже тогда поступал в аспирантуру.

— Язык он сдал бы сразу, — сказала она. — Он обогнал бы вас, он хорошо знал немецкий.

Она высчитывала сроки защиты диссертации. Год за годом она представляла себе его жизнь. Кандидатскую, потом докторскую, рождения его детей, когда они должны были пойти в школу. Она расспрашивала меня про Веню, и про Люду, и про мою дочь и все высчитывала.

Тринадцать лет... я и понятия не имел. Выходит, она умерла через несколько лет после того, как я перестал заходить. Не обязательно было связывать эти события. По-видимому, я тогда уверял себя, что жестоко заставлять ее сравнивать, беречь раны. Я ничем не мог помочь ей, — для чего ж было приходить?.. Нужно ли навещать жен и матерей наших погибших товарищей? — вот вопрос... Всегда чувствуешь себя виноватым. А в чем? Что остался жив? Виноват, что здоров, что смеюсь? Нина Ивановна смотрела на меня, и я почувствовал себя уличенным. Даже сейчас, спустя столько лет, в этом доме все заставляло, чтобы начистоту...

Галина Осиповна, конечно, не понимала, почему мальчики не приходят, что же случилось. А случилось то... Впрочем, ничего не случилось, все обстояло весьма благополучно, в том-то и дело...

— Зачем у вас керосиновая лампа? — спросил я.

— Это Фрося ничего не позволяет выбросить.

— Фрося? Она жива?

— Да. Скоро она придет. Бедная, совсем плоха стала. Так-то физически ничего... — Нина Ивановна заметно расстроилась.

Мы помолчали.

— Можно, Нина Ивановна, посмотреть комнату Вадима? — попросил я.

— Пожалуйста. У меня беспорядок, вы простите.

Мне хотелось заглянуть туда до прихода Фроси. Может быть, я побаивался ее.

Книжных полок там не было. Высокие книжные полки, где стояло Собрание сочинений Джека Лондона в коричневых обложках, приложение к журналу «Всемирный следопыт», комплекты «Мира приключений», которые мы зачитывали, загоняли букинистам. Сохранился лишь его письменный стол. Тут мы готовились к экзаменам. Вернее, Вадим помогал мне готовиться. В школе он мне помогал, и когда я поступал в институт — он тоже помогал. С какой легкостью он решал любые мои сложные задачи. Он любил и выискивал головоломность. Он решал их вслух, волнуясь, заикаясь, и все становилось изящно, просто. Дверь на балкон раскрывалась, ветер с набережной выдувал занавеску. «Когда ты научишься логически мыслить?» — горячился Вадим.

В одном из портретов на столе я узнал Илью Ивановича — инженерная фуражка набекрень, полотняный китель, толстые усы; совсем забылось его лицо, а сейчас я вспомнил и то, как он читал и пел нам Фауста, объяснял, что Библия — это не страшно, ее надо читать как хорошую литературу; громадный, размашистый, резко непохожий на тогдашних взрослых. К тому времени редкостью стала фигура крупного инженера старой русской школы. Илья Иванович строил мосты на Волге, Оке... Знаменитые мосты, знаменитые изыскания, экспедиции, кольцо на руке, «прошу покорно», «стало быть, пожаловали»; были в нем независимость, гордость своей интеллигентностью, — теперь всего не вспомнить. Нас мало занимали взрослые, мы спохватываемся, когда их уже нет; ах, какие замечательные люди жили, оказывается, рядом, а нам и дела не было...

До сих пор не очень-то объяснишь, чем привлекал нас дом Вадима — интеллигентностью? добротой? еретичностью? Мы росли в коммунальных квартирах, в очередях, в каменных дворах; главным достоинством считалось наше соцпроисхождение, а в те годы для нас слово «интеллигент» звучало укором, примерно так же, как «белоручка», «спец», «мещанин», «бывший», — в общем, нечто подозрительное. И тем не менее нас тянуло в этот дом — весело-безалаберный, благородный, тут мы все были равны и пользовались теми же правами, что и Вадим.

И стояла фотография Вадима: остролицый, петушисто-

задиристый, в галстучке, уже студент. Узенький галстук, такой, как носят нынче, а пиджак с широкими плечами, обидно старомодный. Внезапно я отчетливо представил эту фотографию напечатанной в журнале рядом со студенческими фотографиями Иоффе, Жолио-Кюри, Курчатова. Погиб великий физик, и никто не знал этого.

Карточка его имела ценность лишь для Нины Ивановны и для нас двоих. Так же, как его шаткий, исцарапанный стол с мраморной чернильницей. Старые вещи всем посторонним кажутся рухлядью. Это было единственное уцелевшее место, где сохранялась наша юность. В столовой висел большой портрет Галины Осиповны с маленьким Вадимом в коротких штанишках. Типичный маменькин сынок. Мы без жалости дразнили его, пока портрет куда-то не убрали. Мы дразнили его за вежливое обращение со всеми девочками, за то, что он не умел соврать, не желал материться и писать ругательства на стенах. С трудом мы научили его играть в очко на деньги. Но все прощалось ему за храбрость. В той большой драке с соседней школой... их было больше, мы отступили во двор, потом побежали кто куда, один Вадим остался, он не умел убегать. Он дрался в одиночку, пока его не повалили. Это и храбростью именовать нельзя, такой у него был характер. Бедный, заикающийся рыцарь в наилегчайшем весе.

— А вот и Фрося,— сказала Нина Ивановна.

Фрося не удивилась, увидев нас. Улыбнулась, как обычно, когда мы приходили, озабоченно, хмуровато. Конечно, она изменилась — сгорбилась, усохла, только руки остались такими же, и от этого они казались чересчур большими, с цепкими, кривыми пальцами. Мы кинулись к ней. Взгляд ее ничего не выразил.

— Гости у нас,— сказала она.

— Фрося, здравствуйте, Фрося,— громко сказал я.

Глаза ее были мутны, она кивнула мне и стала вынимать из сумки свертки.

— Раз гости, надо чайку поставить.

Мы называли ей свои имена, кричали все громче,— не могла ж она забыть нас. Только что я со страхом представлял, как она скажет: пожаловал наконец, где ж ты был, паршивец этакий, друзья Вадечкины называются, паршивцы вы,— а теперь мне больше всего нужно было, чтобы она узнала нас.

— Фросенька, они с Вадей учились,— на ухо сказала ей Нина Ивановна.

— Да, да, стара я стала, — виновато сказала Фрося. — Вот ватрушку принесла.

Нина Ивановна покраснела, взяла у нее пакет:

— Ватрушка — слабость ее. Если вы не торопитесь, мальчики, попейте чаю, она рада будет.

Она произнесла «мальчики» так же, как всегда говорили в этом доме.

— Там стоял рояль, — тихо сказал мне Веня.

Боря сидел за роялем. Мы чего-то сочиняли и пели. Что мы тогда пели? Нет, это вспомнить невозможно. Двадцать девятого июня. Спустя неделю после начала войны. Мы собрались последний раз. Я уходил в ополчение. Вадим тоже уходил в свою морскую пехоту. Веня ушел позже. То, что этот вечер последний, мы и думать не желали. Будущее было тревожным, но обязательно счастливым, победным, в маршах духовых оркестров, в подвигах, в орденах. Будущего тогда было много, о нем не стоило заботиться. Боря барабанил на рояле фокс, сделанный под Баха, мы пили хванчкару, темную, густую, заедали крабами. В магазинах было полно крабов. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».

Мы с Вадимом были в гимнастерках, обмотках и отчаянно гордились. О войне говорили мало, мы не знали, какая она. Ошеломленность и недоумение первых дней миновали. Возникало оскорбленное сознание нашей правоты, — может быть, впервые в короткой нашей жизни у нас было такое ясное бесспорное чувство правоты. Кто-то читал стихи. Ира заканчивала филфак, и все принялись обсуждать, что такое литературоведение — наука или искусство. Хорошо, уточним, что такое наука?

«Наука — это то, что можно опровергнуть», — сказал Вадим.

Он умел поворачивать привычное неожиданной стороной. Раз нельзя опровергнуть, следовательно, это уже перестает развиваться, перестает быть наукой.

Посреди нашего спора Галина Осиповна молча вышла. Вадим пошел за ней. И только тут тревожное предчувствие коснулось нас. Наверное, взрослым невыносима была наша беззаботность.

Погасили свет, открыли окно. Вода в Фонтанке отражала белое небо, свет без теней, слепые окна шереметьевского дворца. Мы стояли, обнявшись, ушастые, стриженные под бокс, чуть хмельные; жаль, что я себя не помню, себя никогда не представляешь, зато я помню пушок на щеках

Вадима — он только начал бриться, позднее нас всех. Он вернулся и стал рядом со мной. До чего ж мы ни черта не понимали!.. Но я не испытывал сейчас никакого превосходства перед теми ребятами, перед тем собой. Скорее я завидовал им. То, во что мы верили, было прекрасно, и еще больше то, как мы верили.

— И с чего это вы решили пожаловать? — как можно мягче спросила Нина Ивановна. Она нарезала ватрушку, красиво раскладывала ее на вазочке.

Я молчал.

Фрося наливала чай, большие руки ее тряслись. Веня вздохнул, он привык, что во всех наших историях ему доставалось самое трудное.

— Мы давно собирались... случайно оказались...

Фрося пододвинула нам остатки ватрушки на бумаге.

— Что ты делаешь, Фросенька? — сказала Нина Ивановна. — Я ведь уже положила.

Та посмотрела на нее, не понимая. Нина Ивановна взглянула на нас и обняла Фросю, словно защищая.

— Ах, Фрося, Фросенька. Бесполезные мы стали. Соседи не дождутся. — Она криво усмехнулась. — Уплотнить нас нельзя, сугубо смежные комнаты. Да, так мы о чем?..

— Ничего больше не выяснилось про Вадима? — быстро спросил Веня.

— Откуда ж... Разбомбили их в сентябре под Ораниенбаумом. Никого не осталось, только и успел написать два письма. — Она деликатно подождала, но мы не просили показать этих писем. Передо мной сразу возник детский почерк Вадима, я почувствовал сведенные мускулы своего лица, тупое, жесткое выражение, как маска, которую не было сил содрать.

— А как ваши успехи, Веня? — спросила Нина Ивановна.

Откуда-то издалека доносился его послушный голос, и я тоже издалека увидел его жизнь.

Конечно, повезло, что он, провоевав всю войну, остался жив, но отсюда, из этой квартиры, судьба его никак не совмещалась с тем голубоглазым мечтательным Веней. Казалось, что останься Вадим жить, все сложилось бы иначе, была бы настоящая математика, а не чтение годами того же курса в техникуме. Может, и мне Вадим не позволил бы уйти из аспирантуры, не то что не позволил, а я сам не ушел бы. Во времена Вадима я соглашался, что самое великое со-

бытие — это открытие нейтрона. Вади́на физика влекла меня больше, чем мои гидростанции.

Но вся штука в том, что он и не мог уцелеть. Такие, как он, не годились для отступления.

Начало войны, ее первые горькие месяцы, эта бомбежка под Таниной горой, с рассвета нескончаемые заходы самолетов в пустом июльском небе, когда мы, обмирая от потного страха, вжимались в стенки окопов, а потом пошли танки, и мы стреляли и стреляли по ним из винтовок, а танки неудержимо наползали, справа через фруктовый сад, ломая белые яблони, и слева по зеленому овсу. Не выдержав, мы выскочили из окопов и побежали. Мы бежали от танков, друг от друга, от самих себя. Задыхаясь, я перепрыгивал плетни, канавы, падал и снова бежал, пока не свалился, ломая кусты, в пробитый солнцем ивняк. Пальцы вцепились в землю, она судорожно вздрагивала от бомб, отталкивая, не в силах защитить меня. В этом гибнущем, распадающемся мире память моя ухвати́лась за Вадима — он не мог, не способен был так бежать, спастись, он остался бы в окопах. Я лежал и плакал от стыда. До самой осени, пока мы отходили, эти минуты возникали передо мной, как заклинание.

Нина Ивановна рассказывала про свой давний спор с каким-то студентом:

— ...тогда он заявил, что если бы Пушкин убил Дантеса, то уже не смог бы быть Пушкиным. Он доказывал, что и сам Пушкин изменился бы, и наше восприятие. Я готова была растерзать его.

В углу стоял старый телефонный аппарат с кнопками. Группа «А» и группа «Б». «Ребята, позвоните мне в комитет комсомола». — «Барышня, барышня, дайте мне Мишу». — «Мишу? Он убит», — сказала барышня. «Как убит, он же только что был здесь, он писал такие стихи!.. Барышня, а где ж тогда Люда, его невеста, черненькая Люда?» — «Она так и не вышла замуж, — вздохнула барышня, — жизнь ее сломалась и погасла». — «Вызовите тогда Борю. Борю Абрамова, композитора, помните, как он сочинял? А Митя Павлов, что с ним случилось? А Толя, почему не отвечает Толя? А Сева Махоткин... кем бы они могли стать?» «Полгода мне не хватило, — сказал мне Вадим, — хотя бы месяца четыре». Он мог не идти, но он поступал по законам своего дома. Он до конца прожил по этим законам. «Барышня, подождите хотя бы четыре месяца, и вы увидите...» — «Алло, куда вы пропали?» — сказала барышня...

Куда мы пропали? И где та барышня?

Остались только эти две старухи. Когда они умрут, всю эту мебель, фотографии, портреты, все барахло выкинут, комнаты побелят, оклеят.

Что-то произошло со мной. Прошрое меня влекло больше, чем будущее. В стране будущего мы никого не знали и нас тоже. Здесь же нам, оказывается, рады хотя бы эти две старые женщины. Здесь нас ждали. Прожитые годы были полны загадок, мы жили наспех, не всегда понимая то, что творилось вокруг. Теперь же, когда мы стали кое в чем разбираться, прошлое было недоступно.

Мы смирно сидели под пытливыми взглядами старух. Секрет нашего появления все еще мучил их. Нина Ивановна начинала рассказывать про себя, про свою последнюю работу переводчиком в КБ, сконфуженно умолкала, чувствуя, что нам это неинтересно, — ей хотелось понять, что нам нужно. Маленькое личико ее наливалось краской, воспоминания набухали в ней, она стеснялась дать им волю. Волнение ее передалось Фросе, она все подсовывала нам ватрушку, смотрела то на Нину Ивановну, то на нас, мутные глаза ее метались, казалось, она вот-вот нас узнает.

— Вадим так и числится без вести пропавшим. — Нина Ивановна раскурила новую папироску. — Нельзя мне курить, ничего не могу поделать.

Может быть, она стеснялась расстраивать нас рассказами про Вадима? Слишком хорошо мы знали, что означало «без вести пропавший»...

А вдруг и у меня когда-то были опасения: не попал ли Вадим в плен? Взяли раненым, без сознания, отправили куда-то в лагерь. Были эти подозрения или нет? Разумеется, нет, но я знал, я не раз убеждался, что слишком плохо помнил того себя, послевоенного. Боюсь, что я тоже считал правильным не доверять всем, кто жил в оккупации, и всем, кто был в окружении, всем, кто был в плену. Однажды я спросил себя: а что, если он жив, в плену, — ты рад? И не мог ответить, испугался. Какой же я был... Но ведь это тоже был я. Обходить этот дом — так было удобней. Он слишком много требовал. Он мог уличить, сравнить. Без него было легче.

Мы допили чай, встали. Нина Ивановна растерялась, она не удерживала нас.

— Стекла-то у нас сохранились, — вдруг сказала Фрося. — Заложили окна кирпичом. Амбразура, что ли.

— Это во время блокады. Она сама кирпичом закладывала, — пояснила Нина Ивановна.

Веня ни с того ни с сего заулыбался:

— А что, абажур тот же самый?

Нет, он спутал, висел совсем другой абажур. Тот абажур, желтый с черными фигурками, я подпалил, устроил какие-то опыты и никак не хотел признаваться. Галина Осиповна делала вид, что ничего не произошло, виновата лампочка, слишком большая...

Забытый детский страх вернулся маленьким, нестрашным, — сейчас все выяснится.

Нина Ивановна помедлила, пожала плечами, запрятав смешок. Или мне показалось?

Фрося доедала ватрушку. Мы стояли, не зная, как уйти. Это было труднее, чем прийти сюда. Веня незаметно толкнул меня. Я и сам понимал, что мне надо что-то сказать.

В конце концов я затащил его сюда. Но я все смотрел на эту комнату и молчал.

— Вы простите, нам пора, — хрипло произнес Веня.

— Ну что вы, мальчики, я была рада. — Нина Ивановна церемонно наклонила голову. — Кто бы мог подумать...

Я смотрел вниз на давно не чищенный, почернелый паркет, словно разыскивая что-то. Рука Нины Ивановны вдруг легла на мою руку, пальцы ее дрожали. Мне захотелось наклониться и поцеловать ей руку, но я не умел, то есть вообще-то я умел, но сейчас я был из того времени, когда никто из нас не умел, не хотел уметь, слишком это было старомодно и смешно — целовать руки.

Она не сказала нам: заходите, приходите еще. Не решилась? Не надеялась? Не захотела?

Она взяла Фросю под руку, и они стояли в большой полутемной передней, обе маленькие, седые, и смотрели, как мы, пятась и бормоча, уходили, так ничего не объяснив и не обещая.

Невский оглушил шумом воскресного многолюдья. Стучали каблуки, неслись машины, звуки сталкивались, разбегались, тревожные, как будто кого-то догоняли, кого-то искали. Глаза девушек из-под капюшонов быстро обегали нас и устремлялись дальше. Каждая из них напоминала мне Иру, Люду, Катю. И парни с поднятыми воротниками коротких пальто, высокие, нежнокожие, только начинающие бриться. Где-то среди них должен был идти Вадим. Я вдруг подумал — будет ли он теперь сниться, увижу ли я его еще?

— Растревожили, разворошили, — сказал Веня. — И им тяжело, и нам. Странно, чего нас потянуло?

— Жалеешь?

— Нет, — сказал он. — Когда-нибудь же мы должны были прийти.

В том-то и дело, подумал я, рано или поздно мы должны были вернуться в этот дом. Не ради Вадима, ради себя. Вот опять этот дом на Фонтанке появился в нашей жизни, он уже не тот, мы не те, но все равно... Что-то, значит, оставалось все эти годы, нам-то казалось, что уже ничего нет, мы вроде и не нуждались, какого ж черта!.. Словно кто-то позвал нас, словно те годы — они продолжали существовать. Запах паленого абажура, обмотки, Фауст, книги, дом честных правил...

— А что, если и к нам когда-нибудь пожалуют? — сказал я.

— Кто? — спросил Веня. — Ко мне? Сомневаюсь. Не тот дом. Ты считаешь, кому-нибудь понадобится?.. — Он покачал головой. — Пожалуйста, пусть приходят. В конце концов, мы честно воевали.

Потом он сказал:

— Надо было спросить Нину Ивановну, чем им помочь. Может, лекарства какие...

— Это верно, — сказал я.

«И кроме того... — подумалось мне, — и кроме того...», но что кроме того, никак было не вспомнить, никак было не пробиться сквозь ржавчину времени.

Веня взглянул на часы, его ждали с обедом. Мы распрощались. Я пошел один. Эти парни и девушки посматривали на меня, наверное, что-то произошло с моим лицом, может быть, я был слишком далеко, но мне было наплевать, мне было сейчас не до них, я думал про Вадима, и про то, что от него осталось, и про то — будет ли он мне сниться теперь?

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Анастас колотил палкой по ставням и кричал:

— Эй, Стеха! Чего закупорилась? Не вишь — утро? Ставни открой!

Удары раскатывались по селу, а старый пустой дом гудел и ухал, как огромный чугунный котел.

Потом Анастас поднялся на крыльцо и обалдело уставился на новый тяжелый замок, висевший в кованых пробоях двери.

— Откуда такой замок взялся? Кажись, у меня такого и не было. Разве что Стеха купила.

Анастас принялся искать ключ. Он обшарил щели и дырки в дверях, перещупал пазы бревен, перевернул полусгнившие ступени крыльца. Когда все было ощупано, обшарено, перевернуто вплоть до кирпичей под окнами, Анастаса взяла оторопь.

— Куда же она его запрятала? Разве что в собачьей будке посмотреть. — И он пошел в сад.

В былые времена, когда он был молод и когда еще был жив беззлобный и брехливый «дворянин» Полкан, будка служила надежным семейным тайником для ключа. Но пес давно издох, будка давно сгнила, и Анастас давно состарился.

Старик бродил по саду меж одичавших кустов смородины и крыжовника. Он забыл про ключ: теперь его одолевали другие мысли. Он негодовал на жену Стеху, на сына с невесткой за то, что они своей беспечностью и бесхозяйственностью погубили дивный сад. Пышную бесплодную яблоню и полузасохшую грушу он скверно выругал, грозился начисто вырубить буйный вишенник. Но злость и обида скоро прошли, их сменила тупая усталость. Дойдя до колодца, он присел на источенный червями трухлявый сруб.

На старика снизошло небытие. Последнее время оно все чаще и подолгу одолевало Анастаса. Сердце еще качало

кровь, но уже не способно было чувствовать. Он неподвижно сидел на срубе и широко раскрытыми глазами смотрел на мир. Видел ли он что-нибудь — трудно сказать.

Стояло бабье лето, ясное, безмолвное и грустное, по утрам знобкое, днем жаркое, а ночью холодное. Прозрачная паутина, словно сети, опутала длинный забор. На дуплистой липе с блекло-зеленого листка плавно спускался паук. Дружная семья коренастых одуванчиков расцветала вторым цветом, и он был ярко-желтый, как само солнце.

Голоногая с хитрыми зелеными глазами девчонка пролезла сквозь тын, подпрыгивая, подбежала к колодцу:

— Дедушка Анастас, айда завтракать!

Старик не пошевелился и продолжал смотреть в одну точку. Девочка пососала палец, потопала босыми, красными от холодной росы ногами, потом присела на корточки и заглянула в глаза Анастаса. Они были круглые, оловянные и смотрели не мигая, как у слепого. Девочке стало страшно. Она вскочила и со всех ног бросилась от колодца. Но, добежав до забора, остановилась и, постояв немного, вернулась назад. Старик сидел в прежней позе. Девочка, замирая от страха, с какой-то отчаянной решимостью дернула Анастаса за рукав рубахи:

— Дедка, пойдем домой?

Анастас вздрогнул и удивленно посмотрел на девчонку:

— А? Чего ты говоришь-то?

Девочка подпрыгнула и засмеялась:

— Зову, зову, а ты как глухой. Пора завтракать. Картошка стынет, и мамка ругается, — радостно, без передышки сыпала она и тянула Анастаса за руку. Он едва поспевал за ней и широко, бессмысленно улыбался.

Они вышли из сада, обогнули дом с наглухо заколоченными окнами, и тут Анастас решительно заупрямился:

— Куда ты меня, пострел, тянешь? Вот ведь дом-то мой.

Девочка всплеснула руками:

— Ой, какой же ты смешной, дедушка!

Анастас повернул назад, к крыльцу своего дома. Девочка догнала старика, вцепилась в подол рубахи и заревела.

Анастас остановился:

— Ну, ну, не плачь, глупая. Экая глупая.

— Зачем ты меня пугаешь? — глотая слезы, сказала она. — Небось и картошка остыла, и мамка ругается.

— Ну коли так, идем же скорее, — охотно согласился Анастас и опять направился к своему дому.

— Да не туда! — закричала девчонка и сердито топнула ногой. — У, какой упрямый, как бык!

— Как не туда? — удивился старик. — Вот ведь мой дом.

— А вот и нет. Теперь ты у нас живешь.

— У кого — у вас?

— У нас. У папки моего, Ивана Лукова.

Старик махнул рукой:

— Эва что придумает. В чужом доме жить. А свой на что?

— Там теперь никто не живет...

— Как никто? А я... А баба моя... Сын мой, Андрей Анастасьич. Эка ты глупая девка-то. — Старик привлек к себе девочку и подолом рубахи вытер ей мокрый нос. Она прижалась к Анастасу. Он гладил ее всклокоченные волосы и как мог успокаивал.

— И совсем не глупая. И совсем не глупая, — всхлипывая, говорила девочка. — Ты сам все забыл. Все, все на свете, и бабушка твоя померла.

— Кто — померла? — переспросил старик.

— Твоя бабушка Степанида. Совсем недавно ее похоронили.

— Похоронили Стешу? Вона что... — Анастас поднял вверх голову и перекрестился.

— Пойдем, дедушка Анастас.

Она тихо потянула старика за руку, и он покорно поплелся за ней...

Анастас Кузьмич Засухин страдал провалом памяти. Болезнь то внезапно наваливалась на Анастаса, то так же внезапно оставляла его. Первый раз она посетила Анастаса пятнадцать лет назад, после того как он сжег колхозную ригу со льном. По этому случаю Засухина вызвали в прокуратуру к следователю. Перепуганный насмерть Анастас, до этого не имевший никакого понятия ни о судьях, ни о прокурорах, внезапно все забыл и на вопрос следователя: «Расскажите, как было дело?» — ответил вопросом: «Какое еще дело?»

Следователь улыбнулся:

— Ты мне не строй злоумышленника. Рассказывай, как спалил ригу.

Анастас обалдело уставился на следователя:

— Какую еще ригу?

— Обыкновенную ригу, колхозную, со льном, — пояснил следователь.

— Да нешто я ее спалил? — удивленно протянул Анастас.

— Точно, спалил, и головешек не осталось.

— Вона что... А я-то что-то и не припомню.

— «Не припомню»... Забавный тип ты, Засухин. Прямо по Чехову жаришь, — засмеялся следователь и, резко оборвав смех, принял строгий вид: — Вот что, дорогой мой, о том, что ты спалил ригу, всем известно, и доказательств не требуется. Понятно?

— Так-так, — подтвердил Анастас.

Следователь откинулся на спинку стула. Высоко вскинул брови и показал Анастасу палец:

— Мне важно знать, был ли умысел или простая небрежность. — Следователь описал пальцем круг и продолжал: — Умысел бывает косвенный и прямой. Понимаешь, Засухин?

— Так-так, — заулыбался Анастас, следя, как тонкий палец следователя мелькает перед его носом.

Улыбку Анастаса следователь почему-то принял за насмешку. Он густо покраснел и резко сменил добродушный тон на грубый:

— Ты мне не прикидывайся. А говори прямо. Нарочно спалил ригу или так, по халатности?

— Чего ты мне говоришь-то? Кто кого спалил? — наивно переспросил Анастас и окончательно восстановил против себя следователя, который, в сущности-то, и не желал старику зла.

Следователь вел порученное ему уголовное дело. Он был молодой, горячий, в своей работе превыше всего ставил объективность и беспристрастность. Дело о поджоге он относил к делам бесспорным и пустячным, отлично видел, что обвиняемый — не преступник: просто недоразвитый колхозник; знал, что и ригу он сжег без умысла: уснул и сам чуть не сгорел вместе с ней; и был уверен, что наказание ему будет условное. Следователь и сам бы мог внести в протокол нужные ему показания, и, конечно, обвиняемый не читая подписался бы под ними. Но где тогда объективность? И ради этой объективности он добивался от Анастаса одного только слова «уснул». Ему очень хотелось подсказать это слово Анастасу. Но не мог: мешала беспристрастность. И он продолжал допрашивать Анастаса. Доведенный до бешенства его ответами: «Какое дело?..» и «Да нешто это я?..» — следователь арестовал старика и, провожая его в камеру, сказал:

— Подумаешь сутки-другие — как миленький заговоришь.

Прошли сутки, другие, третьи — Засухин не заговорил «как надо». Его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

В больнице к Анастасу внезапно вернулась память, и он сказал то заветное слово, которого так упорно добивался молодой следователь. А в суде опять забыл. Суд не был так щепетильно объективен, как следователь, и, чтобы поскорее развязаться с затянувшимся делом, приговорил Анастаса к условному наказанию. В колхозе условное осуждение расценили как чистое оправдание. «Придуривался, придуривался и вылез сухим. Вот уж придурок так придурок», — долго судачил народ. Кличку «придурок» он носил лет пять, пока колхозники не убедились, что у Засухина и в самом деле не все дома. На общем собрании, когда решался вопрос о распашке залежных земель, Анастас Засухин неожиданно для всех заявил, что давно пора заняться «черным переделом».

В период провала памяти Анастаса одолевало тупое безразличие ко всему. Когда же она возвращалась, Анастаса охватывала бурная деятельность.

Засухин находился в полном сознании, когда гроб с его Стехой опустили в могилу. Он первым бросил горсть земли, низко поклонился и сказал: «До скорой встречи, Стеша». А на поминках произошел конфуз.

Перед первой скорбной остановкой Анастас что-то хотел сказать, но, не найдя слов, тяжело вздохнул, выпил и, не закусывая, долго сидел, качая головой из стороны в сторону. Налили по второй. Анастас неожиданно взбодрился:

— Нам жить, а Степаниде Мироновне гнить!

Гости потупились, а пышная, грудастая жена сына, приехавшая из города на похороны, поморщилась и сказала мужу:

— Андрей, не давай ему больше. Да и сам не нагружайся.

— Батя, хватит тебе. — Андрей хотел взять из рук отца бутылку.

— Эх, сынок, горе-то какое, а ты — «хватит». — Анастас до краев налил стопку и, потрянув головой, крикнул: — Гости дорогие! Выпьем за Степаниду Мироновну! Нехай ей там легко гнить, а нам тут весело жить!

Захмелевшие гости дружно выпили. И так перед каждой остановкой Анастас возбужденно продолжал выкрикивать: «Нам весело жить, Степаниде Мироновне гнить». А потом

запел высоко и нестройно: «Снеги белые пушистые...» — и, резко оборвав песню, вскочил и топнул ногой:

— А ну, Стеха, выходи!

Все онемели. А Анастас бил каблуком, хлопал себя ладонями по груди и коленям и продолжал настойчиво вызывать свою Стеху...

Утром, после поминок, Андрей с женой, Зинаидой Петровной, под руки привели Анастаса в дом соседа Ивана Лукова и положили в темном углу за печкой на узкую железную кровать. Анастас покорно лег на тугой соломенный матрац, заложил руки за голову. Сноха стащила с Анастаса валенки, накрыла старика одеялом и сказала:

— Здесь ему будет хорошо.

Анастас, пристально и нежно смотревший на сына, пошевелился, перевел глаза на сноху и тихо ответил:

— Куда ж еще лучше. И печка рядом.

Андрей присел к отцу на кровать. Анастас положил на плечо сына руку. Андрей поежился, поспешно вытащил из кармана сигаретницу... И пока он курил, Анастас ласково гладил плечо сына. Молчание было всем в тягость. Иван Луков и его жена Настя не поднимали глаз от полу и только изредка переглядывались. Зинаида Петровна рассматривала обстановку колхозной избы. Она была слишком простой: пестрые занавески на окнах, стол, десяток стульев, самодельный платяной шкаф, никелированная кровать с горой подушек, приемник «Заря».

«Боже мой, какая убогость», — подумала Зинаида Петровна и, тронув Настю за локоть, как бы извиняясь, сказала:

— Ему у вас будет очень хорошо. Комната теплая. — Она хотела сказать «уютная», но постеснялась и сказала «теплая».

Настя, исподлобья бросив злобный взгляд на Засухину, отрезала:

— Какая уж есть.

— Да, да, очень милая, очень милая, — поспешно заверила Зинаида Петровна и обратилась к мужу: — Андрюша, нам пора.

— Успеешь! — резко ответил Андрей и крепко сжал руку Анастаса. — Отец, ты будешь жить здесь. Понимаешь? Анастас пристально смотрел на сына.

— У соседа, Ивана Лукова. Понимаешь?

Анастас, не отвечая, продолжал разглядывать сына.

— Что же ты молчишь, отец?

Анастас приподнял голову и улыбнулся наивно, по-детски:

— Чего ты говоришь-то?

— Ты, отец, будешь жить здесь, у Ивана Лукова, — повторил Андрей.

— Эва, у чужих людей жить. А свой-то дом на что? — возразил Анастас.

— Так надо, отец.

— Ну коли так надо, тогда что ж, поживу, — нехотя согласился старик.

— Ну вот и молодец, — обрадованно подхватил Андрей, — а через год мы тебя заберем в город. Понимаешь?

Анастас кивнул головой, пожевал губами и тихо спросил:

— Старуха-то моя разве уж померла?

— Да, отец.

Анастас отвернулся к стене и натянул на голову одеяло.

Когда Андрей с Зинаидой Петровной выходили из дому, Настя плюнула им вслед и сказала:

— Бесстыжие охламоны!

— Шаромыжники! А ну их... — добавил Иван и крепкими матюками обложил Засухиных.

Через полчаса Анастас сидел за столом между старшей дочерью Луковых Раей и младшей Лидочкой. Он хлебал из общей алюминиевой миски мясной наваристый суп, хлебал и похваливал.

Супруги Луковы, приняв в дом Анастаса, с первого же дня зачислили его равноправным членом семьи. Это означало для Анастаса: ешь, пей, спи. Надо будет, выругают или пожалеют, о каких-либо привилегиях или особом внимании и не мечтай. Они твердо верили, что особое внимание не только балует, но и унижает человека.

Настя днями пропадала на молочной ферме, Иван — в строительной бригаде. Старшая дочь училась и после уроков помогала матери на ферме. Лидочка совсем была мала: она первый год ходила в школу.

Несколько дней Анастас пластом лежал на койке, не отрываясь смотрел в потолок и что-то шептал про себя. Лидочка прибегала из школы, всплескивала ладошками, качала головой и, как взрослая, говорила нараспев:

— Надо же подумать — все лежит. И как тебе, дед, не надоест лежать?

Анастас слушал, улыбался, поглаживал бороду.

— Вот еще, улыбается, как маленький! — нарочито возмущенным голосом выкрикивала Лидочка и, подскочив к Анастасу, принималась тормошить его: — Вставай, вставай, а то пролежни належишь. Да ну вставай, дед, обедать будем!

При слове «обед» старик поднимался, опускал на пол ноги. Лидочка усаживала деда за стол, потом доставала из подпола отпотевшую крынку с молоком.

Как-то Лидочке вздумалось накормить Анастаса щами. Длинной кочергой она подцепила в печке полуведерный чугунок со щами и опрокинула его. Перепуганная насмерть Лидочка не знала, куда спрятаться. Она очень боялась матери, у которой был вспыльчивый характер и хлесткая рука.

Когда Настя пришла с работы и увидела в печке перевернутый котел, она позеленела от злости и, вытащив из веника прут, бросилась искать дочку. Заглянула под кровать, слезила в подпол, на чердак, обшарила все углы в сенях, во дворе и, не найдя, пообещала расправиться с ней, как только явится домой.

Начало смеркаться. Прибежала с фермы Рая, вскоре пришел с работы и отец. Пора было ужинать. Лида не являлась. Настя забеспокоилась. Уже совсем стемнело, когда Луковы отправились искать дочку. Поиски были долгими и шумными: вся деревня поднялась на ноги. Настя, обезумев, носилась по улице, истошным голосом вызывала Лиду. Она вначале грозилась заporоть ее до смерти, потом начала умолять и клясться, что ей ничего не будет, а потом заревела на всю деревню дурным голосом.

Была глубокая ночь, когда Луковы вернулись домой ни с чем. Настя неутешно плакала. Молчаливый Иван грубо прикрикнул на нее и приказал собирать ужин. Настя, глотая слезы, накрыла стол и пошла будить Анастаса. Откинув одеяло, она радостно заголосила:

— Ах ты, негодная овца! Что же ты со мной делаешь?!

Под боком Анастаса, свернувшись, безмятежно посапывала Лида.

Так между старым и малой завязалась дружба. Лида отца не боялась. У него хоть на голове пляши, слова не скажет. Зато матери под горячую руку не попадайся. И Анастас явился для нее надежной защитой. Когда после очередной проказы Лида пряталась за спину Анастаса, Настя ее не трогала, а только грозила:

— Ну, погоди, выпорю, так выпорю — живого места не оставлю.

Прошла неделя. Анастас не выходил из дому. Почти все время лежал в своем углу, уставясь в потолок, вытянув поверх одеяла длинные вялые руки... И вдруг в то утро пропал...

Лидочка разыскала старика в саду и привела домой. Настя резко отчитала Анастаса:

— Ты куда ушел без спроса, а? Кто тебе такую волю дал? А?

— Как куда? Гулять, — невозмутимо ответил Анастас.

— Какой гулена нашелся. Ты посмотри только на себя. Срам. А рубаха-то, рубаха! Словно ее корова жевала. Лида, достань-ка из комода бабкину красную рубаху.

Напяливая на Анастаса рубаху, Настя продолжала пилить старика:

— И зачем я навязала тебя на свою шею? Потому что дура, вот зачем. Ты думаешь, велика мне радость — твои двадцать рублей? Да разве это деньги? Тьфу!.. Я сама на ферме много больше выгоняю.

— Мамка, хватит ругаться, — укоризненно протянула Лида.

— Я не ругаюсь, правду говорю. А правду никому не побоюсь в глаза сказать, — отрезала Настя и критически осмотрела наряд Анастаса. — Не очень-то чтоб очень. Ну да не на свадьбу... Разве что воротник сузить.

В широкой Ивановой рубахе Анастас утонул. Торчала лишь круглая, как клубок шерсти, голова с маленьким скомканным лицом. Настя подшила воротник, застегнула пуговицы и, запрятав подол рубахи старику в штаны, погрозила пальцем:

— Взяла я тебя из жалости. А коли так — соблюдай порядок... дисциплину. А будешь нарушать мою дисциплину, так я быстро распоряжусь — в багаж и на станцию. Пусть с тобой в городе культурные нянчатся, а у меня, запомни, не богадельня.

Анастас слушал, улыбался, и трудно было понять, чему он радовался. Тому, что его приютили из жалости, или тому, что на нем новая красная рубаха, которая старику очень нравилась.

На другой день с утра он опять околачивал палкой дощатые ставни. На третий день — тоже. И все чаще и

подолгу пропадал в саду. К нему возвращалась жажда деятельности. Он вдруг принимался окапывать давно одичавший куст крыжовника и работал до тех пор, пока его взгляд случайно не останавливался на куче дров. Он бросал лопату и шел укладывать в поленницу дрова. Но и это дело быстро забывал и начинал заделывать дупло старой липы. Липа была ровесница Анастасу и готовилась при первом сильном ветре свалиться. Сердцевина у нее сгнила, и ствол при ударе гудел, как труба. Эта работа тоже скоро останавливалась из-за консервной банки, которая случайно попадала старику под ноги. Анастас поднимал банку, вытряхивал из нее мусор и радовался как ребенок:

— Эх, банка хороша! Как раз для червяков на рыбалку.

В нем пробуждалась хозяйственная жилка, и, хотя, занятия старика были наивны и бесполезны, в них проглядывали проблески сознания. И медленно возвращалась память. Луковы ни в чем не ограничивали старика и предоставили ему полную свободу. Они, по-видимому, считали, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, хотя потом и раскаивались.

Старая полудикая груша, родившая мелкие, как орех, и страшно кислые плоды, наполовину высохла. Анастас решил ее малость окультурить. По лестнице с ножовкой в руках он влез на грушу и энергично принялся спиливать отмершие сучья. Старику помогала Лидочка: она подбирала сучки и складывала их в кучу. Груша была нацисто обрита, оставался один небольшой сучок. Анастас, бросив на землю ножовку, потянулся к сучку и, потеряв равновесие, опрокинулся с лестницей. Когда Лидочка подбежала к нему, Анастас лежал на спине.

Иван Луков перебирал пол в колхозной бане, когда прибежала посиневшая от страха Лидочка и, уткнувшись в колени отца, заголосила:

— Дедка Анастас разбился!

Невозмутимый Иван только крикнул и, поставив дочку на ноги, корявой, как дерюга, ладонью вытер ее мокрое лицо.

Когда Иван распахнул калитку в сад, Анастас сидел, привалившись спиной к стволу груши. Иван подошел к нему и долго в упор разглядывал старика. Анастас смотрел на Лукова, и в глазах его, обычно тусклых и пустых, стояла безысходная тоска.

Иван опустился на колени, вытащил коробку с ма-

хоркой, скрутил толстую, как сигара, цигарку, глубоко затянулся и, выдохнув дым в лицо Анастаса, спросил:

— Мостолыги-то целы?

— Кажись, целы,— пробормотал Анастас.

Прошло добрых пять минут, пока Иван накурился, он раздавил о каблук окурок и наконец, собравшись с мыслями, сказал:

— Проверься хорошенько. Если что, так враз машину и в больницу наладим.

— Проверялся... ничего. Только вот в плече да... в затылке гудёт.

— Дюже гудёт?

Анастас болезненно сморщился:

— Не так чтоб дюже, а гудёт.

— Тогда ничего. Погудёт и бросит,— заверил Иван, одной рукой подхватил под мышку лестницу, другой — Анастаса.

Старик хоть и медленно, но твердо переставлял ноги. Проходя мимо дома со слепыми окнами и тяжелым замком на дверях, Анастас мельком взглянул на него и, растягивая слова, спросил:

— У тебя живу-то, что ль?

— Ага,— ответил Иван.

— Так-так...— Анастас остановился, потер лоб, потом затылок.— Это, значит, так Андрей распорядился?

Иван задумался; осторожно опустил Анастаса на землю, сел рядом.

— Она.

— Так-так... выходит, что она всему голова.

— Голова баба. Крепкая голова.

Иван Луков никогда ничему не удивлялся и ни о чем не сокрушался, на жизнь смотрел просто и практично... Он был от природы грубоват. Но грубость его не перерастала в пошлость и не была оскорбительна. Она служила ширмой, за которой Луков скрывал свою простоватость и безволие. Настя еще девкой раскусила характер Ивана и женила его на себе. Сразу же после свадьбы он попал под каблук горячей и упрямой жены. Настя командовала мужем как хотела, а он, хотя и ворчливо и нехотя, во всем подчинялся. Дочери тоже учились у матери командовать отцом, хотя и любили его больше, чем Настю.

Иван решил, что, уж если Анастас в таком возрасте упал с дерева и не рассыпался, значит, старик крепкий

и выживет без врачей. Настя же решила по-своему и наутро прогнала Ивана в больницу за доктором.

Доктор выслушал, выстукал Анастаса, сказал что-то непонятное и уехал, предупредив, что, если старику будет хуже, — немедленно везти в больницу.

Анастасу не было ни лучше, ни хуже. Теперь он находился в полном рассудке, но говорил мало и с передышками. Кашлять старику было трудно, и он только кряхтел, слабо и жалобно. Настя уговаривала старика сообщить о болезни сыну. А когда он наотрез отказался, она сама украдкой отослала в город письмо.

Ответ пришел скоро. Зинаида Петровна посылала Луковым тысячу теплых приветов, униженно просила приглядеть за домом и беречь сад. О старике она вспомнила в конце письма, пообещав, что если ему будет совсем плохо, то Андрей обязательно приедет. Настя расценила ответ так, что старик им вовсе не нужен и если они и приедут, то разве что на похороны. Глубоко задетая за живое, Настя стремительно прошла за печку к Анастасу, но, увидев торчащую из-под одеяла голову, обросшую белыми мягкими волосами, круглые грустные глаза, бессильные тонкие руки, смогла выдавить одно только слово: «Дедушка...» Злость мгновенно остыла. Настя подоткнула под бока Анастасу одеяло и, смяв в кулаке письмо, тихо вышла из дому.

Анастас старался болеть как можно тише. Он с горькой обидой сознавал, что уж если стал в тягость родному сыну, то каким же неприятным, ненужным грузом он лег на плечи чужих людей, бескорыстно приютивших его, никудышного старика. Анастас, давно потерявший веру в бога, теперь горячо, до слез умолял его вернуть ему здоровье. И оно медленно, нехотя возвращалось к старику.

Когда Иван с Настей уходили на работу, а девочки в школу, Анастас с трудом и оханьем сползал с койки, добирался до приемника, включал его и, подвинув стул к окну, садился, облокотясь на подоконник. И потому, что слух жадно ловил голоса приемника; и потому, что, сидя в этой теплой, насквозь пропахшей ржаным хлебом и кислыми щами избе, он явственно ощущал, как разгуливает ветерок на улице; и потому, что чуть теплое солнце все еще золотило пожухлую стерню полей, а под окнами куст сирени с темно-зелеными листьями все еще нежился, перед тем как его хватит осенний морозец, — старик сознавал, что ему тоже очень хочется жить, и чув-

ствовал, что он обязательно будет жить и что силы вот-вот вернутся к нему.

Первой приходила из школы Лидочка. И сразу, с порога, начинала выкладывать Анастасу последние новости.

— Дедка, ты знаешь, на крыше клуба ставят антенну. Ужась какую высокую, даже макушки не видно!.. — захлебываясь от радости, кричала Лида.

— А зачем она, эта антенна? — интересовался Анастас.

— Для телевизора. В клуб телевизор новый привезли, и, говорят, очень дорогой. Мы с тобой будем, дедушка, ходить на телевизор. Правда, хорошо, когда есть телевизор?

— На что ж еще лучше, — соглашался Анастас.

Лида, не дав деду поговорить о телевизоре, сообщала очередную, не менее важную новость:

— Степку из школы выгнали. Так и надо ему! Взял, дурак, оборвал у кустов перец и давай девчонок по губам мазать; меня тоже два раза мазнул. Ужась как жгло.

— Пороть стервеца надо за такие дела.

— Теперь пороть, дедушка, запрещено.

— А что же с ним делать?

— Воспитывать, воспитывать! — хлопая в ладоши, кричала, припрыгивая, Лидочка. — А нашу Райку в газете пропечатали. Вот потеха: учится хуже всех, а ее в газету.

— Не может быть такого, — сомневался Анастас.

— Зато она хорошо работает на ферме. А теперь производственная учеба — выше школьной... вот! — пояснила Лида. — А я все равно не пойду на ферму... хоть убей.

— А куда же ты пойдешь? — спрашивал Анастас.

Лидочка, подпирая кулачком щеку, задумчиво глядела в потолок.

— Я еще сама точно не решила. Не знаю, что лучше. Или в детском саду ребятишек нянчить, или яблоки караулить. — И, спохватившись, решительно заявляла: — Ты, дед, сиди тихо и не мешай мне уроки делать.

Она вытряхивала из сумки на стол книжки с тетрадками и вместе с ними недоеденный кусок пирога, а потом взбиралась с ногами на стул, наваливалась грудью на край стола и, высунув язычок, пыхтя, выводила острые, как частокол, буквы. Стол был высок для Лиды. На нем ели, шили, гладили и долгими зимними вечерами игра-

ли в карты. Анастас думал: вот как поправится, смастерит для Лидочки удобный столик.

Вечером после ужина Анастас шел в свой угол, валялся на жесткий матрац и, заложив руки за голову, шумно вздыхал. Иван подвигал к койке табурет, садился и собирался с мыслями, чтобы завести с Анастасом умный, дельный разговор. Но мысли в его голове воровались тяжело, неуклюже, как жернова. И он никак не мог придумать, с чего же начать. Анастас первым начинал нужный разговор, над которым так мучительно думал Луков:

— Строиться тебе надо, Иван Нилыч.

Иван, сделав последнюю глубокую затяжку, выдыхал вместе с дымком:

— И то надо. Лес-то у меня давно заготовлен.

— Хороший лес?

— Ничего лес-то. Ладный лес-то. На избу с кухней.

— Плотников будешь нанимать аль сам?

— И сам и плотников. — И после долгого молчания добавлял: — А тебя, Анастас Захарыч, буду просить. Уважь, сосед, пусти в свой дом пожить, пока строюсь.

— Эва какой разговор. Да хоть завтра перебирайся и живи, — обрадованно говорил Анастас.

Луков удовлетворенно крякал и сворачивал толстую, с оглоблю, сигарку. Анастас улыбался и, хитро подмигивая, спрашивал:

— Деньжат-то небось припас на стройку?

— Ничего, хватит. В этом году мы неплохо вкалывали с Настюхой.

— Сколько же на трудовень-то пришлось? — любопытствовал Анастас.

— Ох-ха-ха! — раскачиваясь, хохотал Иван. — Отстал, ты, Захарыч. Теперь у нас как на производстве: поработал — и хрустики на бочку. Денежная оплата. Настя, подай-ка мне расценку, — приказывал Иван.

Листая толстыми, неуклюжими пальцами тоненькую книжицу расценок колхозных работ, Луков, широко улыбаясь, пояснил:

— Вот тут как в стекло, смотришь и видишь, за что вкалываешь. Полюбопытствуй, Захарыч!

Анастас углублялся в изучение книжицы, поминутно вставляя свои соображения:

— Плотницкие работы занижены. А вот заработки на ферме высокие.

— Малость высоки, — соглашался Иван.

Эти слова, словно иглы, впивались в сердце хозяйки.

— Ах ты чурбан немытый, — начинала она с низких клокочущих нот. — А ты поди сам да поработай на ферме. Небось перекуры по часу строить не будешь. — Голос у Насти поднимался, наливался звоном: — Расценки на ферме высокие?! Позавидовали, черти полосатые! А на других работах какие расценки? Туда вы не смотрите! С жита галок гонять — три рубля в день! А кого на эту работу назначили? Последнего лодыря Мишку Силакова. Да моя Лидка с этой работой справится. А он, здоровенный мужик, сидит под кустом и в чистое небо плюет. В день раз плюнет — три рубля в кармане. Разве же это не срамota?! Ты слыхал, чтоб хоть раз Мишка стрельнул? И не стрельнет, потому что этот паразит копейки щербатой на порох не истратит. А ему три рубля положи! За что?.. За что, я вас спрашиваю?! — кричала Настя, и голос у нее свистел фистулой.

— Ты чего орешь-то на нас? Поди в правление и ори, — равнодушно откликнулся Иван.

— И пойду и скажу! Все скажу. Я их, мазуриков, выведу на чистую водицу! — надрывно орала Настя.

Язык у Насти был острый, злой, беспощадный. Ее память хранила неистощимый запас ругательств, изумительно метких и язвительных. И она не переводя дыхания сыпала их и на лодыря Мишку Силакова, и на председателя, и на все правление, и на невозмутимого мужа, и на ни в чем не повинного Анастаса.

Старик слушал ее, закрыв глаза, и удивлялся, с чего это баба разошлась. Иван давно уже не слушал жену: он размышлял, о чем бы ему еще поговорить с Анастасом. Настя, видя, что ее гнев все равно что гроза в пустом поле, схватила полотенце и начала обхлестывать мужа, приговаривая:

— Это тебе за высокие расценки. Не сбивай людей с панталыку.

Иван изловчился, перехватил руку Насти и прохрипел:

— Ты чего это, а? Смотри! А то как вертану — кишки вокруг хребтины смотаются.

Настя, уловив в глазах мужа бычью ярость, стихла. И Луков снова завел разговор с Анастасом:

— Захарыч, ты слыхал — нашего председателя сильно

хвалили в газете.— И, усмехнувшись, покачал головой: — Вот чудеса!

— За что же?

— За хорошее руководство.

Анастас смеется:

— Молодец наш председатель.

— Голова председатель, хитрая голова.

Они опять надолго замолкают. Иван успевает за это время обдумать очередной умный вопрос.

— А вот,— начинает Анастас,— ты говоришь, хитер наш председатель. Это верно, хитер. Да не больно умен.

Иван пристально смотрит на Анастаса и скребет небритый подбородок:

— Это как же так понять, Захарыч?

— По деньгам ходит и не видит этих денег... Ты вот слушай, что я тебе скажу. Важная думка застряла в моей голове. Если мне не доведется ее поведать народу, так ты ее поведай. Потому как скрывать ее дальше нельзя.— Старик вздохнул и задумался.— А я ее скрывал от народа сорок лет... А зачем? Сам теперь не знаю... Наверное, от глупости да от жадности... Подло скрывать добро от народа. Это я только сейчас понял. Да слишком поздно.

— Конечно, нельзя скрывать,— поспешно соглашается Иван, хотя не понимает, о каких это таинственных деньгах толкует старик, по которым председатель ходит и не видит.

Анастас приподнимает с подушки голову и говорит полупешотом:

— А деньги-то, сосед, лежат у реки, на заливном лугу.

Иван, раскрыв рот, очумело смотрит на Анастаса:

— Клад?

— Богатый клад... Ты знаешь три низинные котловины? Те, в которых вода до середины лета держится, а в мокрый год и совсем не высыхает?

— Да ты, никак, о лягушатниках толкуешь? — изумляется Иван.

— О них. А какие там деньжищи зарыты! Только надо уметь их взять.

Луков ухмыляется и качает головой.

— Да ты не тряси своей глупой башкой, а подумай,— вспыхивает Анастас.— Если эти котловины очистить, углубить да соединить с рекой, то что получится? Проточные пруды. Уразумел?

Иван пожимает плечами:

— А на что они, пруды-то? Лягушек разводить?

— Не лягушек, а карпа зеркального. Слышал о такой рыбе?

— Слышал, а есть не приходилось. Говорят, сладкая рыба.

Уронив голову на подушку, Анастас размышляет:

— Выгодное это дело для колхоза — рыбоводство. Денежное...

— Оно, конечно, может, и выгодное, да трудное, — возражает Луков.

— А без труда не вытащишь рыбку из пруда, — веско замечает Анастас.

Утомленный разговором, старик закрывает глаза и поворачивается к Ивану спиной. Луков включает приемник и слушает «Последние известия».

Колхозники ложатся спать рано. Еще нет и одиннадцати. Один за другим, как по команде, слепнут дома. За окнами глухая, с непроглядным низким осенним небом, ночь. Ветер раскачивает на столбах электрические фонари. Тускло-желтые пятна света всю ночь до утра ползают по маслянистой, жирной грязи.

Прослушав «Последние известия», Иван выключает приемник и ложится спать. И через минуту густой с переливами храп, словно грохот телеги, раскатывается по тесной избе Луковых. Он не дает уснуть Анастасу, мешает думать. А думы — то до нелепости странные, то ясные и мудрые — всю ночь беспокоят Анастаса. Внезапно его озаряет яркий свет: всплывают милые сердцу картины детства и удалой юности. И вдруг свет погаснет, и откуда-то из темноты выползает гнетущая мысль: «А жизнь-то прожита. А чего ты добился, Анастас? Ничего». Была семья и не стало ее. Была Степанида, добрая, безропотная жена. Она тайком от него со слезами на глазах просила у бога смерти мужа. И не потому, что она не любила его, нет, Степанида очень любила Анастаса, страдала и мучилась сознанием того, что будет с ее душевнобольным мужем, когда она умрет. Кому он такой нужен? На сына Степанида не надеялась. Она и любила Андрея, и презирала за то, что он унаследовал ее, а не отцовский характер. Его мягкость и покорность пугали Степаниду.

Предчувствие матери подтвердилось. Сын бросил отца. Отца из жалости выбрали чужие люди. Боль и обида породили в Анастасе злобу к собственному сыну и великую благодарность к соседям Луковым.

«И с какой стати им было связываться со мной, больным стариком?» — спрашивал себя Анастас.

Живя рядом, крыша в крышу, он ни разу не сказал Луковым теплого слова; больше того — из-за какого-то непонятого теперь самолюбия презирал их. Ивана он считал дубоголовым, ленивым мужиком, Настю — вздорной, брехливой бабой. «И вот поди же, приютили как родного, без упрека, без косого взгляда. За что? Совсем ни за что», — думал и удивлялся Анастас. Правда, иногда брюзжит и ругается Настасья, но ведь ругань-то идет не от сердца, а от несносного характера. Ругает она всех: и колхоз, и председателя, и зоотехника, мужа, дочерей и заодно Анастаса. Работает много и жадно. Улыбается редко. Зато улыбка, мягкая и лучистая, неузнаваемо преображает ее некрасивое лицо.

Глубокое чувство уважения к людям переполняет Анастаса. Он думает и о том, чем может быть полезен колхозу, который не бросил его на произвол судьбы и назначил пожизненную пенсию. И не случайно в голове старика родилась мысль о рыбоводстве, которую так и не понял бестолковый Иван Луков.

Анастасова думка не была новой. Она была подсказана ему еще отцом — скуповатым, расчетливым крестьянином. Анастас тщательно скрывал ее от всех, боялся, как бы другой не перехватил. Расстаться Анастасу с этой мечтой было так же тяжело, как трудно было расставаться с собственной землей. Это была жадность глупая, непонятная, свойственная крестьянину-единоличнику.

Анастасу стало стыдно, словно его, старика поймали за руку, уличили в подлости, в мелком мошенничестве. Зачем он скрывал? От кого он скрывал? От людей, которые в трудный час подали ему руку помощи.

Теперь старик думал о том, как он встанет на ноги, придет к председателю и выложит свою сокровенную мечту. И если председатель откажет, Анастас все равно будет бороться за нее. Как? Это уже не имело значения. Важно то, что теперь мечта дойдет до народа и народ подхватит ее. Так думал Анастас, и думал долго, упорно, пока не начинало ломить голову.

Под утро старик забывался коротким чутким сном. Выздоровление подвигалось медленно и затянулось до глубокой осени.

В то утро день начался, как и все предыдущие, с завтрака. Но в поведении Анастаса было что-то новое и странное. Он бодро встал, наскоро умылся и, в ожидании

завтрака, суетливо расхаживал, нервно потирая руки. Когда сели за стол, Анастас с жадностью набросился на подогретый вчерашний суп и хлебал его, обжигаясь.

— Куда это ты, дед, торопишься? — ехидно спросила Настя.

— Дела, Настенька, дела, — серьезно ответил Анастас.

Настя, решив, что голова старика опять начала сдавать, горько усмехнулась:

— Какие же это у тебя дела завелись?

— Многие и разные, Настенька. Первым-наперво надо Степаниде могилку поправить. Ты бы мне, Иван Нилыч, топорик подобрал.

Иван пристально посмотрел в глаза Анастасу и кивнул головой:

— Подберу.

— Я тебе подберу! — закричала Настя. — Не видишь разве, что старик опять не в своей тарелке.

Анастас посмотрел на Настю и низко опустил голову:

— Это вы совсем зря и напрасно, Анастасия Павловна. — И опять обратился к Ивану: — А топорик-то мне подбери, Нилыч.

Переубедить Настю в чем-либо было невозможно. Болезненно самолюбивая, она не терпела возражений. Иван в таких случаях во всем с ней соглашался, а делал так, как ему надо было. Если Настя доказывала, что сперва надо починить забор, а потом крышу, муж охотно кивал головой, а сам брал лестницу и взбирался на крышу — штопать дыры. А Настя кричала на всю деревню и грозила кулаком:

— Скатись, черт, скатись! Переломай себе ребра. Ты думаешь — в больницу повезу? И не думай, и не мечтай!

Настя видела, что Анастас «в своей тарелке», а все-таки решила настоять на своем и принялась горячо доказывать, что после болезни необходим покой и здоровый отдых. Но Анастас на все доводы Насти отвечал невозмутимым молчанием.

И Настя прибегла к последней угрозе:

— Иди, иди. Но если опять свалишься, пальцем не пошевелю! — и для убедительности постучала по столу кулаком.

Дул упругий октябрьский ветер, срывая с деревьев блекло-желтые последние листья, сгоняя жидкие белесые облака в грязно-серые кучи. Временами проглядывало солнце, и по бурым промокшим полям шныряли густые тени. Но

ветер быстро, словно брезентом, затягивал небо тучами, и опять моросил дождь.

На высоком бугре сиротливо мокло под дождем кладбище. С голых ветвей срывались крупные капли дождя и с глухим шлепаньем падали на пожухлую листву. От этого казалось, что во всех углах кладбища кто-то шепчется и тихо вздыхает.

Могила Степаниды — бесформенная куча песка и глины — осела. По краям на толстых ножках торчали желтые одуванчики. Анастас нагнулся, сорвал один и понюхал, потом растер цветок пальцами и опять понюхал. Одуванчик, как и все вокруг, пах осенью.

На елке в густой хвое завожился клест, на голову Анастаса посыпалась шелуха. Анастас погрозил ему пальцем, глубоко вздохнул, надел шапку.

Придя с кладбища, он взялся мастерить крест Степаниде. И весь день дотемна строгал сосновые брусья. Небывалая усталость свалила старика с ног. Он едва дотащился до кровати и мгновенно заснул.

— Вот как наработался, родименький, — заметила Настя и из жалости не стала будить Анастаса к ужину.

Потекли дни, полные утомительного и непосильного для старика труда. Анастас работал лихорадочно, на последнем пределе. Он починил развалившееся крыльцо, перебрал заново вокруг дома ограду, для Лидочки сделал столик и преподнес Насте великолепную ступку, выдолбленную из сухого березового кряжа.

Работа не принесла Анастасу ни утешения, ни здоровья. Старик осунулся и слабел с каждым днем. Он весь как бы обвис. Щеки глубоко ввалились, зеленоватые концы усов опустились ниже подбородка, из орбит выпирали блекло-синие глаза. Не работа, а тоска съедала Анастаса. Стремясь заглушить тоску, старик доводил себя до изнеможения. Настя запретила Анастасу что-либо делать. Но это не привело к лучшему.

Анастас находился в постоянном страхе за будущий день. Он чувствовал, что припадок повторится и что он будет очень опасным, а может быть, и роковым. И старик ждал его с каким-то животным страхом. Мозг у него день ото дня пух, размягчался, туманился. Теперь ему не хотелось принимать пищи. Но он ел, и ел много, потому как знал, что надо есть, и надеялся, что еда поможет ему. Настя с тревогой наблюдала, как тает старик. А таял он на глазах, словно воск. Резко выступили костлявые скулы,

нос заострился, вытянулся, сник, как клюв у больной птицы, сухая челюсть отвисла и с трудом закрывала черный рот.

Анастас почти не шутил и не улыбался, ему не хотелось и разговаривать. С утра до сумерек просиживал у окна, угрюмо разглядывая серое тяжелое небо, осклизлый забор, раскисшие капустные гряды с белыми кочерыжками, голый заплаканный куст сирени, а под ним нахохлившихся кур с мокрыми, обвисшими хвостами. Беспрерывно сыпал и сыпал мелкий липкий дождь. И день с утра походил на вечер.

В то утро Анастас, как обычно, встал рано и долго жмурился от яркого солнца. Он подсел к окну и пристально смотрел на длинное, белесое, как гусиное перо, облако. Облако медленно сползло за лес и наконец совсем исчезло. И, куда ни глянь, резала глаза чистая и холодная синь неба.

Анастас позавтракал излишне плотно. Без аппетита съел с картошкой большой жирный кусок говядины, запил его молоком и, почувствовав неимоверную слабость, прилег отдохнуть. Хозяева давно ушли на работу, дети в школу. А старик все еще лежал, пережидая тупую боль в животе. Когда она стихла, Анастас поднялся, старательно вымылся с мылом, подстриг портняжными ножницами бороду. Пристально разглядывая себя в зеркале, он горестно покачал головой и прошептал:

— Кажись, скоро конец.

Потом вытащил из-под койки сундучок, не торопясь любовно перекладывал с места на место свои наряды. Анастас остановился на новой, еще ни разу не надеванной сатиновой черной косоворотке с белыми пуговицами. Он легонько встряхнул ее и, подойдя к зеркалу, примерил. Косоворотка повисла на нем как на палке. Ворот был непомерно широк, рукава болтались.

— Ну как есть пугало огородное, — усмехнулся старик, подвернул рукава и туго заколол булавкой ворот.

Надев поверх рубахи старенький потертый жилет, он улыбнулся. Жилет обтянул Анастаса, и, вместо квадрата на ножках, он стал походить на веретено. Наряд дополнила шляпа с круто загнутыми полями.

А потом Анастас мучительно натягивал на ноги измятые хромовые сапоги с подковками и бесчисленным количеством гвоздей на подметках. Накинув на плечи синий плащ — подарок Андрея, Анастас вышел из дому и степенно, старательно обходя лужи, зашагал по не просохшей

после дождя дороге. До центральной усадьбы колхоза его подвез шофер в кабине самосвала.

Ляды — большое село, накрест пересеченное шоссейной и железной дорогами, — грохотало и суетилось. Беспрерывно сновали грузовики, лязгая, проползали длинные составы товарных поездов. И люди все время куда-то торопились, словно тысячу дел переделали и еще столько же спешили сделать.

Суета, шум, лязг угнетали Анастаса. Он здесь не был давно: года два или три, точно не помнит. Анастас и раньше не любил это село за суету и безалаберность. А за это время оно изменилось до неузнаваемости.

Село перестраивалось. Улицы были перерыты, завалены досками, грудami кирпича. Рядом с маленькими бревенчатыми почерневшими домиками стояли высокие, длинные и нелепые для села дома. Глядя на них, Анастас размышлял: «Зачем все это? Зачем человеку к небу лазать, когда еще на земле так пусто?»

Правление колхоза разместилось в новом двухэтажном кирпичном доме. В приемной председателя было тесно от просителей. Анастас занял очередь и стал терпеливо дожидаться. Но очередь подвигалась утомительно медленно, и терпение Анастаса стало убывать. Подкралось подозрение, что сегодня можно и не попасть на прием. А попасть надо было только сегодня. Завтра уже будет поздно, и, словно в подтверждение его опасений, за дверью кабинета раздался резкий звонок телефона и сочный акающий голос председателя:

— Да ну!.. Вот тебе на-а-а-а!.. Еду... Сейчас, немедленно.

Из кабинета в коротком дорожном плаще стремительно вышел председатель. Это был полный, рыхлый, как саратовский калач, мужчина. Анастас шагнул ему навстречу, загородил проход и низко поклонился:

— Роман Евсеич, не откажи...

Роман Евсеич был очень самолюбивый и обидчивый председатель; ему казалось, что все не понимают его и недостаточно уважают. Когда Анастас загородил дорогу председателю, Роман Евсеич опешил и не знал, что делать. Его рыхлое лицо вначале вытянулось, а потом смущенно заулыбалось:

— Это совсем ни к чему, папаша. Совершенно ни к чему...

— Дело у меня до тебя, Роман Евсеич. Очень серьезное дело. — Голос у старика задрожал, и он почти со слезами

на глазах добавил: — Роман Евсеич, голубчик, не откажи!

На лице Анастаса было столько надежды, мольбы и страха, что председатель как-то неестественно крикнул и, взяв под руку, повел Анастаса в кабинет.

Роман Евсеич терпеливо и внимательно слушал путанный рассказ Анастаса о своей жизни. И ему стало очень жаль этого кроткого, обиженного человека, который всю свою жизнь как муравей таскал и копил для семьи, а на старости лет доживает свой век в чужом доме. И вот теперь просит, пока в здравом рассудке, отписать свой домик колхознику Ивану Лукову, который пригрел его.

— Да ты, никак, умирать собрался? — спросил Роман Евсеич.

Вопрос был нелепый и ненужный. Роман Евсеич спохватился и, чтобы скрыть смущение, отвернулся к окну и стал смотреть на улицу.

— Готовлюсь, Роман Евсеич, — с легкой серьезностью ответил Анастас.

Роман Евсеич усмехнулся, покачал головой и задал вопрос глупее первого:

— А не рановато?

Анастас пристально посмотрел на председателя, вздохнул и опустил голову.

— Значит, сына думаешь лишить наследства?

— Я так полагаю, Роман Евсеич, теперь говорить о наследстве как-то неловко. Устарел этот обычай-то, не нужен он по нынешним временам. Если все у нас общее, то и после смерти все должно остаться обществу.

— Правильно, отец, очень правильно... Институт наследства — единственный пережиток, узаконенный государством... — авторитетно заявил Роман Евсеич.

Анастас махнул рукой:

— Я не про себя говорю. Какое у меня наследство. Один дом, и тот кое-какой. Видно, и Андрейка-то мой не очень в нем нуждается.

— Значит, дом решил завещать Луковым?

— А если возьмет колхоз — с радостью отдам, Роман Евсеич.

— Во как! Это хорошо, даже замечательно. — Председатель пристально посмотрел на Анастаса и задумался, а потом вскинул голову, весело улыбнулся и хлопнул по столу ладонью: — Решим так. Пока может, живи в нем сам, Анастас Захарыч. А если хочешь завещание оставить, то пиши на имя Ивана Лукова. Это все равно что колхозу...

Я позвоню Евсюкову. Он тебе быстро состряпает эту бумаженцию.

Правление колхоза и сельсовет находились в одном доме. Трудно было понять, кто кому подчиняется: колхоз сельсовету или наоборот. Вообще-то по закону колхоз должен подчиняться сельсовету. Но по тому, как Роман Евсеич разговаривал по телефону с председателем сельсовета, Анастас понял, что руководителя местной власти Роман Евсеич крепко зажал и спуска ему не дает.

— Слушай, Евсюков, — приказывал Роман Евсеич, — завещание оформи, и безо всяких «но» и «да»... А на законных наследников начхать!.. Судить надо таких наследников: полуживого старика бросили на произвол судьбы. Ты смотри мне, старика не мытарь. Выдай ему эту завещательную, и баста! Понял, Евсюков? Тогда действуй...

Роман Евсеич посмотрел на часы, крякнул и сокрушенно покачал головой. Анастас поспешно встал и вплотную подошел к столу:

— Прости, Роман Евсеич, не осуди. Думку хотел одну поведать.

Роман Евсеич поморщился:

— Ну что ж, валяй...

И Анастас торопливо и сбивчиво изложил свою заветную мечту о колхозном рыбоводстве. Роман Евсеич слушал его с нетерпением: то и дело поглядывал на часы, назвал Анастаса «молодцом», пообещал обязательно подумать над его «проектом», пожал старику руку и, схватив портфель, выскочил из кабинета...

Местная власть расположилась в двух небольших комнатах. В одной сидел секретарь, в другой — председатель Евсюков.

Секретарь — девушка миловидная, опрятная — одним пальцем отстукивала на машинке протокол последней сессии. Евсюков сидел за массивным письменным столом, морщил лоб и кусал ногти: он о чем-то напряженно думал. Перед ним лежал лист бумаги, на котором четкими круглыми буквами было выведено: «Наши итоги». После долгих, мучительных раздумий Евсюков взлохматил густые рыжие волосы, бросил перо, потер руки и весело посмотрел на Анастаса, который скромно сидел на краешке стула и не спускал глаз с председателя.

— Так... Значит, вы и есть тот самый Засухин? — спросил Евсюков.

Анастас встал и поклонился:

— Так точно, он самый... то есть я — Анастас Засухин из Дальних Выселков.

— Ага! Прекрасно! — воскликнул Евсюков, опять взъерошил волосы и потер руки. — Очень хорошо, товарищ Засухин! — Он прошелся по тесному кабинету, посмотрел в окно и опять сел на свое председательское место. — Тэк-с, вы по поводу завещания?

— Ну да, завещания, товарищ председатель, — поспешно заверил Анастас.

— Ясно. — Евсюков тряхнул головой и подмигнул Анастасу. — А проектик вы подготовили, товарищ Засухин?

Анастас, недоумевая, пожал плечами:

— То есть какой проектик? Что-то мне невдомек, товарищ председатель.

— Проект завещания... — Евсюков на минуту задумался, а потом довольно-таки толково пояснил: — Обыкновенное завещание, написанное собственной рукой. Вы, конечно, не написали?

— Нет, не написал, — искренне сознался Анастас.

— Ну и прекрасно! — воскликнул Евсюков. — Сейчас мы его быстренько сочиним.

Евсюков достал из ящика стола стопку бумаги, очистил перо, поскреб затылок, сказал: «Тэк-с, начнем, пожалуй», и перо забегало по бумаге.

«Я, Анастас Захарович Засухин, колхозник колхоза «Зеленые холмы», будучи в твердой памяти и здравом рассудке...» — писал и говорил Евсюков, и Анастас удовлетворенно поддакивал. Ему очень нравился этот молодой веселый председатель сельсовета. Евсюкову было лет тридцать семь. В его плотной, приземистой фигуре бурлила энергия. Большие голубые глаза были выпучены и чуть не вылезали из орбит. Ярко-рыжие волосы, казалось, горели. Чистое, с мягкой розоватой кожей, лицо было до наивности благодушным.

Когда завещание было составлено и отстукано на машинке, Евсюков дал подписаться под ним Анастасу, потом размашисто подмахнул сам и в качестве свидетеля заставил подписаться секретаря, а потом все это скрепил гербовой печатью.

Анастас здесь же, в кабинете председателя, слегка вспорол подкладку пиджака и глубоко запрятал драгоценную бумагу.

Итак, вопрос, который так тревожил Анастаса, был разрешен как нельзя лучше. Больше делать ему здесь было

нечего. Анастас решил закусить в столовой и потихоньку добираться к Дальним Выселкам.

Столовая занимала весь нижний этаж дома. Просторная, чистая, светлая, она поразила Анастаса белоснежными салфетками и необыкновенными разноцветными стульями и в то же время огорчила старика: в столовой категорически запрещалось распивать водку. А выпить Анастасу очень хотелось.

Анастас зашел в магазин, купил пол-литра и побрел на перекресток дорог — ловить попутную машину.

Луковы нашли старика на крыльце его дома. Он бесвязно бормотал, размахивал руками и все порывался сбить с двери замок. Нашли и недопитую бутылку с куском хлеба и луковицей.

Анастас надолго потерял сознание. И помешательство, в отличие от прежних, было буйным, изнуряющим. Он не спал сутками. Суетливо ходил из угла в угол, рот его нервно дергался, а глаза горели безумным, горячим блеском. Луковы насильно укладывали старика и накрепко привязывали к железной койке. Измученный старик забывался коротким, почти бездыханным сном. А среди ночи просыпался, с необыкновенной ловкостью и осторожностью снимал с себя путы и выскальзывал на улицу. Всю ночь напролет (если Луковы не спохватывались раньше) бродил вокруг своего дома. А в одну из холодных декабрьских ночей совсем исчез. Его нашли далеко от села в одном нижнем белье в копне гнилой соломы.

Анастас схватил тяжелый грипп. Высокая температура держалась полмесяца. Болезнь сопровождалась кошмарными снами, которые старик путал с действительностью. Долгое время он находился под властью странного до нелепости сновидения. Ему приснилось, будто бы кладбище перепахали трактором. Старик клялся, что он сам видел торчащие из земли ноги своей Стехи. Уговоры, убеждения, что это всего лишь дурной сон, не помогли. Иван запряг лошадь, посадил больного Анастаса в телегу и отвез на кладбище. Убедившись, что это и впрямь был страшный сон, Анастас успокоился и больше уже никогда о нем не вспоминал.

Анастас знал, что он непоправимо болен. Иногда, просыпаясь в полночь среди глубокой тишины, он чувствовал ломоту и тяжесть во всем теле. Тишина, отсутствие света и впечатлений, отдохнувший мозг только что проснувшегося человека — все это держало старика некоторое время в сознании. Но с рассветом его снова одолевали впечатления, и

голова не могла справиться с ними. Анастас опять становился безумным.

День ото дня старик терял силы, слабел. Теперь он походил на рыбу, выброшенную на берег, которая то бешено колотится о камни, то вдруг замрет, лежит, бессильно вытянувшись, минуты две-три, а потом опять начинает извиваться, биться и наконец засыпает с разинутым ртом.

Так было и с Анастасом. После буйства, непрерывных движений старик затих. Всю зиму пролежал он в темном углу на своей жесткой койке без жалоб, без движений, без мыслей. Он жил и не жил. Казалось, что смерть и жизнь заключили между собой договор: не трогать старика.

Настя не раз писала Андрею о состоянии отца. На письма неизменно отвечала Зинаида Петровна. Она униженно благодарила Луковых за великую доброту, сердечность и аккуратно высылала деньги.

Только весной к Анастасу опять вернулись сознание и память.

В начале мая были ясные холодные дни, по ночам ударяли крепкие заморозки. Природа замерла в каком-то блаженном оцепенении. Она чего-то ждала, молча, терпеливо набиралась сил. Лес стоял голый, низкий, подернутый прозрачным лиловым туманом, сквозь который проглядывали поляны с жидкой водянисто-зеленой травой и мелкими пестрыми цветами.

В серых унылых полях неустанно с утра до вечера ползали тракторы. И неугомонно день-деньской в голых ветвях берез хлопотали белоносые грачи.

Прошла неделя, другая, рассудок не покидал Анастаса. Но голова уже не могла управлять телом. Мозг и тело существовали как бы отдельно, сами по себе.

Старик лежал неподвижно, словно зажатый в тиски. Теперь он мог только думать и вспоминать. Но думать было не о чем, да и не к чему. Вспоминать? Конечно, хорошие воспоминания приятны и отрадны. Память у него обострилась до крайности. И он еще больше напрягал мозг, почему-то пытаясь припомнить один эпизод из раннего детства.

Что же это было такое? «Это было... было... — беззвучно шевелил губами старик, — что-то белое, синее и красное».

И вот оно всплыло. Ослепительный зимний день. Белое — снег, синее — небо. И вдруг между синим и белым пронеслось что-то ярко-красное. Оно звенело и гикало.

— Ма-ма... — залепетал, захлебываясь от радости, маленький Анастас.

— Масленица, сынок, — сказала мать и кончиком платка вытерла сыну нос. Анастасу стало больно, и он заплакал. Так приоткрылась ему страница мира: удивительно яркая, свежая, полная очарования.

И вот еще одно. Он уже человек, умеющий самостоятельно ходить и кое-что понимать. Горошина. Обыкновенная жесткая горошина. Анастас пытается ее раскусить, но она крепкая, как камушек. Потом эта горошина неизвестно как попадает в ухо Анастасу.

Анастаса везут в больницу. Дровни на раскатистой гладкой дороге швыряет из стороны в сторону. Лошадь храпит, машет хвостом, бросает копытами в лицо снег. Вначале было весело, потом стало скучно и холодно. А лошадь все бежит и бежит, и бегут по сторонам высоченные сосны с дырявыми шапками и продрогшими корявыми стволами. И вот он в больнице. Анастаса ведут к доктору. Он длинный, тощий и весь в белом. Анастас от страха хватается за подол матери. А доктор смеется и показывает ему блестящую трубочку и обещает подарить ее насовсем, если он перестанет плакать. Как ни силился старик, так и не мог вспомнить: подарил ли ему эту трубочку доктор или обманул...

То, чего так терпеливо ждали природа и люди, наконец пришло. С вечера хлынул теплый обкладной дождь и всю ночь бешено обрабатывал крыши, косыми струями стегал по окнам, шумел и бурлил в придорожных канавах. А наутро горячее солнце захватило полнеба и, уставясь в разбухшую землю, стало колоть ее острыми знойными лучами, и земля задымилась. И тогда весна, отбросив робость, легко и стремительно понеслась, широко разбрасывая зеленые крылья.

В эту бурную дождливую ночь у Анастаса дважды останавливалось сердце. Это он чувствовал потому, что внезапно начинали трястись колени и судорогой сводило тело. Анастас пытался кричать и не мог. Чьи-то невидимые руки сжимали горло и с нечеловеческой силой растягивали тело. Иван с Настей дежурили у его кровати по очереди. Под утро Анастас захрапел. Луковы решили, что это конец. Но храп быстро прошел, и старик погрузился в глубокий сон.

Проснулся он к полудню. В доме, кроме Лидочки, никого не было. Настя приказала ей доглядывать за больным Анастасом, которого, как она выразилась, «бог при-

бирает, прибирает и никак не приберет». Лидочка была рада, что в школу не надо идти, и поэтому развлекалась как могла. Она пеленала котят и укладывала спать в тесный ящик стола. Кошка желтыми глазищами смотрела на Лидочку, жалобно мяукала, стучала по полу хвостом.

Проснувшись, Анастас ощутил во всем теле необыкновенную легкость, словно оно стало невесомым. Сладко кружилась голова, а перед глазами вспыхивали и гасли радужные искры.

Почувствовав, что смерть подкрадывается к нему без тех страшных мук и издевательств, которых он так ждал и опасался, Анастас лежал тихо, не шевелясь, притаив дыхание, словно боясь спугнуть ее.

Лидочка распахнула окно. В избу потек прохладный, влажный, слегка пахнувший дымком воздух. Анастас весь задрожал, сердце сдавило, и по щекам невольно покатались крупные мутные слезы.

За окном разноголосо звенела весна. Надсадно, в каком-то блаженном упоении, заливался скворец, нежно, задумчиво ворковали голуби и протяжно, словно пьяные, распевали куры.

Анастасу стало невмоготу. Неудержимо потянуло на волю, к солнцу. Немея от слабости, он сполз с койки и, держась за стены, выбрался на крыльцо. Игривый, бодрый весенний ветерок налетел на старика, пузырем надул за спиной легкую ситцевую рубаху. Анастас, как рыба, хватал ртом воздух, улыбался и плакал и говорил себе вслух твердо и решительно:

— Нет... погодь... успеешь. Вот взгляну на дом, на сад, на мир, а потом бери меня, подлая... не жалко... я давно готов.

Лидочка сидела на подоконнике, ошипывала краюху хлеба, а крошки кидала под окно курам. Куры жадно хватали хлеб и дрались. Это занятие так увлекло ее, что она не заметила, как дед вышел из дому. Она увидела Анастаса, пробирающегося вдоль забора. Худой, на тонких, как ходули, ногах, он стоял, широко расставив руки, и качался, словно пугало на огороде. Лидочка от изумления ахнула и, как мать, прошептала: «Царица небесная!» — потом пронзительно заголосила:

— Дедка?! Куда ты?! Не ходи!

Анастас, качаясь, добрал до забора, привалившись к нему, передохнул и потом, хватаясь за шершавые колья,

поташился дальше, в свой сад. Лидочка шла за дедом, всхлипывала и тянула нараспев:

— Дедушка, не ходи! Миленький, не ходи!

За одну эту ночь сад преобразился. Вдоль забора, под кустами — везде, где сыро, мягко, — засела молодая, жгучая крапива. Смородину, крыжовник усыпала изумрудная кудрявая пороша. Черный, словно обугленный, вишенник выпускал крохотные, как град, бутончики. Пышная, остропахучая, среди еще серо-корявых яблонь, груш и сивых кустов сирени, стояла белая черемуха. Ее осаждали темно-синие мухи и полчища невесть откуда появившейся мошкары.

Старая яблоня, срубленная Анастасом в начале зимы, лежала на земле, разбросав крючковатые ветви. Она еще была жива и пыталась в последний раз раскрыть свои вялые почки. Это была ее последняя весна.

Долго стоял над ней Анастас, недоумевая: кто же мог срубить его яблоню, ровесницу и друга детства? Но думать и стоять уже не хватало сил. Ноги старика подогнулись, и он неловко присел на ствол яблони. Сидеть было очень неудобно. Но Анастас этого не чувствовал. Опять затряслись колени, и опять чьи-то невидимые руки начали душить его и растягивать тело.

Лидочка давно забыла про Анастаса. Она носилась по саду, кричала, ловила бабочек, сбивала веткой с цветов пчел.

Когда Анастас очнулся и тусклыми свинцовыми глазами посмотрел на мир, то не мог понять, что это: сон или явь? Сердце билось неровно, замирая. Он смотрел на свой весенний сад, весь залитый солнцем, и не узнавал его. Во всем было что-то ненастоящее, неземное. И солнце светило не так, как прошлой весной, и скворец пел странно, незнакомо, и даже пчелы жужжали совсем по-другому. Он поднял глаза и ужаснулся. Он не увидел небо. Одно огромное жгучее солнце. И чем больше смотрел на него Анастас, тем страшнее оно накалялось, плавилось и вдруг хлынуло в глаза неудержимым золотым потоком. И сразу стало темно. Послышался отдаленный, необыкновенно чистый звон колокольчиков. Он нарастал, приближался, глох и вдруг зашумел, как первый весенний дождь. Анастасу стало так легко и отрадно, что захотелось лечь и вытянуться...

...Его схоронили без слез, без речей, без поминок. Все очень торопились. Луковы торопились поскорее вынести

из дому гроб; супруги Засухины — успеть к поезду. Они так и сделали — уехали в тот же день, упросив Лукова присматривать за их домом. Почему?! Завещание-то Анастас унес с собой в подкладке своего праздничного пиджака. Может быть, он забыл про него, может быть, он все простил сыну, а может быть, в последние перед смертью дни добро и зло для него не имели никакого значения. Все может быть! Только дом и по сей день стоит. На его окнах — темные горбатые ставни, а на дверях — изъеденный ржавчиной замок.

1968

ЛОСИ

Из всех зверей, обитающих в наших русских лесах, самый крупный и самый сильный — лось. Есть что-то допотопное, древнее в облике этого крупного зверя. Кто знает — возможно, лоси бродили в лесах еще в те далекие времена, когда жили на земле давно вымершие мамонты. Недвижно стоящего в лесу лося трудно увидеть — так сливается окраска его бурой шерсти с окраской окружающих его древесных стволов.

В дореволюционные времена лоси в нашей стране были уничтожены почти поголовно. Лишь в очень немногих, самых глухих местах, уцелели эти редкие звери. При Советской власти охота на лосей была строго запрещена. За десятки лет запрета лоси расплодились почти повсеместно. Теперь они безбоязненно подходят к людным селениям и шумным большим городам. Совсем недавно в центре Ленинграда, на Каменном острове, отправляющиеся в школу ребята увидели утром двух бродивших под деревьями лосей. По-видимому, эти лоси забрели в город в ночное тихое время, заблудились на городских улицах.

Вблизи городов и селений лоси чувствуют себя в большей безопасности, чем в глухих местах, где их преследуют охотники-браконьеры. Они не боятся переходить широкие асфальтовые дороги, по которым непрерывным потоком движутся грузовые и легковые машины. Нередко они останавливаются у самой дороги, и проезжающие в машинах люди свободно могут их наблюдать.

Лось — очень сильное, сторожкое и умное животное. Оловленные лоси быстро привыкают к людям. Зимой их можно запрягать в сани, как запрягают на севере домашних оленей. Только в осеннюю пору спаривания самцы лосей становятся опасны. Вооруженные тяжелыми ветвистыми ро-

гами, они громко и грозно ревут, устраивают рыцарские поединки.

В городке Гатчине я знал старого опытного охотника, служившего некогда егерем в царской охоте. Этот старый охотник умел манить-вабить лосей, подражая их реву. Желая отогнать соперника, лось близко подходит к спрятавшемуся за стволом дерева охотнику, и ревущего рогатого лоса было легко застрелить. Теперь такая «на реву» охота забыта. Современные охотники устраивают на лосей облавы. Окружив зимою в лесу лосей, загоняют их на цепь стрелков. Доверчивые звери выходят на вооруженного стрелка. Жалко видеть убитого или раненого лоса, лежащего на окровавленном снегу. В зимнее время обойти лосей нетрудно. Обычно они держатся в мелком осиннике, где обгладывают горькую кору молодых осин. Следы лосей в глубоком снегу видны далеко.

Зимою на лосей нередко охотятся волки. Они стараются отбить от стада молодого лоса и, загнав его в чащобу, быстро с ним расправляются.

В приуральских лесах я не раз находил места такой волчьей жестокой расправы. В годы войны в тех же приуральских лесах люди ставили на лосей сплетенные из проволоки или тонкого стального троса петли. Кормившиеся лоси попадали в такие петли головой или ногами. Два раза я видел запутавшихся в петле лосей. Знакомый лесник повел нас показывать пойманного петлею лоса. Возле ствола высокой ели, к которой была прикреплена проволочная петля, не двигаясь стояла безрогая лосиха. Снег вокруг ели был обтопан. По-видимому, лосиха несколько дней томилась в петле. Мы подошли близко к недвижно стоявшей лосихе. Кто-то из нетерпеливых и жадных охотников выстрелил, и она упала, кровавая снег. На меня это убийство, помню, произвело самое тяжелое впечатление.

Второй раз мы нашли лоса, запутавшегося задней ногою в проволочной петле. Он так же покорно и недвижно стоял, смотрел на нас. С нами был двенадцатилетний сын моего приятеля, лесного объездчика. Отец дал ему топор и сказал, чтобы он тихонько и незаметно подошел сзади к дереву, к которому была прикреплена петля, и перерубил проволоку. Подходить близко к лосю было опасно. Врагов своих лоси бьют не только рогами, но и острыми копытами передних и задних ног. Мы старались привлечь на себя внимание лоса, а Ваня тихонько подбирался с топором к дереву. Ему удалось перерубить проволоку, но попавшийся в пет-

лю лось по-прежнему не двигался с места. Мы стали хлопать в ладоши, кричать и махать шапками. Унося затянутую на задней ноге проволочную петлю, лось убежал в лес.

Однажды в лесу у водопоя, куда приходили ночами лоси, я увидел обглоданный лисицами скелет погибшего в петле лося. Человек, поставивший здесь на лосей петлю, по-видимому уехал и не приходил проверять расставленные ловчие петли.

Охотились зимой на лосей и с подхода. Для такой охоты одиночка-охотник выбирал метельный ветреный день. Тихо идя на лыжах по лосиному следу, вплотную подходил к залегшим в лесу лосям.

Мне не раз приходилось встречать в лесу лосей. Прячась за укрытием, я любовался красотой сильных зверей. легкими их движениями, ветвистыми развесистыми рогами самцов. Каждый год самцы лосей меняют свои тяжелые ветвистые рога. Сбрасывая старые рога, они трутся о стволы и сучья деревьев. В лесу нередко люди находят сброшенные рога лосей. Всякий год на рогах самца-лося прибавляется лишний отросток, и по количеству отростков можно узнать возраст лося.

Незаконная охота на лосей теперь строго карается. К сожалению, несмотря на строгий запрет, разбойники-браконьеры нередко убивают в глухих местах лосей. Там, где я теперь провожу лето, недавно произошел такой трагический случай. В лесу обнаружили труп убитого лося, а рядом лежал труп застреленного человека, оказавшегося бригадиром местного колхоза. По-видимому, услышав стрельбу, бригадир подошел к браконьерам, свежавшим убитого лося, и между браконьерами и бригадиром произошел разговор. Не желая платить высокий штраф за убитого лося, разбойники-браконьеры застрелили колхозного бригадира, накинув на плечи ружья и бросив свою добычу, укатили по железной дороге.

В летнее время лоси ходят очень широко. Я знал случай, когда два лося в ночное время зашли в ворота городского кладбища. Утром сторож кладбища увидел их среди могил, стал пугать и кричать. Лоси кинулись к железной ограде, окружавшей кладбище. Одному лосю удалось благополучно перепрыгнуть через железные острые пики ограды. Другой, молодой лось на этих пиках повис, распорол себе брюхо. На зов сторожа сбежались люди, добились бедного лося, сняв шкуру, разделили мясо.

Другой печальный случай произошел совсем недавно, нынешним летом, рядом с нашим лесным домиком, возле которого на берегу Волги теперь построен большой каменный дом. Однажды ранним утром сторож увидел умирающего лося, лежащего у подъезда дома. Из распоротой груди лося текла кровь. По-видимому, переплыв Волгу, лось попытался перепрыгнуть через железную ограду, напоролся на острые пики, дополз до подъезда дома и упал. О лосе все скоро забыли, но меня долго мучила смерть лося, погибшего недалеко от нашего лесного домика.

Лоси любят воду, нередко переплывают широкие реки. Переплывающих реку лосей можно догнать на легкой лодке. Над водой видны их горбоносые головы, широкие ветвистые рога. Бродя с ружьем и собакой по лесной вырубке вблизи реки Камы, однажды я увидел лося, «принимавшего ванну» в небольшом открытом болотце. По-видимому, лось спасался от осаждавших его злых оводов и слепней. Я подошел близко к стоявшему в болотной воде лосю, но выскочившая из кустов моя легавая собака его испугала. Лось вышел из болота и не торопясь скрылся в густом лесу.

Самое удивительное, что тяжелые лоси могут переходить самые топкие трясиновые болота, по которым не может ходить человек. Для меня это служит доказательством тому, что лоси жили еще в те далекие времена, когда отступали покрывавшие землю ледники, оставляя за собою обширные топкие болота.

ОНЕ

Они были близнецы, двойняшки: тонкие, с длинными вертялыми ногами, белокурые и большеротые.

Звали их Аней и Инной. Ангелина Карповна, ветхая, чуть не столетняя старушка, придумала им общую, сокращенную кличку «Анина». Она уверяла, что не в силах отличить, «кто из них кто». Ее сын, пожилой разведенец Виктор Евстафьевич, тридцать лет прослуживший хористом в оперном театре, тоже звал девочек по-своему, совсем уже сокращенно: Оне.

— Оне явились! — возвещал он, отворяя сестрам массивную входную дверь и церемонно пропуская вперед.

— Если Оне нынче не заняты, я мог бы предложить им пропуск на «Периколу», — почтительно обращался он иногда к их матери.

Раиса Никитична взволнованно вздыхала и возражала, отирая гордое, бурачно набрякшее лицо:

— Уж вы, Виктор Евстафьич, забалуете их.

— Нет, нет: Оне у вас такие добрые, славные, — протестовал он и удалялся в конец коридора, подергивая головой и четко взмахивая кистями рук, словно дирижировал поющей в нем музыкой.

— Куда там, добрые, славные, — ворчала мать. — Балованные оне...

Незаметно для себя она иногда начинала говорить похоже на Виктора Евстафьевича. Он ей втайне страшно нравился. Боясь и стесняясь этого, она держалась с ним высокомерно и отчужденно.

Раиса Никитична работала в школе техничкой — проще сказать, уборщицей. И еще ходила по жильцам мыть полы, стирать белье и сидеть с маленькими. Когда удавалось заработать больше ожидаемого, она возвращалась домой выпивши. Под глазами расцветали малиновые пятна, лоб усеи-

вался мельчайшими росинками. Она веско клала на стол сверток с краковской колбасой или ставила кирпич голландского сыру и приказывала отрывисто:

— Девки, лопайте!

Сестры, робко подняв плечи, усаживались за стол и ели, даже если не хотелось. Мать кипятила чайник, зычно ругалась на кухне из-за конфорки, ожесточенно бахала растресканной дверью и топала по скрипучим половицам. Потом примащивалась рядом с дочками и, опершись на мясистую ладонь, глядела на них, бормоча:

— Ешьте, ешьте. Краковская. Отец любил...

Однажды зимою мать пришла сияющая, заплаканная и осторожно положила на стол что-то легкое, тщательно завернутое. Аня кинулась разворачивать, но мать прицыкнула на нее. Сама развязала и сняла газеты и вынула из драного картонного конверта черную пластинку, потертую, как старый бархат.

— Мы с отцом слушали. Под Новый год.

Это была довоенная козинская пластинка, мать выкланчила ее у давней подружки.

— Инка,— приказала она,— ступай к этому... Виктору Евстафьичу. Патефон попроси. На один вечер.

И Инна впервые за свои шестнадцать лет осмелилась постучать в дверь соседа.

Она постучала негромко. Никто не ответил. Еще и еще раз, посильнее. Опять молчание. Она слегка толкнула плечом. Дверь отворилась. Инна споткнулась о высокий порог и очутилась в тесном тамбурчике. И вспомнила, как бранилась мать с мастерами из домоуправления, которые лет пять назад сооружали для соседа вторую дверь.

«Разворотили тут черт-те что!— гремела мать.— Как от чумы загораживаются! Людям проходу нет...» — «Пожалуйста, не нервничайте, Раиса Никитична,— сокрушенно и быстро поводя кистями белейших рук, каялся Виктор Евстафьевич.— Я, знаете, пою; так вот, неудобно, мешаю вам. Я для звукоизоляции...»

Мать проворчала что-то и пошлепала назад, к себе.

Отошла, как всегда, скоро. Да и было из чего сердиться-то. Какой-нибудь час всего и громыхали столяры. И в тот же вечер отнесла соседу капустной кулебяки, которую пекла с величайшим искусством.

Инна припомнила все это и смутилась. Ее смущение усугубилось, когда за второй дверью послышался хрипло-

ватый и взволнованный тенор соседа, выводящий что-то медленное, невеселое.

«Занимается. Попозже приду», — подумала она и повернулась, задев палку с набалдашником в виде бородатого злого дядьки. Палка грохнулась на пол с противным сухим стуком.

— Кто там? — воскликнул Виктор Евстафьевич и проворно распахнул внутреннюю дверку. — О, какой сюрприз! Милости, милости прошу, — заспешил он с улыбкой, быстрыми движениями разболтанных кистей и спотыкающимися, обгоняющими друг друга словами. — О-чень, о-чень тронут. Вы... простите, я забыл как вас...

Он не знал, кто перед ним: Аня или Инна.

— Я — Оне, — взбрело ей вдруг подуматься.

— Кто? — не сразу понял он. А поняв, рассмеялся. — Да, да, Оне... Оне — это форма женского рода, старинная форма. Это они, но про женщин. Вот я сейчас, сию минуту... Чтоб вам стало ясно.

Он скакнул к пианино с желтыми, как зубы курильщика, клавишами, порылся в бумажной куче, наваленной сверху...

В комнате стоял густой кошачий запах. За столом, накрытым к чаю, дремала Ангелина Карповна — она сидела в тени, за большим пыльным столетником, и Инна лишь сейчас заметила ее. По латаной скатерти разгуливала толстая белая кошка, задумчиво обнюхивая тарелки с остатками рыжего соуса. На полках, стульях, буфете и подоконнике громоздились кипы книг, нот, альбомов. Над пианино висел пожухший пейзаж, изображающий осенний сад с грустно поникшей женской фигурой. В комнате было бедно, запущенно... Странно и дерзко выделялось на этом скудном фоне ярко-бежевое пятно нарядного пальто, висящего на плечиках ровно посередине пустынной стены. Инна узнала его: в нем Виктор Евстафьевич ходил в театр и летом, и зимой, и в праздничные вечера, и на будние спектакли.

— Вот, вот, — тихонько частил хозяин, опасливо поглядывая на дремлющую мамашу. Чудно тряслись белые прядки на его полулысой, заостренной к затылку голове. — Вот, к примеру... Стихи Виктора Гюго: «Оне отвечали...»

Имя «Виктор» он произнес с незнакомым ударением на последнем слог.

«До чего все-таки интеллигентный человек», — вздохнула про себя Инна, примериваясь взглядом, как бы получше

убрать это неуютное, но чем-то притягательное обиталище.

— Я сейчас. Как на грех, книжку Гюго куда-то засунул, только вот ноты. Это чу-удное стихотворение...

Он откашлялся и начал скорым, трепещущим говорком:

Спросили они: «Как на легких челнах
Нам быстрою чайкой скользнуть на волнах,
Чтоб нас сторожа не догнали?»
«Гребите», — оне отвечали...

— Ах ты, наваждение... Когда вижу текст с нотами — непременно на пение сбиваюсь.

— А вы спойте, — несмело поощрила Инна.

— А что, в самом деле... — Он заговорщицки поманил ее пальцем и, откинув крышку пианино, запел тихонько:

Спросили они: «Как красавиц привлечь,
Без чары, чтоб сами на страстную речь
Оне к нам в объятья упали?»
«Лю-би-ит-те!» — оне отвечали... —

заклучил он, красиво и печально вытянув звук.

— А кто — они? И кто — оне? — шепотом спросила Инна.

— Вот-вот! — непонятно обрадовался Виктор Евстафьевич. — Вы уже уразумели, в чем дело. «Они» — это юноши, мужчины. А «оне» — женщины... — Он с некоторым лукавством наклонил голову. — «Оне» — это, скажем, вы и ваша сестра. Старый наш язык знал эту разницу...

— Спойте, пожалуйста, еще что-нибудь.

— Что вы! Какой я певец.

— Вы же в театре...

— Всего хорист. Да и то уже второй год не служу. Сокращение штатов. Возраст. Но, — он со строгим достоинством втянул и без того впалые щеки, — я не ропщу. Молодежи много, талантливой, голосистой молодежи. Изредка хожу, даю уроки... Между прочим, вы не поете? Мне кажется, вы должны любить, я как-то слышал — вы напевали на кухне. У вас есть слух. И чувство есть. А это, знаете, очень...

— Ин-ка! Где тебя леший держит? — донесся из коридора сердитый окрик.

Она вскочила со стула. Надо идти, а то никакая звукоизоляция не поможет...

— Виктор Евстафьевич... Мне бы патефон, на один вечер...

— Ради бога, ради бога. — Он отбежал к углу, неловко опустился на колено и, порывшись под кроватью, вытащил

пыльный, обтянутый дерматином ящик. Бережно отер и, чуть поклонившись, вручил девушке.

Аня уже освободила место на столе, убрав стопку тарелок и швейную машину. Мать расслабленно сидела на стуле, оперев потную, распущенную щеку на ладонь.

Пластинка заедала: стершиеся бороздки шипели и гну-савили, звук голоса рождался с трудом, как бы пробиваясь сквозь тяжелую мокрую вьюгу. Но мать просила завести еще раз, и еще, и еще... И, строго хмурия черные, атласно блестящие брови, плакала обильно и бесшумно.

Аня помалкивала. Инна стояла, втиснув пальцы в плечи, и, когда пластинка кончалась, подкручивала завод.

— Мама, как это: «Даль и станов перламутра»? Я не понимаю,— громко и недовольно спросила Аня.

Мать оторвала голову от ладони, приблизила ухо к поющему ящику.

— А я не знаю, доченька. И тогда слушала — не знала. Просто песня такая, и все. Ты слушай, и ладно.

Инна завела снова и сама попыталась разобрать неясный куплет. «Даль и станов...»

— Станов какой-то,— повторила она недоуменно.— Пойти Виктора Евстафьевича спросить?

— Ладно,— махнула мать.— Нечего занятого человека пустяками морочить. Давай слушать, и все...

Аня, взрослея, начинала отличаться от сестры. Она с каждым годом становилась плотнее, тяжелее. Рука у нее была сильная, большая, взгляд смелый и хмурый. Она уже работала на часовом заводе, приносила получку и бесплатно чинила соседям часы. И все больше начинала походить на мать — не только черными лоснистыми бровями, но и широкой, мужской походкой, и манерой говорить громко, резко. Она косо — «под Иму Сумак» — подводила ресницы и веки, прятала в сумочке сигареты и не отказывалась за праздничным столом «царапнуть» крепкого.

Инна тоже изменилась: вытянулась, похудела и оттого стала казаться еще тоньше. Из-за болезни Боткина она осталась на второй год в девятом и теперь переходила только в десятый.

— Еще одиннадцатый этот придумали,— ворчала Раиса Никитична.— Учат, учат, а все одно — бестолочь растет.

В модельных туфельках — и на грязь! Мы-то небось до холодов в мамочкиных бегали...

— Мамочкины — это босиком, кажись? — осведомлялся портной Николай Иванович, смирный и болезненный мужчина.

— А какие же еще? Ни черта беречь не хотят.

— Не надо их так, Раиса Никитична, — вступался Виктор Евстафьевич, сильно сдавший за эти годы. Полулысый, полуседой, с узеньким лицом, испещренным коричневыми родинками и пятнами, он казался даже старше своей ветхой, сонной мамыши. И почти не выходил из их таинственной, оборудованной двумя звукоизолированными дверьми комнаты.

— Оне у вас такие славные, добрые, — добавлял он, растроганно улыбаясь. — Такие милые, добрые девушки. Жаль, что никогда не заходят. Я зову, а Оне не хотят...

— Некогда им, — смягчившимся тоном отвечала мать. — Делов-то нынче у молодежи сколько...

Сосед стал еще чуднее. Однажды ранним утром Инна застала его на кухне прильнувшим к зальделому, розово-золотому от солнца окошку.

— Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос, — певуче шептал он.

— Как? — остановилась Инна, с интересом вслушавшись в мерное звучание стиха.

— Младая... с перстами пурпурными... — заспешил Виктор Евстафьевич, вода в воздухе скрюченными ревматизмом пальцами. — Это богиня зари, Эос. У древних греков. Это Гомер. Я вам дам, вы приходите...

— Спасибо, — вздохнула Инна. — Некогда читать. По программе задают ужас как много.

— Да, да, по программе, — понятливо и грустно закивал старик. — Это нужно, нужно.

Инне все чаще думалось, что жизнь, время постепенно ускоряются, разгоняясь — ну, например, как мальчишеский самокат на асфальте: сперва раскачивается, виляет из стороны в сторону, нехотя набирая быстроту. Каждый шаг отчетливо, каждое лицо заметно и подробно: вон Сережка портновский ржет — думает, сейчас свалюсь, не удержу вихлястый руль; вон мама высовывается из окна, тревожно хмурит красное лицо и охает сердито. Вот лавочка над огромными, морщинистыми, словно слоновые хоботы, тополями —

в начале лета она вся белая от пуха, будто покрытая теплой маминой шалью... Скорей, скорей; пружинней толкнуться ногой, разогнать шибче... И понеслось: все замелькало, слилось в одноцветную ленту, не разберешь ни глаз, ни углов, не слышно ни криков ребят, ни гудков автомашин — только весело и монотонно грохочут подшипники, скача по крепкому и тугому асфальту.

Так и годы, дни; в первых классах как тихо они тянулись! Сил никаких нет, пока доживешь до лета, до каникул. И людей немного вокруг, и все они четко стоят перед глазами, почти не двигаясь и не меняясь... И вдруг с одной прекрасной весны как помчится все! Недели, месяцы, зимы, весны. И новые знакомые торопят один другого: проходи, дай мне очередь! И книги, и кинокартины, и новые дома. Каждый год нетерпеливей и шибче предыдущего. Остановиться, отдышаться... И вот приостановишься, осмотришься и замечаешь: мама совсем старушка, портновский Сережка — нахальный парень с усиками и папироской, и Анна уже большая, взрослая, замуж метит. И новые жильцы третий год живут в комнате скончавшихся в одну осень Ангелины Карповны и ее старого сына Виктора Евстафьевича. И уже привыкла к новым жильцам. Странно, их тоже двое: мать, пожилая учительница, и сын, симпатичный и скромный молодой человек, студент-заочник, днем работающий монтером в ЖЭКе... Но хочется как-то остановить, приблизить хоть мысленно тех, ушедших. Какой был отец? Нет, очень далеко, не вспомнить... А Виктор Евстафьевич, сосед? Никогда не ругался. Всегда первый платил без споров и за газ, и за телефон. Дарил им с Анькой книги. И пропуска в театр. Билетов, бывало, в последние годы войны никуда не добудешь: публики вдруг много появилось, и все ринулись в театры... Они однажды загнали перед спектаклем пропуск на два лица. За двадцать рублей. Мороз стоял ужасный, а они, дурочки, купили сразу четыре порции мороженого и все съели, прямо на улице, около метро «Площадь Революции». Наутро кашляли и хрипели, и когда Виктор Евстафьевич спросил, как понравились «Корневильские колокола», начали такую ерунду пороть, что он даже смутился. Подумал, наверно, какие они еще маленькие и глупые. Мать тоже рассердилась, погнала их с кухни, а он сказал ей: «Не браните их, Раиса Никитична, это я виноват, не предупредил, что у нас в театре плохо топят и надо одеваться потеплее». Сам он всегда болел — бронхит у него был какой-то упорный и мучительный, он его на фронте подцепил.

И контузия: голова постоянно тряслась, руки мелко-мелко двигались и болтались чудно...

Ну ладно, что вспоминать-то. Завтра контрольная, а сегодня надо до шести еще в проектное бюро успеть: обещали, может, чертежницей-копировщицей оформят.

Обе вышли замуж и разъехались в разные районы. Анна жила в Черемушках. Инна получила комнату возле Выставки. Съезжались редко, только по большим праздникам или когда мать сильно хворала.

Нынче они явились сразу после работы, получив вчера по открытке: мать сообщала, что в гололед сломала руку, но чтоб они не переживали, так как она теперь, слава богу, не одна, а сдает полкомнаты очень культурной и скромной девушке, студентке МАИ.

И они, не сговариваясь, прикатили в один и тот же час, в сырых оттепельных сумерках, обе с тортами «Сюрприз», обе усталые, располневшие от сидячей работы... Жена портного, веселая старушка в толстых, как у мотоциклистов, очках, изумилась:

— Какие нарядные, как поправились-то обе! Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить...

И сестры внезапно ребячливо развеселились. Грубовато посмеивались, щипля друг дружку за плотные бока, обнимались, рассказывали матери крепкие анекдоты — обе работали в организациях, где были почти одни мужчины. Раиса Никитична хрипло смеялась, грузно возясь на охающем узком диванчике.

Анна вымыла на кухне посуду, убрала со стола и подсе- ла поближе, закинув толстую, обтянутую модным мягким сапогом ногу. Закурила сигарету и замолчала, отгоняя дым широкой ладонью. Мать морщилась от дыма и умиления и переводила взгляд с одной дочки на другую. Инна громко возила веником, выметая накопившуюся пыль, и ворчала:

— Ничего себе студентка! Замусорила, будь здоров. Как дворничиха какая.

— Ничего, она хорошая, — откликнулась мать. — Учится: задают им много.

Вскоре пришла и жиличка, худенькая девушка с едва обозначенной под коричневым синтетическим свитером грудью. Вспыхнула, увидев сестер, и, едва поздоровавшись, хотела выскользнуть за дверь. Раиса Никитична остановила:

— Ничего, Люда, побудь. Оне у меня добрые. Подружись с ними.

Потом она попросила завести патефон, подаренный Виктором Евстафьевичем. Инна отыскала на полке козинскую пластинку, и мать, приподнявшись на подушке, слушала слова осенней песенки, но уже не плакала, как когда-то, а лишь кивала изжелта-белую тяжелой головой.

— Люда, а что это такое «Станов перламутра»? — спросила вдруг Анна и покраснела. И, раздражаясь и вопросом своим, и этим дурацким румянцем, добавила:

— Тыщу лет слушаем, а разобрать не можем.

Люда наклонилась к патефону, прислушалась и сказала, внятно разделяя слова:

— Даль из тонов перламутра. Тона, тон...

— Славку-то когда привезешь? — спросила мать укоризненно.

— Вот погода наладится. Он знаешь, какой. Сейчас у всех маленьких носоглотка черт-те что, — отвечала Анна, шумно подымаясь со стула. — Ну, Инк, едешь? Нам до Свердлова вместе.

Они расцеловались с матерью, пожали на прощанье руку Люды.

— Людышка-худышка, — молвила Анна, с беглой фамильярностью пощупав лопатки девушки. — Наука наукой, а насчет покушать забывать не надо.

Раиса Никитична ободряюще улыбнулась жиличке.

— Дружись с ними, Люда. Оне у меня институтов не проходили, а культуру знают. Хорошие оне...

Инна, застегивая пуговицы приятно шероховатого поролонового плаща, машинально прислушалась. «Оне... Кто так говорил? Склероз...»

— Ну, будь, мамуля! — закруглялась Анна. — Крепись, геолог, держись, геолог!

Они шли по длинному коридору, полному знакомых запахов, и громко, четко стучали сапогами, заглушая тишину, слитую из еле различимых задверных голосов, вздохов, слабого поскрипывания истертых половиц...

«...Дверь Виктора Евстафьевича», — узнала Инна. И подумала вдруг, что интересно бы открыть ее опять и снова споткнуться о высокий порожек. Вдруг опять упадет на пол и громко стукнет высохшая палка с набалдашником в виде бородатого свирепого дядьки?.. Всего один раз пришла к соседу и так мало говорила с ним. И почти ничего не знала о нем. Так, отрывочками, черточками отдельными...

Вообще, незаметно живут люди, незаметно исчезают куда-то. А может, Виктор Евстафьевич специально жил в ихней квартире; может, он назначен был для ее жизни, очень нужен был ей, Инне, очень важен для ее судьбы? Да, вот именно он, Виктор Евстафьевич. А она пробежала мимо его дверей, шлепая разношенными калошами матери, щелкая подошвами дешевых послевоенных танкеток, стуча вот каблучками дорогих мягких сапог...

— Инка! Чего ты как вареная! — крикнула Анна, заглядывая в темный коридор с лестничной площадки. — В трех соснах заблудилась?

— Ага, — сипловато засмеялась Инна. И захлопнула за собой массивную входную дверь.

Юрий Куранов

ДНИ СЕНТЯБРЯ

В их сениях ветра шум и свежее дыханье...

А. Пушкин

Ты — чайка, купающаяся в море, ты — облако
пены,
трепещущее в лучах солнца на гребне волны,
ты — белый дымок удаляющегося парохода,
ты — суденышко под красным парусом, идущее
на ловлю кораллов, ты — капля воды, хлопья
пены...

Альфонс Доде

НОЧНОЙ СТАКАН ВОДЫ

Каждый немного растерян, когда проснется ночью внезапно и за окном идет мелкий дождь. И отчего же ты проснулся? Может, видел дурной сон и уже забыл его? Может, кто-то вспомнил о тебе? А скорее всего тебе хочется пить. Ты поднимаешься с постели, берешь стакан воды и чувствуешь, какой он холодный. Так можно долго стоять и пить. Как будто в колодце мелкой звездной россыпью течет ленивая вода, и становится изморозно, словно раздетый выбежал на ветер.

Теперь ложись и засыпай. Опять сойдутся сны. Один другого забавнее, или красочней, или тревожней. Ты закрываешь глаза и вдруг слышишь чей-то стук. Кто-то стучится в дверь. Кто бы это мог прийти в такую позднюю дождливую ночь? Это кто-то из детства пришел отдать проигранный панок. Помнишь, вы тогда играли в бабки, и ты плиткой разнес весь кон и забрал его в карман. А панок улетел в крапиву, и его никак не могли найти. А теперь тот, с кем ты играл, вернулся в деревню в отпуск и случайно в крапиве нашел панок. И вспомнил о тебе и пришел отдать.

Он опять стучит.

А вдруг это девушка, за которой ты смотрел с берега, когда она купалась, а не смел подойти, когда она садилась невдалеке за парту? И ты слышал ее дыхание, когда она решала задачку, но не решался подсказать. Так она куда-то и делась, позабыв назад взять ластик, что ты попросил у нее на экзамене стереть ошибку. Она живет, наверное, возле скалистого моря. И часто выходит на берег провожать подводные лодки. Она машет кому-то платком и ждет его, когда же он вернется из похода. Но вот он не вернулся. Тогда она вспомнила о тебе и пришла вернуть свой школьный ластик.

Она опять стучит.

Скорее всего это она. Она уж много лет идет, идет и вдруг остановится на тротуаре. Смотрит под ноги. Будто чего-то не может понять. И хмурится, по-мужски сдвигая брови. Не то ей обидно. Не то жалко чего-то. Она оглянется и ничего не видит вокруг. Ей хочется плакать. Но поднимет воротник и спешит на работу. И все ей порою кажется, что кто-то ее окликает. Конечно, это она. Она пришла наконец и стучит в твою дверь таким знакомым стуком. Надо скорее встать и открыть ей, чтобы она не сумела уйти, решив, что тебя нет.

Ты открываешь дверь и видишь на крыльце мужчину в плаще и девочку в холстинковом платье. Мужчина в сапогах, по лицу его стекают мелкие капли дождя. Он переминается, широкоплече сутулит спину и немолодым нерешительным голосом говорит, что хотел уже идти дальше, подумав, что здесь не откроют. Он говорит, что девочка хочет напиться.

Ты зовешь его в дом и даешь ему стакан воды. А пока они пьют, на полу расстилаешь постель из тулупа, ватника и старого одеяла. И он ложится здесь, вынеся мокрый плащ в сени, повесив его там на гвоздь. Вы быстро засыпаете, и скоро в твоём доме не ты один, а трое видят сны.

ТАКАЯ СИНИЦА

Раскроются окна, и в доме запахнет озером. Вдали ударит щука, и по всему дому пойдут круги, зарядит в глазах от света воды, бегущей в разные стороны. Так и хочется протянуть руку, прямо из окна протянуть ее, чтобы сорвать холодную шелковую кувшинку.

Раскроются окна и будут медленно качаться над озе-

ром, поблескивая стеклами. Поскрипывает лодка, причаленная к берегу, из лодки тоже пахнет, пахнет смолой. Прыгает по лодке синица. Выискивает она там что-то или торопится узнать, кто на лодке плыл, кто приплыл на ней и ушел каменистой дорогой в лес, под сосны, с ружьем и патронташем? А следом бежала девочка в стоптанных тапочках, в холстинковом платье, все время поправляя рукой волосы, которые падали и падали ей на глаза.

Теперь эти двое уже далеко, там, где озеро прячется за мыс и уходит на юг, чтобы сверкать на солнце, рябить волну да ловить опадающие с берегов листья. Охотник уже строит шалаш и забросил в озеро удочки. Он строит шалаш из веток и поглядывает на поплавки. Не дай бог лещу теперь потянуть поплавок — шалаш так и останется недостроенным. А девочке нужно спать в шалаше, потому что ночью придет мелкий дождь и зашумит по берегам, как листопад.

Девочка разводит костер из тонких еловых веток. Она подсунула спичку, и пламя заиграло. Только ветер не раздул его, а погасил. Встала девочка на колени, раздувает пламя. А волосы все падают на глаза и на ветки. Такие рыжие волосы, того и гляди сами подпалят сучья. Девочка собрала стоймя ветки, она тоже строит шалаш среди огня и треска еловых сучьев. Чтобы лучше горело.

Теперь она побежит за водой с большим котелком. И зачерпнет. А в котелке вместе с водой — карась. Жирный, маленький, как старинный пятак. И что теперь с ним делать: оставить или выплеснуть? Девочка думает: выплеснуть. А жалко. Девочка сядет на берег и станет смотреть на карася. А костру гореть в стороне.

Тем временем удочку дернет лещ. Отец оставит шалаш недостроенным и выбросит леща на берег. Такого большого, что берег закачается, когда лещ ударит в него. Ударит сначала одним, потом другим боком. И вспыхнет, и запляшет по берегу. Где его тут поймать? У него холодные и скользкие бока. За ним нужно бежать, и бежать, и ловить не то руками, не то шапкой.

А с того берега кто-то смотрит и требует оглянуться. Попробуй оглянуться и увидишь лисицу. Она сидит в красном платке и поглядывает с усмешечкой. Вот и садись на берег и тоже смотри на нее. И тянись одной рукой за ружьем. А лещ твой ушел далеко в сосняк и там ходит по травам, пощипывает клюкву и блестит на всю поляну, будто всходит над лесом луна.

Стоит шалаш совсем недостроенный, и девочка сидит и смотрит в котелок, а человек загляделся на ту сторону озера и все тянется за ружьем.

Между тем уже стелются дождевые облака, и дело идет к вечеру.

А синица все прыгает и прыгает по лодке, все болтает и болтает про ружье, про леща, про красный лисичкин платок.

— Пошла ты вон, синица, мне нужно работать.

— Разве ты не работаешь?

— Не работаю, ты мне мешаешь.

— Ты работаешь, а я тебе не мешаю. Посмотри, бежит катер, а там сидят в платках да еще с гармошкой. Смотри, как вон та, в широкой кепке поверх уложенных кос, растягивает гармонь. И сама смеется, и гляди, как запоеет. Они скосили целое поле овса, и теперь их волосы и руки пахнут овсом.

— Я тебя не слушаю, синица.

— Хочешь, я ее позову?

— Зачем она мне? Я хочу работать.

— Ты работай, а я ее позову.

— Лучше перестань прыгать по лодке. Ты ее утопишь.

— Я эту лодку утоплю, ты сделаешь другую.

— Другая будет хуже.

— Тогда давай позову ту, с гармошкой.

— Да катер уже ушел.

— Ушел и лису напугал. Вон, видишь, как лиса побежала, размахивая красным платком.

— Теперь уходи, ты мне мешаешь, синица.

— Я не буду мешать. Я другой буду ждать катер или лодку.

— Я этого не хочу.

— Тогда давай сыграю тебе на дудке. Я заплету свои волосы в косы, я брошу их вдоль спины, сяду на корму и свешу ноги в воду.

— Делай что хочешь.

— А ты послушай мою дудку. Слышишь, у меня босые ноги, у меня длинные косы. Я умею петь и заглядывать в глаза, играя на дудке. И глупый ты, если тебе при этом захочется спать. Даже если ночью дождь придет и кто-то постучится в дверь.

— А если кто-то постучится в дверь, синица?

— Пусть стучит.

— И ты откроешь?

— Да, я открою.

- Ты спросишь, как его зовут?
- Спрошу, если захочешь.
- А если он попросит пить, синица?
- Я дам ему стакан воды.
- Ты дашь ему стакан воды и спросишь, где он оставил свой шалаш и догорел ли там, на берегу, костер.
- Хорошо. И я спрошу еще, не под плащом ли под своим он спрятал девочку, которую нельзя брать на охоту осенью в тапочках и в одном легком платье.
- Ты играй, синица, до рассвета на своей дудке, чтоб рано утром опять прошла от лодки девочка, и распахнулись бы окна, и в доме запахло бы озером.
- Я и буду играть,— отвечает синица,— только тебе пусть кажется, что я зажгла в избе огонь, варю тебе уху в широком чугуне, уже начистила картошки, нарезала хлеба. А окна распахнутся сами собой, когда встанет солнце.

ОДНАЖДЫ РЯДОМ

Пригоршнями я умывался над ключом. Вода слепила глаза, вода каменила скулы. Но я все же почувствовал, как чье-то быстрое касанье упало мне на спину и покатилося по плечам. Я отряхнулся от воды, раскрыл глаза. Вокруг никого. Только катился в траву первый красный лист. Только показалось мне, что невдалеке за валуном кто-то притаился. И выглядывает, поправляя легкой рукой волосы, которые падают и падают на глаза.

Это было еще летом, когда улетали первые ласточки. Потом я разводил костер под чугуном. И мне подбросил кто-то две-три ветки в оживающий огонь. Ветки ярко вспыхнули. А я заметил, как, бесшумный, кто-то пробежал и спрятался за дубом. Выглядывает из-за дуба в темноте и рукой придерживает платье.

Это случилось в начале сентября, когда налились картошки и мы варили их в чугуне возле дома.

Однажды утром я занимался за столом и вдруг мне сделалось не по себе. И я увидел, что смотрит в окно женщина. Лицо достаточно молодое, рыжие волосы распущены. Она смотрела, прижав ладони к стеклу. Она так увлеклась, что не заметила моего внимания. И только потом оглянувшись, вскрикнула и убежала. Спряталась на огороде за баней. Потом я часто замечал, как она оттуда выглядывает, но уже не решается подкрасться к моему окну.

Пойдешь ли в лес, она перебегает от куста к кусту, от оврага к оврагу и то прячется, то идет открыто вдалеке и смотрит синими широкими глазами. И вот она загуляла в лесах.

Она их сделала гулками, она бежала то в один, то в другой конец сосняков и ельников и там аукалась, гудела в сомкнутые ладони, а потом убегала в осинник. Она хохотала тогда и высоко в небо швыряла и разбрасывала листву.

И однажды я видел, как она стояла на пригорке. На плечах телогрейка, в сапогах. И смотрела вдаль, откуда приносило тучи. Из туч стлался снег, и пахло снегом далеко, как бы морской водой. Она туда смотрела и вздыхала. А там по угору шагала старуха. Крепкая, глазастая, она грозила ей издали палкой.

С тех пор уже много месяцев я ее не встречал.

ГРИБНЫЕ ВРЕМЕНА

Сквозь частый соснячок я вышел на поляну. Поляна сухая, устланная синим серебром исландского мха. Сидят вдоль поляны маслята. Заслышали меня, насторожились. Лишь я шагнул, врассыпную бросились, как белки. Только треск по валежинам.

Дальше иду. Пробрался ельником. Стоит на опушке боровик. Широкий, рослый. Плотный, как бубен. Я к нему. А боровик что заяц, так и поскакал без оглядки по полю. По ту сторону поля, вижу, старушка в кустах притаилась. Пожалуй, так оно и есть — старушка полевушка. А боровик ее не замечает. Остановился, прихоращивается, шляпу разглаживает. А старуха шаст из кустов, хватить его за ногу и в свой берестяной кузов за спину посадила.

И решил я тогда ходить по грибы не один, а с друзьями.

Осенним утром солнце встает одиноко. Оно даже непохоже на солнце, а напоминает легкий кусок речного льда, который тает и растворяется над еловыми берегами. Трава сухая, ломкая, еще не тронутая инеем. Она громко шелестит под сапогами, начинает казаться, что шагаешь по ней не ты, а торопливо и размашисто стелется табун лошадей. Волнушки пылают, куда ни посмотришь. Но девичьи их лица холодны, и даже если не было росы, в их молоденьких улыбках

замерло по крупной твердой капле. Волнушки брать пока не надо. Их много. Пусть они посидят.

А там, в перелесках, уже показался полевой ветер. Он идет высоким полем в легких широких одеждах, с дорожной палкой. Как юноша покинул дом и вот ушел в далекую дорогу. Счастливого пути тебе, ветер. Скажи нам что-нибудь на прощанье издали. Вдоль перелесков красный гул, осины сыплются в поля и катят листья. Здесь нужно выбрать перелесок такой, чтоб с елками, зайти со всех сторон и уж не выпустить отсюда ни единого гриба. И мы заходим.

Боровики, молодые, коренастые, стоят под елками крепко, как маленькие борцы. Чуть поодаль эти крепкие братцы столпились возле моховой кочки, а другие рассыпались прямо по открытой земле, ни на кого не смотрят и никого не ждут. Сухая толстая ножка боровика ложится на ладонь, как пряник. Холодная и звучная, она шелестит в пальцах и обрезается с хрустом.

Боровики видят, что бежать некуда. Они спокойно садятся в лукошко, деловитые, важные. Они делают вид, будто ничего не случилось. А по лукошку распространяется от них тепло. До чего же они радуют моих юных друзей Серегу и Гелю! Эти новоиспеченные учителя, родившиеся и до последнего месяца жившие в городе, никогда не видели, чтобы так обильно рождались белые грибы. А Геля сокрушается, что ей никто на свете не поверит, что все сочтут ее за выдумщицу, если она расскажет в Костроме, сколько встретила грибов.

Грибы же и впрямь как в сказке. Рядами, рядами выстроились вдоль перелесков, нахлобучились и, кажется, лезут в руки сами. Сергей стонет как человек, у которого мучительно заболело сердце, он больше теперь не может жить, а готов лечь и умереть. Геля охает, будто на каждом шагу наступает на зайчонка. Зрачки ее мечутся, как бабочки вокруг лампы.

А грибам все нет конца.

Между тем ветер уселся на березе, свесил ноги, размахивает широкими складками одежд и никуда не хочет идти. Насвистывает какую-то песенку.

Подходим к реке. Наступает самая тяжелая минута: лукошки полны, а грибов не убывает вокруг. Теперь маслята, маслята, маслята рассыпались в оловянных, скрипучих кустиках мхов. Маслята! Они хотят нас убить здесь, на берегу реки, они смеются над нами, сами подбираясь под руки, чтобы мы упали все враз и скончались от разрыва сердца. Сбра-

сываем плащи. Грибы торопятся. Мы их уже не собираем. Только смотрим со стороны, как они сходятся и рядами, рядами ложатся в разостланные плащи. Только хруст по всему лесу.

Ветер спрыгнул с березы, подкрался, захохотал, свернулся в клубок и огненным лисенком покатился с обрыва к реке, подбрасывая над собой и разметая листву.

Шагаем домой под тяжестью, а ощущение такое, будто там, на берегу, мы по крайней мере построили город. Осенние кульбабы, робкие и еле приметные, уже сложили свои цветки. Теперь они мерцают в легких сумерках среди полей что крошечные свечки, которые плывут и раскачиваются в воздухе.

Поздним вечером на хуторе при лампе мы будем обирать грибы. Под окнами будет вздыхать озеро и томиться в своих индевеющих берегах. Будет снижаться над крышею ветер и долго шелестеть крыльями, эта большая и добрая птица ясной осенней ночи. А ночью страшно закрыть глаза. Грибы, грибы, грибы. Стоят, бегут, притаились, одетые бурым светом вечернего солнца.

Наутро, да и позже среди дел приходит грусть. Неужели прошел этот день? Такой он был большой, такой светлый. И вот уже нет его. Как будто его и не было, только сладостное ощущение легкости, удачи, гула перелесков и походки ветра, который то сидит на березе, то катится под гору, то снижается над тобой как птица.

Неужели все это прошло? А может быть, еще снова когда-то вернется?

НАША РОЖЬ

Нам выдадут мешок тяжелой ржи. Почему бы нам не сварить пиво? Мы рассыплем рожь по длинным половицам, и накроем ее мешком, и плеснем сверху из ковша воды.

Мы будем ночью спать. Наша рожь зашевелится, и зашепчутся зерна друг с другом. Ты проснешься, приложишь палец к губам, показывая глазами на пол.

— Да это рожь, — скажу я.

И опять усну.

А ты не уснешь. Ты пройдешься босиком по ржи, присядешь перед ней на корточки. Станешь слушать. Бу-

дешь засыпать и не засыпать. Ты будешь слушать и не слушать, как прорастают зерна.

И вдалеке поднимется поле, над которым из березника бьет соловей. Тут зеленые человечки покажутся из черной земли, оглядываясь изумленно вокруг, приветливо кивая друг другу и протягивая руки, как бы желая познакомиться. А соловьи тоже кивают с берез и рассыпают по полю серебряные крошечные серьги. Серьги катятся по полю, как пузыри по заливу при теплом крупном дожде. Они бегут и уходят в землю.

А человечки все растут, колышутся и сами звенят на ветру, как те серьги. Потом зарница одевает все тяжелым жарким духом, и они склоняются от собственной тяжести, усталые и ленивые.

И тут проснешься ты.

Мы рассыплем рожь вдоль печки. И ночью она опять зашевелится, зашелестит и станет усыхать. Но ты уже не проснешься. Нам будут сниться старички, которые идут широким полем и нехотя переговариваются. Поглядывают изпод руки по сторонам и ждут ненастья. И шепчутся, не зная, что такое происходит.

Теперь осенью мы станем солод молоть в сенцах, между двумя каменными тяжелыми жерновами. И солод будет пахнуть жарким летом, а руки отяжелеют, как от косьбы.

Пускай теперь приходят к нам соседи. Под рябину. Мы варим пиво. У нас большой котел стоит на костре, и вода уже в нем кипит. Поднимем его двое, опрокинем в кадку. Вон парень с чемоданом. Он в отпуск едет из Якутии — повидаться с матерью, а после уедет назад собирать алмазы, мелкие и тяжелые камни, собирать в ладони, будто верес.

— Вот, парень, сусло.

— Такое сусло! Это сусло!

— Да. Это тебе не алмазы — хлебнешь и закачаешься, как рожь среди ветра. Дай срок.

Теперь по лагунам разольем это сусло и поставим в избу. Пусть бродит там, чтобы нельзя было спать. Чтобы казалось, будто избу осыпает снегом и шелушатся стены от метели. И чтоб в избе запахло пашней.

И вот уж мы с тобой пива не дадим ни лосю возле стога, ни сороке на колу под окном, ни зайцу среди леса под сугробом, ни вон тому снегирю, который сидит на пустой рябине.

Мы соберем соседей и прохожих и сядем все за стол. И будем пить это пиво большими кружками, и чтобы шумела наша рожь в каждой кружке и припекала губы, и чтобы каж-

дый вдруг услышал, как весной над полями поет соловей.

А теперь пока давай по стакану выпьем двое и послушаем, что говорят эти пузатые человечки; они гонят пузыри со дна стаканов, и шепчутся, пройдохи, и уже готовы похихикать над нами.

ЗАДУМЧИВЫЙ ГОСТЬ

Вечером кто-то заглянет в окно и прошелестит моей рябиной. Потом он проскользнет вдоль окон по воде, пройдет по крыльцу. И вдруг покатится по сеням, как на коньках. Я встану, открою дверь. В сенях на половицах — месяц. Качается-раскачивается, как детская качалка.

Пусть себе качается, какое мне дело. Я вернусь к столу и сяду за работу.

И так он остановится в дверях, прислонившись плечом к косяку, и станет смотреть мне в спину. Прохлада пойдет по избе, стакан с водой засветится на подоконнике, словно покроется инеем. А по стенам поползут полосы, полосы, узоры, как это бывает на окнах морозной ночью.

Я буду чувствовать за спиной взгляд его. Он до утра останется стоять в дверях, задумчивый и внимательный, как юноша.

Только стекла будут сонно дрожать и дрожать, словно их знобит и замораживает.

ЭТА ТОНКАЯ МОНЕТА

Мне хотелось бы поддержать на ладони монету из красного золота осени. Тонкую и беспечную. Я бы подбросил монету на ладони, а ветер унес бы ее. Я остался бы один среди поля, озираясь и следя за ветром, как за жадной и неутомимой птицей, которой все равно, куда лететь, и все равно, у кого чего выхватить.

Ну что же, я пойду тогда по дороге, наклоняясь и разглядывая землю под каждым кустом. Под каждым кустом, где можно в полдень прилечь и спать среди неба. Уснуть, как, скажем, белый гриб, которому чудятся всякие странные шорохи. Будто кто-то крадется под землей, и хочет схватить его снизу, и утащить, и долго разглядывать в темноте, как отцветший холодный топаз. А как уснули под кустами пустые гнезда подорожниц... Заткал-закутал их внимательный паук и смотрит в небо белыми глазами.

И вот по склону катится монета, сверкая и позванивая

на бегу, подпрыгивает, и ветер гонит ее, похлопывая в ладоши. А за монетой заяц. Он тоже подпрыгивает и готовится схватить ее. И лай собак. Заяц испугался, он кинулся в сторону, а монета покатила к реке.

Тут надо выбежать на берег и кинуться в воду, в ледяную, осеннюю и звенящую от каждого взмаха.

Монета покатится по воде, ляжет на нее, замрет на течении, как ребенок, когда его качают и напевают нехитрую песню. Тут подплывешь, взмахнешь и подцепишь ее. Монета сверкнет, взовьется и зазвенит в волосах, словно паутина, которую паук соткал, чтобы растягивать где-то на стене, вдоль избы.

Я с этой монетой пойду по деревням и буду чувствовать, как она сверкает у меня в волосах, такая тонкая, такая блестящая. И где-то высоко на угоре покажется деревня. Как же мне пройти по этой деревне? Парнишка увидит меня из окна. Он выбежит и протянет ковшик мятного кваса. Я выпью квас, но не отдам свою монету. Потом из другого дома на крыльцо выйдет парень. Он мне протянет кружку пива. Хо-хо! И пиво я выпью тоже. Но нет, монету не отдам. Теперь я знаю, в чем здесь дело.

Вон там стоит в воротах девушка. Я покажу ей пустые ладони. И девушка насторожится. Я качну головой, и девушка слегка прищурится, словно в глаза ей ударило солнце. И я скажу тогда:

— Девушка, сломите мне ветку рябины. Вон ту, что свисает над баней. Она такая тяжелая, что может проломить у бани крышу.

— А где монета? — спросит девушка.

— Она со мной.

Девушка медленно двинется к бане, на ходу покачиваясь, как во сне. Как будто под землей она слышит шорох, там кто-то крадется, хочет схватить ее и долго рассматривать в темноте, держа в ладонях, как розовое пламя. Потом она очнется, сломит ветку и станет подходить ко мне, держа ее обеими руками за спиной. Я буду пятиться, а девушка пойдет за мной, смотря в лицо мне черными глазами. Так мы уйдем из деревни, мы окажемся в поле. Я выну из волос монету и подкину на ладони так, чтобы монета сверкнула, как маленький месяц. Тут ветер подхватит монету и унесет.

И девушка качнет головой. Она отдаст ветку рябины, но сама повернется и пойдет в деревню. Мне покажется, что плечи девушки вздрагивают, но, может быть, она просто поет.

И я среди этого поля посажу ветку рябины. Пусть выраст-

тет из нее большое дерево. Пусть даже вырастет хоть сейчас.

А я дальше пойду без той своей монеты и без этой ветки рябины.

ОБИЖЕННОЕ ЗЕРКАЛО

Синица разобьет мое зеркало. Вернее, не мое, а свое. Это вполне может случиться, и я не смогу забыть ей этого. По утрам она ходит с ведрами к озеру. Как раз под моими окнами. Смотря вслед ей, я подумаю: что бы это мне такое подарить синице, чтобы ей захотелось улыбнуться.

Сегодня ночью взойдет луна. Я подойду к своему окну и увижу, как луна замирает в озере и одну, вторую зеленую звезду колеблет в замерзающей воде. Я сразу озеро не трону. Я подожду, когда мороз застеклит воду и превратит мое озеро в зеркало. Тогда перед рассветом я выломлю его и стану ждать синицу. Когда она отправится за водой? Я буду издали посматривать, как в зеркале горит луна и звезды.

Я дождусь синицу и протяну ей это зеркало.

Но синица нахмурится, она скажет: какое же это зеркало, когда я в нем вижу только месяц, да звезды, да черное небо...

Она далеко швырнет зеркало в сторону, и там оно разобьется, разлетится на мелкие куски. И станет мне жаль своей заботы. Когда теперь у меня появится второе такое зеркало?..

Вот что может случиться.

ТЕПЕРЬ СОСЕДИ

Сегодня дом решил позвать гостей.

И начал прихорашиваться. Печка нагрела избу, и запахло на поду пирогами.

Вот теперь собирайтесь и как хотите радуйтесь, говорил мой дом всем своим видом и всем своим настроением.

Первым пришел дед Егорка и выставил на стол молоденький белый гриб, от которого запахло листвой и осенней прелой влажностью.

Притащился из-за леса Матушонок и принес голавля. Он поставил голавля на голову, и тот так остался стоять на столе, помахивая хвостом и поблескивая чешуей. Матушонок выпил стакан водки, закусил отломышем сырого белого гриба и, глядя на меня в упор, громко спросил:

— А скажи-ка ты, по имени тебя и отчеству, какой на свете гриб самый наилучший?

— Белый,— ответил я.

— То-то,— сказал Матушонок и выпил стакан пива.

Теперь идет Анфисья, прихрамывая обеими ногами на все восемьдесят лет своей жизни. Анфисья несет лукошко яиц. Анфисья выпила пива, вытерла губы платком. Посидела, припомнила что-то, покашляла узловатым подбородком и сказала:

— Леший понеси, медведь меня ноне напужал.

— Так вот и напужал? — сказал Егорка и выпил сразу два стакана пива.

— Напужал, сатана по самой бороде.

— Это как же он тебя? С умыслом, видать, пришел тебя напрочь напугать,— сказал Матушонок и отковырнул еще кусочек белого гриба.

— Стою это я в Ефремовском логу и сено покашиваю. И так-то мне ветерок дует хорошо. А бригада ноне сюда уже не ходит. Для меня одной председатель выделил. Вот одна-одинешенька. И слышу, кто-то запосвистывал. Ровно песню коротенькую насвистывает. Оглянулась я, а он, черт мордатый, стоит, лапу в зубы положил и свистит на меня. Я, милый, ажник эту свою косу кинула и, как была на девятом десятке лет, вся бегом побежала.

Егорка покачает головой, выпьет стакан водки да возьмет яйцо из лукошка, чтобы закусить. Яйцо Егорка разобьет, разломит пополам, а из него синица вылетит. Смахнет ее старик рукой, а синица на шкаф посудный сядет.

— За мной однажды раз змея гналась,— начнет Егорка,— прямо чуть до конца не устигла. На коне я от нее версты четыре дул. Как дашь ее, подлую, батогом, ажник выше человеческого роста подскакивает и шипит как самовар.

А тут на мосту шагов сразу много. Это из Починка трое разом идут: Параня, Колька Кирил и Нинка, жена его. Колька целый лагун браги тащит. А Параня старая все его останавливает.

— Ну-ко, Колька, помоги мне один глоток отглотнуть, с одной рукой мне попридерживать неладно.

— Ты опять, Егор, про свою змею всех давом давишь,— скажет Колька на пороге.— Ты лучше скажи, как арестованного отпустил на свою грешную душу.

Колька совсем недавно был бригадиром, и теперь у него еще остался повышенный хозяйственный тон.

Вместо ответа Егор замкнется, насупится и глубже вле-

зет в угол. Там он возьмет из лукошка яйцо, но взглянет на шкаф, на синицу, на Анфисью покосится и положит яйцо назад.

С этим арестованным у Егорки целое горе, и боится его Егорка до сих пор. В гражданскую войну вел он арестованного эсера с одного допроса на другой или с места поимки к месту заключения, а может быть, и вообще расстрелять Егорке было велено, И предложил этот эсер большие деньги Егорке. Да тут же и выдал их ему каким-то путем. Егорка деньги взял, а эсера отпустил. «Где, спрашивают, эсер?» — «Убежал, — говорит Егорка, — догнать я его не смог, уж больно образованный». И сослали тогда Егорку на Починок. Прижился он здесь, только до сих пор никому про эсера не рассказывает, боится Егор, как бы еще раз его за такое дело не наказали.

Между тем Нинка с Колькой Кириным уже плясать пошли. Матушонок тут у них в ногах завертелся. Синица засуетилась, порхает над ним, попискивает. А Параня и одной рукой бражку пьет, сама же на Матушонка покрикивает, чтоб не пил много и не плясал больше нужного. И голавль со стола соскочил, приплясывает, с головы на хвост переворачивается. А боровик тоже за всеми, тоже притопывает по половикам, поводит белыми боками да тужится.

— Я тебе, Параня-Распараня, чихать хотел, — голосит Матушонок, а сам приплясывает. — Я тебя, сказать можно, человеком наострил. Сколь это тебе годов? По седьмому по десяточку. А я женился на тебе, сам на восьмом десятке был, — и приплясывает, — сколь хочу, столь и пью. Куда руку-то сама подевала? Напилась, да и под паровозом вдоль Шарьи отрезала. Нет тебе, значит, на меня права шумлять.

Наступит вечер. Оденет избу сумерками. Свет зажигать вроде бы и ни к чему. Тут Нинка среди пляски вымахнет из печки на стол свежих вареных картошек. От картошек пар. Он тихо светится, как туман ночью над поляной при месяце. И картошки сами горят, мерцают и просвечивают, так что по избе и жар и свет.

Теперь запоют «Ермака». Потом «Хаз-Булат удалой». И под конец кто-то затянет песню длинную, песню громкую про татарское нашествие, иго поганое... Эту песню я нигде до здешних мест не встречал и не видывал ни в каких сборниках. Да и гости мои ее обычно не помнят, поворачивают головы, покачивают: о чем говоришь? Ее вспоминают, когда уже пьяны, поют все и выводят старательно.

После этой песни — частушки. Частушки все о «супоста-

точке», которая пришла в синеньком платочке и перед милым заюлила, как змея на кочке. За день уставшие от работы, все скоро уснут. Кто где.

Среди ночи я выгляну в окно, увижу, что собирается низкий дождь, а с повети пахнет холодом и где-то деловито погромыхивает короткая поздняя осенняя гроза. Значит, завтра не выходить в поле. И я налью каждому по полному стакану пива и поставлю у каждого изголовья. И только синица, бесшумно вспархивая в темноте по комнате, будет садиться порой и на тот и на этот стакан и обмакивать в пиво свой веселый внимательный нос.

КОГО Я БОЮСЬ

Я боюсь Николая. По лесу ходить с ним и радостно, и жутко. Шагает себе поляной сквозь листопад, нагнется, возьмет лист в руку. Глядь — а это сыроежка. А идет перелеском, пусто вокруг. Метнул глазом под куст, и под кустом уже сидит заяц. Усами поводит зайчишка, на тебя поглядывает.

Ходил я с Николаем на рыбалку. Под водой коряга дремлет. Засунет Колька руку под воду — налима вытащит.

Однажды срезал Колька иву красную. Настрогал ножом в старицу, а стружки карасями под водой пошли. В ил зарылись — и спать.

— Пусть подремствуют, — говорил Колька, — жирнее будут. А то вроде бы рыба совсем по старице извелась.

Как-то под вечер на жниве подошел к суслону и колосьев ржанных в ладони набрал. Потом подкинул их — и птицы во все стороны разлетелись. А Колька смеется себе да самокрутку сворачивает.

Я боюсь, как бы нынче он кленов за огородами не нарубил да не распустил бы их сохатыми по лесам. Так и объедят они за зиму все стога по нашей округе.

Когда придут низкие долгие дожди, когда грязью замесит наши дороги, когда продрогнут в сырости леса и звери, я все же приду к нему. Я попрошу, чтобы ночью Николай вышел на крыльцо и глянул в небо сквозь морось. Пусть закует на деревьях сосульки, которые будут звенеть на ветру и звонко сыпаться, когда засеребрится ветер. А под утро пусть зашелестит снегопад, посыплется густой, крупный, и засверкает по долам румяная зима.

Я для этого и впрямь схожу к тому Кольке.

НЕНАГЛЯДНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Сегодняшним днем льны лягут навзничь вдоль угоров и будут спать.

Какое было лето! От говора птенцов, от шума птиц, от запаха цветущих трав, от босоногих ягодников, то и дело пробегающих через льны,— ох уж они, эти ягодники! — от всех от них, пожалуй, пришла пора отдохнуть. Как пахли ромашки, они дышали прямо в лицо, и еще в середине лета от них не раз приходила охота уснуть. Потом зацвела таволга. Из низин, особенно по вечерам, тянуло сладким хмелем, и хотелось покинуть поле, бежать туда, в белоснежную чащу таволог, и там замереть. А любка, эта ночная фиалка, до самого рассвета она вздыхала о чем-то в лесах. Что ей нужно? О чем она грустит? А как душистый колосок настаивает полдни крепким духом, отчего заполденье течет, как терпкий чай.

А к осени медведь, чуть вечер, совсем не давал покоя. Он тащился жевать и сосать овсы. И в небе горит все лето Венера, горит, как застывшая в воздухе ястребинка, мглистая, что-то силится сказать или о чем-то предупредить.

Но теперь тишина. Теперь можно лечь вдоль угоров рядами, сложить головы на холодную землю, и крепко спать под синеватым светом луны, и слышать сквозь сон, как по тебе катятся листья осин, и где-то успокаиваются в овраге, и тоже начинают дремать.

Льны отоспятся, высохнут, и однажды утром их разбудят женщины. Руками, задубевшими от дел, они поднимут льны, составят в небольшие суслоны. И тогда в сумерках станет казаться, что на деревню со всех угоров движутся несметные рати бесшумной украдкой. А после примутся трепать эти льны. Уж тут, конечно, не до сна. Нужно вытягиваться, сбрасывать свою ломкую одежду и ложиться туманными длинными прядями сначала на руку, после на колено, а потом стлаться вдоль еловой лавки, словно девичья увесистая коса.

Я изо льна сотку для себя полотенце. Я пуцу по краям его густой перелесок, я вытку елки. Запахнет полотенце буреломом, шишками, смолой. По всему остальному полю пуцу следы, пускай бежал по снегу горностаи. Какой веселый горностаи! Или заяц. Теперь смотришь издали и думаешь: уж след ли это? А может быть, мороз прошел узорами по льду широкой речки и чуть припорошил?

Уеду я в далекие края, куда-нибудь в края чужие, где нет ни снега, ни мороза и ни елок...

Плыву в долбленной узкой лодке с широким парусом и с длинным балансиром. Вижу над собой звезды, незнакомые звезды юга: Канопус, Кит, Корабль Арго...

Я лечу в самолете, незнакомые земли внизу: Кордильеры, зеленые острова Туамоту, Кергелен...

И всегда на плече моем полотенце. Я приложу его к щекам, умывшись дистиллированной водой чужих цивилизаций. Я услышу запах далекого ельника, где сидит под стеариновым кустом беляк, а горноста́й торопится вдоль поля, клест шелушит малиновую шишку, да из деревни пахнет горячим свежим хлебом... Увижу розвальни среди накатанной дороги, а мерин поводит ушами, прислушиваясь к волчьим голосам.

Я приложу к щекам полотенце... Оно будет мякнуть в моих пальцах и расстилаться вдоль широкого лица, как будто, сладко облегченное, засыпает оно при хозяйском доверчивом прикосновении.

МОЙ ДВОР

В этот день пришла свобода моему двору. Я сидел на крыльце босиком, курил и поглядывал на него. Я думал: посмотрю же я на тебя, что из тебя получится, если тебе дать свободу.

Прямо на моих глазах двор весь покрылся льдами. На льдах заискрились трещины, каждая как мякоть разломленного огурца, а в небе повис небольшой самолет. Из дровяного сарая вышел медведь, белый, подвижный, как боксер. Он принялся смотреть вслед самолету. А потом сел и лапой поднял кусок льда и начал грызть его, как сахар. Он грыз этот сахар и глядел на меня.

Потом по двору потекла река, горячая и широкая. Она смыла медведя, льды, она все унесла за ворота. По реке плыли индейцы на узкой лодке. Они поднимали над головами огромные кокосовые орехи и прикладывались к ним губами. Обеими руками они прижимали орехи к губам, и со стороны казалось, что индейцы дуют в какие-то странные барабаны. Может, это индейцы шингу? Потом индейцы швыряли пустые ореховые скорлупы в воду, и те плыли вниз по течению. На скорлупах вырастали паруса, поднимался ветер, и тогда скорлупы плыли по течению вверх.

Все это вызывало во мне улыбку, и мне приятно было курить и поглядывать на свой двор.

Теперь по двору пошли верблюды, а река утонула в песках. На верблюдах сидели седые черные бедуины. Впереди каравана скакали всадники в кольчугах и с копьями. Они действительно бросали и ловили копье на скаку, оглядывались и выкрикивали что-то на непонятном для меня языке. Они оглядывались туда, где на огромном бактриане покачивался шатер. Из шатра то и дело выскальзывала довольно тонкая женская рука, которая отдергивала полу шатра, и выглядывала женская головка, и кивала мне, как бы приглашая в дорогу. Вдали показались пирамиды, но солнце уже садилось, и все погружалось во мрак.

Тогда вышел откуда-то из-за огорода маленький человечек в синем колпаке. Он сел на мое крыльцо и начал играть на дудке. Играя на дудке под звездами, он покачивал своей длинной белой бородой и все клонил и клонил голову одним ухом к земле. По всему двору из земли пошли выбираться и вспархивать попугаи. Человечек спрятал дудку в карман и ушел.

Сейчас же рассвело. И стало видно, что вокруг шумит океан, а с берега свешиваются над ним раскидистые деревья. Попугаи расселись по деревьям вдоль всего берега. Они громко кричали, а порою дрались. Им некогда было посмотреть в даль океана, где появились длинные железные корабли, поводя в воздухе орудиями, словно растопыренными пальцами. Корабли шли волчьей молчаливой походкой. Все же попугаи заметили эскадру и разом смолкли. Они притаились в деревьях, будто их нет да и никогда не было.

Я докурил сигарету и отправился в сарай колоть дрова. Под окном тяжелела рябина, за рябиной серебрилось рябое озеро, где-то плыли на моторной лодке рыбаки. Я колот дрова и думал, что с этого дня очень полюбил я свой двор и, как всякий любящий, теперь боюсь его.

А двор каждый раз, когда я выхожу на крыльцо, поглядывает на меня, и я вижу, что опять он от меня чего-то ждет.

БЕРЕЗА ВОЗЛЕ БАНИ

Эта береза стара. Ее листва редет, ветки сохнут и обламываются. У нее не осталось друзей и нет уже соседей. Осталась только баня, над которой береза склонилась и вор-

чит, все шепчет что-то. По-моему, она временами поучает баню, потому что на старости лет, как всякий пожилой человек, начинает вмешиваться не в свои дела.

Я должен дождаться темноты, чтобы пустынным огоро- дом пробраться в баню. Я должен пробираться холодной полузаросшей тропинкой, словно разведчик или какой-нибудь жулик, чтобы меня не заметила береза. Когда подходишь к бане, даже в сумерках видишь, как она постарела. Ночью она похожа на большую ворону, которая машет крыльями, но не может улететь. Только прерывисто дышит. Ее дыха- ние смешивается с жарким воздухом бани, из которой пах- нет накаленной каменкой и горячим веником. И все это вместе при дальних отзвуках леса, среди морозящего вет- ра этой ночи напоминает запах чьего-то молодого разгоря- ченного тела, пожалуй, лося, среди леса на морозе, в без- ветрии.

Я не стану зажигать свой фонарь «летучая мышь». Сяду на лавку и наберу полный таз воды.

Довольный, что пробрался незамеченным, намылю го- лову, и вдруг мне почудится, будто в бане я не один. Дверь закрыта, каменка остывает. Она похожа на человека, успо- каивающего дыхание после быстрой ходьбы. Но я знаю, что это все только кажется. За стеной вдоль огорода журчат кро- шечные липы, которые успели подняться уже после того, как здесь прогулялась коса. В логу покрикивает какая-то птица вроде коростеля. Похоже, что птица эта нашла бала- лайку, натянула на нее деревянные струны и теперь время от времени бороздит их клювом.

Вымыть голову и лечь на лавку, вытянув ноги, зало- жив ладони под голову, подложив под спину веник и не ви- дя в темноте даже собственных пальцев, растопыренных пе- ред лицом.

Береза совсем засыпает и ворчит сквозь дремоту. Ей не с кем перекинуться словом.

Лежать и думать о чем угодно.

О ком угодно и как тебе захочется.

Ты можешь думать о лагунах Самоа, где можно плыть среди атоллов.

Пассат склонился и дует на воду. Этот ветер пропах кораллами, а вдалеке над ним скользит лодка, и человек раскинулся на корме, чуть правит парусом и поет, глядя в небо.

А можно вспомнить Полесье, где над крышами, как мраморные иероглифы, замерли аисты и вежливо погля-

дывают вокруг. Они замерли над избами, что живут вдоль канала Огинского, который здесь и там сегодня расчищают машинами. Канал Огинского... Полонез Огинского... Я слышу его звуки... Но нет, уже совсем другие.

Журчит фонтан. Фонтан Аретузы. И над источником склонился композитор. Он пьет дрожащими губами из чистого источника, в который превратилась нимфа. Огинский, Шимановский...

Где-то далеко слышится трактор. Везут по разъезженной дороге лен, чтобы после бани человек мог утереться холодным полотенцем.

Но кто-то в бане есть. И поэтому немного тревожно, словно зашел случайно в комнату и видишь спящего человека. Из мокрых пальцев выскальзывает мыло. Ищи его в темноте среди горячих кадок, холодных обрясневших ведер. И в самом углу бани кто-то робкий притаился. Коснешься ладонью и почувствуешь, что это росток. Крошечная береза, неизвестно как сюда занесенная ветром. Она стоит, и млеет среди тепла, и клонится уснуть.

И старая береза проснулась. Она услышала, как ты прогремел ковшом. Теперь она заговорила. И долго рассказывает что-то, не думая, слушают ее или нет.

Идешь домой. Кусты шумят, по деревьям проходит гул, и пахнет снегом от сухих бегущих облаков. И ты идешь, раскачиваешься вместе с ветром, шагаешь с легкой головой, и кажется, вот-вот сам готов облететь листвой.

Возле дома стоит и дышит потный трактор. Он рычит глухо, он дышит, обдавая ветер холодным синим светом. Глаза его горят и поначалу кажутся жадными. Однако вскоре замечаешь — он устал и готов смежить веки. Тракторист и две женщины из дальнего колхоза спрашивают напитокся и между делом узнают, нет ли пива.

Есть пиво.

Есть пиво и есть баня.

Кому что.

Женщины уходят в баню, прихватив с собой фонарик, а тракторист садится за пиво.

А ты уходишь на поветь. Тебе вставать, чуть засветет. И долго слышишь, как береза оживилась, болтает со своими разговорчивыми собеседницами среди купанья. Теперь березе не уgomониться до утра. Женщины вернутся в избу и будут громко разговаривать за пивом с трактористом, смеяться, ходить по избе.

А в логу все кричит эта странная птица, которая на-

тянула на балалайку деревянные струны, бьет по ним среди дождя, переходящего в мелкий снег.

ДАЛИ СЕНОВАЛА

Не в тот вечер, когда на крышу сыплется мелкий дождь. Не в тот, когда садится и будто инеем закладывает перелески туман. И не тем вечером, который гонит низкие сухие тучи холода над полями. А когда небо вызвездит, когда синими глубинами пойдут над головой созвездия, переговариваясь, протягивая друг другу руки, подгоняя тельцов и подстегивая коней. В такой вечер я уйду спать на сеновал.

Такой вечер осени всегда прохладен, от сена пахнет стыло, словно от старого воска, и постель холодна, так и похоже, что она слегка заледенела. Раздеваться страшно, однако раздеваешься с легкостью и даже радостно. И ложишься, словно кидаешься в прорубь, и закрываешь глаза, ожидая дремоты. Она приходит, однако, не сразу. Обступают звуки леса, полей, реки. Все становится близким и до боли ощутимым.

Вот шелестят, стекая, быстрые широкие листья кленов, и слегка касаются друг друга, и кружатся, подталкивая один другого плечами, а после расходятся, врозь плывут и уж больше никогда не увидятся. Вот лось прокричал и задохнулся. Попискивает одинокий комар, неизвестно как оставшийся до такой поздней поры. Того и гляди завопит филин, не то утешая, не то сам дрожа от страха. И кот ползет по углу, громыхая лапами, пойдет по крыше и там сядет, чтобы смотреть на звезды.

И тут засыпаешь. Может быть, чуть раньше, а может быть, и позже. И тогда неслышно к тебе подплывает лодка. И ты в нее садишься. Тебе не нужно ветра. И весел нет. И трудно вспомнить потом, где ты плыл, и что ты видел, и кто тебе заглядывал в лицо, и кто тебе аукал издали, и что за птицы окликали тебя из-под самого солнца. Только перед рассветом она исчезает, эта лодка. Когда начинают гаснуть звезды.

И один ты очнешься где-то далеко от дома. Ты долго там озираешься, потом только поймешь, как до дома добраться, чтобы успеть наколоть немного дров для печки, черпнуть из озера воды для чугуна, да так, чтобы синица не заметила, что ночью тебя на сеновале не было, а где-то далеко ты плавал в лодке.

СВЕТИЛЬНИК НА ЛАДОНИ

Если шагать из дальней деревни с самого утра, на полпути сойдутся сумерки. Соберутся у росстани, поглядывают по сторонам глухими, мутными глазами и собирают, собирают по перелескам тоску. Они крадутся, как старухи в тусклых дымчатых одеждах, отовсюду, на какой-то тайный сговор.

Я обхожу их стороной, но не могу обойти. Они толпятся уже вокруг, рядом, они стелются и обступают. В лесу они начинают мне что-то нашептывать, почти касаясь лица холодными губами. Мне становится одиноко. Мне начинает казаться, что я потерял дорогу.

И тогда я сорву с клена обмягчавший ласковый лист. Я поставлю его на ладонь. И я подую. Он тонко засветится, заколышется на ладони, он засветит ровным желтым пламенем. И сумерки расступятся.

Но, выйдя в поле, я встречу на опушке с ветром. Он уже давно сговорился с этими сумерками. Он ждет меня здесь, запахнувшись в брезентовый плащ, который подобрал на гумне у забывчивого тракториста. Он поеживается от прохлады. Я только выйду в поле, он налетит, подхватит лист и понесет его над жнивой, над оврагами, вдоль ельника. И долго я буду видеть, как исчезает и трепещет среди ночи мое доброе, мое кленовое пламя. Совсем как блуждающая звезда.

Но мне теперь не страшно. Невдалеке стоит рябина. И листья на ней уже багровы. Я найду рябину в темноте, сломя ветку и так пойду, конечно, дальше, освещая тропинку красным ее трепещущим пламенем.

ТЕРЕМ В ПЕРЕЛЕСКАХ

С вечера настойчиво клонило в сон, однако мне все время загадывали загадки. Сначала подошел кот и спросил:

— Кто бежит, кто пищит, кто в стене сверчит?

Потом подбежала мышь и спросила:

— Где тепло, где сухо, где просом пахнет?

Выполз таракан и тоже с вопросом:

— Как бежать, как дрожать и как в пазу сидеть?

И синица не обошлась без вопроса:

— Кто по речке плывет? Кто песню поет? А кто в красном платке сидит?

Не успел я подумать над этими вопросами, как подня-

лось утро. И я увидел, что все спят. Я потушил свою керосиновую лампу, накинул фуфайку и на цыпочках вышел во двор. Сколько свету поднималось на востоке! Роса мелко зарябила травы, и даже чувствовалось, что в колодце еще еле-еле, но уже засветилась вода.

По краю дороги уже вспыхнули ягоды шиповника, прозрачные, легкие, пока не тронутые морозом. Они горели, как маленькие лампочки на новогодних елках. И если срывать их да бросать издали в рот, как семечки, то чувствуется, что и на зубах они светятся, даже когда их раскусываешь. На поляне сидел заяц, уже не серый, но еще и не белый, а похожий на пятнистую дворнягу. Он сидел на задних лапах, а передними перебирал в воздухе, словно плыл. Смотрел на меня и не трогался с места, видя, что человек идет без ружья. Так что я даже подумал: не молится ли он, глядя на меня? И правда, почему бы зайцу не молиться на человека, который в лес идет без ружья? Где-то юркнула в березнике лисица, а заяц вскинулся и скрылся. Лисица остановилась, глянула на меня ловким женским глазом, подмигнула и направилась дальше, по заячьему следу.

В ельнике среди сырой прохлады и тишины утра сидели возле пня моховики. Оба в медных прозеленевших шапках. Они играли в карты. Когда один выигрывал, то бил другого колодой по шапке. И в самом деле, почему бы моховикам не играть в дурака, когда заняться больше нечем? Немного дальше, вокруг другого пня, сидели молоденькие веселые опята. Они сушили белье. И пахло стиранным бельем далеко и тоже весело.

Я вышел на длинное поле, где неделю назад еще был разостлан лен. Теперь здесь ходили тетерева. Косач вышагивал, раскидывая крылья, и рассыпал вокруг себя крупные глухие бубенцы. Рядом ходили тетеревухи, подбирали, склевывали эти бубенцы. И ждали новых. Пролетела над поляной и, увидев человека, выхватила из-за пазухи трещотку сорока. И затрещала на весь лес. Тетерева поднялись и скрылись, недовольные, как чиновники.

Ветер еще спал. Он спал неподалеку, в овраге, над которым отяжелели от ягод рябины. Я слышал даже, как он похрапывал во сне. Ему, видимо, чего-то хотелось, потому что ветер иногда вздыхал. А порой он переворачивался с боку на бок.

Я вышел в перелески, наполовину березовые, наполовину еловые. И здесь я увидел большой белый гриб, который зовут еще боровиком. Он стоял как терем. И маленькая

дверь в этот белый терем была приоткрыта. Я распахнул дверь и вошел. В сенях дремала тьма и пахло вениками. Я нащупал ступеньки, поднялся по лестнице к другой, закрытой двери. Нащупал деревянную ручку и оказался в светлой горнице. Среди горницы ширился стол под толстой белой скатертью. На скатерти были вытканы золотые петухи и красные жар-птицы. И те и другие были, видимо, навеселе и потому танцевали, подхватив друг друга под бока. На столе сидели два ковша, две чашки, ушат. Ковши стояли пустые, а в чашках лежало по одному пареному рябчику, каждый присыпан рябиной. Из ушата пахло квасом. Я взял ковш и зачерпнул. Да, это был квас! Это был мятный квас, и, когда я выпил его, перестала болеть голова. Я сел на один из двух стульев и съел рябчика. Заел его рябиной. Я запил его еще и квасом и пожалел, что пришел сюда один.

Но я в стене увидел еще дверь. Открыл ее и по ступенькам узким лазом прошел высоко наверх. Там объявилась маленькая светлица с одним окном. Одним-одинешеньким. В окно светило солнце. А перед окном стояла широкая деревянная кровать, и две подушки лежали под одеялом, собранным из лоскутков, как половики. Я лег.

Да, это был настоящий терем. Вокруг, со всех сторон, слышался лес. И шорохи трав, птиц, зверей. Невдалеке прошагал не спеша деловитый лось. Он громко дышал. И тут я услышал, как в овраге вскрикнул ветер. Так вскрикивают во сне, если кто-то потревожит. Пожалуй, на него наступил медведь, который вышел вслед за лосем. Ветер вскочил, протер глаза и побежал по лесу. Теперь можно было уснуть — леса зашумели под ветром, как парус, увидевший далекую и ненаглядную землю.

И я заснул.

Проснулся я от шагов. Кто-то ходил невядалеке. И я понял, что это ходит человек. Он ходит и собирает грибы. Шаги раздавались все ближе и ближе. И вот уже хрустнула ветка совсем рядом. Послышалось, как опускается рука. Рука выломила мой терем и положила его в лукошко. В тереме стало темно. Потом рука еще брала много грибов и клала их рядом. Потом человек пошел в деревню.

Где-то на половине пути я выбрался из терема, выскользнул из лукошка и спрыгнул на землю. Оказалось, что я на знакомой дороге, совсем недалеко от дома. И этой дорогой вернулся я домой.

Синица уже протопила печку, напекла блинов и ждала меня на крыльце, сидя под платочком и глядя на дорогу.

По глазам синицы я понял, что ей очень грустно. Она увидела меня издали, помахала рукой и направилась в избу накрывать на стол. Мы сидели за столом, ели блины, пили молоко, светила керосиновая лампа, и синица спрашивала:

— Кто по лесу идет, кто песню поет, а кто сидит на крыльце и смотрит на дорогу?

С КОВШОМ ПОУТРУ

Понутру, когда поднимется ветер, по крыше покатыся листья. Первый лист покатыся с грохотом, как бричка. А потом уже другие полетят вдоль конька стаями, толпами — с шелестом. Теперь покажется, что над избой развеваются легкие шелковые одежды.

Я выхвачу из ведра свой большой деревянный ковш. Я выбегу с ним на крыльцо. Воздух сделался золотым и алым, в нем кружится голова и вьется такой шум, словно тысячи птиц пролетают.

Я зачерпну из воздуха листья, и мой деревянный ковш загудит, как бы наполненный пчелами. Я ковш этот принесу к столу, листья, еще не остывшая от бега, осядет, успокоится, и вся изба наполнится светом. Как это бывает, когда ударит заря. Ковш нужно подержать перед глазами, прежде чем пить из него.

Эге-ге-гей! Ты, прохожая девушка! Зайди сюда. Такое раннее утро. Плесну тебе из моего ковша, умоешься, и все твое лицо засветится веснушками, и руки станут золотыми. С такими золотыми руками ты никогда не пропадешь.

Или ты! Э-ге-гей! Прохожий! Подойди ко мне под окно и попроси напиться. Я напою тебя из этого ковша. Пройдет всего лишь год, и, кто бы ты ни был, куда бы ты ни ушел — в глушь квартир или на широких крыльях океана, — вдруг заслышишь далекий голос листопада.

Ты сам вдруг зашумишь, как этот лес. В тебе запымянеют осины, зашелестят березы. И мягко будут садиться в твои ладони светящиеся листья кленов.

Какой просторный, светлый встанет этот лес!

Иди сюда, выпей глоток из моего ковша. А если хочешь, тоже умойся.

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым, озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накатывавшийся песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках изпод солянки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показалась нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням в райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье

снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижой тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздвигали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрацем, как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и мед-

персонал, и мы, раненные, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотить чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, непрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каж-

дой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползлся незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, и после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат посте-

пенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию ехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть,

вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садил, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась и тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что, хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закричав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью,

словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температуры, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролежала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупновских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу мопра. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло собственным трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом

сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметая из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроизвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копёшкин. У Копёшкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копёшкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копёшкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копёшкин. — За езду разидают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окружение однава попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова.

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старший — не туда... Поехал за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копёшкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копёшкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копёшкина сестру с тарелкой на коленях. — Да где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копёшкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копёшкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копёшкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов.— Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в неподвижных руках Копёшкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными посплывленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по

щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копёшкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Что ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копёшкина.

— спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает, — переводил я шепот Копёшкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копёшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до

своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливицков — Саенко и Бугаёв — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаёв левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганской трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, пришедшая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику:

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — фортóчка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михая обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы обо-

рванных, чумазных, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было насторожено — и слух, и нервы. Саенко и Бугаёв отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывая потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появ-

ляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду,— сказал он ему,— одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слушали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...Выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнили.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалеите продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохи.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило...

Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выmaterился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаюсь прийти в себя, как об сук, потерял глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаёв, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаёв запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаёва за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаёв, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы, — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — потрянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаёв, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали, и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но

губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаёв! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня подсела к Копёшкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копёшкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверное, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаёв, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнился бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— Аяй-яй... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то внизу заметил высунувшегося Михая, слышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, забыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые пред-

плечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая. — Ох да страдальцы горемычные-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятные-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечные-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-йя-я-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это

была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка,—
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой,— йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в десятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи войны! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ее, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михая и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михая сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михая посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо... — покраснел Михай. — Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— Отечественная, папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка. — Как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотенце с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не полезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы.— Старичок цепким взглядом окинул Копёшкина, должно быть прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому неподвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь,— сказал строго Бородухов.

— Но может, он желает?

— Ничего он не желает... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю.— Старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.— Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали бы... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед...— сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие.— Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.— Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то этажам выбегала, сколь носилок перетаскала — и ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какую юдолю вытерпели, какого супостата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товарищи,— поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаяву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема время.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...— предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему.

— Это само собой.— Бугаёв взял Михайев стакан.— Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал он. — Это дело. Ничего, наловчишься... — Бугаёв вытер пижамным рукавом Михая подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай потрянул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу! Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Са-

ша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый. — Нашими друзьями будете. Такую свадьбу сварганим. Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую. — Он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. По-едем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон. — Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубаше, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодку да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаёвым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле,— думал я, слушая разговоры.— Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетелись по русской земле...»

— Тише, ребята...— Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами.— Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копёшкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?..

Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял...— Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже...— разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел, и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копёшкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоми-

нал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копёшкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально черкал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копёшкина. Тот, почувствовав, прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал восковым заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный, Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаёвым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда, глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копёшкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и не известном для остальных Сухом Житне.

Но Копёшкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от *этих* берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже н и ч т о... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячами, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры тайнства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскрыют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька,

подняла с пола оброненную санитарями картинку с копёшкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином. — Вот и пожар затушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает... Она теперь тоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представить себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется, — сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. — Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

ОБ АВТОРАХ

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович (1937—1972) — русский советский писатель, драматург. Автор пьес «Дом окнами в поле» (1964), «Прощание в июне» (1964), «Старший сын» (1965), «Утиная охота» (1968), «Прошлым летом в Чулимске» (1971), многочисленных рассказов и очерков.

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович (род. в 1913) — русский советский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов «Соленая падь» (1967—1968), «Комиссия» (1975), «После бури» (1982—1986), повестей, рассказов, эссе.

НАГИБИН Юрий Маркович (род. в 1920) — русский советский писатель. Автор сборников повестей и рассказов «Большое сердце» (1944), «Зимний дуб» (1955), «Павлик» (1966), «Пик удачи» (1975), «Река Гераклита» (1984) и др.

НИКИТИН Сергей Константинович (1926—1973) — русский советский писатель. Автор сборников рассказов «Костер на ветру» (1960), «Вечерняя заря» (1970), «Живая вода» (1973) и др.

РОЩИН Михаил Михайлович (род. 1933) — русский советский писатель, драматург. Автор книг «В маленьком городе» (1956), «Каких-нибудь двадцать минут...» (1965), «С утра до ночи» (1968), «Река» (1978), «Южная ветка» (1982) и др.

СОЛОУХИН Владимир Алексеевич (род. в 1924) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии РСФСР. Автор поэтических и прозаических книг «Дождь в степи» (1953), «Разрыв-трава» (1956), «Владимирские проселки» (1958), «Свидание в Вязниках» (1964), «Камешки на ладони» (1977), «Созерцание чуда» (1984) и др.

АБРАМОВ Федор Александрович (1920—1983) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов «Братья и сестры» (1958), «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1973), «Дом» (1978), повестей и рассказов.

БИТОВ Андрей Георгиевич (род. в 1937) — русский советский писатель. Автор книг «Большой шар» (1963), «Такое долгое

детство» (1965), «Аптекарский остров» (1968), «Дни человека» (1976), «Воскресный день» (1980) и др.

ЕВДОКИМОВ Николай Семенович (род. в 1922) — русский советский писатель. Автор книг «Высокая должность» (1952), «Грешница» (1961), «У памяти свои законы» (1966), «Страстная площадь» (1982) и др.

КАЗАКОВ Юрий Павлович (1927—1982) — русский советский писатель. Автор рассказов «Голубое и зеленое» (1956), «Проклятый север» (1964), «Свечечка» (1973), «Во сне ты горько плакал» (1972) и др.

КОНЕЦКИЙ Виктор Викторович (род. в 1929) — русский советский писатель. Автор повестей и рассказов «Завтрашние заботы» (1960), «Если позовет товарищ» (1958—1959), «Путевые портреты с морским пейзажем» (1975), «Артист» (1983) и др.

ЛИДИН Владимир Германович (1894—1979) — русский советский писатель. Автор романов «Великий, или Тихий» (1933), «Две жизни» (1950), сборников рассказов «Окно, открытое в сад» (1975), «Песня лодочника» (1971) и др.

ГАНИНА Майя Анатольевна (род. в 1927) — русская советская писательница. Автор книг «Первые испытания» (1955), «Зачем спилили каштаны» (1967), «Дальняя поездка» (1975), «Созвездие близнецов» (1980), «Сто жизней моих» (1983) и др.

СЕМЕНОВ Георгий Витальевич (род. в 1931) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии РСФСР. Автор книг «Лебеди и снег» (1964), «Кто он и откуда» (1968), «Дней череда», (1973), «Уличные фонари» (1976), «Утренние следы» (1982) и др.

КИРЕЕВ Руслан Тимофеевич (род. в 1941) — русский советский писатель. Автор книг «Ошибка бога» (1962), «О чем молчат фанфары» (1967), «Неудачный день в тропиках» (1977), «Мои люди» (1980), «Подготовительная тетрадь» (1983), «И тут мы расстанемся с ними» (1984) и др.

СКАЛОН Андрей Васильевич (род. в 1939) — русский советский писатель. Автор книг «Стрела летящая...» (1969), «Красный бык» (1973), «Живые деньги» (1974), «Рыжая лисица счастья» (1982), «Ровный и зеленый луг на том берегу» (1983) и др.

ТКАЧЕНКО Анатолий Сергеевич (род. в 1926) — русский советский писатель. Автор книг «Золотая дорога» (1958), «Хорошие люди» (1961), «Берег долгой зимы» (1966), «За семью ветрами» (1973), «Озеро беглой воды» (1977), «Мыс Раманон» (1982) и др.

ШИМ (наст. фамилия ШМИДТ) **Эдуард Юрьевич** (род. в 1930) — русский советский писатель. Автор книг «Лето на Корбе» (1951), «След на воде» (1959), «Мартовский снег» (1962), «Вода на камушках» (1980) и др.

ГОРЫШИН Глеб Александрович (род. в 1927) — русский советский писатель. Автор книг «С наилучшими пожеланиями» (1977), «Чистая вода» (1982), «Весенняя охота на боровую дичь» (1986), «Жребий» (1987) и др.

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович (род. в 1936) — русский советский писатель. Автор произведений «Чалдонки» (1967), «На долгую память» (1969), «Осень в Тамани» (1971), «Элегия» (1973), «Когда же мы встретимся» (1978), «Ненаписанные воспоминания» (1987) и др.

СТРЕЛКОВА Ирина Ивановна (род. в 1924) — русская советская писательница. Автор книг «В краю голубой марсианки» (1961), «Мыс доброй надежды» (1965), «Снег в мае» (1974), «Три женщины в осеннем саду» (1983), «Одна лошадиная сила» (1984) и др.

ПОТАНИН Виктор Федорович (род. в 1937) — русский советский писатель, лауреат премии Ленинского комсомола. Автор книг «Шальная весна» (1969), «Ожидание моря» (1973), «Тихая вода» (1976), «На обрыве» (1986) и др.

ЯШИН (наст. фамилия **ПОПОВ**) Александр Яковлевич (1913—1968) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор поэмы «Алена Фомина» (1949), повести «Вологодская свадьба» (1962), многочисленных стихов и рассказов.

ВОРОБЬЕВ Константин Дмитриевич (1919—1975) — русский советский писатель. Автор произведений «Убиты под Москвой» (1963), «Почем в Ракитном радости» (1964), «Крик» (1962) и др.

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892—1968) — русский советский писатель. Автор романов и повестей «Романтики» (1923), «Блистающие облака» (1929), «Кара-Бугаз» (1932), «Колхида» (1934), «Повесть о лесах» (1949), «Золотая роза» (1956), «Книга скитаний» (1963), многочисленных рассказов.

ТРИФОНОВ Юрий Валентинович (1925—1981) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов «Студенты» (1950), «Утоление жажды» (1963), «Нетерпение» (1973), повестей «Обмен» (1969), «Другая жизнь» (1975), многочисленных рассказов.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (род. в 1924) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор произведений «Перевал» (1960), «Стародуб» (1960), «Звездопад» (1960), «Кража» (1966), «Пастух и пастушка» (1971), «Царь-рыба» (1976), «Последний поклон» (1978), «Печальный детектив» (1986) и др.

ВОРОНИН Сергей Алексеевич (род. в 1913) — русский советский писатель. Автор романа «На своей земле» (1948—1952), повести «Ненужная слава» (1955), многочисленных рассказов.

РАСПУТИН Валентин Григорьевич (род. в 1937) — русский советский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Госу-

дарственной премии СССР. Автор повестей «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976), «Пожар» (1985), многочисленных рассказов, эссе, очерков.

ШУКШИН Василий Макарович (1929—1974) — русский советский писатель, кинорежиссер, актер, лауреат Ленинской, Государственной премий. Автор сборников рассказов «Сельские жители» (1963), «Там, вдали» (1968), «Характеры» (1973), пьесы «Энергичные люди» (1974), историко-революционного романа «Любавины» (1965), киномана «Я пришел дать вам волю» (1971), киноповести «Калина красная» (1973) и др.

БЕЛОВ Василий Иванович (род. в 1932) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор повестей «Деревня Бердяйка» (1961), «Привычное дело» (1966), «Воспитание по доктору Споку» (1977), романов «Кануны» (1972—1976), «Все впереди» (1986), многочисленных рассказов.

ГРАНИН (наст. фамилия **ГЕРМАН**) Даниил Александрович (род. в 1919) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов «Искатели» (1954), «После свадьбы» (1958), «Иду на грозу» (1962), «Картина» (1980), многочисленных рассказов, повестей, документальных произведений.

КУРОЧКИН Виктор Александрович (1925—1976) — русский советский писатель. Автор повестей «На войне как на войне» (1965), «Записки судьи Семена Бузыкина» (1974), многочисленных рассказов.

СОКОЛОВ-МИКИТОВ Иван Сергеевич (1892—1975) — русский советский писатель. Автор цикла рассказов «На речке Невестнице» (1923—1928), автобиографической повести «Детство» (1931—1953), книги «Северные рассказы», многочисленных зарисовок, сказок, эссе.

ГОЛУБКОВ Дмитрий Николаевич (1928—1972) — русский советский писатель. Автор книг «Когда вернусь» (1971), «Недуг бытия» (1974) и др.

КУРАНОВ Юрий Николаевич (род. в 1931) — русский советский писатель. Автор произведений «Лето на севере» (1961), «Белки на дороге» (1962), «Увалы Пыщуганья» (1964), «Перевала» (1973), «Озарение радугой» (1982) и др.

НОСОВ Евгений Иванович (род. в 1925) — русский советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор сборников прозы «На рыбацкой тропе» (1958), «Шумит луговая овсяница», (1966), «За долами, за лесами» (1967), «Берега» (1967), «И уплывают пароходы» (1975) и др.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александр Вампилов</i> Сугробы	16
<i>Сергей Залыгин</i> Заместитель	20
<i>Юрий Нагибин</i> Женя Румянцева	29
<i>Сергей Никитин</i> Оброк	36
<i>Михаил Роцин</i> У нас на Таганке	42
<i>Владимир Солоухин</i> Каравай заварного хлеба	51
<i>Федор Абрамов</i> Последняя охота	66
<i>Андрей Битов</i> Пенелопа	86
<i>Николай Евдокимов</i> Степка, мой сын	102
<i>Юрий Казаков</i> Двое в декабре	107
<i>Виктор Конецкий</i> Еще о войне	116
<i>Владимир Лидин</i> Прилет птиц	135
<i>Майя Ганина</i> По Витиму — на материк	143
<i>Георгий Семенов</i> Приезд сына	156
<i>Руслан Киреев</i> Мать и дочь	183
<i>Андрей Скалон</i> Стрела летящая...	193
<i>Анатолий Ткаченко</i> Кони	214
<i>Эдуард Шим</i> Когда погаснет	229
<i>Глеб Горышин</i> Лебединая жизнь	263
<i>Виктор Лихоносов</i> Что-то будет	271
<i>Ирина Стрелкова</i> И еще два дня	287
<i>Виктор Потанин</i> Когда прошли дожди	310
<i>Александр Яшин</i> Угощаю рябиной	317
<i>Константин Воробьев</i> Уха без соли	328
<i>Константин Паустовский</i> Вилла Боргезе	336
<i>Юрий Трифонов</i> Вера и Зойка	343
<i>Виктор Астафьев</i> Ясным ли днем	359
<i>Сергей Воронин</i> Тамань	386
<i>Валентин Распутин</i> Василий и Василиса	394
<i>Василий Шукшин</i> Чудик	416
<i>Василий Белов</i> Под извоз	425
<i>Даниил Гранин</i> Дом на Фонтанке	441

<i>Виктор Курочкин</i> Последняя весна	455
<i>Иван Соколов-Микитов</i> Лоси	486
<i>Дмитрий Голубков</i> Оне	490
<i>Юрий Куранов</i> Дни сентября	500
<i>Евгений Носов</i> Красное вино победы	525
Об авторах	553

А72 Антология русского советского рассказа (60-е годы) /
Сост., авт. вступ. статьи и примеч. А. П. Ланщиков. —
М.: Современник, 1989. — 559 с.

ISBN 5—270—00457—7

В сборник вошли лучшие рассказы 60-х гг. Произведения С. Залыгина, Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Шукшина, В. Распутина, Ю. Казакова, А. Вампилова, Е. Носова дают широкое представление о проблемах, художественных и социально-экономических исканиях, волновавших общество в те годы, о развитии литературного процесса в это десятилетие.

А $\frac{4702010200-210}{M106(03)-89}$ 119—89

ББК84Р7

Составитель
Ланщиков Анатолий Петрович

**АНТОЛОГИЯ РУССКОГО
СОВЕТСКОГО РАССКАЗА**
(60-е годы)

Редактор
И. А. КУРАМЖИНА

Художественный редактор
Е. В. АНДРЕЕВА

Технический редактор
В. М. КОТОВА

Корректор
В. Н. ЛЫКОВА

ИБ № 5276

Подписано к печати с готовых диапозитивов
25.08.89. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура об. нов.
Печать высокая, с ФПФ. Бумага тип. № 2.
Усл. краск.-отт. 29,4. Усл. печ. л. 29,4. Уч.-изд. л.
31,82. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз.
Заказ 183. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза писателей
РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Го-
сударственного комитета РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

2,204

Cambridge